ЧЕКИСТЫ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Предлагаемый вниманию читателей сборник состоит из воспоминаний старых, заслуженных чекистов, рассказывающих о своей работе в органах государственной безопасности, а также из документальных повестей и рассказов ленинградских писателей.

- Чекисты. Сборник
  -
  - Юрий Герман. ЛЕД И ПЛАМЕНЬ
  - Александр Лобанов. СЕКРЕТНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
  - Петр Щевьев. ВЕРНЫЕ РЕВОЛЮЦИОННОМУ ДОЛГУ
  - Василий Васильев. ПОМОЩНИКИ ДЗЕРЖИНСКОГО
  - Иван Батенин. ПАРОЛЬ — 13, ОТЗЫВ — 57
  - Николай Бахтюков. ПОДВИГ НИКОЛАЯ МИКУЛИНА
  - Ариф Санаров. ХРОНИКА ОДНОГО ЗАГОВОРА
  - Петр Люткевич. МОЯ ПЕРВАЯ ОПЕРАЦИЯ
  - Александр Куликов. ИЗ ПРОШЛОГО
    - 1. ПОБЕДА ОКТЯБРЯ
    - 2. МЕНЯ ПОСЫЛАЮТ В ЧК
    - 3. НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
  - Абрам Мильнер. НАПАДЕНИЕ НА ДЕМЯНСК
  - Леонид Дмитриев. КОНЕЦ ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА
  - Рафаил Михайлов. Дочь СВОЕГО ОТЦА
  - Владимир Дягилев. АЛЕКСАНДР КАДАЧИГОВ И ДРУГИЕ
    - 1. ЗАТЯНУВШИЙСЯ ПРЫЖОК
    - 2. ГОЛОДАЙ
    - 3. ИСАЕВ И ГЕРМАН
    - 4. ГНИЛЬ
    - 5. ГЛУБОКАЯ РАЗВЕДКА
    - 6. ДЕРЗКИЙ ВЫХОД
    - 7. ЗЮКОВ
    - 8. ЦЕЛЬ - ПСКОВ
    - 9. ПОЛИНА ЧЕРНАЯ
    - 10. НИНКА БЕДОВАЯ
    - 11. ДЯДЯ ПАША
    - 12. ВАСЯ ТРОЯНОВ
    - 13. ЗАОЧНАЯ ДУЭЛЬ
    - 14. ЗОЛОТА ГОЛОВУШКА
    - 15. ПОЧТАЛЬОНША
    - 16. ПЕСНЯ НЕ УМИРАЕТ
    - 17. ПЛАМЯ

- 18. ДО ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ
- Владимир Дружинин. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ИМЯ
  -
  - Никулин
  - ДАВЫДОВ
  - КАРАЩЕНКО
  - ПОГРАНИЧНИК
- Григорий Репин. БУДНИ ОСОБОГО ОТДЕЛА
- Иван Петраков. ПЕРЕПРАВА
- Михаил Николаев. СОКОЛ ВЫЗЫВАЕТ ЛЕНИНГРАД
- Василий Горбушин. В МАЕ 1945 ГОДА
  -
  - I
  - II
- Дмитрий Таевере. ОПЕРАЦИЯ „ОКОШКО" И ДРУГИЕ
- Евгения Васютина. В ПРОСЬБЕ О ПОМИЛОВАНИИ ОТКАЗАТЬ
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
- Вадим Инфантьев. У САМОГО КРАЯ
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
- Елена Серебровская. „БЕШЕНЫЙ ОГУРЕЦ"
- Аскольд Шейкин. ПЕРСОНА НОН ГРАТА
  - 1
  - 2

- 3
- 4
- 5

- ФОТОМАТЕРИАЛЫ

Предлагаемый вниманию читателей сборник состоит из воспоминаний старых, заслуженных чекистов, рассказывающих о своей работе в органах государственной безопасности, а также из документальных повестей и рассказов ленинградских писателей.

Среди славных боевых традиций чекистов главное место занимают их мужество и самоотверженность в борьбе с врагами нашего государства, их беззаветные подвиги во имя торжества идей коммунизма, во имя счастья народа. Материалы сборника отражают эти замечательные особенности характера чекистов в конкретных делах.

Другой традицией органов госбезопасности, источником их силы и действенности всегда были и остаются неразрывная связь

с народными массами, единство интересов, единство целей, позволяющие опираться на добровольную помощь трудящихся. И эта традиция нашла достаточное отражение в материалах сборника.

Вся деятельность чекистов естественно и нерасторжимо связана с историей героической борьбы нашей партии за упрочение Советской власти, со строительством коммунизма.

Публикуемые в сборнике произведения помогут читателю составить представление о многообразной и напряженной деятельности ленинградских чекистов в наиболее сложные периоды жизни советского народа, такие, как годы гражданской войны, как героический период Великой Отечественной войны и обороны Ленинграда. Из этих материалов видно, что чекистам приходилось иметь дело с коварными, сильными и умными врагами и что победы над ними нередко давались дорогой ценой, требуя от работников госбезопасности величайшего напряжения всех духовных и физических сил, самоотверженности, мужества, а часто и самой жизни.

Немало замечательных чекистов, верных сынов и дочерей пашей партии, погибло смертью храбрых. Пусть их подвиги будут вдохновляющим примером для всех советских людей, и в особенности для нашей молодежи, идущей по следам отцов.

Юрий Герман. ЛЕД И ПЛАМЕНЬ

Я никогда не видел Феликса Эдмундовича Дзержинского, но много лет назад, по рекомендации Максима Горького, разговаривал с людьми, которые работали с Дзержинским на разных этапах его удивительной деятельности. Это были и чекисты, и инженеры, и работники железнодорожного транспорта, и хозяйственники.

Люди разных биографий и разного уровня образования, они все сходились в одном — и это можно было сформулировать, пожалуй, так:

— Да, мне редкостно повезло, я знал Дзержинского, видел его, слышал его. Но как об этом рассказать?

А как мне пересказать все то, что я слышал более тридцати лет назад? Как собрать воедино воспоминания разных людей об этом действительно необыкновенном человеке? Это очень трудно, это почти невозможно.

И вот передо мною книга Софии Сигизмундовны Дзержинской «В годы великих боев». Верная подруга Феликса Эдмундовича, она сообщила о нем много та-кого, чего мы не знали и что еще более восхищает нас в этом грандиозном характере. Читая ее воспоминания, я захотел вновь вернуться к образу Феликса Дзержинского, который занимает в моей литературной биографии важное место.

Он был очень красив. У него были мягкие, темно-золотистые волосы и удивительные глаза — серо-зеленые, всегда внимательно вглядывающиеся в собеседника, доброжелательные и веселые. Никто никогда не замечал в его взгляде выражения безразличия. Иногда в глазах

Дзержинского вспыхивали гневные огни. Большей частью происходило это тогда, когда сталкивался он с равнодушием, которое очень точно окрестил «душевным бюрократизмом».

Про него говорили: «Лед и пламень». Когда он спорил и даже сердился в среде своих, в той среде, где был до конца откровенен, — это был пламень. Но когда он имел дело с врагами Советского государства, — это был лед. Здесь он был спокоен, иногда чуть-чуть ироничен, изысканно вежлив. Даже на допросах в ЧК его никогда не покидало абсолютно ледяное спокойствие.

После разговора с одним из крупных заговорщиков, в конце двадцатых годов, Феликс Эдмундович сказал своему помощнику Беленькому:

— В нем смешно то, что он не понимает, как он смешон — исторически. С пафосом нужно обращаться осторожно, а этот —

не понимает…

Дзержинский был красив и в детстве, и в юности, и до конца своей жизни. Одиннадцать лет ссылки, тюрем и каторги пощадили Дзержинского, он остался красивым.

Скульптор Шеридан, приезжавшая из Англии в Россию, написала в своих воспоминаниях, что никогда ей не доводилось лепить более прекрасную голову, чем голова Дзержинского.

«А руки его, — это руки великого пианиста или гениального мыслителя. Во всяком случае, увидев его, я больше никогда не поверю ни одному слову из того, что пишут у нас о г-не Дзержинском».

Но прежде всего он был поразительно красив нравственной стороной своей личности.

27 мая 1918 года Дзержинский писал жене:

«Я нахожусь в самом огне борьбы. Жизнь солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасать наш дом, некогда думать о своих и о себе. Работа и борьба адская. Но сердце мое в этой борьбе осталось живым, тем же самым, каким было и раньше. Все мое время — это одно непрерывное действие».

Эти слова могут быть отнесены ко всей сознательной жизни Дзержинского.

Нельзя с точностью определить, когда именно Дзержинский начал жизнь солдата революции. Еще мальчиком он невыносимо страдал от всяких проявлений тирании, шовинизма, душевного хамства, унижения человеческой личности, социального и национального неравенства, — всего того, что было сутью царской России.

И страдал не созерцательно, а действовал — активно, пламенно, не считаясь ни с какими, могущими воспоследствовать, печальными для него результатами.

Еще в гимназические годы Дзержинский стал революционером-профессионалом. И он совершенно сознательно выбирал для себя самое трудное, самое опасное.

…Провал варшавской межрайонной партийной конференции в Дембах Вельских. Полиция окружает участников конференции. И все слышат спокойный голос Дзержинского: «Товарищи! Быстро давайте сюда всё нелегальное, что есть у вас. Мне в случае ареста терять нечего».

Во время расстрела демонстрации в Варшаве, когда граф Пшездецкий сорванным голосом командовал: «Огонь, еще огонь! По мятежникам огонь!» — нелегал Дзержинский спасал на месте расстрела раненых, скрывая их от солдат и полицейских в подъездах и дворах домов, помог поместить в больницы наиболее тяжко пострадавших.

Освобожденный под залог из тюрьмы, Феликс Эдмундович уже на другой день пришел в комнату свиданий этой же самой тюрьмы, долго разговаривал через решетку со своими товарищами по заключению, с их женами, матерями, детьми.

Всегда, всю жизнь он находился в «огне борьбы». Сосланный осенью 1909 года на вечное поселение в Сибирь и лишенный всех прав состояния, Дзержинский через неделю убегает из села Тасеевки Канского уезда Енисейской губернии. Ему 27 лет, он уже пять раз побывал в тюрьме и на каторге, здоровье его до крайности подорвано. Подчинившись требованиям товарищей, он перебирается на Капри, где и происходит его знакомство с Максимом Горьким.

Горький пишет: «Впервые я его видел в 1909–1910 годах, и уже тогда, сразу же, он вызвал у меня незабываемое впечатление душевной чистоты и твердости».

Дзержинский и на Капри не знает отдыха. Здесь начинается его становление как будущего руководителя ВЧК. 4 февраля 1910 года, исследуя материал о провокации в подпольных организациях, Феликс Эдмундович пишет: «Ясно вижу, что в теперешних условиях подполья, до тех пор, пока не удастся все же обнаружить, изолировать провокаторов, надо обязательно организовать что-то вроде следственного отдела…»

Дзержинский отдыхать не умел. Не умел он и лечиться. Эмиграция была для него мучительной, в буквальном смысле этого слова. Не выносивший патетики, он писал:

«Я не могу наладить связь… вижу, что другого выхода нет, — придется самому ехать туда, иначе постоянная, непрерывная мука. Мы совершенно оторваны. Я так работать не могу — лучше даже провал…»

И он возвращается, несмотря на опасность провала, в самый огонь борьбы. Руководит комиссией, которая ведет следствие по делу лиц, подозреваемых в провокациях. И охранка знает об этой его деятельности. Дзержинский в, подполье, Дзержинский, бежавший с царской каторги, страшен царской охранке.

Опытнейший конспиратор, он заботится о безопасности своих товарищей-подпольщиков. Придирчиво следит, чтобы в случае расконспирирования какого-либо партийного работника тот как можно скорее изменил свою внешность, завел новые документы.

Вспоминая впоследствии эту сторону деятельности Феликса Эдмундовича, один из его друзей с улыбкой сказал:

— Ему хватало времени еще и на то, чтобы быть нашей охраной труда в те нелегкие годы…

Разумеется, Феликс Эдмундович занимался в те годы не только «охраной труда». Он сочетал в себе подлинное бесстрашие

с умением вести самое кропотливое, самое неблагодарное дело. Вот он взялся ревизовать партийную кассу. Не зная бухгалтерских тонкостей, он много бессонных ночей провел за подсчетами, установил точную картину финансового положения партийной организации и со свойственной ему пунктуальностью взыскал долги. Работал он в крошечной кухне, даже подушки у него не было. Раз в сутки варил себе кашу на примусе, ежеминутно ожидая налета полиции.

Ему поручили привести в порядок конспиративный партийный архив. И он выполнил это не очень легкое поручение с таким же блеском, с каким провел до этого бухгалтерскую ревизию.

У него был свой уникальный метод составления шифрованных писем. По ночам он шифровал своим бисерным почерком сотни писем. Ни одно из этих писем охранке не удалось прочесть.

Конспиратор он был безупречный, скрупулезный. Никто, даже самый близкий, самый достойный доверия друг, не мог узнать больше того, что непосредственно его касалось.

Дзержинский был абсолютно непримирим к тем, кто нарушал правила конспирации. Необыкновенно добрый, он не прощал даже малейшей ошибки, которая могла нарушить конспирацию и, следовательно, навредить партии.

Больше всего на свете этот совсем еще молодой человек любил детей. Где бы он ни жил, где бы ни скрывался, он всегда собирал вокруг себя ребят.

Софья Сигизмундовна вспоминает, как Дзержинский писал однажды за столом, держа на коленях малыша, что-то сосредоточенно рисующего, а другой малыш, вскарабкавшись сзади на стул и обняв Дзержинского за шею, внимательно следил за тем, как он пишет. Вся комната, набитая детьми, гудела, здесь, оказывается, была железнодорожная станция: Дзержинский с утра собрал детей, понастроил поездов из спичечных коробок, а потом уже занялся своим делом.

Дзержинский умел любить чужих детей. Этот человек, начисто лишенный сентиментальности, писал еще в 1902 году своей сестре Альдоне: «Не знаю, почему я люблю детей так, как никого другого. Я никогда не сумел бы так полюбить женщину, как их люблю. И я думаю, что собственных я не мог бы любить больше, чем несобственных. В особенно тяжелые минуты я мечтаю о том, что я взял какого-либо ребенка, подкидыша, и ношусь с ним, и нам хорошо…»

Из другого письма:

«Я встречал в жизни детей, маленьких, слабеньких детей, с

глазами, речью людей старых — о, это ужасно. Нужда, отсутствие семейной теплоты, отсутствие матери, воспитание на улице, в пивной превращает этих детей в мучеников, ибо несут они в своем молодом маленьком тельце яд жизни — испорченность. Это ужасно!»

Можно представить, каким невыносимым горем было для Дзержинского то, что, находясь либо в эмиграции, либо на каторге, долгие годы он был разлучен со своим сыном Яцеком. И ни одной жалобы за все это время. Ни слова о своих чувствах к сыну. А ведь было и такое, когда тюремщики, чтобы сломить Дзержинского, отобрали у него фотографию сына.

…Жена родила в тюрьме недоношенного ребенка. Мальчик был больной и слабый. Врача почти невозможно допроситься. Уголовницы глумятся над «леворюционеркой». Дзержинский мечется. Нет денег, не на что послать жене передачу. Он не может нигде показаться, охранка на ногах, слежка идет круглые сутки. Это своего рода засада — Дзержинский должен непременно попасться. Такой человек, как Дзержинский, рассуждали в охранке, непременно появится, не сможет не появиться.

Да, Дзержинский любил детей. Он любил своего сына, он любил свою жену, но он не мог поддаться соблазну— даже этому, самому сильному, самому мучительному из соблазнов. И Дзержинский не появился.

Где он — знали только Софья Сигизмуидовна и те люди в партии, кому надлежало знать. Дзержинский продолжал работать. Можно представить себе, каково было его душевное состояние.

Царский суд отыгрался на Софье Сигизмундовие. На судебном заседании она была с ребенком, ей некому было отдать сына. Больной Яцек плакал, кричал. Председательствующий непрестанно звонил в колокольчик. Никакие доводы адвоката не помогли. Приговор даже по тем временам был нечеловечески жестоким: кормящую мать отправили этапом в Сибирь. На пожизненное поселение…

Дзержинский был не только борцом с самодержавием, не только одним из вождей партии, но самым опасным, самым умным и храбрым врагом царской полиции. И потому охранка была так изощренно жестока с ним, потому делала решительно все, чтобы уничтожить Дзержинского. Его неизменно присуждали к каторге, ему создавали небывало суровый тюремный режим. Его пытались уничтожить и нравственно, раздавить, заставить капитулировать.

Тюрьмы, побеги, каторга, Орловский каторжный централ, разъедающие язвы на ногах от кандалов. И письмо еще

незнакомому сыну: «Папа не может сам приехать к дорогому Яцеку и поцеловать любимого сыночка и рассказать сказки, которые Яцек так любит…»

Дзержинский в тюрьме… Этот документ — воспоминание одного из товарищей Дзержинского:

«Мы увидели страшно грязную камеру. Грязь залепила окно, свисала со стен, а с пола ее можно было лопатами сгребать. Начались рассуждения о том, что нужно вызвать начальника, что так оставлять нельзя и т. д., как это обычно бывает в тюремных разговорах.

Только Дзержинский не рассуждал о том, что делать: для него вопрос был ясен и предрешен. Прежде всего он снял сапоги, засучил брюки до колен, пошел за водой, принес щетку, через несколько часов в камере все — пол, стены, окно — было чисто вымыто. Дзержинский работал с таким самозабвением, как будто уборка эта была важнейшим партийным делом. Помню, что всех нас удивила не только его энергия, но и простота, с которой он работал за себя и за других».

В следственной тюрьме Павиак, вспоминает этот товарищ, Дзержинский организовал школу, разделенную на несколько групп. Преподавали там всё, начиная с азбуки и кончая марксистской теорией, в зависимости от подготовки каждого заключенного. Этой школой он был занят по пять-шесть часов в день, следил, чтобы ученики и лекторы собирались в определенное время и в определенном месте, чтобы учеба проводилась регулярно. Самого себя он называл школьным инспектором.

Это была очень сложная работа. Школа держалась только благодаря авторитету Дзержинского, его организаторским способностям и энергии.

Интересная подробность: никто из товарищей по заключению никогда не видел Феликса Эдмундовича в дурном настроении или подавленным. Он выдумывал всякие затеи, которые могли развеселить заключенных. Ни на минуту не оставляло его чувство ответственности за своих товарищей. У него был особый нюх на «подсадных уток» — завербованных охранкой подонков, которые осуществляли свою подлейшую работу в камерах. Феликс Эдмундович, попавший первый раз в тюрьму из-за провокатора, никогда впоследствии не ошибался насчет «подсадных».

Однако же не следует думать, что в заключении Дзержинскому было хоть в какой-то мере легче, чем его товарищам. Наоборот, ему было тяжелее. Известно, что он никогда не разговаривал с теми, кого именовал царскими палачами. На допросах он просто не отвечал на их вопросы. В

заключении для необходимых переговоров с тюремщиками, как правило, находились люди, которые умели разговаривать с ними в элементарно-корректной форме. Они всегда служили как бы переводчиками, когда Дзержинский выставлял какие-либо категорические требования.

В Седлецкой тюрьме Феликс Эдмундович сидел вместе с умирающим от чахотки Антоном Россолом. Получивший в заключении сто розог, чудовищно униженный этим варварским наказанием, погибающий Россол, который уже не поднимался с постели, был одержим неосуществимой мечтой: увидеть небо. Огромными усилиями воли Дзержинскому удалось убедить своего друга в том, что никакой чахотки у него нет, что его избили, и он от этого ослабел. Кровотечение из горла, доказывал Дзержинский, тоже результат побоев.

Однажды после бессонной ночи, когда Россол в полубреду непрестанно повторял, что непременно выйдет на прогулку и увидит небо, Дзержинский обещал Антону выполнить его желание. И выполнил! За все время существования тюрем такого случая не бывало: Дзержинский, взвалив Россола себе на спину, велев ему крепко держаться за шею, встал вместе с ним в строй перед прогулкой. На сиплый вопль смотрителя Захаркина, потрясенного неслыханной дерзостью, заключенные ответили так, что тюремное начальство в конце концов отступило.

В течение целого лета Дзержинский ежедневно выносил Россола на прогулку. Останавливаться во время прогулки было запрещено. Сорок минут Феликс Эдмундович носил Антона на спине.

К осени сердце у Дзержинского было испорчено вконец. Передают, что кто-то в ту пору сказал так:

> «Если бы Дзержинский за всю свою сознательную жизнь не сделал ничего другого, кроме того, что сделал для Россола, то и тогда люди должны бы поставить ему памятник».

В тюрьме Дзержинскому подвернулась книга по истории живописи. Она его увлекла, и он стал выписывать из тюремной библиотеки одну за другой монографии, посвященные живописи и скульптуре. Со страстным, нетерпеливым, счастливым чувством погружался он в мир искусства, с которым до того, скитаясь по тюрьмам, не имел времени познакомиться.

На воле он однажды провел день в знаменитой Дрезденской галерее. С этого вечера он никогда более не говорил о потрясающем все его существо искусстве живописи. Он отрубил от себя то, что влекло его с неодолимой силой. Он не умел

делить себя. Не мог себе этого позволить. Когда позднее друзья говорили при нем о великих живописцах, Феликс Эдмундович в такие разговоры не вмешивался, только тень печали ложилась на его лицо.

А одному товарищу, который уже после революции припомнил, как Дзержинский по многу часов читал книги об искусстве, Феликс Эдмундович ответил скороговоркой:

— Да, да… Но только тысячи беспризорных детей умирают от голода и сыпного тифа…

Луначарскому он сказал в те дни:

— Я хочу бросить некоторую часть моих личных сил, а главное сил ВЧК, на борьбу с детской беспризорностью… Я пришел к этому выводу… исходя из двух соображений. Во-первых, это же ужасное бедствие. Ведь когда смотришь на детей, так не можешь не думать — всё для них. Плоды революции — не нам, а им. А между тем сколько их искалечено борьбой и нуждой! Тут надо прямо-таки броситься на помощь, как если бы мы видели утопающих детей… Я хотел бы стать сам во главе этой комиссии. Я хочу реально включить в работу и аппарат ВЧК. Я думаю, что наш аппарат один из наиболее четко работающих. Его разветвления есть повсюду. С ним считаются, его побаиваются. А между тем даже в таком деле, как спасение и снабжение детей, встречаются и халатность и даже хищничество… Я думаю: отчего не использовать наш боевой аппарат для борьбы с такой бедой, как беспризорность? Тут нужны большая четкость, быстрота и энергия. Нужен контроль, нужно постоянно побуждать, тормошить. Думаю, мы всего этого достигнем.

Знаменитое письмо Дзержинского всем Чрезвычайным Комиссиям кончается удивительными словами:

> «Забота о детях есть лучшее средство истребления контрреволюции».

В 1921 году Дзержинский находил время бывать в детских больницах и приютах. И бывал там, разумеется, не как почетный гость, которому показывают казовую сторону, а как Дзержинский.

Вот запись из его блокнота: «…Вобла, рыба — гнилые. Сливочное масло — испорчено. Жалоб в центр не имеют права подавать».

Вот собственноручные строчки грозного председателя ВЧК:

> «Нужно 120 тысяч кружек, нужно сшить 32 тысячи ватных пальто, нужен материал на 40 тысяч детских платьев и костюмов. Нет кожи для подошв к 10 тысячам пар обуви».

Картины, театры, музыка — это потом, позже. Когда можно будет вздохнуть. А сейчас «жизнь солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасать наш дом, некогда думать о своих и о себе. Работа и борьба адская. Но сердце мое в этой борьбе осталось живым, тем же самым, каким было и раньше».

Никогда о себе.

Всё — товарищам! Он не считал себя вправе потратить буквально ни копейки из партийного своего жалованья на то, что не являлось абсолютной жизненной необходимостью.

В эмиграции он не позволил себе ни разу купить билет в театр, а кафе, куда его однажды затащили товарищи и где подали по чашечке кофе и по пирожному, ввергло молодого Дзержинского в состояние величайшего смущения.

Таким он оставался до последних дней жизни.

Помощник Дзержинского Абрам Яковлевич Беленький, заметив, что нечеловеческая работа совершенно измучила председателя ВЧК, каким-то тайным путем достал для Дзержинского половину вареной курицы. Она пролежала на подоконнике в комнате Беленького, пока не протухла. Феликс Эдмундович продолжительное время был чрезвычайно сух со своим помощником. Блюдечко желтого сахара — мелясы, которое принесли — Дзержинскому, он отдал уборщице ВЧК для ее ребенка, а сотрудник ВЧК Герсон, который с трудом достал этот сахар на Сухаревке, выслушал суровый выговор Феликса Эдмундовича.

Широко известна история о том, как московские чекисты обманули председателя ВЧК, накормив его жареной на сале картошкой. В «чекистский заговор» был втянут и Максим Горький, который подтвердил Феликсу Эдмундовичу, что в столовой ВЧК действительно подают не суп из конины, как обычно, а картошку с салом.

В те годы, которые Дзержинский провел за тюремными замками и решетками, у него выработалась еще одна уникальная специальность. Многие из сидевших вместе с ним в тюрьме вспоминают замечательные лекции Феликса Эдмундовича о том, как побеждать тюремщиков. Величайший мастер конспирации на воле, Дзержинский оставался таким же непревзойденным конспиратором и в заключении. Он обучал своих товарищей азбуке перестукивания, учил тайнописи, передавал методы пассивного и активного сопротивления; он даже до тонкостей разработал способы передачи записок из камеры в камеру.

Дзержинский обладал беспримерной силой убеждения. Его волей, его огромной собранностью, его нравственной силой только и можно объяснить небывалую в истории царских тюрем

победу заключенных пересыльной тюрьмы при Александровском каторжном централе. Под командованием совсем еще молодого Феликса Эдмундовича заключенные выбросили из «пересылки» весь конвой во главе с офицером. Над пересыльной тюрьмой был поднят красный флаг с надписью «Свобода». Дзержинский объявил, что «пересылка» отныне и до победы представляет собой республику на территории Российской империи.

Скандал вышел небывалый. На место происшествия прибыл сам вице-губернатор, который на глазах сотен людей, собравшихся у тюрьмы, признал, правда, шепотом, свое поражение и уступил всем требованиям заключенных.

Дзержинский всегда и во всем был бесстрашен. Известно его удивительное поведение в логове восставших эсеров. Анархиствующий бандит Антонов-Камков, вернувшись в камеру после собеседования с председателем ВЧК, долго повторял одни и те же фразы:

— Вот он сидит, а вот я руку на пресс-папье положил…. Пресс-папье тяжеленькое. Мне терять нечего. И хоть бы что. И руку видит, и пресс-папье видит, и улыбается. Это как же понять? Или он не совсем в курсе относительно моей автобиографии?

Нет, Дзержинский был в курсе «автобиографий» тех лиц, с которыми беседовал. Он просто был нравственно сильнее.

Одиннадцатилетняя школа заключения и каторжного режима не прошла даром для этого человека. Когда бывало очень трудно, он без всякой патетики пошучивал:

— Сталь закаляется в огне!

Софья Сигизмундовна рассказывает, что когда Дзержинский осенью 1909 года был сослан в Сибирь, то по пути в красноярскую тюрьму встретился с ссыльнопоселенцем М. Траценко, незаконно закованным в ножные кандалы. Из кухни Дзержинский унес под полой тюремного халата топор и пытался разрубить им кандальные кольца. Царские кандалы были крепки, кольцо гнулось, а разрубить металл оказалось невозможным. Но Дзержинский боролся с беззаконием тюремщиков до тех пор, пока они не сняли с Траценко кандалы.

В Тасеевке, на месте ссылки, Дзержинский узнал, что одному из ссыльных угрожает каторга или даже смертная казнь за то, что он, спасая свою жизнь, убил напавшего на него бандита. Феликс Эдмундович, решивший еще в Варшаве немедленно бежать из ссылки, запасся паспортом на чужое имя и деньгами на проезд, которые умело спрятал в одежду. Но нужно было помочь товарищу. И Дзержинский не задумываясь отдал ему свой паспорт и часть своих денег.

Уже после революции близкий товарищ Дзержинского

Братман-Брадовский, работавший секретарем советского посольства в Германии, прислал председателю ВЧК шерстяной свитер. У Феликса Эдмундовича был старенький, заштопанный свитер. В тот же день Дзержинский отдал подарок одному из своих помощников, а сам продолжал ходить в выношенном, негреющем свитере.

До конца своих дней он сам чистил себе обувь и стелил постель, запрещая это делать другим.

— Я — сам! — говорил он.

Узнав, что туркестанские товарищи назвали его именем Семиреченскую железную дорогу, Дзержинский послал телеграмму с возражением и написал в Совнарком записку, требуя отменить это решение.

Один ответственный работник железнодорожного транспорта, желая угодить Дзержинскому, который был тогда наркомом путей сообщения, перевел его сестру Ядвигу Эдмундовну на значительно лучше оплачиваемую работу, для выполнения которой у нее не было квалификации. Дзержинский возмутился и приказал не принимать его сестру на эту ответственную работу, а подхалима снял с занимаемой должности.

Л. А. Фотиева рассказывала: как-то на заседании Совнаркома при обсуждении вопроса, поставленного Феликсом Эдмундовичем, выяснилось, что нет необходимых материалов. Дзержинский вспылил и упрекнул Фотиеву в том, что материалы из ВЧК отправлены, а секретарь Совнаркома их затеряла. Убедившись затем, что материалы из ВЧК не были доставлены, Дзержинский попросил на заседании внеочередное слово и извинился перед Фотиевой.

На Украине, вспоминает Феликс Кон, был приговорен к расстрелу коммунист Сидоренко. Ему удалось бежать. Но он не стал скрываться, а явился в Москву к Дзержинскому с просьбой о пересмотре дела. Уверенный в своей невиновности, а главное, в том, что Дзержинский не допустит несправедливости, осужденный не побоялся прийти к председателю ВЧК.

«В период работы Феликса Эдмундовича в ВЧК был арестован эсер, — рассказывает Е. П. Пешкова. — Этого эсера Дзержинский хорошо знал по вятской ссылке как честного, прямого, искреннего человека, хотя и идущего по ложному пути.

Узнав о его аресте, Феликс Эдмундович через Беленького пригласил эсера к себе в кабинет. Но тот сказал:

— Если на допрос, то пойду, а если для разговора, то не пойду.

Когда эти слова были переданы Дзержинскому, он рассмеялся

и велел допросить эсера, добавив, что, судя по ответу, он остался таким же, каким был, и поэтому, если он заявит, что не виновен в том, в чем его обвиняют, то надо ему верить. В результате допроса он был освобожден».

β это же время грозный председатель ВЧК писал своей сестре:

> «…Я остался таким же, каким и был, хотя для многих нет имени страшнее моего. И сегодня, помимо идей, помимо стремления к справедливости, ничто не определяет моих действий».

Уже после эсеровского восстания в Москве, когда Дзержинского не убили лишь благодаря его невероятной личной отваге, был арестован один из членов ЦК правых эсеров. Жена арестованного через Е. П. Пешкову пожаловалась Дзержинскому на то, что в связи с арестом мужа ее лишили работы, а детей не принимают в школу. После разговора с Дзержинским, который сразу все уладил, жена арестованного, встретив Екатерину Павловну Пешкову, разрыдалась, а впоследствии называла Феликса Эдмундовича «нашим замечательным другом».

Кто, когда, где первым сказал про Дзержинского: «карающий меч революции»?

Старый друг и соратник Дзержинского написал после его смерти:

«И не удивительно, что именно этот бесстрашный и благороднейший рыцарь пролетарской революции, в котором никогда не было ни тени позы, у которого каждое слово, каждое движение, каждый жест выражал лишь правдивость и чистоту души, призван был стать во главе ВЧК, стать спасающим мечом революции и грозой буржуазии».

Спасающий меч — это одно, а карающий — совсем **Другое.**

Имеем ли мы право так обеднять эту удивительную личность?

«Если бы я мог писать о том, чем живу, то писал бы не о тифе, не о капусте, не о вшах, а о нашей мечте, представляющей сегодня для нас отвлеченную идею, но являющуюся на деле нашим насущным хлебом».

Это написано в те дни, когда политические заключенные Орловской каторжной тюрьмы под предводительством Дзержинского объявили голодовку.

И это написано тогда же: «Когда я думаю о том, что теперь творится (шел 1916 год. — *Ю. Г.),* о повсеместном якобы крушении всяких надежд, я прихожу к твердому для себя убеждению, что жизнь зацветет тем скорее и сильнее, чем сильнее сейчас это крушение. И поэтому я стараюсь не думать о

сегодняшней бойне, о ее военных результатах, а смотрю дальше и вижу то, о чем сегодня никто не говорит».

Вот речь Дзержинского, произнесенная в полутемной, холодной, мозглой тюремной камере:

«Мы должны бороться и в тюрьме. Царизм в этой войне потеряет корону, рухнет кровавый царь. Победа будет за нами, с нами пролетариат всего мира, и мы тут, в тюремных казематах, объединимся с его революционной борьбой, не уступим в этой борьбе и начнем голодовку…»

Это была тяжелейшая, «сухая», голодовка: заключенные отказались и от воды.

Чтобы сломить волю политических, их бросили в карцер, отняли даже соломенные тюфяки. Каждый день в карцер приносили хлеб и кипяток, но хлеб выбрасывался в коридор, а вода выливалась. На четвертые сутки несколько заключенных умерло, но остальные продолжали голодовку. Чтобы лишить голодающих источника их нравственной силы, Дзержинского заперли в одиночку. Но именно по дороге в эту одиночку Дзержинскому удалось дать знать о голодовке политзаключенным всей тюрьмы, и в знак солидарности с теми, кто уже выбивался из сил, вспыхнула всеобщая голодовка. Губернскому прокурору пришлось явиться в тюрьму и принять требования голодающих.

В ту пору Дзержинский писал сыну Яцеку, чтобы он, когда вырастет, непременно был «ясным лучом — умел бы сам любить и быть любимым».

14 марта 1917 года Дзержинский встретил в Москве в Бутырках. В этот день революционные рабочие разбили ворота тюрьмы и, освободив, в числе других политкаторжан Феликса Эдмундовича Дзержинского, вынесли его на руках на улицу.

Состояние здоровья Дзержинского было ужасающим.

1 июня 1917 года он принужден был уехать на месяц в Оренбургскую губернию, надеясь, что лечение кумысом принесет хоть какую-либо пользу. Софье Сигизмундовне, которая была в то время в Цюрихе, он написал (чтобы не слишком испугать ее при встрече), что увидит она не его самого, а лишь его тень. Софья Сигизмундовна переживала трудные дни. Связи ни с Петроградом, ни с Москвой почти не было. О том, чтобы выехать в Россию к мужу, не могло быть и речи: болел Яцек.

В июле 1918 года швейцарские газеты сообщили об убийстве левыми эсерами германского посла Мирбаха. Еще газеты писали, что эсеры арестовали Дзержинского, который после убийства Мирбаха отправился в логово врага, чтобы самому арестовать убийц.

Какова же была радость Софьи Сигизмундовны, когда в

Цюрихе, поздним вечером она услышала под окном такты из «Фауста» Гуно. Это был старый условный сигнал, которым Дзержинский давал знать о себе.

Несколько дней отдыха…

Председатель ВЧК приехал в Швейцарию инкогнито — под именем Феликса Даманского. Здесь он впервые увидел сына. А Яцек отца не знал. Феликс Эдмундович на фотографии, которая всегда стояла на столе у матери, был с бородкой, с усами. Сейчас перед Яцеком стоял гладко выбритый человек…

И еще один человек не узнал Дзержинского. На пристани в Лугано он лицом к лицу столкнулся со шпионом-дипломатом, организатором контрреволюционных заговоров против Советской власти Брюсом Локкартом. Они встречались в Москве — Феликс Эдмундович лично руководил следствием. Локкарта, как дипломата, выслали тогда за пределы Советского государства…

И вдруг встреча в Лугано. Локкарт прошел мимо, равнодушно скользнув взглядом по незнакомому лицу встречного мужчины. Феликс Эдмундович рассказал жене об этой «приятной встрече» много позже. И вспомнил, кстати, начало своих упражнений в конспирации. Еще гимназистом влюбился он в одну гимназистку. Они обменивались записками. Письмоносцем служил, совершенно не подозревая об этом, ксендз, который преподавал закон божий в обеих гимназиях, — Дзержинский засовывал записки в калоши ксендза…

Поражают своей мягкостью первые защитительные меры Военно-революционного комитета. В ноябре 1917 года контрреволюционная организация «Русское собрание», возглавляемая Пуришкевичем, была разгромлена, а сам Пуришкевич приговорен к четырем годам лишения свободы с освобождением условно через год.

По приказу ВРК под честное слово из Петропавловской крепости были освобождены министры-социалисты Временного правительства.

Чиновникам-саботажникам платили жалованье за три месяца вперед, хотя они ничего не делали. К марту 1918 года удалось саботаж ликвидировать. Но погромы винных складов, наркомания, пьянство, хулиганство, бандитизм, хищения музейных и дворцовых ценностей, спекуляции — продолжали усиливаться.

20 декабря 1917 года была создана ВЧК, в которой кроме Феликса Эдмундовича работали Орджоникидзе, Ксенофонтов, Петерс, Лацис, Менжинский, Кедров, Ун-шлихт, Уралов, Мессинг, Манцев и другие.

Первый смертный приговор был вынесен

контрреволюционеру, авантюристу и бандиту князю Эболи, выдававшему себя за работника ВЧК. Обзаведясь подложными бланками и печатями, князь-бандит производил обыски и присваивал себе огромные ценности. Цель была двойная: дискредитировать ВЧК в глазах населения и заодно обогатиться.

Началась битва за революцию. И невозможно перечислить заслуги Феликса Эдмундовича в этой грандиозной битве. Трудно назвать деятельность Дзержинского работой. Все то, что он делал, было его жизнью. Л. А. Фотиева вспоминает, что, вырвавшись из левоэсеровского плена и придя в Кремль, Дзержинский встретил Свердлова. Потрясенный вероломством заговорщиков, Дзержинский вдруг спросил у Якова Михайловича:

— Почему они меня не расстреляли? — И добавил:

— Жалко, что не расстреляли, это было бы полезно для революции.

«Этими словами, — пишет Софья Сигизмундовна, — я полагаю, Феликс хотел сказать, что гибель его от рук левых эсеров была бы для германского правительства доказательством того, что убийство Мирбаха не было делом Советской власти, а делом ее врагов, и это могло бы предотвратить войну с Германией, которую хотели спровоцировать левые эсеры».

Свердлов обнял Дзержинского за плечи и с нежностью сказал ему:

— Нет, дорогой Феликс, хорошо, очень хорошо, что они тебя не расстреляли. Ты еще немало поработаешь на пользу революции.

На V съезде Советов, докладывая о левоэсеровском мятеже, Дзержинский, ненавидевший всякую позу, и тем более никогда не распространявшийся о себе и о своей деятельности, назвал мятеж «петушиным восстанием».

Глава ВЧК в самые тяжкие дни борьбы с контрреволюцией сказал жене:

— Когда все это кончится, мне бы очень хотелось, чтобы Центральный Комитет поручил мне работу в Народном комиссариате просвещения.

15 января 1920 года, еще до окончания сражений гражданской войны, было напечатано постановление ВЧК за подписью Дзержинского об отмене смертной казни по приговорам ВЧК и ее местных органов.

— Когда один из работников ВЧК ударил арестованного контрреволюционера, Дзержинский приказал судить этого работника и лично выступил против него обвинителем, — вспоминает бывшая сотрудница ВЧК М. М. Брослова.

Выступая в Большом театре на собрании, посвященном

пятилетию ВЧК — ОГПУ, Феликс Эдмундович Дзержинский, обращаясь к чекистам, сказал:

— Кто из вас очерствел, чье сердце уже не может чутко и внимательно относиться к терпящим бедствие, те уходите из этого учреждения. Тут больше чем где бы то ни было надо иметь доброе и чуткое к страданиям других сердце.

14 апреля 1921 года Президиум ВЦИК, по предложению Владимира Ильича Ленина, назначил Дзержинского народным комиссаром путей сообщения с оставлением его на посту руководителя ВЧК.

И этот седой, очень усталый человек начал учиться. Он читал и выяснял неясные для себя вопросы, беседуя с крупнейшими специалистами-транспортниками. Ночью его можно было видеть и на железнодорожной станции, и в депо, и в мастерской. Он разговаривал с машинистами, со стрелочниками, стоял в очереди у железнодорожных касс, проверяя порядок продажи билетов, выявлял злоупотребления. Удивительно умея выслушивать людей, не отмахиваясь от неприятного и трудного, он в короткий срок объединил вокруг себя крупнейших специалистов.

О. О. Дрейзер нашел поразительно точные слова для определения стиля работы Дзержинского на совершенно новом и чрезвычайно ответственном посту:

> «Умный и твердый начальник, он вернул нам веру в наши силы и любовь к родному делу».

Голод в Поволжье был чрезвычайно трудным экзаменом для едва поднимающегося из руин транспорта.

В эти дни Феликс Эдмундович написал жене из Омска почти трагические строчки:

«Я должен с отчаянной энергией работать здесь, чтобы наладить дело, за которое я был и остаюсь ответственен. Адский, сизифов труд. Я должен сосредоточить всю свою силу воли, чтобы не отступить, чтобы устоять и не обмануть ожидания Республики. Сибирский хлеб и семена для весеннего сева — это наше спасенье.

Сегодня Герсон в большой тайне от меня, по поручению Ленина, спрашивал Беленького о состоянии моего здоровья, смогу ли я еще оставаться здесь, в Сибири, без ущерба для моего здоровья. Несомненно, что моя работа здесь не благоприятствует здоровью. В зеркало вижу злое, нахмуренное, постаревшее лицо с опухшими глазами. Но если бы меня отозвали раньше, чем я сам мог бы сказать себе, что моя миссия в значительной степени выполнена, — я думаю, что мое здоровье ухудшилось бы. Меня должны отозвать лишь в том случае, если оценивают мое

пребывание здесь как отрицательное или бесполезное, если хотят меня осудить как наркомпути, который является ответственным за то, что не знал, в каком состоянии находится его хозяйство.

И если удастся в результате адской работы наладить дело, вывезти все продовольствие, то я буду рад, так как и я и Республика воспользуемся уроком, и мы упростим наши аппараты, устраним централизацию, которая убивает живое дело, устраним излишний и вредный аппарат комиссаров на транспорте и обратим больше внимания на места, на культурную работу, перебросим своих работников из московских кабинетов на живую работу».

Еще одна черта в характере Феликса Эдмундовича — полное отсутствие самодовольства. Не показная скромность, а искреннее чувство неудовлетворенности самим собой. Весьма характерны в этом смысле такие строчки: «Я вижу, что для того чтобы быть комиссаром путей сообщения, недостаточно хороших намерений. Лишь сейчас, зимой, я ясно понимаю, что летом нужно было готовиться к зиме. А летом я был еще желторотым, а мои помощники не умели предвидеть». Это пишет о себе народный комиссар путей сообщения и председатель ВЧК, пишет на пороге осуществления грандиозной и небывалой по тем временам реформы — перехода транспорта на хозрасчет.

Владимир Ильич в затруднительных случаях говорил:

— Ну, надо, значит, поручить Дзержинскому — он сделает.

И не было дела, которое Дзержинский бы не выполнил с тем характерным для него блеском, с той энергией, умной стремительностью и талантливостью, которыми любовались все его друзья.

За несколько часов до смерти, на пленуме Центрального Комитета партии Дзержинский сказал: «…вы знаете отлично, моя сила заключается в чем? Я не щажу себя никогда. И поэтому вы здесь все меня любите, потому что вы мне верите. Я никогда не кривлю своей душой…»

Он действительно не щадил себя никогда, и ему, разумеется, верили. Ф. Г. Матросов, создатель знаменитого тормоза, воплотил в жизнь свое изобретение благодаря Дзержинскому, равно как и создатели тепловоза профессора Шелест и Гаккель. В эти же дни Дзержинский занимался организацией школ для детей железнодорожников, устанавливал пустяковые, буквально копеечные, надбавки на железнодорожные билеты с тем, чтобы дети железнодорожников безотлагательно получили сносные условия для учения.

В траурные дни, последовавшие за кончиной Ленина, партия поставила Дзержинского на труднейший пост Председателя

Высшего Совета Народного Хозяйства. В то же время Дзержинский продолжал возглавлять коллегию ОГПУ. Это было чрезвычайно тяжелое время. Многие фабрики и заводы стояли, на других оборудование было крайне изношено и требовало либо замены новым, либо капитального ремонта. Многие квалифицированные рабочие погибли на фронтах. На их место пришли из деревень десятки тысяч новичков, не привыкших ни к машинам, ни к дисциплине. Не хватало сырья, не хватало топлива. Только начала осуществляться ленинская денежная реформа.

Вспоминая ту пору, Софья Сигизмундовна пишет:

«Опять Феликсу нужно было заново учиться. Накануне ухода в ВСНХ, прощаясь с товарищами по трехлетней работе на транспорте, Дзержинский сказал, что для руководства ВСНХ он так же не подготовлен, как это было тогда, когда его назначили народным комиссаром путей сообщения…»

И он снова начал учиться. Через двенадцать дней после назначения, выступая перед работниками государственной промышленности и торговли, Дзержинский сказал: «Я сейчас должен учиться делу и должен учиться этому у вас».

Через месяц он написал начальнику «Грознефти»: «Пока я должен учиться — поэтому у меня просьба к вам, помнить об этом и помочь мне в этом. Смотреть глазами своего аппарата — это гибель для руководителя».

Прошло совсем немного времени, и Дзержинский — в полном курсе всей сложнейшей деятельности ВСНХ.

Началась организация новой системы работы. Началось дело.

— Доклады, доклады, отчеты, отчеты, цифры, цифры, бесконечный ряд цифр, — с гневом и возмущением говорил Феликс Эдмундович. — Нет при этой системе времени изучить вопрос. Пишутся горы бумаги, читать их некому и нет физической возможности.

Председатель Коллегии ОГПУ с трибуны зала заседания ВСНХ говорил о доверии.

— Нельзя управлять промышленностью, — говорил он, — иначе как доверяя тем, кому ты сам поручаешь данное дело, уча их и учась от них.

Наряду с этим Дзержинский считал необходимым ввести личную ответственность каждого работника за выполняемую работу. Он требовал, чтобы представляемые ему доклады подписывались теми, кто лично их составлял.

Вот строчки из выступления Феликса Эдмундовича:

«Возьмите доклады, которые мною формально подписываются. Казалось бы, не может быть на свете более

умного и всезнающего человека, чем Дзержинский. Он пишет доклады о спичках, о золоте, о недрах, он пишет абсолютно обо всем, нет такого вопроса, по которому бы Дзержинский не писал, и доклада, под которым бы не подписывался. А это ведь и есть выражение нашей бюрократической, никуда не годной системы, ибо тот, кто фактически работает… скрыт».

Трудно найти выступления Феликса Эдмундовича, в которых бы он не требовал правды, правды и еще раз правды.

За полгода до смерти он сказал:

— Мы ошибок не должны бояться, но под одним условием— если у нас нет комчванства, «шапками закидаем» и прочего, если мы знаем самих себя, знаем свои силы, знаем свои ошибки и не боимся их открывать.

Из другого его выступления:

«Не надо бояться критики, не надо затушевывать недостатки, наоборот, надо облегчить их выявление и не видеть во всем дискредитирования. Дискредитирован может быть только тот, кто скрывает свои недостатки, кто со злом не желает бороться, то есть тот, кто должен быть дискредитирован».

Трудясь ежедневно не менее чем по восемнадцать часов, Феликс Эдмундович удивительно умел смотреть в будущее. По его инициативе в аппарате ВСНХ всегда работали не меньше пятидесяти вузовцев. По инициативе Дзержинского студентам-практикантам рекомендовалось посещать заседания президиума ВСНХ и его главных управлений.

И сейчас нельзя не поразиться мудрости этого решения— таким путем будущие советские технические специалисты учились искусству управлять у самого Дзержинского и его сподвижников.

Разве можно эту жизнь разделить на периоды — подполье, тюрьмы, революция, ВЧК, НКПС, ВСНХ? Разве не было в Дзержинском — профессиональном революционере и замечательном конспираторе — тех черт характера, которые дали впоследствии возможность Владимиру Ильичу Ленину увидеть именно в нем, в Дзержинском, председателя ВЧК? Разве не Дзержинский и в подполье, и в кандалах каторжника разоблачал провокаторов? И разве, когда бушевали «вихри враждебные» и Дзержинский отдавал решительно все свои силы тяжелобольного человека борьбе с контрреволюцией, — разве в ту пору партия не видела в нем созидателя, организатора, строителя?

Он умер председателем ВСНХ и председателем ОГПУ. Он охранял государство, и он создавал государство.

Он умер, отдав решительно все силы революции. Едва поднявшись после жесточайшего сердечного приступа, который

застиг его на работе, он пошел к себе домой один, отказавшись от провожатых, чтобы не обеспокоить Софью Сигизмундовну. Пожав руку жене, Феликс Эдмундович прошел в спальню. Софья Сигизмундовна обогнала его, чтобы приготовить ему постель, но он остановил ее теми двумя словами, которые произносил всю жизнь, всегда:

— Я сам.

Он всегда все делал сам.

Это были его последние слова.

Александр Лобанов. СЕКРЕТНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Эпизод, о котором пойдет речь, относится к первым неделям существования Всероссийской Чрезвычайной Комиссии.

Широко известно опубликованное в «Известиях ЦИК» сообщение об образовании ВЧК. Заканчивалось оно следующими словами: «Комиссия помещается: Гороховая, 2. Прием от 12 до 5 часов дня». И это было не просто справкой о местонахождении нового органа молодой Советской власти. «Прием от 12 до 5 часов дня»— слова эти означали как бы публичное обнародование самого характера Чрезвычайной Комиссии, опирающейся во всей своей работе на помощь трудящихся.

Известно также, насколько ценна и разнообразна была эта помощь со стороны рабочих, крестьян, красноармейцев, со стороны всех, кто был кровно заинтересован в защите завоеваний Октября.

На Гороховую приходили сотни людей, ставших добровольными помощниками Чрезвычайной Комиссии. Благодаря их сигналам было раскрыто и ликвидировано немало опасных контрреволюционных заговоров, они помогали бороться против саботажа, диверсий, воровства, спекуляции.

Посетитель, пришедший на Гороховую в один из декабрьских вечеров 1917 года, был несколько не похож на других. По крайней мере, внешне. В богатой шубе на лисьем меху, в отличном костюме и меховой шапке с бархатным верхом. Ни дать ни взять, настоящий буржуй.

— Не может ли принять меня гражданин Дзержинский? — спросил он дежурного.

— Кто вы такой?

— Доложите, пожалуйста, что явился к нему Филиппов… Алексей Фролович Филиппов, журналист…

— Товарища Дзержинского сейчас нет, и будет он, вероятно, не скоро. А вы, собственно, по какому делу?

— Видите ли, дело это кажется мне необыкновенно важным и верней бы всего рассказать о нем самому Дзержинскому…

Дело было действительно важным. Вернувшись на Гороховую и прочитав оставленную журналистом записку, Феликс Эдмундович немедленно вызвал к себе дежурного.

Как и предположил Феликс Эдмундович, в архиве контрразведки Временного правительства нашлось досье на Алексея Фроловича Филиппова, юриста по образованию, бывшего

сотрудника сытинского «Русского слова», издателя газеты «Деньги». Отмечалось также, что имел он свой банкирский дом, но довольно быстро потерпел крах, не выдержав конкуренции со столичными финансовыми акулами.

Досье характеризовало А. Ф. Филиппова как человека неблагонадежного и явно тяготеющего к идеям большевиков. Контрразведкой было даже перехвачено его частное письмо. «Ошибочно полагают иные, что большевизм временное явление, навязанное русскому народу фанатиками, — писал Филиппов одному из своих друзей, и эти его слова были подчеркнуты жирным черным карандашом. — Напротив, при данном положении России только большевизм есть идейная сила, объединяющая народные массы».

Однако самое интересное содержалось в письме, оставленном на имя Дзержинского неожиданным посетителем ЧК. Алексей Фролович Филиппов предупреждал о контрреволюционной деятельности некоторых вожаков кадетской партии, об их преступных кознях против В. И. Ленина. И сведения эти полностью совпали с теми материалами, которыми располагала в тот момент Чрезвычайная Комиссия.

«Не подумайте, ради бога, что сообщаю все это из преднамеренных побуждений, из желания получить тепленькое местечко при новой власти, — писал он Дзержинскому. — Нет, я не таков. Еще в апреле этого года, впервые услышав Ленина, я стал его поклонником и отчетливо сознаю, что будущее принадлежит Советской власти».

— Непонятно что-то, Феликс Эдмундович, — сказал дежурный. — По виду похож на буржуя, и вдруг сам к нам пришел…

Феликс Эдмундович ответил не сразу, долго сидел в раздумье.

— Буржуи разные бывают…

Дня через три после этого Алексей Фролович Филиппов был приглашен к председателю ВЧК. Все отзывы, которые удалось собрать об этом издателе и банковском деятеле, свидетельствовали в его пользу. Человек безусловно честный, прогрессивных взглядов, с большим опытом и огромными связями в мире финансово-промышленного и торгового капитала. Ясно, что мог бы принести немалую пользу Советской власти, если только захочет с ней сотрудничать.

Разговор Феликс Эдмундович повел начистоту, без обиняков:

— Спасибо за своевременный и весьма полезный сигнал об интригах кадетов… Сведения, вами сообщенные, были частично нам известны, но все же пригодились… Однако пригласил я вас

ради другого… Как вы полагаете, Алексей Фролович, в чем сейчас самая насущная нужда молодой нашей республики?

— Право, затрудняюсь ответить… Вероятно, во всяческом упрочении, в стабилизации…

— Совершенно правильно! В упрочении, в создании своего собственного государственного аппарата взамен старого, который мы сломали и который встал на путь откровенного саботажа, мешая нам на каждом шагу. А для этого нужны знающие люди…

— Но при чем здесь я?

— Идите к нам, Алексей Фролович, — сказал Дзержинский. — Чрезвычайная Комиссия очень нуждается в знающих специалистах.

— Но я ведь…

— Не были никогда ни сыщиком, ни следователем? Это вы хотите мне сообщить? А нам, кстати, сыщики и не требуются… Вот у меня второй день лежит балансовая документация Коммерческого банка, — Дзержинский взял красиво переплетенный том, подвинул его к Филиппову. — Не познакомиться ли вам с ней? Сдается мне, хоть я и не финансист, что господа члены правления в чем-то хотят нас обвести вокруг пальца.

— Право, это так неожиданно…

— Открою маленький секрет, Алексей Фролович, — улыбнулся Дзержинский. — Когда меня назначили в Чрезвычайную Комиссию, это для меня тоже было неожиданностью…

Феликс Эдмундович умел разбираться в людях. Не ошибся он и пригласив сотрудничать в Чрезвычайной Комиссии Алексея Фроловича Филиппова.

Обширные познания бывшего главы банкирского дома «Филиппов и К°» помогли чекистам в борьбе с явным и скрытым саботажем, которым занимались банковские чиновники Петрограда. И документация Коммерческого банка, как и предполагал Дзержинский, оказалась ловкой подделкой: Филиппов это неопровержимо доказал.

В одном из документов, выданных Алексею Фроловичу за подписью Дзержинского, говорится, что «Всероссийская Чрезвычайная Комиссия просит безотлагательно представить к обозрению А. Ф. Филиппову все необходимые справки, цифровые данные и делопроизводство правления Русско-Балтийского судостроительного завода».

Такого рода поручения А. Ф. Филиппов выполнял неоднократно, а в конце января 1918 года, после недолгой беседы с председателем ВЧК выехал за границу.

Задание Дзержинского было весьма ответственным и сложным. Государственной независимости соседнего народа, приобретенной в результате Октябрьской социалистической революции, угрожала опасность. Резко обострились классовые противоречия в стране, контрреволюция начала кровавую расправу над пролетариатом. И, самое опасное, — возросла активность немецких империалистов в этой стране, что создавало угрозу революционному Петрограду.

— Доброго вам пути, товарищ Арский, и ждем от вас хороших вестей, — сказал на прощание Феликс Эдмундович.

В архивах сохранились письма «товарища Арского», присланные в ВЧК из-за границы. Это обстоятельные и весьма толковые разборы быстро меняющейся обстановки в стране,

«Наши недруги ведут здесь политику искусственного примирения матросов и солдат с буржуазной белой гвардией, — пишет он на имя Дзержинского. — Все это делается не для отпора немцам, влияние которых здесь велико, а для похода на большевиков в Петрограде».

«Если будет признано необходимым оставить флот здесь на некоторое время, надо прислать в помощь боевых большевиков для поднятия духа матросов».

В другом письме «товарищ Арский» сообщает «о циркулирующих в здешних кругах мнениях о возможности немецкого наступления на Петроград».

Вся эта информация, как и надеялся Феликс Эдмундович, была весьма своевременна. Данные, о которых сообщал «товарищ Арский», неоднократно докладывались В. И. Ленину.

В марте 1918 года Всероссийская Чрезвычайная Комиссия переехала в Москву. Вскоре после этого уехал в Москву и Алексей Фролович Филиппов, активный и деятельный сотрудник Особого отдела. И не раз еще выполнял он поручения Дзержинского.

Петр Щевьев. ВЕРНЫЕ РЕВОЛЮЦИОННОМУ ДОЛГУ

На встречах, в особенности с молодежью, едва дойдет до вопросов, меня частенько просят: «Расскажите, Петр Герасимович, про самое интересное в своей жизни». Признаюсь, трудно мне выполнить подобную просьбу. Хочется сказать, что все было чертовски интересно: и мальчишество мое босоногое за Невской заставой, и участие в борьбе за Советскую власть, и уж, конечно, незабываемые встречи с Владимиром Ильичем Лениным, каждая из которых стала как бы школой для молодого коммуниста — школой на всю жизнь.

Биография у меня обычная, каких много было за Невской заставой. Родился и вырос в рабочей семье, окончил три класса, а затем пошел по трудовым своим университетам. Сперва учеником в токарную мастерскую, после этого на Семянниковский судостроительный завод, потом на строительство железнодорожного моста через Неву, где довелось отработать целых три года.

Созревание характеров в те времена было стремительным. Сегодня еще ты щенок и за мамину юбку держишься, а завтра, смотришь, уже боец партии.

Никогда не забыть мне 9 января 1905 года. Вместе с колонной рабочих Невской заставы увязались в дальний путь к Зимнему дворцу и мы, совсем еще зеленые хлопцы. Рабочие шли с иконами, с пением молитв, обращенных к батюшке-царю. На Шлиссельбургском проспекте дорогу нам преградила полиция. Ввязываться в стычку никто не стал, молча сошли на невский лед и тронулись дальше по реке. Велика еще была вера в царскую милость, еще не грянули залпы.

В Александровском саду мы предпочли взобраться на деревья. Мы — это, конечно, мальчишки. С деревьев, думали, больше увидим. Увидели, все увидели своими глазами, а некоторые и попадали с заснеженных сучьев, сраженные первым залпом. После уж говорили, что первый залп был дан поверх людей, вроде предупредительного, он и угодил в мальчишек, взобравшихся на деревья Александровского сада.

Страшный был день: кругом стоны, проклятия, лужи крови на снегу. Мы с моим другом Алешей Васильевым спрыгнули с дерева, хотели бежать, но наткнулись на пожилого котельщика с завода «Старый Парвиайнен». Раненный в ногу, он не мог сам подняться, глухо стонал. Вдвоем с Алешей мы подхватили его под

руки и потащили в сторону Исаакиевского собора, подальше от смертоубийственных пуль.

В годы реакции, последовавшей после поражения революции, Невская застава, как и весь пролетарский Петербург, позиций своих не сдавала, продолжая борьбу с самодержавием. На Перевозной набережной, где мы жили в те годы, судьба свела меня со старым партийцем Михаилом Цветковым, или попросту с дядей Мишей. Ему приходилось скрываться от полиции, а мы, молодые рабочие, с охотой выполняли обязанности его связных. Идешь, бывало, в Дунькин переулок по указанному адресу, за пазухой у тебя пакет с листовками, а повсюду шныряют царские шпики, вынюхивают крамолу. Но ты-то неуловим и, если бы не сознание важности поручения дяди Миши, рассмеялся бы шпикам в лицо: вот вы, дескать, ищете, и не догадаться вам никогда, что спрятано у меня за пазухой.

Расстрел рабочих на Ленских золотых приисках всколыхнул весь город. Начались повсюду забастовки, митинги, демонстрации. Огромный митинг был и у нас на Семянниковском заводе. Прибыла, конечно, конная полиция, попытались разгонять, но тут молодые рабочие схватили обрезки железа, болты, гайки и начали забрасывать ими полицейских. Сорвать митинг не удалось.

Так вот и мужали мы от события к событию, набирались ума-разума. Лет двадцать мне было, когда впервые нагрянули полицейские с обыском, — сам околоточный надзиратель и трое городовых. Перерыли весь дом, искали большевистские листовки. И хоть ничего не нашли, забрали меня в участок, продержали там неделю. Для порядка, наверно, чтобы нагнать страху.

В другой раз просидел я три месяца. Это уж было в четырнадцатом году, после разгона большой антивоенной демонстрации на Шлиссельбургском проспекте. Тогда на улицу высыпала вся Невская застава, демонстрация была внушительная. В полиции меня сфотографировали, как положено в профиль и в фас, завели учетную карточку. «Ну, ты теперь у нас меченый», — шутили старшие товарищи.

Работал я в те годы не только на Семянниковском, но и на «Фениксе», и на «Новом Лесснере». Это были заводы революционные, с крепким влиянием большевиков.

В марте 1917 года по призыву Выборгской партийной организации я вступил в рабочую гвардию, которая создавалась на «Новом Лесснере», а затем в отряд красногвардейцев.

Никогда, наверно, сколько ни суждено прожить, не забуду апрельский светлый вечер. С быстротой молнии по заводам Петрограда распространилась радостная весть: в Россию

возвращается Легши. Нашему красногвардейскому отряду райком партии приказал в полном составе отправиться на Финляндский вокзал. Десятки тысяч рабочих запрудили всю привокзальную площадь. Освещенная прожекторами, она была похожа на бурлящее людское море. Настроение у всех праздничное, всюду слышны революционные песни, всюду плакаты и транспаранты, наспех намалеванные доморощенными художниками: «Да здравствует Ленин!», «Да здравствует революция!», «Рабочий привет родному вождю Ленину!».

Красногвардейцы выстроились на перроне вокзала. Тут же и караул из балтийских моряков во главе с товарищем Рошалем, духовой оркестр.

В одиннадцать часов ночи в туманной дали показались огоньки паровоза, и вскоре поезд остановился у перрона. Из пятого вагона вышел Владимир Ильич. Следом за ним появились Надежда Константиновна Крупская, Михаил Иванович Калинин, Яков Михайлович Свердлов и другие.

Что тут было! Отовсюду слышны приветственные крики: «Ленину— ура!», «Да здравствует товарищ Ленин!», вовсю гремит оркестр, лица людей сияют радостными улыбками.

Окруженный тесным кольцом моряков и красногвардейцев, Владимир Ильич вышел на площадь. Возле броневика его подхватили на руки, помогли взобраться на площадку. Гул людской мгновенно стих, и в наступившей тишине мы услышали пламенные слова вождя революции. Не стану их пересказывать, всем они теперь известны, скажу только, что произвели они на меня поистине неизгладимое впечатление.

Период от апреля до октября, до вооруженного восстания., был, как все знают, очень тревожным, наполненным ожесточенной классовой борьбой. В исторические часы подготовки к штурму Зимнего дворца мне посчастливилось быть на Дворцовой площади. Сводный наш красногвардейский отряд ворвался в главные ворота Зимнего, завязал рукопашную схватку с юнкерами. Короче говоря, Советскую власть мы утверждали с оружием в руках.

И дальнейшая моя биография, как мне думается, сложилась счастливо. Вскоре после победы Октября и разгрома контрреволюционных сил генерала Краснова наш отряд был направлен в распоряжение коменданта Смольного П. Д. Малькова. Сперва меня использовали там на второстепенных постах охраны, а затем доверили охрану Владимира Ильича Ленина. Пост этот считался у нас самым ответственным.

На этом посту, кстати, заработал я десять суток ареста, и, хотя отсиживать их не пришлось, до сих пор считаю, что

заработал правильно.

Случилось это так. Однажды со мной разговорилась Надежда Константиновна Крупская. Узнав, что я из-за Невской заставы, обрадовалась, начала расспрашивать про знакомых.

Владимира Ильича в тот вечер в Смольном не было, выступал где-то на митинге и вернуться должен был поздно.

— Знаете что, товарищ Щевьев, пойдемте-ка чай пить, — предложила Надежда Константиновна.

Я, понятно, отказался, сказал, что с поста уйти права не имею, да, видно, должной твердости не проявил. Короче говоря, зашел, и сели мы с Надеждой Константиновной пить чай с ржаными сухарями. Вот тут-то, как на грех, и появился комендант Мальков. Увидел меня со стаканом в руках, даже побледнел от ярости. Словом, марш на гауптвахту, десять суток ареста.

— Это я во всем виновата, — говорит Крупская коменданту. — Товарищ Щевьев мой старый знакомый…

Но Мальков был неумолим, и отсиживать бы мне свои десять суток, если б не заступничество Владимира Ильича. На следующий день все еще сердитый комендант велел мне идти к Ленину. Там встретила меня Надежда Константиновна, рассказала Владимиру Ильичу со смехом, как по ее вине чуть было не пострадал безвинный человек.

— Такой ли уж безвинный? — тоже смеясь, спросил Владимир Ильич, но, заметив мое смущение, добавил — Ладно, за одного битого двух небитых дают, не так ли, товарищ?

В обязанности часового, стоявшего у кабинета Ленина, входило, между прочим, и регулирование очереди посетителей. Никто не устанавливал этого порядка, но так уже повелось.

Очень хорошо запомнился мне один эпизод. День был приемный, а Ленин еще не появлялся. Я быстро переговорил с посетителями, сказал, кто за кем пойдет на прием, и в это как раз время приехал Владимир Ильич» С ним вместе в кабинет прошли Свердлов, Дзержинский, Володарский. Прошли и не выходят, а среди многочж> ленных посетителей волнение, неизвестно, скоро ли начнется прием и будет ли он вообще. Тогда я попросил идущего к Ленину Ярославского сказать, что в приемной собралось много народу. Видимо, это не входило в мои обязанности, но все мы тогда не считались с тем, какие у кого обязанности, каждый старался сделать как можно лучше. И действительно, едва закрылась за Ярославским дверь, как все находившиеся в кабинете сразу же вышли. Ленин, как я потом узнал, немедленно прекратил совещание и начал прием собравшихся людей.

Охранять Ленина мне довелось больше месяца, а затем

комендант Смольного назначил меня караульным начальником, больше уж на пост я не становился, а проверял службу других.

В феврале 1918 года многие красногвардейцы, и я в том числе, были направлены в молодую Красную

Армию. Попали мы в полк, который формировался в Новочеркасских казармах, а затем выехали на фронт. На полковом собрании меня избрали членом полкового комитета и председателем суда. Затем, после того как наш полк освободил от белых город Повенец, меня назначили председателем уездной Чрезвычайной Комиссии. Это была прифронтовая ЧК, и условия работы в ней оказались очень сложными. Дело в том, что через этот район в ту пору пробирались в Финляндию многочисленные контрреволюционеры — «контрики», как тогда говорили, — бывшие бароны, князья, генералы, помещики, капиталисты, придворная знать. Требовалась бдительность, чтобы преградить дорогу всей этой нечисти, так как бежали они, как правило, не с пустыми руками.

Опыта у нас было мало, еще меньше было специальных знаний, а вот революционного энтузиазма вполне достаточно. Верные своему долгу, мы иной раз справлялись с задачами, которые по плечу лишь весьма искушенным контрразведчикам.

Помню нашумевшую историю с задержанием крупной диверсионной группы в районе одного озера. Враги это были матерые, к нам пробирались на оленьих упряжках, вооруженные до зубов. И все же мы сорвали их замысел, как ни хитроумно они действовали. Трое диверсантов были убиты в перестрелке, — а троих мы доставили в Повенец. Но вот беда, по-русски они не понимают или делают вид, что не понимают, говорят только по-английски и по-фински, а в ЧК переводчика нет и допросить задержанных невозможно.

Связавшись по телефону с Петроградом, я получил приказ привезти их туда лично. Пока ехал до Питера, новый приказ, на этот раз от самого Дзержинского: доставить диверсантов в Москву, во Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию.

Дело прошлое, малость я тогда подрастерялся. Прибыл в Москву, привез диверсантов и сдал куда положено, а мне говорят: «С вами желает разговаривать Дзержинский». И вот я в служебном кабинете Феликса Эдмундовича, Вытянулся по-военному, доложил, кто я и откуда. Точными вопросами Феликс Эдмундович быстро выяснил все подробности нашей операции. Затем начал расспрашивать об условиях работы в прифронтовой ЧК, обратил внимание на неказистый мой вид. Одет я был действительно плохо: потертая куртка, перешитая из старой солдатской шинели, дырявые ботинки с обмотками, вытертая

папаха на голове.

По записке Феликса Эдмундовича мне в тот же день выдали шикарную кожаную куртку и новые сапоги. Еще выдали добротный маузер в деревянной колодке, сказав, что таково распоряжение председателя ВЧК и что соответствующий приказ будет прислан.

В апреле 1919 года, незадолго до наступления Юденича на Петроград, меня перевели в транспортную ЧК на Николаевской железной дороге (так называлась в то время Октябрьская магистраль). Работы стало еще больше. Правда, и опыта прибавилось, не прошли даром два года революционной борьбы.

Чем только не занималась в ту пору ЧК! Особенно на транспорте, где заметнее всего сказывались разруха и голод. Первостепенная задача заключалась в том, чтобы движение поездов между Москвой и Петроградом было обеспечено любой ценой. Вот мы и работали, урывая редкие часы для отдыха, а то и вовсе без отдыха. Выявляли спекулянтов и саботажников, боролись с кознями меньшевиков и эсеров, готовили оборонительные рубежи, распределяли хлеб, обеспечивая в первую очередь паровозные бригады.

Николаевский вокзал (ныне Московский), где мне в дни наступления белых на город довелось стать комиссаром, был превращен в грозную крепость обороны. На. крыше вокзала и на здании Северной гостиницы мы установили пулеметные гнезда, во дворе были подготовлены для стрельбы прямой наводкой трехдюймовые пушки. По инициативе чекистов железнодорожники в кратчайший срок оборудовали четыре бронеплощадки, приспособив для этого пульмановские платформы.

В самый критический момент, когда войска Юденича приближались к Колпину, мне сообщили из Москвы, что в Петроград выехал поезд с председателем ВЧК Ф. Э. Дзержинским.

— Встретишь Дзержинского — доложи обстановку, — сказал мне военный комендант Петрограда Авров. — Работы по эвакуации продолжай полным ходом.

В те дни мы по указанию Смольного готовили специальные составы с ценностями Государственного банка, а также с наиболее важными экспозициями Эрмитажа,

Русского музея и других сокровищниц искусства. Работа эта велась в строжайшем секрете и была поручена чеки-стам-транспортникам.

Литерный поезд из Москвы я встретил на перроне и, войдя в вагон, доложил Дзержинскому обстановку. Докладом моим Феликс Эдмундович остался доволен. Похвалил за четкую

организацию эвакуационных дел и за нашу инициативу с бронеплощадками. В заключение неожиданно дал строго секретное задание.

— Петрограда мы, конечно, не сдадим, — сказал Дзержинский, — однако на войне нужно быть готовым к худшему…

Задание было ответственным, но вступало в силу лишь в случае захвата города белогвардейцами. В кратчайший срок мне было приказано подготовить строго законспирированную группу особо надежных и проверенных людей для работы в подполье. Надо было позаботиться о документах, явочных квартирах, паролях, оружии, взрывчатке и многом другом, чего может потребовать жизнь от такой группы.

— Дополнительные указания вы получите в надлежащий момент, — сказал Дзержинский. — Действуйте инициативно и бесстрашно. Если они и ворвутся в Петроград, то ненадолго…

Надо ли говорить, что задание Дзержинского было выполнено самым тщательным образом. Группу я подобрал, позаботился обо всем необходимом. К счастью, до подпольной борьбы дело не дошло — банды Юденича были отогнаны.

Многое можно рассказать о незабываемых годах работы в ЧК. То были годы неслыханного революционного накала, когда от каждого из нас требовалась полная выкладка всех духовных и физических сил. Беречь себя, работать в полсилы было тогда невозможно. Никто бы тебе этого не простил.

Летом 1920 года состоялась еще одна памятная встреча с Владимиром Ильичем Лениным. В Петроград на конгресс Коминтерна стали съезжаться его делегаты. Приехали и были торжественно встречены Марсель Кашей, Эрнст Тельман.

По прямому проводу мне сообщили, что нужно обеспечить полный порядок при встрече Ленина, приезжающего из Москвы. Предупредили, что Владимир Ильич терпеть не может торжественных встреч и обилия охраны. «Учтите это, — сказали товарищи, — но и безопасность обеспечьте».

После петроградского заседания конгресс Коминтерна продолжил свою работу в Москве. Мне было приказано подготовить все к отъезду Ленина и сопровождать его до столицы. Задание ответственное, и я, конечно, немало поволновался, пока удалось все подготовить. Наконец наступил час отъезда. Жду у вагона. Вижу: быстрой походкой идет Владимир Ильич, а за ним Надежда Константиновна Крупская и Елена Дмитриевна Стасова. Вытянулся, отрапортовал.

— Здравствуйте, товарищ Щевьев! — сказал Ленин и протянул мне руку. — Вы ведь из питерских металлистов, не так

ли?

— До ЧК работал токарем.

— Где именно?

— На «Новом Лесснере», на Семянниковском…

— О, это очень боевые, революционные заводы Петрограда! — воскликнул Владимир Ильич и без всякого перехода сразу спросил: — Ну, а как дела на транспорте?

— Обстановка напряженная, Владимир Ильич. Главное, нет хлеба, вот в чем беда. Иной раз, чтобы обеспечить паровозные бригады, приходится…

Сообразив, что об этом, пожалуй, рассказывать не стоит, я замялся, но Владимир Ильич, конечно, настоял. И тогда я сообщил, что в иные дни положение до того крутое, что приходится мне идти в станционный магазин и, несмотря на протесты стоящих в очереди, забирать весь хлеб для паровозных бригад. Иначе ничего не выходит, иначе остановится движение поездов.

Выслушав меня, Владимир Ильич помрачнел, поду-, мал, а потом сказал, как бы отвечая на свои мысли:

— С хлебом мы положение улучшим. Это вопрос жизни или смерти. Непременно должны улучшить… А остановки движения ни в коем случае не допускайте…

Вспоминаю этот разговор по памяти спустя почти полвека, возможно, и не каждое слово Ленина передаю точно, но за смысл ручаюсь. Именно так все и было.

Оконфузился я при отправке поезда. Уже вошли все в вагон, уже попрощались с провожающими, а я все еще жду команды, находясь под впечатлением разговора с Владимиром Ильичем. Вдруг открывается вагонное окно, и я вижу лицо Ленина. Он смотрит на часы, хмурится:

— Почему поезд не отправляется, товарищ комиссар?

— Еще не было распоряжения, Владимир Ильич.

— Какого распоряжения? На отправку поезда? Значит, мы опаздываем?

— На три минуты, товарищ Ленин.

Ничего не сказав, Владимир Ильич с досадой махнул рукой и закрыл окно. Я, понятно, сразу подал знак начальнику станции, поезд медленно тронулся.

Уже в поезде, не находя покоя, я рассказал Надежде Константиновне о глупой своей оплошке.

— Нельзя ли мне зайти к Владимиру Ильичу и все ему объяснить?

— Подождите, товарищ Щевьев, сейчас узнаю, — сказала Надежда Константиновна и вошла в салон, где за столом работал

Ленин. Через несколько минут она вышла и принялась меня успокаивать:

— Не беспокойтесь, пожалуйста, Владимир Ильич и не думал на вас сердиться. Он понимает, что вы рабочий человек, на железной дороге недавно и, видимо, еще не поняли, какое значение имеет точность движения поездов. Владимир Ильич просил передать, чтобы не обижались, но принять вас не может, к утру ему нужно подготовить срочный документ.

На этом и разрешился неожиданный инцидент с опозданием поезда. Всю ночь я, разумеется, бодрствовал, выходил на остановках, где паровоз набирал воду, следил за порядком. И всю ночь горел свет в окне салон-вагона, всю ночь Ленин работал.

В Москву мы прибыли по расписанию. Прощаясь, Владимир Ильич подошел ко мне, взял мою руку обеими руками и, улыбаясь, сказал:

— Большое спасибо, товарищ Щевьев! Доехали мы с вами вполне благополучно и даже… вчерашнее опоздание, кажется, наверстали… Спасибо вам и до свидания!

Василий Васильев. ПОМОЩНИКИ ДЗЕРЖИНСКОГО

В Петроградскую ЧК меня направили летом 1918 года, сразу после выздоровления.

Делалось это по тем временам просто. Поправился товарищ, подзалечил фронтовые раны на лазаретной койке и вызывают его в партийный комитет: так, мол, и так, уважаемый Василий Александрович, есть мнение направить вас в Чрезвычайную Комиссию на должность начальника отдела и члена президиума.

Знаешь ли ты особенности и тонкости чекистской деятельности, имеешь ли соответствующие практические навыки — никого особенно не интересует. Обязан научиться, коли не знаешь, на то и большевик. Обязан в кратчайший срок стать умелым сотрудником ЧК, этого требуют от тебя интересы революции.

Партийный мой стаж был уже порядочный — с весны 1907 года. За плечами было подполье, имелся кое-какой опыт конспирации. Стало быть, рассуждали товарищи в партийном комитете, все остальное приложится.

Должен сказать, что в ЧК мне пришлось тяжеловато. В особенности на первых порах, пока не освоился и не присмотрелся, поучившись у более знающих работников.

Уж очень напряженное и сложное было время! На севере страны, в Архангельске и Мурманске, господствовали английские оккупанты, целясь на Красный Петроград— колыбель Октябрьской революции. Невиданно обострилась классовая борьба, находя свое выражение в контрреволюционных заговорах, террористических актах, саботаже, мятежах и восстаниях. Продовольственные трудности привели к расцвету спекуляции.

ЧК называли тогда «обнаженным мечом» пролетарской диктатуры. Но меч этот мог разить врагов лишь с помощью, причем самой повседневной, самой заинтересованной помощью, широчайших масс трудящихся. Иначе бы он оказался бесполезным и даже вредным.

Таких, как я, то есть не имеющих достаточного опыта, среди чекистов было много, а ведь бороться нам приходилось против сильных капиталистических разведок. Взять хоть Интеллидженс сервис, секретную службу английских империалистов с ее умением плести хитроумные интриги, с ее вышколенными кадрами. Разве можно было противостоять происках Интеллидженс сервис, своевременно разгадывая ее замыслы, без

поддержки рабочих, красноармейцев, матросов, крестьянской бедноты? Конечно- нельзя! Поддержка масс, помощь масс, своевременные сигналы добровольных помощников о каждом подоврительном факте — вот что составляло нашу силу.

Многое приходит на память, когда вспоминаешь первые годы Советской власти. Запомнилось мне, к примеру, как был раскрыт и ликвидирован знаменитый «Национальный центр» — контрреволюционная организация кадетов и монархистов.

Началось, как всегда, с малого. В июне 1919 года, в дни ожесточенных бое© с Юденичем, недалеко от Луги был перехвачен вражеский курьер. Точнее, перехватить его не удалось. Окликнутый красноармейцами, курьер бросился бежать и был убит.

Среди найденных у него вещей сказался портсигар с папиросами. С виду самый обыкновенный, такие косили офицеры, да и то небогатые. И папиросы обыкновенные, дешевенькие. К счастью, никто их не раскурил. К счастью потому, что при тщательном исследовании в мундштуке одной папиросы нашли записку на тончайшей рисовой бумаге.

Записка была шпионским донесением, адресованным заместителю Юденича генералу Родзянко. Подписал ее какой-то Вик, руководитель контрреволюционной организации, действующей в Петрограде. Из записки следовало, что организация эта наладила связи с Москвой и готовится к известной генералу Родзянко акции.

О случившемся мы немедленно доложили Дзержинскому. Сразу же по указанию Феликса Эдмундовича в Петроград были командированы начальник Особого отдела ВЧК М. С. Кедров и его заместитель И. П. Павлуновский. Михаил Сергеевич Кедров отлично знал Петроград. Это был профессиональный революционер ленинской школы и замечательный человек — неподкупно честный, принципиальный, требовательный к другим и прежде всего к самому себе.

Началась кропотливая работа, потребовавшая от всех нас немалых усилий. С самого начала было ясно, что Вик — это всего лишь псевдоним и что расшифровать, кто за ним скрывается, будет весьма затруднительно. Тем более в Петрограде, где немало еще враждебных элементов.

Зато нам повезло с установлением личности курьера. Удалось точно доказать, что курьером к белогвардейцам направлялся некий Александр Васильевич Никитенко, бывший поручик и сослуживец Булак-Балаховича. Под Лугой его родители имели до революции поместье, там-то он и отсиживался, перед тем как перейти линию фронта. Но дальше дело, к сожалению, не

двинулось. Обыски у родственников убитого курьера не прибавили ничего существенного к тому, что мы уже знали.

И вот однажды приглашает меня к себе Николай Павлович Комаров, начальник Особого отдела Петроградской ЧК. Знал я его еще со времен подполья и по привычке называл не Николаем Павловичем, а Федей — такова была его партийная кличка.

— Почитай, пожалуйста, — говорит Федя, — любопытный, по-моему, документик…

Читаю и не могу взять в толк, какое это имеет отношение к интересующему всех нас вопросу. Из документа видно, что в квартире некоей мадам Губченко в Кирпич-; ном переулке собираются по вечерам довольно подозрительные субъекты. По профессии мадам Губченко числится массажисткой и ходят к ней якобы на лечебные процедуры, а в действительности устраивают там пьянки.

— Ну и что? — срашиваю.

— А то, — говорит Федя и едва приметно улыбается, — что нужно тебе, дорогой Василий Александрович, навестить эту дамочку. Явиться, так сказать, с частным визитом… Возможно, и массаж понадобится сделать, ничего, братишка, не попишешь…

— Да ты в своем ли уме, Федя? Это с моей-то внешностью лезть в буржуйский дом! Да она и разговаривать не захочет, сразу догадается что к чему…

— А ты не прибедняйся, — говорит Федя уже серьезно. — Внешность у тебя вполне симпатичная. Приоденешься, конечно, не в кожанке пойдешь… Ну и разговор надо вести светский, обходительный…

Короче говоря, на следующий день меня, как говорится, и родная мать не смогла бы узнать, до того стал пижонистым господином! Превосходный офицерский френч, только погон нет, сапоги с твердыми голенищами, модное галифе. Иду в Кирпичный переулок и опасаюсь, как бы патрули по ошибке не замели, испортят мне всю обедню.

Звоню. Дверь открывает горничная в белой кружевной наколке. Как положено в благородных домах, спешит доложить барыне. А вот и сама барыня, дебелая представительная дамочка лет под пятьдесят, явно из молодящихся.

— Разрешите представиться — полковник Васильчиков! — рекомендуюсь я и для верности сую визитную карточку.

— Чем могу служить?

Не очень-то любезна мадам поначалу, но я не обращаю внимания, продолжаю «светскую» болтовню, стараясь понравиться и произвести впечатление. Желал бы, дескать, принять несколько сеансов массажа, тем более врачи усиленно

рекомендуют. Не согласится ли мадам помочь, а что касается гонорара, то это для меня не столь важно. Наслышан, дескать, о золотых ее пальчиках и смею надеяться на сочувственное к себе отношение…

Наконец приглашают во внутренние покои. Обстановка в комнатах шикарная, чувствуется, что живет дамочка в достатке. Усаживаемся в кресла, беседуем.

Мало-помалу ледок настороженности тает, и мадам дает согласие помочь, назначает время. Тогда я завожу разговор более общего характера. Сперва осторожно, а затем все более определенно высказываю свое отношение к существующим порядкам в городе, жалуюсь на свое опостылевшее одиночество. Как бы между прочим, показываю документы. Сработаны они мастерски и, разумеется, производят должное впечатление.

Мадам явно кокетничает с франтоватым молодым полковником. Говорит, что по вечерам у нее бывает общество. Наведываются иногда и особы весьма осведомленные.

— В чем осведомленные? — наивно спрашиваю я.

— Ну мало ли в чем. К примеру, в предстоящих вскоре переменах…

Для первого знакомства решаю особенно не нажимать, чтобы не вызвать подозрения, вежливо прощаюсь и ухожу. Мадам — сама любезность. Провожает до двери, улыбается, хихикает.

Рассказывать обо всех моих визитах довольно долго, да и неинтересно. Скажу только, что вполне они себя оправдали и принесли нам немалую пользу.

В назначенный срок на квартире у мадам Губченко был произведен внезапный обыск. Удалось захватить довольно важных птиц из вражеского подполья, а самым значительным среди них оказался Вильгельм Иванович Штейнингер, довольно крупный деятель кадетской партии и видный столичный фабрикант, глава фирмы «Фосс и Штейнингер».

Не сразу, конечно, выяснилось, что почтенный фабрикант и таинственный Вик — одно и то же лицо. Штейнингер упорно все отрицал. На квартире у него обнаружили отпечатанные на восковке антисоветские воззвания. Не моргнув глазом, он заявил, что знать ничего не знает, а воззвания эти к нему подброшены. Начали его уличать сообщники, прямо говорят, что именно он являлся руководителем петроградского филиала «Национального центра», — все равно отпирается.

Но веревочка, говорят, сколько ни вьется, а конец бывает. Так вышло и с этим отъявленным врагом Советской власти. В конце концов под тяжестью улик он вынужден был сознаться.

Вскоре после этого я был переведен в Москву, во

Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию, где принимал участие в окончательной ликвидации «Национального центра».

Великое счастье было работать под руководством Феликса Эдмундовича Дзержинского.

О Дзержинском написано немало. Всех, кто его знал, кто был с ним знаком, работал, неизменно поражала кристальная чистота натуры председателя ВЧК, его неутомимая энергия, умение всего себя отдать служению партии.

Меня в. Феликсе Эдмундовиче поражала удивительная мягкость и сердечность в обращении с людьми… Придешь к нему с докладом, дело крайне важное, не терпящее. отлагательств, а он прежде спросит, как здоровье, почему сегодня такой бледный, снова, наверное, не выспался, сидел всю ночь напролет.

Никогда не забуду случай, который взволновал меня и запомнился на всю жизнь. Проводили мы весьма ответственную и нелегкую операцию, кстати, по личному заданию Дзержинского. Домой я вернулся поздно, что-то в третьем или четвертом часу ночи. Только прилег — телефонный звонок. В трубке виноватый голос Феликса Эдмундовича:

— Послушай, товарищ Васильев, знаю, что ты устал, и очень прошу извинить за беспокойство… Только что звонил Владимир Ильич, он очень интересуется этим вопросом… Словом, не мажешь ли приехать на часок? Машину я вышлю…

— Еду, Феликс Эдмундович! — ответил я, искренне не нанимая, почему это извиняется председатель ВЧК: ведь сам он еще работает, и Владимир Ильич бодрствует, несмотря на поздний час, а передо мной вдруг извиняются за беспокойство.

Но таков был Дзержинский. Твердый и безжалостный к врагам Советской власти, он становился воплощением доброты и человечности, когда нужно было помочь товарищу.

И все мы, его помощники, его ученики, старались в меру своих сил быть похожими на Дзержинского.

Иван Батенин. ПАРОЛЬ — 13, ОТЗЫВ — 57

I

Июльским вечером 1918 года прохожие на Арсеньевской улице стали невольными свидетелями довольно странного происшествия. Двое неизвестных быстро нагнали шедших впереди мужчин и без всякой видимой причины затеяли с ними драку. Раздался выстрел. На помощь нападавшим подбежали еще двое. Один из оборонявшихся кинулся бежать, за ним погнались.

Как всегда в подобных случаях, собрался народ. Молодой мужчина, которого крепко держали за руки, взывал к толпе:

— Люди добрые, что же вы смотрите! Эти бандиты хотят нас ограбить!

— Безобразие! — раздались возмущенные голоса. — Нарвская шпана совсем распоясалась!

— Надо еще разобраться, где тут шпана, — с достоинством ответил один из затеявших драку. — Беляка мы поймали, отъявленную контру, а вы говорите — шпана.

II

Происшествие на Арсеньевской улице было, разумеется, неслучайным. Недели за две до него слесарь Путиловского завода Петр Васильков возвращался домой с работы. На Петергофском шоссе повстречался ему Николай Корольчук. Хотя и не были они друзьями, но, не видевшись долго, разговорились. Корольчук пожаловался на трудности городской жизни, сказал, что надумал, было, уехать в деревню, а на днях появилась другая, более интересная возможность. Предложили ему, оказывается, работу, причем на весьма выгодных условиях. Заработок не менее тысячи рублей и на дорогу дают тысячу.

Василькова это заинтересовало. Еще больше он заинтересовался, когда узнал, что Корольчука приглашают работать где-то на севере, не то в Мурманске, не то в Архангельске. «Как же это возможно? — думал Васильков. — Там хозяйничают англичане, а в Питере туда набирают на работу?»

Попрощавшись, Васильков направился домой. Из головы не выходила эта удивительная новость. И чем больше он думал об

этом, тем тревожнее становилось на душе. Нет, тут что-то неладно. Надо посоветоваться со Степаном Дедовым. Человек он знающий, толк в таких вещах понимает.

Степан Дедов вот уже полгода работал в следственной комиссии Нарвского района. Дел у него было по горло, и он частенько задерживался на новой службе до поздней ночи.

Васильков застал старого заводского товарища в служебном кабинете и сразу выложил все свои сомнения.

— И мне это кажется непонятным, — задумчиво сказал Дедов. — Знаешь что, друг дорогой, нечего нам строить догадки, надо сообщить об этом в Чека, она небось разберется. Давай завтра и поедем вместе. Это правильней, чем попусту гадать…

На другой день они были приняты Урицким — председателем Петроградской Чрезвычайной Комиссии. Васильков подробно рассказал о своем разговоре с Корольчуком.

— Молодцы, что пришли, — одобрил Урицкий. — Империалисты, как известно, начали интервенцию. Они открыто и тайно используют наших классовых врагов. Надо поэтому критически оценивать малейший подозрительный факт…

Позвонив по телефону, Урицкий попросил зайти к нему члена президиума ЧК Бокия.

— Знакомься, Глеб Иванович, — сказал он, представляя путиловцев, и кратко изложил суть дела.

— Сигнал, по-видимому, серьезный, — заметил Бокий. — Это, Моисей Соломонович, чем-то напоминает проводившийся в начале нынешнего года набор бывших офицеров в войска Каледина. Феликс Эдмундович лично занимался этим делом.

Затем Урицкий и Бокий задали несколько вопросов, касающихся личности Корольчука. Васильков сказал, что работает тот автослесарем в гараже, что знает его Васильков около года, но близко никогда не общался.

— А как вы посмотрите, друзья, если мы попросим вас оказать нам кое-какое содействие? — спросил Урицкий.

Оба путиловца, видно, не ожидали такого оборота дела. После небольшой паузы Дедов сказал:

— Надо, значит надо. Я согласен, как ты, Петр?

— И я согласен, — сказал Васильков.

Бокий усмехнулся:

— Товарищ Васильков положил, можно сказать, доброе начало, не выказав Корольчуку своих подозрений и не отговаривая его от поездки. Это облегчит нам проверку…

III

Как и было условлено, через день Корольчук зашел к Василькову на квартиру. Опять начался разговор о поездке на север.

— Ну, а ты как, хочешь ехать? — спросил Корольчук.

— Я уже решил, — сказал Васильков. — Условия подходящие. Я даже с одним своим приятелем сговорился, он тоже не прочь. Помоги нам обоим…

— Да я, видишь ли, с тем человеком сам незнаком. Могу через своего сослуживца разузнать, а там договаривайтесь.

— Вот и хорошо. Ты с ним поговори, а после зайдешь ко мне и скажешь. Или мне к тебе зайти?

— Договоримся так: завтра я переговорю, а когда он даст ответ, загляну к тебе.

— Заранее тебе спасибо, — поблагодарил Васильков.

Но прошло пять дней, а Корольчук все не приходил.

Васильков начал нервничать. А что, если, думал он, по каким-либо причинам с ними не пожелают встретиться?

Но, Корольчук все же пришел. Сказал Василькову, чтобы явился к нему со своим приятелем, попросил не опаздывать.

Обрадованный Васильков помчался к Дедову.

— Готовься, Степан. Только что был Корольчук, завтра идем к нему…

— Добрые вести ты принес, а я, по правде, говоря, уже волновался, — сказал Дедов. — Теперь давай позвоним Урицкому…

На следующий день, а это было 19 июля, Дедов зашел на квартиру Василькова, и они отправились к Корольчуку.

IV

Погода стояла теплая, на улицах было много народу. Разговаривая, друзья незаметно подошли к дому Корольчука. Это был деревянный двухэтажный домишко, каких немало на рабочих окраинах.

Квартира Корольчука оказалась на первом этаже. Васильков постучал, и через минуту они были в комнате, где кроме хозяина находились двое незнакомцев. Васильков поздоровался с Корольчуком и познакомил его с Дедовым, а Корольчук представил незнакомцев. Один из них назвал себя Александром, а другой Михаилом. На вид им было лет по тридцать. Оба подтянутые, со строевой, военной выправкой.

— Вам, конечно, известно, по какому делу мы пришли? — спросил Васильков.

— Догадываюсь, — быстро ответил Михаил.

— Очень вас просим, — сказал Дедов, — устройте нас обоих.

— Что ж, это, пожалуй, можно, — ответил тот, что назвал себя Александром. — Есть возможность поехать на работу в судостроительно-ремонтной конторе на Мурмане. Условия вам известны?

Васильков и Дедов дружно закивали головами. Александр записал их адреса, а затем выдал под расписку по тысяче рублей.

— Через неделю вам надлежит прибыть в Повенец, а там вас встретят наши люди. Скажите, что прибыли от меня. До Повенца придется добираться без документов, учтите это. Остерегайтесь проверок и облав, а то еще влипнете в историю…

Разговаривали с ними, как с сообщниками, не считая даже нужным таиться. И сразу собрались уходить, видимо решив, что дело закончено.

— Послушайте, господа, — обратился к ним Дедов. — Раз и вы едете в Повенец, давайте тронемся вместе.

— Это невозможно, — сухо сказал Александр. — Как условились, так и действуйте, в Повенце вас встретят…

Наскоро попрощавшись, они ушли, а вслед за ними, выждав минуту, выскочили на улицу и Васильков с Дедовым. И сразу увидели, что план их рушится. Вместо того чтобы идти на улицу, оба вербовщика быстрым шагом уходили через проходной двор. Это непредвиденное обстоятельство спутало все карты — ведь на улице вербовщиков ожидали чекисты.

Раздумывать было некогда: вербовщики вот-вот скроются. Друзья решили задержать их своими силами.

О том, что произошло дальше, уже известно. Остается лишь добавить, что неизвестными, подбежавшими на помощь путиловцам, были чекисты Иванов и Кулев.

V

Одного из вербовщиков, тога, что кинулся удирать, подстрелили, а другого, назвавшегося Михаилом Логиновым, привезли на Гороховую.

Допрашивал его Урицкий. Сперва Логинов пытался крутить, но когда ему предъявили найденные у убитого документы, понял, что ложь бесполезна.

Рассказывал Логинов все по порядку. Таким образом, в руках ЧК оказались ценнейшие сведения о вражеской организации, занятой переправкой бывших офицеров на север. Узнали чекисты и пароль, с которым должны прибывать завербованные.

— Тринадцать, — должен был сказать каждый, кто являлся на сборный пункт.

— Пятьдесят семь, — отвечали ему.

Это означало, что прибыл свой человек, которого можно рекомендовать англичанам.

VI

Через несколько дней на станции Чебсара, что распой ложена между Череповцом и Вологдой, сошли с поезда несколько пассажиров. Встречал их, зорко всматриваясь в каждое лицо, грузный черноусый мужчина. Видно, не все пассажиры интересовали его, а лишь некоторые, по какому-то одному ему известному признаку. И приехавшие, в свою очередь, не обращали на него никакого внимания. Лишь один подошел вплотную, тихо шепнул.

— Тринадцать.

— Пятьдесят семь, — ответил черноусый.

— Будем знакомы, штабс-капитан Королев, — представился приехавший.

— Полковник Зверев.

— Просто гора с плеч, наконец-то добрался!

— Дорога была опасной?

— С моей липой можно хоть до Мурманска ехать, — самодовольно засмеялся Королев.

— А кто вас направил, если не секрет?

— Об этом поговорим после…

— Чего же секретничать? От Ковалевского вы, я знаю. Между прочим, позавчера к нему поехал наш человек.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего страшного. Дела, в общем, идут неплохо. Несколько групп уже отправили. Правда, с финансами кое-какие затруднения. Михаил Александрович ездил к Гилеспи в Вологду, да не застал на месте…

Так, обмениваясь короткими фразами, они дошли до небольшого деревянного домишки на окраине Чебсары.

— Вот здесь я и обитаю, — сказал черноусый, приглашая гостя заходить. — Жаль, что сматываться надо…

— Это почему же?

— Опасно становится. Уже две недели живем без регистрации, как бы хозяйка не донесла…

— Ничего, хозяйку умаслим, — сказал Королев, с любопытством оглядывая помещение приемного пункта.

— Право, не знаю, удастся ли. Впрочем, вечером вернется шеф, пусть он и решает, — сказал черноусый и вышел из комнаты распорядиться насчет чая.

Королев выглянул в окно. Неподалеку на пустыре разговаривали о чем-то двое мужчин. Королев сделал им незаметный знак и захлопнул окно.

Все дальнейшее произошло мгновенно.

— А ну-ка, руки!

Полковник Зверев побледнел, кинулся было к двери, но наткнулся на входивших помощников Королева и замер с поднятыми вверх руками. На лице его было смятение.

— Лавочке вашей конец, господин Зверев, — усмехнулся Королев. — Поработали на англичан и хватит…

Вряд ли необходимо объяснять, что «штабс-капитан» Королев был оперативным сотрудником Петроградской ЧК Михаилом Ивановичем Ивановым, тем самым, что помог путиловцам задержать вербовщиков на Арсеньевской улице.

Вечером Михаил Иванович задержал и «шефа». О нем еще в Петрограде было известно, что это чрезвычайно опасный преступник.

— Будьте осторожны, — предупредил Урицкий. — Этот Куроченко пойдет на все…

Но обошлось все благополучно. Не успел шеф переступить порог комнаты, как был схвачен.

— Эх, шляпы мы, шляпы, надо было раньше менять квартиру! — только и успел он сказать.

— Все равно бы не ушли, — ответил Иванов.

При обыске у полковника Куроченко обнаружили пистолет, гранаты, а главное — списки завербованных офицеров и поддельные документы, при помощи которых переправляли людей в Мурманск и Архангельск.

VII

Провал конспиративной квартиры белогвардейцев на станции Чебсара был лишь звеном большой операции, проведенной Петроградской ЧК.

Михаил Иванович со своими товарищами еще несколько дней оставался в Чебсаре, где встречал по паролю и задерживал завербованных белогвардейцев.

В те дни проводились операции и в других местах Вологодской и Олонецкой губерний. В районах Череповца, Повенца, на станции Дикая было арестовано более пятидесяти

бывших офицеров. Небольшими группами, по три — пять человек, имея поддельные командировочные документы, они пробирались к интервентам.

Ряд участников организации, в том числе и ее руководитель Ковалевский, был задержан в Петрограде.

Выяснилось, что вербовки белогвардейцев на Север начались еще в начале 1918 года. Англичане считали эту работу одним из условий успешного захвата северных районов страны. Помогали им бывшие офицеры, чиновники, эсеры, пробравшиеся на работу в Управление Мурманским районом (Главнамур) и в Мурманский Совет. Особенно коварно действовал начальник штаба Главнамура махровый белогвардеец Веселаго, маскировавший до поры до времени свою контрреволюционную сущность.

Этот Веселаго еще в конце 1917 года по поручению своих хозяев прибыл в Петроград, где имел «деловые» встречи с военно-морским атташе английского посольства Кроми.

Находившийся в Вологде английский разведчик Гилеспи установил с Ковалевским тесный контакт, оказывая финансовую помощь делу вербовки врагов Советской власти.

Петроградская ЧК своевременно раскрыла замыслы контрреволюционеров. Большая заслуга в успехе этой операции принадлежала путиловским рабочим Василькову и Дедову.

Николай Бахтюков. ПОДВИГ НИКОЛАЯ МИКУЛИНА

У раскрытого окна стоит молодой человек. Ему всего двадцать два, но выглядит он гораздо старше. Глаза у нега глубоко запавшие, на лице следы бессонницы. С удовольствием он вдыхает прохладный осенний воздух, смотрит на хмурое небо, низко нависшее над крышами домов. Затем переводит взгляд на давно не крашенный забор, густо заклеенный плакатами. На самом большом и ярком — красноармеец с винтовкой. Красноармеец спрашивает в упор: «Что ты сделал для разгрома Юденича?»

— Да, не худо бы свернуть ему шею! — говорит молодой человек мечтательно. — Ко второй годовщине революции, славно бы получилось…

— О ком это ты? — подает голос другой, по виду лет сорока.

— Да о ком же еще, о Юдениче…

— Ты ему шею мечтаешь свернуть, а он на Питер целится. Заметил, кстати, как у нас в Гатчине чисто стало?

— Заметил. Что ж из того?

— Да ничего. Просто господа домовладельцы готовятся встречать своих освободителей….

— Вот гады! — взорвался молодой человек. — К стенке их, сволочей!

— Нет, Николай, стенкой вопроса не решишь. На фронтах надо побеждать. Тогда небось и домовладельцы притихнут…

Николай помолчал, потом с хрустом потянулся:

— Эх, на Ящеру бы махнуть! Порыбачить денек, искупаться.

Товарищ его удивился:

— Купаться? В такую-то холодину? Хотя что ж… В твои годы и я бы, наверно, полез…

— Искупаешься тут, как же! Выспаться и то не дают…

— Что ж ты, Коля, думал? В Чека тебя спать взяли? Вот покончим с беляками, тогда и отоспимся.

— Нет, тогда я учиться пойду. Опять будет некогда… В дверь постучали. Вошел скуластый мотоциклист в кожаной куртке:

— Товарищу Микулину вызов из Петрограда… Николай взял протянутый ему конверт. Его срочно вызывали на Гороховую.

В подъезде серого дома на Гороховой улице часовой внимательно проверил документы.

— Оружие при себе?

— Именное! — тряхнул головой Микулин. — За Красную

Горку.

— Проходи!

В небольшой комнате, выходившей окном во двор, его уже ждал начальник отдела, которого Микулин знал по прежним встречам.

— В Нарве бывал? — спросил он.

— Случалось. У меня там дядя. В депо работает…

— Это хорошо, — сказал начальник. — Ты ведь тоже в депо работал?

— В гатчинских мастерских, подручным токаря.

Наступила пауза. Потом начальник спросил, глядя прямо в глаза Микулину:

— Как думаешь, мог бы твой дядя пристроить тебя на работу?

Николай вскинул голову.

— Так Нарва же это… Там же…

— Белые, хочешь сказать? В том-то и дело, товарищ Микулин. Имеются у нас сведения, что готовят они наступление. Надо бы кое-что разведать… Соображаешь?

Сердце у Николая тревожно екнуло. Но он справился с волнением и спросил как можно спокойнее:

— Что нужно сделать?

— Товарищи всё расскажут тебе. Получишь документы— и в путь! Будь осторожен, на рожон зря не лезь.

— Постараюсь, если это будет возможно! — пообещал Николай и улыбнулся.

Таким он и вышел из дома на Гороховой — с улыбкой на лице. Похожим на свое изображение на единственной уцелевшей фотографии, которая осталась в память об этом бесстрашном чекисте.

К сожалению, сведения о Николае Семеновиче Микулине крайне скудны. Известно, что в мае 1917 года стал он большевиком, что в августе вступил в красногвардейский отряд.

Когда над взбудораженной Невой раскатился выстрел «Авроры», эхо его разнеслось по всему миру. Красногвардейцы Гатчины рвались в бой. Но их было всего двадцать пять человек. И это в городе, запруженном верными Временному правительству казачьими полками! Тогда Смольный прислал в Гатчину храброго балтийского матроса Павла Дыбенко. В логово врага он заявился на стареньком санитарном автомобиле, без охраны, вооруженный лишь большевистской правдой. Казачьи есаулы могли, конечно, в любую минуту растерзать посланника партии. Но они не решились, и вскоре на самой большой площади города забурлил митинг.

Известно, что на митинге этом выступал и Николай Микулин.

Молодой, горячий, с вдохновенным лицом, он бросал в толпу казаков раскаленные слова.

— Мне двадцать лет, — говорил Микулин. — Из них семь я отработал, чтобы жили в роскоши всякие Романовы, керенские и прочая свора. Сколько же еще на них работать? Настало время сделать мир справедливым для всех…

И площадь ответила ему громогласным «ура». А вскоре из Гатчины во все концы России полетела теле-, грамма. Казачий совет 3-го корпуса извещал о том, что Керенский позорно скрылся. В телеграмме говорилось: каждый, кто встретит беглеца, обязан арестовать его как труса и предателя.

Утром следующего дня гатчинские красногвардейцы приняли первый бой — из Луги Борис Савинков двинул свой «батальон смерти». Отрядом красногвардейцев командовал Николай Микулин.

Известно еще, что в начале 1919 года партия направила Микулина на работу в ЧК.

Летом того же года вспыхнул мятеж на Красной Горке. В составе специального отряда Микулин занимался ликвидацией этой авантюры. За мужество в бою был награжден именным маузером.

Вот и все, что известно о Николае Микулине. А спустя некоторое время этот самый именной маузер был найден и приоткрыл тайну гибели молодого чекиста.

Было так.

Прорвав фронт, войска Юденича двигались на Петроград. Навстречу врагу вышел бронепоезд имени Ленина. Построенный путиловскими рабочими, он под командой комиссара Ивана Газа появлялся всегда на самых трудных участках.

Стальная громада бронепоезда двигалась медленно, осторожно. Иван Газа неотрывно смотрел в бинокль. И вдруг впереди, там, где рельсы, тускло поблескивая под неярким осенним солнцем, сворачивали вправо, показался дымок. Что это? Неужто вражеский бронепоезд?

Газа велел притормозить. Пушки путиловского бронепоезда грозно нацелились в сторону врага. Но из-за поворота выскочил… паровоз. Но почему же он не тормозит, почему не дает сигнала? Эдак и столкнуться недолго…

Раздумывать было некогда.

— Огонь! — приказал комиссар.

Пушки изрыгнули пламя. Артиллеристы бронепоезда хорошо пристрелялись в боях, и первый же залп угодил в цель. Паровоз дернулся, качнулся и рухнул под откос, не добежав до

бронепоезда всего несколько метров.

Газа опустился на насыпь. Вслед за ним спрыгнули еще несколько бойцов. Они подошли к дымящейся груде развороченного металла. Ну а где же паровозная бригада? Или хотя бы машинист? Ведь кто-то вел этот паровоз?

— Понятно! — сказал комиссар. — Дали паровозу ход, а сами выпрыгнули… Готовили нам ловушку…

Шипели залитые водой угли. Иван Газа носком сапога ковырнул какой-то предмет. Уж не револьвер ли это? Так и есть! Осторожно, боясь обжечься, комиссар поднял еще теплый, полуобгоревший маузер. На револьвере была какая-то надпись. С трудом разбирая почерневшие буквы, Иван Газа медленно прочел гравировку.

— Это личное оружие чекиста Николая Микулина, — сказал комиссар. — Он был награжден за храбрость в бою…

— А как же попало оно на паровоз? — удивился машинист бронепоезда. — Ведь он же шел оттуда…

Комиссар пожал плечами. Откуда он мог знать, что произошло с этим неизвестным ему чекистом.

А с Николаем Микулиным произошла беда. Когда Юденич взял Ямбург, молодой чекист остался в захваченном городе. По заданию руководства он должен был вести здесь подпольную работу — собирать разведывательные данные, поддерживать местных большевиков, готовить верных людей к предстоящему контрнаступлению Красной Армии.

Николаю удалось установить нужные связи, завоевать доверие железнодорожников. В Петроград, на Гороховую, стали пробираться связные из Ямбурга: они несли сведения о передвижениях белых войск, о паровозах и вагонах, об артиллерийских батареях и складах.

Знали Микулина под кличкой Племянник. Лишь руководителю местной партячейки было известно его настоящее имя. Конспирация казалась надежной. И все же нашелся предатель, выдавший чекиста белым контрразведчикам.

Николай сразу почувствовал их внимание к своей особе. И догадался, почему не взяли его сразу: белые хотели выявить все его знакомства.

Племянник решил уйти из Ямбурга: пользы он принести больше не мог. Надо было только повидать одного человека, передать ему кое-какие материалы.

Приняв все меры предосторожности, он отправился по нужному адресу. На железнодорожных путях, возле депо, его схватили. Чекист рванулся, но два дюжих офицера повисли на нем, заломив назад руки. Подбежал штабс-капитан, начальник

контрразведки дивизии.

— Попался, большевик! Держите его крепче! Сейчас я ему развяжу язык…

Глаза у штабс-капитана были бешеные, рука судорожно расстегивала кобуру.

— Заткнись, контра! — спокойно сказал Николай и плюнул ему в лицо. — Ничего от меня не услышишь…

Изловчившись, он попытался вырваться и ударил штабс-капитана ногой. Тот скорчился от боли, захрипел. И тогда офицер, стоявший сзади, ударил прикладом в висок. Брызнула кровь, чекист свалился на землю.

Штабс-капитан подошел, пнул его носком сапога.

— Некогда с ним возиться, — небрежно процедил он и отвернулся, раздосадованный неудачей.

— А куда его?

— К большевикам отправим…

— Как это?

— Очень просто. Вот этот паровоз пойдет сейчас навстречу красному бронепоезду — пусть поцелуются на путях… Забросьте большевика в будку. А чтобы не озяб — суньте в топку…

Офицеры захохотали.

Остальное мы уже знаем.

У Юлиуса Фучика есть определение героизма. «Герой, — писал Фучик, — это человек, который в решительный момент делает то, что нужно делать в интересах человеческого общества».

Слова эти как нельзя лучше подходят к Николаю Микулину. Вся его короткая жизнь была решительным моментом, и прожил он ее как герой.

Ариф Санаров. ХРОНИКА ОДНОГО ЗАГОВОРА

1

События, о которых пойдет наш рассказ, происходили в 1919 году, в позднее осеннее ненастье. В ту невыразимо тяжкую осень, когда над молодой республикой Советов, как писали газеты тех дней, сгустились «свинцовые тучи международной контрреволюции».

Республика была в огненном кольце.

На Москву, мечтая о малиновом благовесте сорока сороков первопрестольной, дерзко лез генерал Деникин. В далекой Сибири, на обширных пространствах за рекой Тоболом, творили суд и расправу вешатели адмирала Колчака. Архангельск и Мурманск все еще были оккупированы английскими десантами, во Владивостоке хозяйничали японцы и американцы.

Смертельная угроза нависла и над Красным Петроградом.

К городу-бунтарю, первым поднявшему победное знамя Октября, неудержимой лавиной катилась армия генерала Юденича.

Пала Гатчина. Спустя три дня белогвардейцы захватили Павловск и Царское Село. По ночам конные разъезды врага проникали в предместья города.

В погожий солнечный день, какие случаются иногда и в октябре, на передовые позиции изволил прибыть Николай Николаевич Юденич.

Как всегда, главнокомандующий был хмур и неразговорчив. Кряжистый, почти квадратный, с замкнутым наглухо лицом солдафона и крутой бычьей шеей, он и впрямь был похож на кирпич, подтверждая данное ему острословами прозвище.

Наступление развивалось успешно.

Ехавшие вместе с Юденичем генерал Родзянко и в особенности Глазенап, только что произведенный в генералы и назначенный петроградским градоначальником, всю дорогу шутили, пытаясь его развеселить, а он лишь топорщил моржовые вислые усы, важно отмалчивался. И взобравшись на вершину крутой горы, где солдаты саперного взвода устроили наблюдательный пункт, не произнес ни слова. Встал чуть впереди многочисленной свиты, по-наполеоновски скрестил руки, молча рассматривая открывшуюся с горы панораму.

— Господа, ясно различаю Невский проспект! — по-мальчишески восторженно крикнул Глазенап, отрываясь от окуляров полевого бинокля. — Бог ты мой, красотища-то какая! И купол святого Исаакия вижу! И адмиралтейскую иглу! Не угодно ли полюбоваться, ваше превосходительство?

Радость Глазенапа. была понятна свитским чинам, но Юденич почему-то не ответил и не взял протянутого бинокля. Наступила довольно неловкая пауза. Все начали переглядываться, поведение Кирпича было необъяснимо загадочным.

— А зачем нам, собственно, бинокли? — нашелся Родзянко, прервав затянувшуюся паузу. Племянник бывшего председателя Государственной думы, Александр Павлович Родзянко считал себя искусным политиком, которому волей-неволей надо было выручать этого провинциального бурбона, ошибочно назначенного в главнокомандующие. — Нет уж, господа, увольте, обойдемся без биноклей! Дня через два сами будем разгуливать по Невскому, успеем еще налюбоваться и даже руками пощупаем…

Родзянко громко захохотал, чрезвычайно довольный своим остроумием. Заулыбались и в свите. Ревельский корреспондент «Таймса», единственный из журналистов, кого Кирпич взял в эту поездку на фронт, что-то торопливо записывал, одобрительно посматривая на Родзянко. Тогда и до Кирпича дошло, что последнее слово необходимо оставить за собой.

— Насчет гуляний вы рановато заговорили, любезный Александр Павлович, — солидно произнес Кирпич.—

Но Питер мы в этот раз возьмем, тут ваша правда. Всенепременно возьмем!

И медленно направился к ожидавшим у подножия горы автомобилям, дав понять, что рекогносцировка закончена. Корреспондент «Таймса», чуточку отстав от других, записывал историческую фразу главнокомандующего.

Завистники генерала Юденича, а их насчитывалось изрядное число, весьма приблизительно разбирались в этом тугодумном медлительном старике. Принято было считать его недалеким служакой с довольно, впрочем, известным в офицерских кругах именем. Как-никак, герой Эрзерума и Саракамыша, генерал от инфантерии, полный георгиевский кавалер. Кого другого мог выбрать адмирал Колчак в военные предводители похода на Петроград? Вот сделает свое солдатское дело, завоюет с божьей помощью столицу, и велят ему подавать в отставку, а судьбы государства будут вершить другие, более достойные.

Юденич знал об этих настроениях, но опровергать их не торопился. Пусть себе болтают, что вздумается, а с избранного

пути он все равно не свернет. И посмотрим еще, чей будет верх в итоге, кто кого перепляшет.

Руководила им не столько забота о восстановлении монархии, как думали иные, сколько неутоленная жажда власти и почестей. Правда, осторожности ради Кирпич не признавался в том никому, изображая из себя ревностного монархиста. Собственной жене и той не доверял тщеславных своих замыслов, но жена понимала его без слов. Вот и вчера, провожая на ревельском вокзале, перекрестила на прощание и с дрожью в голосе шепнула на ухо: «В добрый час, Николенька!»

Старуха права, это был добрый для него час. И уж теперь он не промахнется, своего не упустит, как случилось с ним в зимнюю кампанию 1916 года, когда войска его штурмом овладели зрзерумской твердыней турок. Дудки, милостивые государи, дураков нет! Ему и тогда казалось, что наступил наконец долгожданный час триумфа. «Русские чудо-богатыри, слава вам, повторившим и приумножившим подвиг генералиссимуса Суворова!»— написал он в приказе, надеясь, что новым Суворовым нарекут его, Николая Николаевича Юденича. Однако львиную долю пирога отхватил другой Николай

Николаевич, великий князь, дядюшка государя императора, числившийся наместником на Кавказе. Истинного триумфатора незаметно оттерли в сторону.

Ну что ж, дважды на одном месте спотыкаться нельзя. Именно по этой причине всю подготовку к походу на Петроград он прибрал к своим рукам. Извините, господа, а хозяина столицы российской никому не удастся отпихнуть в сторону, как отпихнули его придворные шаркуны. Пока Колчак и Деникин канителятся, пока суд да дело, он молниеносным рывком успеет захватить Петроград, а победитель, как известно, при любых обстоятельствах бывает прав.

Юденича одолевали военные заботы. С ревнивой цепкостью держал он под личным контролем все подробности оперативного замысла. И в первую очередь, разумеется, все обстоятельства, так или иначе связанные с операцией «Белый меч». Сам, никому не передоверяя, прочитывал шифровки, поступавшие из Петрограда. Сам, запершись в кабинете, часами советовался с начальником контрразведки.

«Белый меч» был делом серьезным, многообещающим.

«Белый меч» должен обрушиться на головы большевиков внезапно, это оружие тайное, бьющее наповал.

Операция начнется по сигналу, который он даст в надлежащий момент. Начнется и моментально парализует оборону большевиков. Никаких баррикадных боев в черте города

не будет — в этом весь смысл «Белого меча». Падет Смольный институт, ставший оплотом комиссаровластия. Верные люди быстро захватят телеграф, радиостанцию, вокзалы, склады с оружием. И, разумеется, здание на Гороховой, где разместилась «чрезвычайка».

Возвратившись в Гатчину, Юденич беседовал с начальниками дивизий, вызванными для этой цели с боевых участков.

Обстановка на фронте за истекшие сутки несколько осложнилась, но это не смущало главнокомандующего. Начальника первой дивизии, светлейшего князя Ливе-на, встревоженного возросшими потерями и обилием резервов, получаемых противником, Кирпич оборвал со свойственной ему грубоватой бесцеремонностью;

— Попрошу, князь, докладывать поспокойнее. У страха глаза велики, разве не знаете?

На следующий день в лондонском «Таймсе» была опубликована пространная телеграмма ревельского корреспондента. Сообщалось в ней, что доблестная Северо-Западная армия одерживает под Петроградом победу за победой. Упоминал корреспондент и об исторической фразе, произнесенной главнокомандующим.

«Дни Красного Петрограда сочтены!» — уверенно предсказывал «Таймс».

2

Бурный успех Юденича, прорвавшего фронт под Ямбургом, создал смертельную угрозу городу революции. Потрепанные в неравных боях полки Седьмой армии отступали, связь нарушилась, управление войсками стало затруднительным.

15 октября Петроград был объявлен на осадном положении.

17 октября в «Петроградской правде» появилось письмо Ленина. «Мне незачем говорить петроградским рабочим и красноармейцам об их долге», — писал Владимир Ильич, выражая уверенность, что защитники города сумеют отбить яростный натиск врага.

Ленин всю свою жизнь непоколебимо верил в питерских пролетариев и ни разу в них не ошибся. Не ошибся он и в этот грозный час испытаний.

Без паники, организованно и деловито, наращивал город свои оборонные усилия. Подрывники минировали мосты через Неву, на улицах строили баррикады, окна домов, особенно на ключевых перекрестках, превращались в огневые точки.

Характерная подробность времени. 17 октября белогвардейцы захватили Красное Село и вплотную приблизились к Лигову, угрожая ворваться в город. 20 октября на рассвете они Заняли Царское Село, с ходу принявшись за разграбление дворцовых ценностей. Именно в эти дни, когда смерть глядела прямо в глаза, Петроград с энтузиазмом проводил очередную «партийную неделю». Ряды коммунистов пополнили тысячи рабочих.

Навстречу врагу ежедневно уходили добровольческие коммунистические отряды. Доблестно и самоотверженно бились с белогвардейцами красные курсанты, совсем еще молодые люди из рабочих и крестьян — будущие командные кадры Красной Армии.

Вечной славой овеяли себя в этих жестоких боях балтийские революционные моряки. Экспедиционные отряды, присланные с кораблей Кронштадта, посылались обычно на самые трудные участки обороны.

Фронт под стенами города ревел и грохотал подобно ненасытному чудовищу. Это был фронт видимый каждому, требующий все новых и новых подкреплений.

Был, однако, и другой фронт — в самом Петрограде, в глухом подполье, за непроницаемо зашторенными окнами буржуазных особняков. Фронт незримый и неслышный, фронт ожесточенной тайной войны.

Особое внимание Петроградской ЧК привлекала английская секретная служба — Интеллидженс сервис. Не случайно поэтому задолго до наступления Юденича на Гороховой начали накапливаться оперативные материалы, получившие вскоре название «Английская папка».

Целый ряд фактов, подчас едва заметных и вроде бы несущественных, подсказывал, что в Петрограде зреет новый вражеский заговор и что возглавляет его некий англичанин.

ЧК располагала и некоторыми приметами этого агента английской секретной службы. Правда, до крайности противоречивыми, неопределенными. По одним данным выходило, что он молодой еще человек, высокий, чуть сутуловатый, с худощавым бритым лицом, в красноармейской шинели и в стоптанных сапогах. Другие источники утверждали некое сходство агента с Иисусом Христом: густая вьющаяся борода, удлиненные черты лица, широко раскрытые глаза. По третьим источникам получалось, что это талантливый пианист, едва ли не виртуоз, хорошо известный в артистическом мире.

Коллегия Петроградской ЧК поручила «Английскую папку» сотруднику Особого отдела Эдуарду Отто.

— Вот что, дорогой Профессор, садись-ка и размышляй, — сказал ему Николай Павлович Комаров, начальник Особого

отдела. — Рекомендую взглянуть еще разок на дело Кроми, свяжись с Москвой, а самое важное — побольше думай… Себя поставь на их место, это иногда бывает полезно…

Профессором Эдуарда Морицевича Отто прозвали еще в 1905 году. Заведовал он тогда динамитной мастерской в Риге, снабжал самодельными гранатами вооруженные рабочие дружины, а после того как военно-полевой суд вынес ему смертный приговор, умудрился подготовить и совершить неслыханно дерзкий побег из тюрьмы. С тех пор партийная кличка частенько заменяла ему и имя, и фамилию.

Рекомендация Николая Павловича была толковой. И Профессор внимательнейшим образом заново изучил прошлогоднее дело английской миссии. Но, увы, среди выловленных и успевших исчезнуть агентов Интеллид-женс сервис человека с внешностью Иисуса Христа не оказалось. Не было среди них и музыканта-виртуоза.

Запрос, посланный в Москву, прибавил немногое. Из Всероссийской Чрезвычайной Комиссии ответили, что помочь бессильны, соответствующих материалов не имеется. Далее следовали обычные советы и рекомендации, а их у Профессора и без того хватало. Не было у него ниточки, за которую можно уцепиться.

Вскоре, однако, нечто похожее на ниточку появилось. Подкинула ее начавшаяся в Москве ликвидация «Национального центра», крупнейшей антисоветской организации кадетского подполья.

Следствие установило, что помимо связей с разведками Колчака и Юденича «Национальный центр» усиленно налаживал контакты с английской секретной службой. Арестованные заговорщики признались, что к ним в Москву приезжал из Петрограда видный эмиссар Лондона. Приметы его заставили Профессора насторожиться: лет тридцати с небольшим, высокий, тон-колицыи, в красноармейской шинели, свободно изъясняется по-русски, лишь изредка обнаруживая незначительный акцент.

Еще следствие установило, что вместе с англичанином в Москву приезжала немолодая женщина, называвшая себя Марьей Ивановной. Вся в черном, сухая, жилистая, некрасивая, глаза злые и властные, нос с заметной горбинкой. Прощаясь, англичанин предупредил, что замещать его будет Марья Ивановна.

Это уже было кое-что. Нелегко, понятно, найти в Петрограде женщину в черном со злыми и властными глазами или высокого англичанина, свободно говорящего по-русски, но ценность этой информации заключалась в том, что она подтверждала материалы «Английской папки». Значит, заговор действительно

готовится и во главе его — агент английской разведки.

Еще очевиднее сделалось это после сенсационной истории с шифровками.

На границе с Финляндией, в сосновом бору за станцией Белоостров, патруль пограничной стражи окликнул неизвестного мужчину. Тот кинулся бежать, пытаясь пересечь пограничную линию, и красноармейцам не оставалось ничего другого, как открыть огонь. Неизвестный был убит, никаких документов при нем не нашли, а ввинченную в каблук сапога маленькую свинцовую капсулу немедленно доставили на Гороховую.

В капсулу были вложены два листка тонкой рисовой бумаги, сплошь испещренные столбиками цифр.

Юденичу докладывала некая Мисс:

«Последним курьером я имела честь сообщить, что важное лицо из высокопоставленного командного состава Красной Армии, с которым я знакома и чувства которого мне хорошо известны, предлагает помочь в нашем патриотическом предприятии. На ваше усмотрение сообщается следующий план…»

Несколько труднее поддавался расшифровке другой листок, пока не догадались чекисты, что написан он по-английски.

На маленьком листочке умещалось шпионское донесение генеральному консулу Великобритании в Гельсингфорсе господину Люме. Всего пять предельно четко сформулированных пунктов. Информация самая разносторонняя— о минных полях на подступах к Кронштадту, о строительстве оборонительных рубежей на Карельском перешейке, о совершенно конфиденциальных решениях, принятых в Смольном. Последний пункт донесения излагал суть недавних переговоров с «Национальным центром» и просьбу заговорщиков о финансировании.

Профессора удивила странная подпись: «СТ-25». Ничего подобного Интеллидженс сервис еще не практиковала, это был новый шпионский код.

— Дело-то гораздо хитрее, чем мы с тобой предполагали, — сказал Николай Павлович, вызвав Профессора. — Надо побыстрей изловить этого англичанина…

3

Поймать «СТ-25» было непросто.

Впрочем, рассказывать нужно по порядку.

30 августа 1918 года, в пятницу, на Дворцовой площади в

Петрограде был злодейски убит Моисей Урицкий, председатель Петроградской ЧК.

В тот же день, спустя несколько часов, на заводе Михельсона в Москве, эсерка Фанни Каплан стреляла отравленными пулями во Владимира Ильича Ленина.

Враги революции перешли к террору.

Внутренняя взаимосвязь этих выстрелов для всех была очевидна, но далеко не все знали тогда, что следы террористов ведут в английское посольство, в этот чинный и благопристойный особняк на набережной Невы, глядящий зеркальными окнами на Петропавловскую крепость. Точнее, в бывшее английское посольство, где размещались остатки прежнего его персонала, именуясь миссией Великобритании.

Утренним субботним поездом в Петроград приехал Феликс Эдмундович Дзержинский.

В распоряжении Дзержинского находились неоспоримые доказательства, обличающие английских дипломатов в преступных действиях против Советской власти.

Чрезвычайность сложившейся обстановки потребовала от председателя ВЧК и чрезвычайных мер. Лишь внезапный обыск в здании английской миссии позволял спутать карты дипломатов-преступников.

В назначенный Дзержинским час оперативная группа чекистов окружила посольское здание, заблокировав все выходы. В парадный подъезд вошли шесть оперативных работников во главе с Иосифом Стадолиным, старым большевиком-подпольщиком, долгие годы жившим в эмиграции и отлично знавшим английский язык.

От чинной благопристойности в посольском особняке не оставалось и помину. Где-то в глубине дома громко хлопали двери, кто-то на кого-то истеричным голосом кричал. Видно было, что поспешно сжигаются бумаги, на беломраморную лестницу вырывались из комнат хлопья пепла и дыма.

Стадолин и его товарищи догадались о причинах переполоха: дипломаты спешили уничтожить доказательства своих преступлений. Но едва чекисты начали подниматься по лестнице, как с верхней площадки хлопнул выстрел.

— Немедленно прекратите стрельбу! — по-английски крикнул Стадолин. — Мы уполномочены произвести…

Договорить он не успел. Пуля сразила его и, обливаясь кровью, Стадолин повалился на светлую ковровую дорожку лестницы. Следом за ним были тяжело ранены еще два сотрудника ЧК.

Хладнокровным стрелком, на выбор расстреливающим наших

людей, как позднее выяснилось, оказался военно-морской атташе Великобритании Френсис Аллен Кроми.

Что же произошло в этот дождливый августовский вечер и почему дипломат схватился за пистолет?

Да потому только, что капитан Кроми никакого отношения к дипломатии не имел. Прибыл он в Россию с особым поручением Интеллидженс сервис и был шефом разведывательной сети англичан.

В субботний тот вечер грянула беда.

Правда, капитана Кроми предупредили о намеченном чекистами обыске, — имелись у него свои осведомители, — но предупредили в последнюю минуту. Некогда было отменять намеченную встречу с главарями белогвардейского подполья, не оставалось времени надежно припрятать компрометирующие документы. Вот тут-то, потеряв привычное самообладание разведчика, и взялся он за оружие. Пытался хоть как-то отсрочить неминуемый разгром, но цели своей не достиг.

Разгром начался сокрушительный.

Отборные агенты Интеллидженс сервис, великолепно замаскированные, многоопытные, в совершенстве знающие свое ремесло, проваливались один за другим.

Раньше других ЧК арестовала фон Мейснера. Поймали его с поличным, как ловят начинающего дилетанта, лишив возможности затягивать следствие хитрыми увертками. И фон Мейснер признал себя побежденным.

Собственно, это был не «фон» и не «Мейснер». Это был сын крупного астраханского рыбопромышленника Николай Николаевич Жижин, бывший ротмистр Таманского гусарского полка, бессовестный авантюрист, шулер и мошенник, изгнанный с военной службы решением офицерского суда чести «за непристойное поведение».

Продажные личности, подобные этому негодяю, гр-товы служить кому угодно — лишь бы платили. Капитан Кроми денег не жалел, оценив услуги Жижина в сто тысяч рублей ежемесячно, и это стало решающим обстоятельством: в немецкой и французской разведках платили значительно скромнее. И уж совсем скупой была царская охранка, где довелось ему подвизаться в платных осведомителях.

Чуть позднее схватили бывшего корреспондента газеты «Утро России» при царской ставке Александра Николаевича фон Экеспарре. Он же, между прочим, был князем Дмитрием Шаховским, гатчинским мещанином Никодимом Оргом, присяжным поверенным Александром Эльцем и купцом второй гильдии Елизаром Платоновичем Плотниковым.

Журналист оказался крупной птицей, что доказывалось и суммой гонорара: платили ему англичане вдвое больше, чем гусару. И не зря платили. Однажды, к примеру, он подобрал отмычки и раздобыл на ночь секретнейший план минных заграждений в Финском заливе, хотя сейф, где хранился план, считался недосягаемым для злоумышленников. В другой раз с ловкостью циркового манипулятора выкрал чертежи новых морских орудий, еще не сданных Адмиралтейством на военные заводы.

После провала Кроми шефом английского шпионажа должен был стать Джон Меррет, скромный и неприметный владелец фирмы «Меррет и Джонс». Вариант этот считался запасным и в случае осложнений вступал в действие автоматически.

Джон Меррет появился в Петрограде года за четыре до войны. Белокурый великан, каких часто увидишь среди таежных сибирских охотников, он называл себя по-русски Иваном Иванычем. Внедрялся, разумеется, усердно, по всем правилам инструкции. Честнейшим образом выполнял заказы, принятые его монтажной фирмой, подчеркнуто сторонился политики и лишних знакомств.

Кто знает, возможно, в другую пору и сошел бы он за преемника Кроми. Однако после серии скандальных провалов это стало практически неосуществимым.

С Ивана Иваныча не спускали глаз, откровенно контролируя каждый его шаг в Петрограде. Вдобавок нагрянули к нему с обыском, переворошили все конторские бумаги, и лишь счастливая случайность помогла ему избежать ареста.

За резидента, угодившего в поле зрения контрразведки, не дают обычно и ломаного гроша.

В Лондоне это понимали. Новому резиденту требовалось новое обличье. Не мог он быть дипломатом, как капитан Кроми, или вполне легализованным бизнесменом, как владелец фирмы «Меррет и Джонс».

Вот тогда-то и появился в Петрограде тайный агент «СТ-25», человек-невидимка с множеством имен и обличий. Случилось это в ноябре 1918 года, через два месяца после разгрома шпионской сети англичан.

4

Комбинация с «СТ-25» была комбинацией многоходовой. Будь Профессор хоть семи пядей во лбу, все равно не смог бы он разгадать всех ее тонкостей. Тем более, что начало комбинаций

пришлось на те годы, когда Эдуард Отто отсиживал срок в Иркутском централе, дожидаясь подходящего случая для нового побега.

Не полыхала еще на российских просторах кровопролитная гражданская война. Не было ни осеннего наступления Юденича, ни тайной операции «Белый меч», на которую поставил главную свою ставку Кирпич.

Была новогодняя ночь. По-русски морозная и вьюжная, с тонкими восковыми свечками на празднично разукрашенных елках, с ряжеными и нищими, с лихими тройками и с сентиментальными святочными рассказами в иллюстрированных журналах.

Вступал в свои права 1909 год.

До полуночи оставалось час с четвертью. К пограничной станции Вержболово подкатил по расписанию курьерский поезд.

Таможенные формальности, как ни спешили чиновники, изрядно подзатянулись. В тесном, жарко натопленном зальце станционного буфета было многолюдно и по-новогоднему оживленно. Пассажиры с нетерпением поглядывали на часы.

— Господа, с Новым вас годом! С новым счастьем! — громогласно провозгласил краснолицый жандармский офицер, оказавшийся в центре довольно пестрой компании у буфетной стойки.

Мгновенно захлопали пробки шампанского. Из рук в руки передавались бутылки с добротным шустовским коньяком. Незнакомые люди спешили наскоро отметить наступление Нового года, заставшее их в пути.

— А вы чего зеваете, милостивый государь? — весело обратился жандарм к высокому молодому человеку в коротеньком клетчатом пальто, одиноко стоящему возле столика с закусками. — Прошу к нашему шалашу, присоединяйтесь!

Обращение было ни к чему не обязывающим, а молодой человек вздрогнул, точно стеганули его хлыстом, и это, разумеется, не укрылось от зорких глаз жандарма.

Неловко поклонившись, молодой человек заспешил на перрон.

Странное его поведение, признаться, насторожило представителя власти. Вполне возможно, что последовал бы он за этим пассажиром и проверил бы его документы с обычной своей подозрительностью, но сосед жандарма у буфетной стоики, солидный толстяк в богатой енотовой шубе, досадливо махнул рукой:

— Оставьте, любезнейший, пустое… Это англичаниш-ка один, в гувернеры едет устраиваться…

— Вы с ним знакомы?

— Калякали давеча на остановке, познакомились. Юноша бедный, юноша бледный! — хохотнул толстяк, весело подмигивая жандарму. — Мало ли кормится ихнего брата на вольготных русских хлебах? Англичанишки, французишки, немчура пузатая… И все едут, все едут… Пропустим-ка лучше посошок на дорожку, вернее будет…

Жандарм с удовольствием согласился пропустить посошок. Если уж признаться по совести, вовсе не молодые иностранцы занимали его и не к ним он принюхивался, внимательно листая паспорта пассажиров курьерского поезда. Выискивал злонамеренных врагов государя императора, искал в багаже марксистскую нелегальщину…

Словом, у жандарма хватало собственных забот. И спустя двенадцать часов курьерский поезд медленно вполз под застекленные своды столичного вокзала.

Всю дорогу до Петербурга молодой англичанин не сомкнул глаз, ругательски ругая себя за предательскую слабость. Сидел в вагоне забившись в угол, хмурился, размышлял.

На вокзале никто его не встретил. Забрав свой легонький баульчик и отказавшись от услуг носильщика, он вышел к Обводному каналу.

Перед ним был Санкт-Петербург.

В этом заснеженном городе начнет он новую свою жизнь. Шаг за шагом, не торопясь и не медля, будет становиться похожим на русского. Это основная его обязанность в ближайшие годы — сделаться похожим на русского.

У портье дешевенькой и достаточно вонючей гостиницы «Селект» молодой человек записался Полем Дюксом, уроженцем графства Сомерсет.

5

В Лондоне молодого путешественника предупредили, что первым долгом следует обзавестись видом на жительство. Русские полицейские порядки достаточно строги, нарушать их никому не рекомендуется.

Канцелярия петербургского градоначальника, куда он обратился и где вели учет иностранцев, обошлась с ним учтиво. К тому же документы были у него в полном порядке.

Вскоре он уже служил в доме известного петербургского богача-лесопромышленника. Натаскивал сыновей хозяина в английских артиклях, помогал составлять деловые бумаги, а по

вечерам, запершись в своей комнатке на мансарде, ревностно зубрил неподатливую русскую грамматику.

Платили ему неплохо, обращались с ним подчеркнуто ласково, и все же он был недоволен. Раздражало англофильство хозяев, ему требовалось нечто совсем противоположное.

Весной, поблагодарив недоумевающего лесопромышленника, он перебрался на Ильмень-озеро, в усадьбу некоего старого русопятствующего чудака, чей адресок вручили ему в Лондоне. Тут была сплошная патриархальщина с расписными русскими полотенцами, деревянной посудой и непременным хлебным квасом к обеду.

Актеры называют это вживанием в образ. Нескоро еще вызовут тебя на ярко освещенную сцену, не пробил еще твой час, вот и накапливай драгоценные подробности бытия. Они ни с чем не сравнимы, эти достоверные подробности, они надежнее любого документа.

Между тем годы шли, а на сцену его все не вызывали. Из помещичьего новгородского захолустья перебрался он в столицу, жил теперь в лучших домах, обзавелся полезными знакомствами. И новое поязилось в его жизни: подолгу и очень охотно музицировал, обнаружив недюжинные способности пианиста.

Иногда ему начинало казаться, что достопочтенные джентльмены с Кингс-кросс забыли о нем, и, следовательно, он вправе распоряжаться собой по собственному усмотрению.

Но джентльмены с Кингс-кросс **о** нем не забыли, **II** он это знал. Похоже, что они ничего и никогда не забывают, эти безукоризненно вежливые и сдержанные джентльмены. Ручищи у них длинные, глаза всевидящие, и, если ты им понадобишься, они разыщут тебя хоть на краю света.

Нашли его не на краю света. Нашли в многолюдном вестибюле Нардома, на Петербургской стороне, на субботнем шаляпинском концерте по общедоступным ценам.

В антракте к нему неслышно приблизился серенький невзрачный субъект в старомодном касторовом сюртуке. Вежливо склонил лысую голову, тихо произнес давным-давно условленный пароль.

— Вам рекомендовано записаться нынче в консерваторию, — сказал субъект и, как бы не заметив его смятения, растворился в толпе.

Осенью в столичной консерватории появился новый студент. Учились тут немцы, учились французы, отчего бы не появиться и англичанину. Тем более, как отмечали профессора, человеку не без способностей. Многообещающий пианист, чертовски старателен, усидчив, обнаруживает склонности к

самостоятельной композиции.

И снова потекло быстротечное время.

На полях Европы гремели пушки, Россия и Великобритания сделались союзниками по оружию, Санкт-Петербург называли теперь по-русски Петроградом, а немецкие магазины на Васильевском острове зияли вдребезги разбитыми витринами.

Все это к нему не имело отношения. Ему велели учиться, и он учился, поражая всех своей настойчивостью. И ждал приказа, не поддаваясь больше наивным иллюзиям.

А приказа все не было и не было. В ожесточенных битвах изнемогали миллионные армии, английский и германский флоты караулили друг друга на морях, избегая решающего сражения, возросло влияние Гришки Распутина при царском дворе, угрожающе росла дороговизна жизни, а он, полный сил, двадцатипятилетний, все учился, все сдавал экзамены, стараясь быть на хорошем счету.

«Неужто и теперь они будут безмолвствовать?» — думал он с тревогой, когда грянуло Октябрьское вооруженное восстание. Положение становилось серьезным, пора было вступать в игру.

Но заговорили они только через год. Видимо, удручающе скандальный провал капитана Кроми заставил их поторопиться. В России образовалась пустота, пришло время вводить свежие силы.

Ему было приказано прибыть в Лондон. Сперва он отказывался верить, настолько рискованным и сложным выглядело подобное путешествие. Это ведь не тихие довоенные времена, не сядешь в Питере на пароход, чтобы благополучно высадиться на Темзе. Попробуй-ка добраться до Лондона!

Но приказ есть приказ. Поневоле пришлось ехать в Мурманск, соскакивать на ходу с теплушек, спасаясь от облав, топать десяткц верст пешком, прячась в лесных чащобах, вконец оборваться и зарасти библейской бородищей.

На лондонском вокзале его встретили, молча усадили в закрытый автомобиль с глухими черными шторками на окнах и привезли в знакомый сумрачный дом, где тихо и безлюдно в запутанных лабиринтах коридоров и где лишних слов не тратят.

— Борода вам к лицу, — вместо приветствия сказал шеф и, секунду подумав, поднялся ему навстречу. — Надеюсь, добрались благополучно? Если нет возражений, давайте побеседуем…

С этого осеннего лондонского вечера навсегда перестал существовать Пашенька, любознательный гувернер и любитель русской старины. Не было больше и Павла Павловича Дюкса, недоучившегося студента консерватории.

Для начала стал он Филиппом Макнейлом, молодым коммерсантом из Манчестера. Торпеды немецких подводных

лодок не могли остановить этого предприимчивого дельца, и вскоре он отправился в Стокгольм.

Побыв в шведской столице всего неделю, Филипп Макнейл сел на пароход, отходящий в Гельсингфорс. И в столице Финляндии не задержался, быстренько перебравшись в Выборг, а оттуда поближе к советской границе, к берегу реки Сестры.

Темной беззвездной ночью, под холодным секущим дождем вперемешку с мокрым снегом, переправится он через пограничную реку на вертлявом рыбачьем челне и, обходя красноармейские дозоры, уверенно зашагает к ближайшей железнодорожной станции. Будет на нем потрепанная фронтовая шинель, какие носят миллионы мужчин в России, стоптанные сапоги, фланелевое солдатское белье с грубыми тесемками. И удостоверение у него будет припасено на имя Иосифа Афиренко, сотрудника Петроградской ЧК.

За десять месяцев нелегального существования в Петрограде использует он множество обличий и поддельных документов, помогающих сбить со следу советскую контрразведку. Назовется Пантюшкой, уподобившись мелкому уголовнику, назовется Ходей, Михаилом Ивановичем Ивановым, Сергеем Иличем, Карлом Владимировичем, Павлом Павловичем Саввантовым и просто Мишелем, очаровательным душкой-соблазнителем. Несколько тревожных ночей проведет в качестве безымянного бродяги, нашедшего приют в заброшенном могильном склепе купца первой гильдии Никифора Силантьевича Семашкова. Дрожа от страха, будет прислушиваться к ночным шорохам Смоленского кладбища, куда, к сожалению, не догадаются заглянуть поисковые группы ЧК.

Многому найдется место в похождениях этого рыцаря плаща и кинжала. И предательству, и вероломству, и искусно разыгранной страсти к старой женщине, годной ему в матери, и соучастию в отвратительных уголовных преступлениях.

На Гороховой, в служебном кабинете Эдуарда Отто, будут тем временем накапливаться материалы «Английской папки».

Однажды Профессор получит достоверную информацию о том, что «СТ-25» пользуется служебным удостоверением на имя Александра Банкау, некоего несуществующего сотрудника политотдела Седьмой армии, что умудрился проникнуть даже на заседание Петросовета. Сигнал этот заставит работников Особого отдела провести огромную исследовательскую работу. Однако и самая тщательная проверка не поможет установить, кто же снабдил англичанина столь важным документом. И не воспользуется он им больше ни разу, точно издали почует нависшую над ним опасность.

Затем из пограничной комендатуры поступят сведения о каком-то иностранце, обморозившем якобы ноги во время нелегального перехода границы. Приметы иностранца почти полностью совпадут с приметами «СТ-25»: высокий, нервное лицо, по-русски изъясняется с незначительным акцентом. Чтобы найти его в Петрограде, потребуется срочно разыскать финна-проводника, помогавшего ему добраться до города. И вот, когда поиски эти почти увенчаются успехом, старого финна обнаружат на глухом пустыре с перерезанным горлом.

Профессора все эти неудачи заставят задуматься. Не слишком ли много их? И нет ли у этого «СТ-25» облеченных доверием ЧК помощников, выручающих его в трудные минуты?

6

Еще в середине июля 1919 года береговые посты наблюдения засекли в Финском заливе довольно странное суденышко.

Удивляло это суденышко необыкновенной своей скоростью. Приходило со стороны Териок по утрам, перед восходом солнца, и молниеносно исчезало, оставив позади себя огромный пенный бурун.

Приглашенные на Гороховую специалисты утверждали, что скорость суденышка превышает сорок миль в час. Ничего подобного на флотах в ту пору не знали.

Профессор высказал предположение, что приходит оно на связь. С ним однако не согласились. К кому на связь? Ведь ни в одном из прибрежных пунктов суденышко замечено не было.

Вскоре частица тайны приоткрылась сама собой.

18 августа, в пасмурный предрассветный час, англичане учинили разбойный налет на кронштадтскую гавань. Налет был старательно подготовлен и преследовал далеко идущие цели. В головном эшелоне, явно отвлекая внимание, шли самолеты-бомбардировщики, пытавшиеся атаковать линейные корабли «Петропавловск» и «Андрей Первозванный». Следом в гавань ворвались маленькие скоростные суденышки. Это были торпедные катера — новинка английской судостроительной промышленности. С сильными моторами, с торпедным вооружением и пулеметными установками на борту, а также с предусмотрительно вмонтированными в каждый катер мощными взрывпатронами. Экипажам было приказано в случае осложнений взрываться, чтобы не раскрыть тайны секретного оружия.

Наткнувшись на прицельный огонь балтийских комендоров, особенно убийственный с эсминца «Гавриил», пираты бросились

врассыпную. Больше половины катеров было перетоплено. Барахтавшихся в воде катерников выловили и взяли в плен. Никто из них, понятно, не захотел взрываться вместе со своими секретными катерами.

Следствие по необычному этому событию вел Особый отдел Балтфлота. Впрочем, через несколько дней Профессора вызвал к себе Николай Павлович.

— Твоя, выходит, правда, — сказал он, протягивая Эдуарду Отто тоненькую следственную папочку. — Потолкуй, пожалуйста, с этим господином. Думаю, что знает он гораздо больше…

Командир английского торпедного катера лейтенант Нэпир дал на следствии важные показания.

— Мне известно, — заявил Нэпир, — что два катера нашего отряда регулярно поддерживали сообщение с Красным Петроградом, перевозя туда и обратно пакеты с корреспонденцией. Ходили катера в устье Невы, где встречались с неизвестным мне лицом. В Териоках они брали также курьеров, чтобы тайно доставить их в Петроград. Курьеры сами устанавливали день, когда надо за ними вернуться.

Нэпира привезли на Гороховую.

От сознания ли своей вины перед Советской властью или по робости характера, но лейтенантик изрядно перетрусил. Беседовать с ним пришлось без переводчика и официального протокола, пришлось даже подбадривать. Пусть немножко очухается горе-вояка, а то зубами стучит со страха.

Сперва Нэпир не прибавил ничего нового. Отряд у них строго засекреченный, особого назначения, а в чужие дела он, естественно, не совался. Ходили слухи, что некоторые экипажи возят курьеров в Петроград, вот и все, что ему известно.

Но Профессор не зря славился своим умением расспрашивать, и постепенно начали выясняться довольно существенные подробности. Отрядом торпедных катеров, оказывается, командует никому не известный лейтенант Августус Эгар, который к тому же подписывается не фамилией своей, как все люди, а кодовым знаком «СТ-34». В графстве Эссекс, когда они занимались испытанием секретного оружия, Эгара не было и в помине — назначили его перед отъездом отряда в Финляндию. Люди поговаривают, что это совсем не кадровый морской офицер, а сотрудник специальной службы.

— Какой?

— Полагаю, Интеллидженс сервис…

Закончив разговор с Нэпиром и пообещав ему возвращение на родину сразу после окончания гражданской войны, Профессор снова перебрал все накопленное в «Английской папке».

Достигнутыми результатами он был не удовлетворен. Слишком медленное продвижение вперед, слишком много еще белых пятен. Одно только несомненно: противник у него серьезный, весьма и весьма опытный. И ходит, возможно, где-то рядом, пользуясь преимуществами своего положения…

На Гороховой в ту пору готовились к массовым обыскам в буржуазных кварталах Петрограда. Явственно возросла угроза нового наступления Юденича, нужно было очищать город от враждебных элементов, обезопасить тылы.

Про себя Профессор надеялся, что в сети новой облавы попадет и тот, кто интересовал его больше всего. Желательно вместе с помощницей, с этой таинственной Мисс.

Особых оснований для подобных надежд не было, и все же он надеялся. Сам пошел на инструктаж руководителей поисковых групп, подробно рассказал о приметах высокого англичанина и немолодой женщины с властными и злыми глазами.

Осенняя прическа города прошла организованно и оказалась весьма полезной. Оружия, Правда, обнаружили не очень много, но зато удалось задержать изрядное число ушедших в подполье контрреволюционеров.

«СТ-25», к сожалению, избежал опасности.

Досадно было Профессору узнать чуть попозже, что выручила его жалостливость наших людей. В доме на Васильевском острове, где ночевал английский резидент, происходил обыск. В последнюю минуту «СТ-25» прикинулся эпилептиком, довольно искусно разыграл припадок, и сердобольные моряки решили воздержаться от проверки документов «тяжелобольного».

Вскоре началось осеннее наступление Юденича. Работы на Гороховой прибавилось. Многие сотрудники Чрезвычайной Комиссии были отправлены на фронт, многие были ранены, а многие и голову сложили в трудных боях с врагом.

Профессор по-прежнему занимался «Английской папкой».

7

Автором комбинации в Ораниенбауме был Александр Кузьмич Егоров, начальник Особого отдела береговой обороны.

В архивах уцелела его докладная записка, сообщающая итоги этой комбинации. Документ, естественно, официальный, строгий, без какой-либо эмоциональной окраски.

«Военмор Д. Солоницин сообщил нам, что из Петрограда прибывает некий гражданин к начальнику ораниенбаумского воздушного дивизиона и что он, военмор Солоницин, должен

переправить его к белым с каким-то секретным материалом.

В связи с вышеизложенным, мы разработали соответствующий план оперативных мероприятий…»

Мероприятия эти оказались полностью в егоровском духе. Такой уж был человек Александр Кузьмич Егоров: во всякое, даже простенькое, дело стремился внести неистребимую выдумку.

Началось все, когда до Октябрьской годовщины оставалось меньше недели. Впрочем, праздника не чувствовалось. Да и что за праздник, если Юденича еще не отогнали от Питера? К тому же англичане в поддержку белякам поставили свой монитор «Эребус». Бьют из пятнадцатндюймовых орудий, аж по всему городу сыплются стекла!

— Ох, и несладко нашим на позициях! — сокрушался дежурный по отделу, прислушиваясь к тяжелым стонущим разрывам. — Долбят и долбят, паразиты.

Криночкин рассеянно согласился с дежурным. Какая уж сладость от снарядов монитора! Криночкину до зарезу требовалось зайти к Александру Кузьмичу, и думал он, признаться, совсем о другом.

Василий Криночкин был самым молодым сотрудником Особого отдела. Не по возрасту, понятно, по стажу чекистской работы. Взяли его из коммунистического отряда особого назначения вскоре после ликвидации мятежа на форту Красная Горка и пока что придерживали на второстепенных поручениях. Начальник, правда, сказал ему несколько обнадеживающих слов, но было это уже давно. «Привыкайте, Криночкин, присматривайтесь, — сказал тогда Александр Кузьмич. — И будьте наготове. Чекист, он вроде патрона, загнанного в патронник: если понадобится — обязан выстрелить».

Но сколько же времени можно ждать? Другие товарищи, такие же, между прочим, не какие-нибудь особенные, ездят на серьезные операции, отличаются, а он, Василий Криночкин, все на мелочах. От тихой жизни и патрон способен отсыреть, разве начальник не понимает этого?

И все же Криночкин поступил разумно, не сунувшись к Александру Кузьмичу без спросу. До вечернего поезда оставалось всего минут десять, и тут Егоров сам выбежал из кабинета. Чем-то страшно озабоченный, нетерпеливый.

— Григорьева ко мне! Одна нога здесь, другая там! — приказал он дежурному и, увидев Криночкина, поспешно добавил; — Вы тоже понадобитесь, далеко попрошу не отлучаться!

— Мне сегодня ехать на Гороховую…

— Отменяется! — коротко отрубил начальник, снова

скрывшись в своем кабинете.

Далее развернулись события, каких в Особом отделе еще не случалось.

Военмора Солоницина, а это он был засидевшимся у начальника посетителем, отвели в нижний этаж, в отдельную комнату с зарешеченным окном.

Изрядно задержался у начальника Федор Васильевич Григорьев, правая его рука. Никто, понятно, не знал, о чем они толковали, закрывшись вдвоем. Вероятно, о чем-то важном, потому что вид у Федора Васильевича, когда он вышел от Егорова, был озабоченный.

Вскоре на улице стемнело, и Криночкин вздумал покурить. Поручений ему опять не дали, поездку в Питер отменили, вот он и решил побыть на свежем воздухе, беседуя с часовым о всякой всячине. Часовой был его земляком.

И тут к воротам Особого отдела бесшумно подкатил черный, как вороново крыло, «мерседес-бенц». Это был единственный на весь Ораниенбаум легковой автомобиль, принадлежавший местному совдепу.

Знакомый шофер, разглядев в темноте Криночкина, поинтересовался, скоро ли собирается выйти товарищ Григорьев. Криночкин ответил, что ничего об этом не знает, но может пойти узнать. И, придавив каблуком окурок, направился к Федору Васильевичу.

То, что он увидел, войдя к Григорьеву, заставило его вздрогнуть от неожиданности. Перед зеркалом, внимательно себя разглядывая, стоял заместитель начальника, но какой — вот в чем вопрос! В щегольском френче добротного сукна, на плечах старорежимные погоны, грудь вся в орденах, а на голове молодцевато заломленная офицерская фуражка с золоченой кокардой.

— Ну что скажешь, соответствую? — спросил Федор Васильевич, не обращая внимания на удивленный вид Криночкина. — Похож на ваше благородие?

— Автомобиль к вам прибыл, — уклончиво сказал Криночкин.

— Очень хорошо! — воскликнул Федор Васильевич и прищелкнул каблуками, отчего серебряные шпоры тоненько зазвенели. — Иногда неплохо прокатиться на автомобиле!

Накинув на плечи черную кавказскую бурку, какие любили носить свитские офицеры, Григорьев прошел мимо остолбеневшего Криночкина. Затем с улицы донесся шум отъезжающего «мерседес-бенца» и все стихло.

Вслед за тем наступила очередь самого Криночкина, так что

долго удивляться ему не пришлось. Его и еще Сашу Васильева вызвал к себе Егоров.

Задание они получили в высшей степени деликатное, требующее немалого актерского таланта. Обоим Егоров приказал переодеться, как и Федору Васильевичу, чтобы в условленном месте встретить курьера белогвардейцев. При этом у курьера не должно было возникнуть ни малейшего подозрения.

Курьер прибыл в Ораниенбаум утром.

Прибыл он не как-нибудь крадучись, а в легковой машине штаба Петроградского округа, да еще с важным седоусым старикашкой, очень уж смахивающим на старорежимного генерала.

Информация военмора Солоницина таким образом подтверждалась полностью. Автомобиль с гостями остановился у дома, где квартировал командир воздушного дивизиона. Попив чайку и посекретничав с хозяином, старикашка укатил обратно в Питер, а курьер остался.

Криночкина и Саши Васильева в то утро не было в городе. Ночью они ушли к Федору Васильевичу, обосновавшемуся в заброшенной лесной сторожке в десяти верстах от Ораниенбаума. И хлопот у них хватило на весь день.

Совсем это не просто и не легко — из крохотной избушки соорудить хоть какое-то подобие штаба. Пришлось раздобыть в соседнем именье поясцой портрет бывшего государя императора Николая Романова, водрузив его на закопченную стенку. Понавесили погуще проводов, на стол поставили полевой телефон.

Самое трудное началось с наступлением темноты, когда отправились они встречать курьера. Ночь, к счастью, выдалась сухая, без дождя. Изредка из-за туч появлялась луна, скупо освещая мохнатые придорожные ели.

Ждали они недолго. Близко к полуночи из темноты показались две неясные фигуры. Впереди, они это сразу поняли, шагал военмор Солоницин.

— Стой! — грозно окликнул Саша Васильев и, как наставлял их Федор Васильевич, щелкнул затвором берданки. — Кто идет?

— Православные мы, истинно православные! — тихо произнес Солоницин.

Это был пароль, все было правильно.

И тут началась комедия.

— Господи, неужто проклятущая совдепия позади? — не то всхлипнул, не то рассмеялся курьер, высунувшись из-за спины своего проводника. — Миленькие вы мои, до чего же я рад!

— Молчать! — цыкнул на него Саша Васильев, и Криночкин с

тревогой почувствовал, что товарищ его закипает. — Оружие при себе имеете? Попрошу сдать!

Дальше они тронулись гуськом. Наган, взятый у курьера, Саша Васильев засунул под ремень. Замыкающим шел Криночкин.

В «штабе» комедия продолжалась полным ходом. От новенького ли мундира Федора Васильевича с золотыми погонами или от царского портрета, едва различимого при тусклом свете керосиновой лампы, но курьер и вовсе ошалел. Скинул шапку, принялся размашисто креститься, а потом вытащил из-за пазухи дольчатую английскую гр акта ту.

— Вот, господин поручик, до последней минуты берег… Коли что, думал, себя взорву к чертовой матери и большевичков заодно. Теперь-то она мне не потребуется…

— Совершенно верно, — подтвердил Федор Васильевич, забирая у него гранату. — Теперь вам опасаться некого… Приступим, однако, к делу, если не возражаете?

Курьер вытащил карту-двухверстку.

— Здесь наши друзья изобразили дислокацию красных, самую последнюю, свеженькую… А вообще наиболее конфиденциальное мне приказано доложить лично…

— Лично, значит? — оживился Федор Васильевич. — Это хорошо, давайте докладывайте…

8

Как ни проста была ораниенбаумская комбинация, а она помогла чекистам ухватиться за ниточку, которой недоставало в «Английской папке». И не за одну ниточку, а сразу за несколько. Еще неизвестны были масштабы заговора, еще оставались на свободе главные его организаторы, а ЧК уже вышла на верную дорогу.

Механик воздушного дивизиона Дмитрий Солоницин пришел к Егорову с важным сообщением.

Не большевик, а пока лишь сочувствующий, как он себя называл, Солоницин еще с весны начал догадываться, что командир дивизиона совсем не тот, за кого старается себя выдать. Точно два лица было у Бориса Павлиновича Берга: одно для начальства из Реввоенсовета флота, где считают его энергичным и одаренным специалистом, а другое неведомо для кого, тайное, хитро замаскированное.

Сперва Солоницин собирался пойти со своими подозрениями в Особый отдел, но тут же и передумал. А вдруг чекисты ему не поверят? Скажут, что все это пустяки, что наговаривает он на

преданного Советской власти командира? Нет, прежде надо было собрать побольше фактов.

Безвыходное положение создалось, когда приказали ему сопровождать курьера из Петрограда. Тут уж, поверят или не поверят, надо было подаваться в ЧК.

— Эх ты, Шерлок Холмс неумытый! — рассердился Егоров, выслушав исповедь механика. — Он, видите ли, надумал один во всем разобраться! А мы что, по-твоему, лаптем щи хлебаем?

Однако сердиться было поздно. И тогда Егоров, стремясь ускорить следствие, придумал свою комбинацию.

В лесном «штабе» развязка наступила быстро. Курьер сам себя обезоружил, устные свои сведения выложил — спектакль приближался к финалу.

— Сейчас прибудет авто, и вас повезут для доклада его высокопревосходительству, — объявил Федор Васильевич.

— Бог ты мой, какая высокая честь! — взвился курьер от радости. — Меня представят Юденичу? Неужели я заслужил?.

Заслужили, — сухо подтвердил Федор Васильевич.

Вслед за тем совдеповский «мерседес-бенц» доставил курьера в Ораниенбаум, к воротам Особого отдела.

О дальнейшем догадаться нетрудно. В первые минуты курьер обомлел и лишился дара речи, увидев вместо генерала Юденича довольно сердитого мужчину в кожаной комиссарской куртке, затем впал в истерику и, взвизгивая, требовал немедленного расстрела — все равно он ни словечка не скажет, хоть режьте его на куски. Затем, как и следовало предполагать, довольно быстро обмяк и начал отвечать на вопросы, интересующие начальника Особого отдела.

Сам по себе этот молодой человек ничего не значил. Единственный сынок статского советника, недоучившийся студент, прапорщик военного времени, от мобилизации в Красную Армию уклонялся.

Гораздо важнее были показания курьера о пославших его лицах. Выходило, если принять их на веру, что в пользу белых работают весьма авторитетные военспецы из петроградских штабных учреждений.

Распорядившись о немедленном аресте командира воздушного дивизиона Берга, Александр Кузьмич поехал в Петроград, на Гороховую. Кустарничать было слишком опасно, все это пахло крупным контрреволюционным заговором.

Профессора к ораниенбаумскому делу подключили после того, как командир воздушного дивизиона написал первое свое собственноручное показание.

Показание это было неслыханным.

«Я — главный агент английской разведки в Петрограде, — утверждал Борис Берг. — Инструкции получал из разведывательной конторы в Стокгольме. Имею также постоянную связь с английским консулом в Гельсингфорсе, посылал к нему курьеров».

Ничто человеческое не было чуждо Профессору, и поначалу он откровенно обрадовался. Да и как было не радоваться, когда наконец-то разоблачен проклятый «СТ-25», доставивший ему столько беспокойства! Сам во всем сознается, решил прекратить игру.

Но радость оказалась недолгой, уступив место привычному сомнению. Что-то уж больно легко все получалось, не суют ли ему ловкую подмену…

— Послушай, Александр Кузьмич, — спросил он Егорова, — а в Москву ездил твой Берг?

— Когда?

— Ну, весной нынче, летом…

— Нет, не ездил, — подумав, сказал Егоров. — Некогда было ему разъезжать, дивизион на нем висел… У нас околачивался, сукин сын, в Ораниенбауме…

Еще сильнее засомневался Профессор, увидев Берга. Допрос вел Егоров, с обычной своей дотошностью уточнял все подробности, а он пристроился в сторонке, наблюдал молча.

Перед Егоровым, нервничая, сидел плотный, широкоплечий здоровяк. Черноволосый, с большими залысинами на лбу, лицо скуластое, монгольского типа, подбородок книзу заострен. Словом, на «СТ-25» нисколько не похожий.

— При каких обстоятельствах и где именно познакомились вы с капитаном Кроми? — быстро спросил Профессор по-английски.

Вопроса Берг не понял. Видно было, что лишь фамилия Кроми заставила его насторожиться.

— Простите… В Морском корпусе мы плохо занимались языками, и я не совсем уловил…

— Иначе говоря, — перешел Профессор на русский, — я хочу знать, кто и когда велел вам в случае ареста принимать все на себя?

— Никто мне не велел…

— Вы лжете, Берг, причем без какой-либо надежды на успех! Кроми вас завербовал, нам это известно, и чужую роль вы играете отнюдь не по своей доброй воле. Подумайте, какой вам смысл брать на свою голову лишнее?

Думал Берг четыре дня. И додумался. Признал, что работать на английскую разведку начал еще с капитаном Кроми, что

знакомство у них завязалось в военные годы, в ресторане «Донон», а после провала английской миссии был передан в распоряжение нового резидента Интеллидженс сервис.

Фамилии его, к сожалению, не знает. Это худощавый высокий мужчина лет тридцати, до чрезвычайности осторожный, никому обычно не доверяющий. Зовут его по-разному: иногда Михаилом Иванычем, иногда просто Пантюшкой.

9

10 ноября, в понедельник, на Мальцевском рынке с утра началась облава на спекулянтов.

Смуглую эту девчонку в невзрачном осеннем пальтишке, с повязанным на голову дырявым шерстяным платком никто бы, разумеется, не стал задерживать. Что в ней особенного: притулилась в углу, торгует игральными картами?

Увидев милиционеров, девчонка попыталась выбросить револьвер, вот что осложнило дело. Револьвер был маленький, изящный, похожий на игрушку. И коробочка патронов была к нему, двадцать штук.

Назвалась она Жоржеттой Кюрц. Лет ей всего шестнадцать, документов никаких, живет с отцом, преподавателем французского языка. Бедствуют они страшно, голодают, оттого и надумали продавать старые вещички.

Но карты эти никого не интересовали. Непонятно было, откуда револьвер. Разве не читала она обязательных распоряжений о сдаче оружия?

Жоржетта плакала и сквозь слезы твердила, что не виновата. В оправдание рассказала весьма наивную романтическую историю. Будто возвращалась однажды из кинематографа, а возле Владимирского собора догнал ее некий молодой красавец, спросив, как пройти на Боровую улицу. Будто понравились они друг другу с первого взгляда и стали встречаться ежедневно, пока не уехал ее возлюбленный из Петрограда. Уезжая, оставил на память револьвер, вот этот самый, просил сохранить до возвращений.

— А звать его как?

— Семой….

— Фамилия?

— Фамилии я не знаю, — пролепетала Жоржетта.

— Врешь ты все, мамзелька! — рассердился старший патруля. — Ладно, возиться нам с тобой некогда… Подумай как следует, а в участке советую говорить правду…

Пока Жоржетту вели на Моховую улицу, в шестнадцатый участок милиции, она, видимо, сообразила, что объяснение у нее никудышное. И взамен, горько рыдая, выложила новую версию.

Правильно, револьвер «бульдог» никто ей на хранение не передавал, и никакого Семы она не знает. Испугалась, вот и наврала. Револьвер она нашла. Гуляла в Летнем саду, любуясь осенними красками природы, и вдруг нашла. Лежал он под скамейкой, завернутый в тряпочку. Сперва она хотела сдать его в милицию, как положено, а после передумала: побоялась, как бы у папы не было неприятностей. Кроме того, если уж во всем сознаваться, она решила, что «бульдог» ей самой нужен…

— Это для чего же? — полюбопытствовал следователь.

В ответ Жоржетта заплакала. С трудом удалось выяснить, что девчонка, оказывается, успела разочароваться в жизни. Давно хочет покончить с собой.

— С чего же ты разочаровалась, глупенькая? — сочувственно спросил милиционер, доставивший ее в участок. Да и сам следователь, пожилой дядька с красным бантом в петлице, какие носили бывшие красногвардейцы, поглядывал на нее с участливым вниманием.

Словом, проканителься свидетель еще немного, и отпустили бы Жоржетту к папочке. Выругали бы, конечно, велели бы выбросить из головы глупые мысли.

Свидетелем, по доброй охоте примчавшимся в милицейский участок, был старый токарь с «Айваза» Никифор Петрович Уксусов. Это он приметил, как выбросила револьвер Жоржетта. И еще кое-что приметил. Плохо, что его самого сцапали по ошибке. Придрались, черти драповые, что торгует зажигалками. Того не примут во внимание, что надо же как-то кормиться.

Жоржетта не встретилась с Никифором Петровичем в милиции. Следователя вызвали из комнаты, а она осталась с милиционером, заранее радуясь благополучному исходу неприятностей.

Минут через двадцать следователь вернулся в комнату, и сразу все переменилось. Прежнего сочувствия на лице следователя не было.

— Доставишь гражданку на Гороховую, — приказал он милиционеру и стал укладывать в газету отобранные у нее вещи.

— За что? — крикнула Жоржетта. — Я ни в чем не виновата!

— Там разберутся, — не глядя на нее сказал следователь.

Разбираться в этом происшествии выпало ближайшему помощнику Профессора Семену Иванову.

Биография Семена Иванова была похожа на биографии многих молодых чекистов, присланных на Гороховую

партийными организациями. На эскадренном миноносце «Константин» довелось ему, обыкновенному машинисту, председательствовать в судовом матросском комитете, после этого дрался он в рядах красногвардейцев, устанавливая Советскую власть. С экспедиционным отрядом балтийцев побывал под Нарвой, где моряки преградили дорогу немцам, затем с полгода возглавлял Чрезвычайную Комиссию в Шлиссельбургском уезде, пока не направили его в аппарат губернской ЧК.

Узнав, что привели какую-то мамзельку, задержанную на рынке с револьвером, Семен Иванов мысленно ругнулся. Бездельники все-таки засели в милиции! Где бы самим выяснить, что к чему, так кет же, всё норовят свои обязанности на других свалить!

Однако беседа с Никифором Петровичем заставила его по-другому взглянуть на рыночное происшествие. Уединившись в кабинете Профессора, он подробно расспрашивал старого токаря и даже попросил разложить на столе колоды примерно так же, как лежали они у девчонки.

Как и Никифору Петровичу, Жоржетта ему не понравилась. Вернее, как-то насторожила.

— Давайте знакомиться, — начал он, наскоро перечитывая коротенький милицейский протокол. — Значит, вы будете Жоржетта Кюрц? Рождения 1903 года? Француженка? Проживаете на Малой Московской, четыре?

Жоржетта молча кивала головой.

— Оружие нашли в Летнем саду под скамейкой? Ага, даже было завернуто в тряпочку? На рынке торговали картами?

И вдруг он вскинулся, глянул на нее в упор:

— А с Пантюшкой давно виделись?

Позднее он и сам не мог объяснить, почему вдруг спросил об этом. Вероятно потому, что не выходила у него из головы «Английская папка».

Спросил просто так, на всякий, как говорится, случай, и сам не поверил нежданному эффекту. Губы девчонки дрогнули, и нечто смятенное, застигнутое врасплох, мелькнуло на ее испуганном лице.

— Я не понимаю… Наверно, это недоразумение… Никакого Пантюшки я не знаю…

— Ну что же, недоразумения тоже бывают, — поспешно согласился он, стараясь выгадать время. — Тогда так, гражданочка, бери вот бумагу, садись за стол и пиши…

— Что писать?

— А все по порядку. Кто такая, на какие средства живешь,

откуда раздобыла револьвер, в кого собиралась стрелять… И предупреждаю, баловаться у нас нельзя! Пиши одну правду, понятно?

Теперь можно было собраться с мыслями. Жоржетта писала, изредка на него поглядывая, а он сидел напротив, лихорадочно пытаясь сообразить, что все это должно означать. Сигналы девчонка кому-то подавала, это ясно, про револьвер врет, и теперь выясняется, что известна ей кличка англичанина. Ясно, известна, иначе бы не вздрогнула. Только вот откуда известна, каким образом и, главное, что у них общего? Неужели этот сверхосторожный тип допустил глупейший промах, связавшись с такой пигалицей? А что, если вдруг? Нет, слишком это маловероятно!

Оставив дверь кабинета приоткрытой, Семен Иванов побежал в комендантскую. Никогда еще он не нуждался так в рассудительном совете Профессора, а Профессора как нарочно не было. И дежурный комендант, заглянув в свой список, сказал, что вернется товарищ Отто не скоро.

Тогда он решил проверить смутную свою догадку. Вернулся в кабинет, мельком прочел исписанные девчонкой листки и сердито швырнул их в корзинку для мусора.

— За кого нас принимаешь? — спросил он, сокрушенно покачав лохматой головой. — Выходит, за дурачков, которые должны поверить нахальному вранью? Нет, барышня, не выйдет!

— Но я написала правду…

— Вранье это, брехня! И вообще, барышня, неужто ты думаешь, что никто ничего не видит, не примечает? Ты вот сидишь с утра на рынке, выложила напоказ своих трефовых дамочек, мерзнешь, голодуешь, а Пан-тюшка, между прочим, и знать тебя не желает…

Удар пришелся в точку, вновь дрогнули ее губы.

— Соображать бы пора, не маленькая. Пантюшку в данный момент интересует другая женщина…

— Кто? Кто его интересует? — вырвалось вдруг у Жоржетты.

— Сама знаешь кто — Марья Ивановна!

— Но она же в командировке, в Москве?

— И он там с ней прохлаждается, — быстро нашелся Семен Иванов, чувствуя, что должен использовать удачу до конца. — Обманули тебя, дурочку, облапошили… Мерзни, мол, на рынке, а мы поедем в Москву любовь крутить…

— Это неправда, она же старая! — крикнула Жор-жетта сквозь слезы. — Безобразная, некрасивая! Она старше его на двадцать лет!

— А это значения не имеет! — сказал он безжалостно. —

Мало ли что некрасивая, зато помощница…

— Ах, помощница! — в голос разревелась Жоржет-та. — Сволочь она, интриганка, вот что! Мерзкая, отвратительная баба! Я бы ее своими руками могла задушить..

Вволю наплакавшись, Жоржетта принялась рассказывать…

10

В первом часу ночи Семен Иванов прервал затянувшуюся беседу с Жоржеттой.

Каждая минута промедления казалась ему преступлением, и он поспешил на второй этаж.

Несмотря на поздний час, приемная Комарова была переполнена. Николай Павлович только вернулся с гатчинского участка фронта и не успел еще снять мокрую шинель,

— Ждать я не могу ни минуты, — шепнул Семен Иванов секретарю и совсем уж тихо прибавил: — «Английская папка»…

Выслушал его Комаров с обычной своей неторопливой обстоятельностью. Лишь в самом начале надавил кнопку звонка, пригласил к себе Павлуновского, уполномоченного ВЧК, а после уж не перебивал ни разу.

Семен Иванов в душе преклонялся перед своим Профессором, невольно копируя все его манеры, вплоть до привычки задумчиво почесывать за ухом. Революционер, приговоренный царскими сатрапами к смертной казни и сумевший к тому же бежать из тюрьмы, был в его глазах достойным примером для подражания.

Гораздо меньше знал Семен Иванов начальника Особого отдела. Слышал от товарищей, что из той же он когорты профессиональных революционеров, что коренной питерский металлист с Выборгской стороны, что бывал в тюрьмах и ссылках, нажил там чахотку, а в дни Октября находился в Военно-революционном комитете.

— Кюрц… Кюрц… — дважды повторил Николай Павлович и, близоруко щурясь, повернулся к Павлуновско-му. — Тебе эта фамилия ничего не говорит?

— Что-то не припоминаю…

— А я, представь, где-то встречал… Вот что, проверим-ка, пожалуй, в делах Военконтроля. Не там ли случайно…

Николай Павлович крутанул ручку настольного телефона, связываясь с дежурным по отделу, а Семен Иванов продолжал рассказывать о своей беседе с Жоржеттой. Из всего, что наболтала эта девица, самым существенным считал он упоминание о полковнике. Не худо бы побыстрее выяснить, что это за фигура и

в каком из штабов окопался. Зовут его Владимиром Эльмаровичем, а фамилию Жоржетта, к сожалению, не помнит. Явный, судя по всему, изменник.

— Вероятно, это начштаба Седьмой армии Владимир Эльмарович Люндеквист, — тихо сказал Николай Павлович и сморщился как от зубной боли. — Точнее, бывший начштаба. По телеграмме Троцкого откомандирован недавно в Астрахань, в Одиннадцатую армию… На ту же самую, если не ошибаюсь, должность…

— Вот это номер! — вырвалось у Семена Иванова. — В Питере нашкодил, а теперь примется и в Астрахани?

К чему же такая поспешность, товарищ Иванов! — мягко поправил его Николай Павлович. — Торопиться с обвинениями не следует. Прежде проверим, это наша с вами обязанность. Меня, признаться, гораздо больше занимает гостеприимный хозяин дома. Очень уж пестрая публика собирается под его крышей… А ты как считаешь, Иван Петрович?

Ответить Павлуновский не успел. В дверь председательского кабинета постучал дежурный по Особому отделу.

— Вот, разыскали! — объявил он, протягивая через стол тонкую синюю папку личного дела. — Хорош гусь, ничего не скажешь! Понять не могу, как мы его не взяли на заметку…

Папка Кюрца хранилась, оказывается, в архиве Военконтроля, в делах царской контрразведки.

Начинались материалы папки, как и положено, с двух стандартных фотографий агента. В фас и в профиль. Мужчина лет сорока с выпученными рачьими глазами и с остроконечными усами-пиками а ля Вильгельм. Кличка была странноватой — Китаец, а по паспортным данным — Илья Романович Кюрц, 1873 года рождения, незаконнорожденный сын князя Гедройца. Личное дворянство, воспитывался в парижском лицее Генриха IV, куда принимали лишь сыновей достойных родителей.

Далее шли сведения деловые. Служба в контрразведке Юго-Западного фронта, поездки с секретными миссиями в Швейцарию, Францию, Грецию, Румынию. Прикрытием была корреспондентская карточка, но журналист весьма посредственный, третьеразрядный. Налицо, отмечало начальство, ярко выраженная склонность к авантюризму. Хвастлив, неискренен, любит деньги и живет обычно не по средствам.

Наиболее важное было упрятано в конце, на последних страницах дела. В Бухаресте завел подозрительные связи с немецкой агентурой. Удовлетворительных объяснений представить не смог. Был отозван в Россию, восемь месяцев содержался в Петроградском доме предварительного заключения.

Двойная игра осталась недоказанной, но доверия лишен. Закончилось все высылкой в Рыбинск под надзор полиции.

— Да, ситуация, видно, серьезнее, чем казалось. — Николай Павлович захлопнул папку, задумался. — Товарищ Иванов, а когда была задержана дочка этого прохвоста?

— Часов в девять утра.

— Скверно. Как бы не ускользнул, чутье у них собачье, у этих шустрых господ… Ну что же, будем поспешать, пока еще не поздно. Надо взять крепких оперативников, автомобили, будем действовать немедленно. Арестовать придется всех упомянутых этой барышней. Ничего, коли не виновны, извинимся и выпустим… В квартирах оставим засады с летучими ордерами… Товарищ Иванов, свяжитесь сейчас же с Особым отделом Седьмой армии, прикажите срочно выяснить, где теперь Люн-деквист. Если выехал в Астрахань, нужно послать шифровку… Англичанина оставим за Профессором, пусть срочно проверит консерваторские связи. С Феликсом Эдмундовичем я поговорю сам… Впрочем, навряд ли разыщут эту дамочку в Москве. Тертая, видать, конспираторша… Не из эсеровской ли братии, как ты думаешь, Иван Петрович?

11

Ночь выдалась напряженная, без сна и отдыха.

В пятом часу утра, задолго до рассвета, на Гороховую привезли Илью Романовича Кюрца. Был он похож на служебные свои фотографии, разве что немного состарился и обрюзг. Топорщились рыжеватые усы-пики, выпученные рачьи глазки глядели непримиримо.

— Это беззаконие, уважаемые товарищи! Это произвол! — возмущенно Тараторил он, мешая французскую речь с русской и не замечая этого. — Среди ночи человека вытаскивают из постели, везут в «чрезвычайку», но позвольте вас спросить — за что, за какие грехи? Я всего лишь куратор трудовой школы, преподаю детям французскую грамматику… И я вынужден протестовать! Вы слышите, я протестую самым решительным образом!

— Успокойтесь, господин Китаец, — спокойно возразил Николай Павлович. — Это нам следовало бы возмущаться и даже протестовать, но мы предпочитаем молчать. В вашем доме плетутся сети антисоветского заговора, вы в открытую занимаетесь шпионажем, и все равно мы воздержимся от протестов. Бесполезное это занятие. Давайте, как деловые люди,

не будем терять времени понапрасну.

— О да, я несколько погорячился… Но почему вы решили переименовать меня в какого-то Китайца?

— И опять вы отвлекаетесь от делового разговора. Об этом нужно было спрашивать штабс-капитана Тхор-жевского из известного вам учреждения Юго-Западного фронта… Помните этого господина?

— Пардон, я что-то не понимаю…

— А что тут непонятного, Илья Романович? У штабс-капитана, по-видимому, была небогатая фантазия, вот и окрестил вас Китайцем… И давайте не ворошить прошлое. Интересует меня совершенно конкретный вопрос: давно ли знакомы вы с полковником Люндеквистом?

— Впервые слышу о таком…

— Полноте, Илья Романович, нельзя же впадать в детство. Полковник свой человек в вашем доме, а вы говорите — впервые слышу. Этак, чего доброго, вы и с господином Дюксом не знакомы?

— Понятия не имею. Кто это такой?

— И Мисс не знаете?

— Побойтесь бога, товарищ комиссар! Человек я семейный, у меня взрослые дети…

Дождь за окнами хлестал, не унимаясь ни на минуту, в глазах Китайца светилось бычье упрямство, и видно было, что много потребуется нервов, прежде чем выжмешь из него хоть крупицу правды.

Николай Павлович был нездоров, хотя и не жаловался никогда и по привычке своей старательно избегал встреч с врачами. Разламывалась чугунно тяжелая голова, воздуха все время не хватало, и на лбу выступал холодный пот. Это у него начиналось каждую осень, мешая жить и работать, и тянулось до первых зимних заморозков, когда легче становится дышать.

Чертовски хотелось выругаться и зло прикрикнуть на этого болвана, вздумавшего отпираться вопреки фактам, но кричать он себе запретил еще в то весеннее утро, полгода назад, когда послали его работать на Гороховую. Кричать и ругаться любили жандармы, а он не жандарм. Надо, чтобы этот Илья Романович забеспокоился за свою шкуру.

— Ваше право отрицать все подряд, — сказал Николай Павлович. — В конце концов всякий ведет себя сообразно своим представлениям о здравом смысле. Прошу, однако, не забывать, что компаньоны ваши значительно умнее. К примеру, Владимир Эльмарович Люндеквист. В итоге что же может получиться? Вы об этом подумали, Илья Романович?

Намек вроде бы достиг цели. Китаец заерзал на стуле.

— Не считайте, пожалуйста, Чрезвычайную Комиссию совсем уж безответственной организацией. Если мы решили арестовать вас и привезти сюда ночью, то, право же, с вполне достаточными основаниями. Мне вот, грешному, очень хотелось познакомиться с будущим товарищем министра внутренних дел…

— Это клевета! — подскочил на стуле Китаец. — Нельзя же из глупой обывательской болтовни делать столь серьезные выводы. Мало ли о чем говорят люди…

— Вот вы и расскажите, о чем они говорят? И какие люди?

Китаец задумался, потом перешел на трагический шепот:

— Прекрасно! Вас, значит, интересуют сплетни? Хорошо, я сам все напишу… Могу я изложить это на бумаге?

— Сделайте одолжение.

Уселся Китаец за низенький столик машинистки, обмакнул перо в чернила, подумал и начал писать. По-прежнему хлестал дождь, уныло барабаня по крыше. Николай Павлович медленно прохаживался из угла в угол, так ему было легче.

Писал Китаец размашистой и торопливой скорописью, обильно разбрызгивая чернила и явно выгадывая время. Свел все к невинным застольным беседам карточных партнеров. Собираются, дескать, у него старые знакомые, главным образом бывшие ученики, играют в преферанс. С полковником действительно знаком, хотя и не знал, что фамилия его Люндеквист. Обычное светское знакомство. Изредка, в свободное от служебных занятий время, полковник заезжал на чашку чая. Кто именно и когда изволил пошутить, будто из него, из Ильи Романовича Кюрца, получился бы неплохой товарищ министра, он припомнить не в силах. Просто не придавал этой шутке никакого значения.

— Почерк-то у вас анафемский, — усмехнулся Николай Павлович, прочитав исписанный красными чернилами листок. — Или вы нарочно так, чтобы ничего не было понятно? Должен, однако, заметить, что все вами написанное — сплошная неправда. Опасаюсь, как бы вас не обскакали более сообразительные компаньоны…

Усевшись за столик машинистки во второй раз, Китаец приписал, что знавал одного английского корреспондента, фамилия которого, кажется, Дюкс или что-то в этом роде. Знакомство у них было чисто профессиональное, решительно ни к чему не обязывающее. Иногда английский коллега забегал на огонек…

— Он что же, нелегал, этот ваш коллега?

— Не знаю!..

— А какой орган прессы представляет в Петрограде?

— Я как-то не спрашивал…

— Допустим. А почему же вы ни слова не написали про Марью Ивановну? Она тоже корреспондентка?

— Никакой Марьи Ивановны я не знаю.

— Бросьте прикидываться, Илья Романович! Неужели вам еще непонятно, что игру вы проиграли? Ваша дочь Жоржетта и то успела сообразить…

— О, мое бедное дитя! — запричитал Китаец. — Выходит, она в темнице Чека? О, я так и думал! Несчастная малютка! Могу я ее видеть?

— Всему свой срок, — отрезал Николай Павлович. — Так когда же познакомились вы с Марьей Ивановной и какого характера было это знакомство?

И снова уселся Китаец за столик, снова выдавливал из себя осторожные полупризнания.

За окнами начало понемногу светать. Звенели утренние трамваи, с Невы донесся отрывистый пароходный гудок.

В половине восьмого позвонили из Седьмой армии. Полковник Люндеквист, как удалось выяснить, к месту новой службы еще не выезжал. Находится на излечении в лазарете по поводу простудного заболевания. Болезнь, судя по некоторым признакам, явно дипломатическая.

— Вам нечего добавить, Илья Романович? — спросил Николай Павлович. — Тогда прервем нашу милую беседу. И рекомендую вам поразмыслить на досуге.

Дождавшись, пока уведут Китайца, он собрался прилечь на узкую свою койку, поставленную за ширмой в углу кабинета. Но отдохнуть ему не дали.

Из госпиталя на Суворовском проспекте доставили Люндеквиста. Допрашивал его Профессор, а он пришел и сел в сторонке, наблюдая за поведением этого рослого и по-барски самоуверенного полковника.

Хватило Люндеквиста ненадолго. Начал он с преувеличенно бурного негодования, требуя немедленно связать его по телефону с Реввоенсоветом республики, где его знают и высоко ценят как честного военного специалиста, но быстро сдал позиции, сообразив, что запирательство бесполезно. Низко склонил стриженную под ежик голову, замолк, притих, удрученный провалом.

— Я знал, что кончится это расстрелом! Я с самого начала предчувствовал…

Заговор был опасным. Принимая во внимание обстановку, самым, пожалуй, опасным из всех, с какими имели дело петроградские чекисты.

Все было рассчитано и довольно точно спланировано. Опоздай ЧК с ответными ударами, и Юденич получил бы активную поддержку своей агентуры, окопавшейся в Петрограде. За спиной защитников города должен был вспыхнуть мятеж.

Главную силу «Белого меча» составляли, понятно, вооруженные отряды заговорщиков. Это им, каждому на заранее определенном участке, предстояло дезорганизовать внутреннюю оборону путем захвата важных ключевых позиций.

Одновременно велась и политическая подготовка свержения власти Советов. Еще в октябре, в первые дни наступления белогвардейцев, заговорщики получили приказ сформировать правительство из «патриотически настроенных элементов».

По-разному вели себя заговорщики на следствии.

Полковник Люндеквист старательно открещивался от политики. Человек он, дескать, военный, занят был исключительно разработкой плана операции, а все остальное его не касается.

Китаец, хотя и обещал помочь следствию, старательно изображал из себя мелкого платного агента, выполнявшего отдельные поручения своих хозяев.

Любопытны были подпольные «министры».

На Гороховую их привозили одного за другим, еще тепленьких, заспанных, не понимающих, что заговор раскрыт. И каждый допрос непременно заканчивался покаянным заявлением об отставке.

— Поверьте, я отказывался и вообще выражал сомнение в своей пригодности! — чуть не плача, говорил министр финансов Сергей Федорович Вебер. — У меня подагра, видите — я не могу пошевелить пальцами…

— Считайте мое согласие необдуманным легкомысленным поступком, — просил министр просвещения Александр Александрович Воронов.

— Меня чуть ли не обманом вовлекли в эту аферу! — истерически кричал министр транспорта Николай Леопольдович Альбрехт.

Профессора Технологического института Александра Николаевича Быкова, крупного деятеля кадетской партии, допрашивал сам Комаров. Этот, правда, держался степенно, как и полагается будущему премьер-министру.

— Я еще могу как-то понять ваше согласие на премьерское кресло, хотя и не одобряю методов формирования нелегального

правительства, — задумчиво сказал Николай Павлович. — Но объясните мне, пожалуйста, что за возня была у вас с пироксилином?

— Никакой возни не было…

— А о чем же говорили вы с Кюрцем? Помните, когда дали согласие быть премьер-министром?

— Разные обсуждались темы…

— Нет, меня интересует именно разговор о взрывчатке. О чем вас просил Кюрц?

— Ну… чтобы мы изготовили пироксилин в институтской лаборатории…

— Для какой цели?

— Право, не помню…

— Позвольте, но ведь это взрывчатка! Не мыло хозяйственное- и не порошок против клопов. Разве можно запамятовать?

— Представьте, запамятовал…

Китайца так и не успели отправить в тюрьму. Сидел он в комендантской, усердно дополнял свои показания, дожидаясь вызовов на очные ставки.

— Как же, как же, был разговорчик! — подтвердил он не без удовольствия. — Профессор Быков высказался в том смысле, что не худо бы взорвать железнодорожный мост у станции Званка. Мост этот считается стратегическим…

— Стало быть, не вы просили профессора изготовить пироксилин, а он сам выдвинул идею взрыва моста?

— Именно, именно, так и было… Не надо смотреть на меня сердитыми глазами, господин профессор… Се ля ви, как говорят французы… Такова жизнь!..

— Убей меня бог, но я действительно отказываюсь постичь вашу логику, — вздохнул Николай Павлович, когда Китайца увели. — Вы соглашаетесь стать премьер-министром, следовательно, отдаете себе отчет в том, где, когда, в каких конкретных исторических условиях должно работать ваше будущее правительство. В голодном, холодном, сыпнотифозном Петрограде, среди чудовищной разрухи, нищеты, среди неслыханных народных бедствий… И вы же готовите диверсию на железной дороге… Позвольте вас спросить, как же это совмещается в одном лице?

Быков молчал. Да и что, собственно, мог он сказать, если все его «правительство» оказалось на поверку трусливым сбродом?

Надо было выявить и быстро обезвредить вооруженных участников заговора.

На границе с Финляндией удалось задержать бывшего

поручика Виктора Яковлевича Петрова, командира роты одной из дивизий карельского участка фронта. Это его рота, насчитывавшая сто шестьдесят штыков, должна была подняться по тревоге и поступить в распоряжение руководителей заговора.

Отбирали в роту заговорщиков надежных людей— бывших жандармов, полицейских, гостинодворских приказчиков — и заранее, чтобы не возбуждать подозрений у военкома, сочиняли каждому вполне «пролетарскую» биографию. В результате удалось незаметно сколотить шайку готовых на все головорезов.

Роте Петрова было приказано захватить здание ЧК на Гороховой. «Ваша задача нанести ошеломляюще внезапный удар, а чекисты сами разбегутся», — инструктировал Люндеквист.

— Стало быть, вот это самое здание вы и собирались захватить? — усмехнулся Николай Павлович. — А нам всем положено было разбегаться?

— Выходит так, — уныло согласился Петров.

Часть своих сил, примерно с полсотни наиболее надежных головорезов, Петров должен был направить на штурм линкора «Севастополь». План этой ночной операции был отчаянным, пиратским. Подойти ночью к линкору, пользуясь маленьким портовым буксирчиком, взять корабль на абордаж и водрузить на нем андреевский флаг. Коммунистов и комиссаров, конечно, в Неву, в завязанных наглухо мешках, а из двенадцатидюймовых орудий «Севастополя» — огонь по городу.

— Цели вам указали?

— Нет, огонь надо было открывать беспокоящий…

— Что это значит?

— Вызвать, одним словом, панику…

13

Следствие набирало силы.

Но еще скрывался где-то сверхосторожный английский резидент, еще не удалось схватить таинственную Мисс, и даже неизвестно было, кто же действует под этой кличкой.

Помогла засада, оставленная на Малой Московской улице в квартире Ильи Романовича Кюрца.

Рано утром в дверь этой квартиры постучалась неизвестная женщина. Стукнула три раза с довольно длинными паузами и, увидев в квартире посторонних, кинулась бежать, но была задержана.

— Везите ее сюда! — распорядился Николай Павлович.

Через полчаса на Гороховой разыгралась сцена, почти в

точности повторившая поведение Бориса Берга, «главного агента английской разведки в Петрограде».

— Я — Марья Ивановна, которую вы разыскиваете по всему городу! — объявила женщина. — Ни о чем меня не спрашивайте, отказываюсь отвечать на все ваши вопросы…

И действительно, сколько с ней ни бились, она мол-цала. Тонкие бледные губы были сердито поджаты, в глазах светилась фанатическая решимость упорствовать до конца. Одета была эта женщина во все черное, ростом невысока, круглолица, светловолоса, и вообще больше смахивала на религиозную кликушу, чем на руководительницу заговора, перед которой трепетали мужчины.

Неизвестно, чем бы все это кончилось. Николай Павлович был твердо убежден, что перед ним вовсе не Мисс, скорее всего отправил бы ее в тюрьму «впредь до выяснения личности», если бы не заглянул к нему Профессор.

— Батюшки светы, да никак госпожа Орлова! — удивленно воскликнул Профессор, заметив женщину в черном. — Вот уж не думал, что встретимся мы в Чека!

Бывают же в людских судьбах странные совпадения!

За много лет до этого хмурого ноябрьского утра в камере смертников ревельской военной тюрьмы происходило довольно занятное и довольно тягостное свидание. К Эдуарду Отто, опасному государственному преступнику, с минуты на минуту ожидавшему казни, пожаловала молодая элегантно одетая дама. Смущаясь и краснея, назвала себя Анастасией Петровной, супругой прокурора Орлова, который вел его процесс и настойчиво добивался смертной казни через повешение. Еще более смутившись, начала объяснять, что пришла просить осужденного примириться с всевышним и не отказаться от облегчающего душу святого причастия. Муж ее обещал помолиться за преступника, хотя по служебному своему положению обязан карать врагов престола и отечества. И она умоляет его о смирении, это ее христианский долг.

Тяжкий был разговор, утомительный и бесплодный, потому, наверно, и запомнился на долгие годы. Дама рыдала, становилась перед ним на колени, совала какую-то ладанку, а он, признаться, не мог дождаться, когда же наконец она уйдет. Как раз в ту ночь должен он был бежать и дорожил каждой минутой.

И вот — новая нежданная встреча. Изрядно потускнела и изменилась госпожа Орлова за эти годы, а глаза такие же, как тогда, и светится в них что-то фанатичное, жертвенное.

— Я не знаю вас, — сказала она, мельком посмотрев на Профессора.

— Помилуйте, Анастасия Петровна, как же не знаете! А ревельскую тюрьму забыли? Ведь это мою душу собирались вы спасти, я-то вас прекрасно помню…

— Вы? — отшатнулась она в страхе. — Вы живы, вы здесь, в этом храме сатаны? Господи, неужели и ты за большевиков?

— О позиции господа бога мы говорить не будем, — серьезно сказал Профессор. — Думаю, что должен он стоять за народ, если существует. А вы, Анастасия Петровна, против народа, заодно с его смертельными врагами… Иначе зачем бы понадобился вам этот дешевый фарс?

— О господи, спаси нас и помилуй!

— Но вы заблуждаетесь, Анастасия Петровна, думая, что уловками своими помешаете правосудию… Жестоко заблуждаетесь! Все равно мы разыщем Марью Ивановну… Вот вернется она в Петроград, и пригласим на беседу…

Склонив голову, Орлова долго молчала.

— Видно, вы правы, — сказала, тяжело вздохнув. — От судьбы никуда не денешься… Приедет Марья Ивановна завтра, так было у нас условлено… И зовут ее не Марьей Ивановной…

14

Звали ее Надеждой Владимировной.

Китаец заблуждался, считая ее неумной интриганкой, способной лишь на запугивание и шантаж. Ревновал, вероятно, не мог никак простить руководящей роли в заговоре.

Этим и объяснила она нелестные его отзывы о своей персоне. «Напыщенный, самодовольный болван», — презрительно фыркнула, когда зашел разговор об Илье Романовиче Кюрце. И других нисколько не щадила, наделяя уничтожающими характеристиками. Владимира Эльмаровича Люндеквиста назвала тупым солдафоном, Жоржетту Кюрц — безмозглой идиоткой, а Бориса Павлиновича Берга — игрушечным Наполеончиком из Ораниенбаума.

Надежда Владимировна была достаточно умна и сообразительна, чтобы сразу оценить обстановку. Раз уже добралась до нее ЧК, значит дело проиграно и запирательство становится бессмысленным.

Не стала упорствовать, не изображала из себя невинной жертвы, по ошибке угодившей на Гороховую. Едва ее арестовали на Николаевском вокзале и привезли в кабинет Николая Павловича, тотчас во всем призналась.

Да, Марья Ивановна — это ее конспиративная кличка. И

шифрованное донесение Юденичу отправляла она, подписавшись условленным заранее псевдонимом Мисс. Кроме того, перехваченного чекистами, донесения были, разумеется, и другие. Скрлько всего, она не помнит.

К военным вопросам она касательства не имела, а формирование правительства было поручено ей, это правда. Завершить всю работу не удалось, но главные портфели были распределены.

И вообще, если нет возражений, она предпочла бы на все вопросы следствия отвечать в письменном виде. За письменным столом ей легче сосредоточиться.

Следствие не выясняло, была ли Надежда Владимировна Вольфсон знакома с эсеркой Фанни Каплан, стрелявшей отравленными пулями во Владимира Ильича Ленина. Возможно, и не знали они друг друга, длительное время подвизаясь в рядах одной партии, но схожего в биографиях этих бывших «революционерок», ставших оголтелыми врагами революции, было много.

Схожего и вместе с тем несхожего. Так или иначе Надежда Владимировна шла гораздо дальше Каплан. От террора не отказывалась, но считала его достаточно устаревшим оружием. Главную ставку делала на иные средства борьбы. Что террор с комариными его укусами! Ей нужно было организовать вооруженное выступление против большевиков, свалить их любой ценой, пойдя на сговор хоть с самим дьяволом — о меньшем она не хотела и думать.

— Расскажите, когда и при каких обстоятельствах познакомились с Полем Дюксом. Перечислите места, где он бывает. Когда вы виделись в последний раз?

— Обождите, я все вам сообщу без утайки, — уверяла она следователя. — Верьте в мое безусловное раскаяние, я жажду как можно лучше помочь следствию…

И действительно, сообщила многое, изо всех сил стараясь завоевать доверие. Собственноручные ее показания, обдуманные, хладнокровные, написанные без помарок ровным, уверенным почерком, составили целый дом следственного дела.

По ним можно представить, как формировался этот крупнейший заговор контрреволюционного подполья **и** как были расставлены силы в ожидании сигнала к началу операции «Белый меч». Подробнейшим образом описываются в них маршруты курьеров, техника шифровки **и** даже запасные, ни разу не использованные каналы связи. Например, через Ладожское озеро, где был оборудован на берегу специальный тайник.

Надежда Владимировна никого не щадила.

— Вы лжете! — жестко обрывала она своих сообщников на очных ставках. — Вы до сих пор не разоружились перед Советской властью!

Изворотливого Китайца она ловко приперла к стенке, заставив сообщить еще неизвестные имена его осведомителей. Люндеквист после недолгого запирательства вынужден был рассказать, как некстати оказалось его назначение в Астрахань и как лег он в лазарет, придумав себе болезнь.

Были, однако, и исключения из правила, когда откровенность внезапно изменяла Надежде Владимировне и она принималась всячески петлять, норовя сбить следователя с толку.

Главным таким исключением был «СТ-25».

Надежда Владимировна не отрицала знакомства с ним. Смешно было бы отрицать, если чекистам многое известно. Да, он пришел к ней почти сразу после своего нелегального появления в Петрограде. Пришел по рекомендации ее племянника гардемарина Веселкина, с которым познакомился в Мурманске. Назвался Павлом Павловичем Саввантовым, выдавал себя за больного, а позднее отлеживался у нее на квартире, лечил обмороженные ноги. Она догадалась, что это иностранец, и вскоре они объяснились. Сперва он говорил, что работает корреспондентом одной из социалистических газет Англии, собирая журналистскую информацию о русских делах, а затем признался, что имеет специальные задания английской разведывательной службы. В Москву они ездили вместе, это она отрицать не станет. Переговоры с «Национальным центром» вел Поль Дюкс, а она лишь присутствовала как его заместительница.

— Где сейчас Поль Дюкс?

— Не знаю…

— Вы же обещали говорить правду!

— Я действительно не знаю, где он… Вероятно, его нет в Петрограде…

— Куда он уехал?

— Не знаю…

Другим исключением был старший ее сын Виль де Валли, работавший в политотделе Седьмой армии. Настоящая его фамилия была Ерофеев, а на французский дворянский лад он переименовал себя по собственной прихоти, найдя, что Виль де Валли звучит гораздо красивее, чем Ерофеев.

Впрочем, это не имело значения. Важно было другое: наконец-то стало понятно, каким образом обзавелся «СТ-25» политотдельским удостоверением на имя Александра Банкау. К тому же и в шпионских донесениях Китайца, найденных при обыске, содержалась секретная информация о положении в

Седьмой армии, источник которой не вызывал теперь никаких сомнений.

Виль де Валли был арестован следом за матерью.

— Уверяю вас, он решительно ни в чем не виноват! — заявила Надежда Владимировна. — О моей работе в организации мой сын даже не подозревал… И вообще, несмотря на свой возраст и служебное положение, он все еще остается порядочным шалопаем… Любитель ходить по гостям, поухаживать за девицами… Вечно возвращался домой слишком поздно, и из-за этого у нас происходили неприятные объяснения…

— Позвольте, ведь сын ваш жил вместе с вами, на одной квартире! Разве не видел он, что у вас днюет и ночует подозрительный иностранец?

Вопрос был резонный, и Надежда Владимировна сообразила, что невозможно, пожалуй, выдавать сына-политотдельца за беззаботного шалопая, не замечавшего, что творится у него под носом. Нужно было как-то выкручиваться.

— Хорошо, я скажу всю правду, — согласилась она, немного поразмыслив. — Разрешите только отложить этот разговор на завтра… Боже мой, вы и представить не можете, как тяжело материнскому сердцу!

Профессор согласился подождать. На следующий день Надежда Владимировна разыграла в его кабинете одну из самых душераздирающих сцен, драматически изобразив непримиримый конфликт между матерью и сыном. И Профессору, сказать по совести, понадобилось все его хладнокровие, чтобы выдержать до конца, не рассмеяться и не возмутиться.

Надежда Владимировна не знала, конечно, что карты ее раскрыты. Рано утром Профессору позвонили из тюрьмы, где содержались заключенные по этому делу. Перехвачена была записка Виль де Валли, которую он тайно направлял матерії. «Когда ты вступила в организацию, я не знаю, — писал сын, подсказывая матери, что и как говорить на допросе. — Зимой я заметил, что несколько раз приходил какой-то таинственный мужчина. Сначала ты мне сказала, что это больной, потом — что это английский писатель, собирающий материалы для книги. Лишь спустя некоторое время ты призналась, что это разведчик. Я протестовал, но ты сказала, что покончишь самоубийством, если я его выдам. По этому поводу у нас были частые стычки, и я стал избегать дома. Сам я никакого участия в организации не принимал».

Такой была эта записка, не оставляющая сомнений в причастности Виль де Валли к заговору. Профессор велел снять с нее копию, а оригинал передать по назначению.

И вот Надежда Владимировна сидит перед ним, изображая убитую горем мать. Заранее обдуманы каждый жест и каждое слово, на глазах блестят слезы.

— Вряд ли поверите, но сегодня ночью я не сомкнула глаз, — произносит она трагическим шепотом. — Положение мое было ужасным… Насколько мой муж ничего не видел и не замечал, всецело поглощенный своими научными занятиями, настолько у старшего сына оказался какой-то обостренный нюх. Он очень честен, мой мальчик… И кончилось это тем, что однажды он в категорической форме потребовал, чтобы я объяснила, кто же к нам ходит… Поколебавшись, я сказала, что это английский корреспондент, вынужденный по воле обстоятельств скрываться от Чека… Сын был, понятно, возмущен. Кричал на весь дом, что не потерпит эту сволочь, что я должна немедленно с ним порвать и не впускать больше в квартиру. Потом сын уехал в Новгород, где тогда размещался штаб Седьмой армии, а из Новгорода в Царское Село… Когда он вернулся, разговор этот автоматически возобновился… Я была просто в отчаянье, понимая, что, как верный коммунист, он непременно решится на крайнее средство… Я металась по квартире, не зная, что предпринять…

— Почему же не знали, Надежда Владимировна? — впервые поднял голову Профессор, глянув ей прямо в глаза. — Дальше следует говорить, что вы угрожали сыну самоубийством и из любви к вам он согласился молчать… Шпаргалку-то разве забыли?

— Какую шпаргалку? — обомлела Надежда Владимировна. — Я вас не понимаю…

— Шпаргалку вашего сына. Этого верного, как вы утверждаете, коммуниста, который, кстати, снабжал английского разведчика фальшивыми политотдельскими документами. Хотите, напомню? — Профессор выдвинул ящик стола, собираясь достать копию записки. — Да у вас у самой отличная память…

Впервые за все эти дни Надежда Владимировна растерялась. Искаженное злобой, бледное, с потухшими глазами, лицо ее было страшно.

Из всех живущих на земле людей только двое были по-настоящему дороги этой женщине, только за них она отчаянно боролась — за сына и за любовника. И оба теперь были для нее потеряны навсегда.

— Давайте, Надежда Владимировна, кончать эту комедию. Собираетесь вы говорить правду или нет? Меня прежде всего интересует, где сейчас Поль Дюкс.

Что-то в ней надломилось, в этой властной и беспощадной Мисс.

— Не ищите его, не теряйте времени даром, — глухо сказала она, глядя на Профессора пронзительными ненавидящими глазами. — Его в Петрограде нет… Его нет и в России… Он уехал… Он бросил меня, он… он постыдно удрал…

И впервые дала волю душившим ее слезам.

15

Такова в самом кратком изложении хроника этого заговора.

Смертельная угроза, совсем еще недавно нависшая над Петроградом, была ликвидирована героическими усилиями Красной Армии. 21 октября, в шесть часов утра, наши части перешли в контрнаступление, выбили врага из Павловска, из Царского Села, и с того дня не выпускали больше инициативу из своих рук.

Во второй половине ноября, после падения Ямбурга, крах армии Юденича стал очевидным для всех фактом.

«Произошло нечто фатальное. Само провидение, кажется, за большевиков», — писал в эти дни в своем дневнике «министр» марионеточного Северо-Западного правительства Маргулиес.

Между тем ничего фатального не было, и совсем не провидение способствовало успеху Красной Армии. Отлично вооруженная и казавшаяся непобедимой армия Юденича была разбита, потому что несла на своих штыках возврат к прежним помещичье-капиталистическим порядкам, потому что была армией контрреволюции.

Агония этой армии продолжалась еще несколько месяцев в болотах Эстонии. Не обошлось, как обычно в подобных случаях, и без пошлых фарсов.

Обманутые солдаты армии мерзли в дощатых лагерях, сколоченных для них эстонским правительством, а свежеиспеченные генералы тем временем затеяли междоусобную драчку за присланное из колчаковских фондов золото.

23 ноября 1919 года в «Петроградской правде» было опубликовано сообщение Комитета обороны Петрограда о ликвидации нового белогвардейского заговора.

«В дни юденического наступления, — писала «Петроградская правда» в передовой статье «Непобедимое», — мировая буржуазия ставила свою решительную ставку. Заговор ее был блестяще подготовлен. И все же контрреволюция потерпела позорнейшее поражение, ибо тщетны все попытки победить непобедимое».

Бессонная работа чекистов принесла свои добрые плоды. Выявлены были все разветвления этого крупного заговора, а

истинные его заправилы и вожаки тщательно отделены от второстепенных участников, не успевших принести значительного вреда. Кстати, огромное большинство заговорщиков отделалось лишь высылкой в трудовой лагерь до конца гражданской войны — наиболее часто применяемой в ту пору мерой наказания.

Немалых усилий Профессора и других оперативных работников потребовало выявление агента англичан, проникшего на Гороховую, в аппарат Чрезвычайной Комиссии.

Подлым оборотнем, как удалось установить, был некий Александр Гаврющенко, в прошлом сотрудник военно-морской разведки. Обманом проникнув в ЧК, выдавая себя за честного коммуниста, он оказывал платные услуги Полю Дюксу. По приговору коллегии ЧКпредатель был расстрелян.

Грозная ЧК, карающий меч революции, нагоняла страх на врагов Советской власти. Однако меч этот не разил, не должен был разить безвинных.

У Китайца кроме Жоржетты была еще и десятилетняя дочка Нэлли. Илья Романович получил заслуженное наказание, осужденный коллегией ЧК на десять лет тюремного заключения. Отправили в трудовой лагерь и Жоржетту, знавшую о преступной деятельности отца.

В опустевшей квартире на Малой Московской, где собирались заговорщики, осталась одна маленькая Нэлли. Судьба ее, понятно, не могла не беспокоить чекистов.

Нельзя читать без волнения документ, посвященный этой девочке, который сохранился в многотомном деле с его бесчисленными протоколами, стенограммами, справками, ордерами на арест, с собственноручными показаниями обвиняемых и с запоздалыми покаянными слезницами.

Подписан документ начальником Особого отдела. Это официальная просьба Петроградской ЧК, направленная в губернский отдел социального обеспечения. В нем кратко излагается суть вопроса, после чего сказано, что «Петрочека просит поместить Нэлли Кюрц в один из лучших петроградских интернатов для безнадзорных детей и дать ей возможность учиться, к чему обнаружатся способности».

В заключение следует, пожалуй, сказать несколько слов о сэре Поле Дюксе и дальнейшей его карьере.

Шпионы обычно до пенсии не доживают.

Этот, представьте, дожил. Ценой обмана, предательства и бессовестного умения выдавать белое за черное. Наивно, разумеется, искать хоть какое-то подобие правды в его «Исповеди агента „СТ-25”». Побег из Петрограда изображен в этой книге едва ли не в виде героического поступка и большой жертвы со

стороны автора. Его, Поля Дюкса, видите ли, мучают воспоминания об оставшихся в Петрограде сообщниках, уезжать он не хотел, но заботливые начальники, беспокоясь о его безопасности, приказали уехать, и тут уж ничего нельзя было Поделать, пришлось все бросить и срочно возвратиться в Англию.

Трусов и предателей в разведывательных службах принято уничтожать.

Поля Дюкса не уничтожили, даже наградили орденом Британской империи, определив в герои. Невольно напрашивается вопрос — почему?

Ответ прост. Потому, что гораздо выгоднее было иметь под руками «очевидца», способного без устали рассказывать англичанам про большевистские «ужасы». Что-что, а сочинять эти «ужасы» Поль Дюкс был великий мастер.

Трудно отказать себе в удовольствии привести образчик его «сочинений», не меняя в нем ни единого слова.

Итак, вот оно, свидетельство «очевидца», бежавшего из Петрограда осенью 1919 года:

«В июле, вследствие попытки к забастовке рабочих Путиловского, Ижорского и других заводов, несколько сотен рабочих было арестовано Чека, а шестьдесят человек расстреляно. Вдова одного из расстрелянных обошла все тюрьмы, чтобы найти своего мужа. В Василеостровской тюрьме ей удалось набрести на его след через несколько часов после расстрела. Она обратилась к комиссару тюрьмы с просьбой отдать ей тело мужа, чтобы похоронить его, на что комиссар, предварительно справившись в своем блокноте, ответил, что она опоздала и что труп ее мужа уже в Зоологическом саду. Вдова поспешила туда в сопровождении своей подруги, но в показанных там трупах мужа своего не опознала. Тогда ее повели к клеткам с львами, которым только что принесли два трупа на съедение. В одном из них она узнала своего мужа. Труп был наполовину растерзан. Вдова не вынесла этого зрелища и сошла с ума. После нее осталось пятеро детей».

Не правда ли, загнуто лихо?

Ну разве можно было не наградить орденом Британской империи такого вот «очевидца». Тем более в конце 1919 года, когда скрежещущие зубами английские консерваторы подсчитывали убытки от провалившейся интервенции в России.

Вот так и вышло, что шпион дожил до пенсии, прослыв у себя на родине за незаменимого «специалиста» по русским делам.

Петр Люткевич. МОЯ ПЕРВАЯ ОПЕРАЦИЯ

Довелось мне недавно съездить в Автово, в то самое Автово, которое еще лет пятнадцать назад считалось окраиной Ленинграда. Приятель, с которым мы условились встретиться, долго объяснял по телефону, в каком направлении идти от станции метро, на какую по счету улицу и когда сворачивать.

— К чему эти подробности? — сказал я, немного задетый его объяснениями. — В Автове дорогу найду с закрытыми глазами…

Но стоило мне выйти из метро на проспект Стачек, как я убедился, что советы приятеля были отнюдь не лишними. Все вокруг оказалось новым для меня, незнакомым: и круглая площадь, названная Комсомольской, и цветущий треугольник сквера, от которого стрелами уходят две широченные новые магистрали.

Целую вечность не бывал я в этих местах. Читал о новостройках, снимки в журналах и газетах разглядывал, а как это выглядит в натуре, представить не мог. Вот уж правду говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Думаю, что многие автовские новоселы, особенно молодежь, и не представляют этого района другим. А я шел к дому своего приятеля и видел как бы два изображения, наложенных одно на другое. Сплошную линию огней, в которых отсвечивают потоки машин, широкие витрины магазинов, множество народа и одновременно совсем другую картину — затемненные окна редких домишек, изможденные лица прохожих, скупые лучи карманных фонариков патруля, проверявшего пропуска, свист снарядов над головой. Короче говоря, фронтовую зону в Автове.

Здесь, в этой зоне, занимала огневые позиции артиллерийская дивизия, где я был начальником Особого отдела. Будучи к тому времени уже довольно опытным чекистом, я понимал, конечно, как велика наша ответственность. Ни один вражеский лазутчик не должен был пройти через линию фронта. И, как правило, не проходил.

Опыт, говорят, дело наживное. Поэтому и вспомнить мне хочется не многочисленные чекистские операции периода Великой Отечественной войны, а то далекое время, когда сдавал я свой первый экзамен. Речь пойдет о весьма скромном эпизоде, к тому же имевшем место довольно далеко от невских берегов.

Дело было в 1919 году, в городе Алатыре Симбирской губернии.

Уездная ЧК получила однажды сигнал, что на железнодорожном разъезде близ Ардатова и в его окрестностях действует строго законспирированная контрреволюционная организация «Союз офицеров». Имелись сведения, что готовится восстание против Советской власти.

— Работать будем по-умному, основательно, — сказал председатель ЧК, когда все мы собрались потолковать о плане дальнейших действий.

— Что ты предлагаешь?

— Прежде всего — не пороть горянку. Судя по всему, они сейчас только еще снюхиваются. Неплохо бы подослать к ним толкового человека.

— Кого же именно?

— Новичка надо, человека неизвестного в наших местах. И такого, который смог бы сойти за офицеришку…

По всем статьям лучше других подходил для этой роли я. Никто еще не знал меня в маленьком захолустном Алатыре, где каждый вновь прибывший невольно обращает на себя внимание обывателей. К тому же я успел послужить в царской армии, правда, не в офицерском чине — был старшим фейерверкером. Однако повадки и нравы господ офицеров знал, успел к ним присмотреться.

Короче говоря, нарядили меня в китель прапорщика, только без погон, выдали соответствующую «липу», тщательно проинструктировали и отправили. Задача была довольно сложная: войти в доверие, установить численность и вооружение организации, узнать, на какой срок намечается восстание.

Первым делом отправился я на разъезд. Прогулялся вдоль путей, побродил вокруг станционных строений и как бы нечаянно наткнулся на начальника разъезда.

— Кто таков? — спрашивает.

— Да вот хочу устроиться на работу.

Начал меня расспрашивать. Вижу, относится не очень-то доверчиво, но с любопытством. Тогда я достал свои документы. Замечаю — на лице совсем другое выражение: офицер все-таки, ваше благородие.

Обещал подумать. Вроде бы клюнул. И верно — на следующий день познакомил меня со стрелочником, как потом выяснилось, крупным торговцем, проживавшим в соседнем селе. А тот, в свою очередь, пригласил к себе домой. За ужином устроил мне форменный допрос: кто я такой, откуда явился, что намерен делать дальше.

Снова пошли в ход документы, которые, кстати, сработаны были превосходно. Они-то и успокоили моего хозяина. Повеселел,

сказал, что рад был познакомиться, предложил погостить пока в его доме.

На первых порах ничего другого мне и не требовалось. Пожил у него две недели, ел, пил, ходил по соседним деревням, знакомился с людьми, исподволь выявляя тех, на кого в случае чего можно будет опереться. Хозяину не забывал напоминать, что изнываю от безделья.

На третьей неделе подоспел какой-то престольный праздник. Хозяин пригласил меня поехать с ним в соседнюю деревню, в гости к его свату. Я, понятно, согласился. И вот по дороге начал он жаловаться: жить, дескать, тяжело, Советская власть никуда не годится, надо что-то предпринимать.

Я, понятно, помалкиваю.

В гостях, как и следовало ожидать, собралось «избранное» общество. На кого ни посмотри, сразу видно, хорош гусь: либо офицер переодетый, либо кулак.

Встретили меня любезно, начали знакомиться, угощать. Однако о делах помалкивали.

Зато когда ехали обратно, подвыпивший хозяин вдруг разошелся:

— Скоро, милок, Советской власти крышка. Такую им резню устроим, ни одного большевичка не останется,

И начал рассказывать, как готовятся к восстанию, сколько у них людей наготове и сколько припрятано оружия. Даже где хранится оружие, выболтал: в надежном, дескать, месте, под стропилами церковной колокольни. Винтовки есть, револьверы, пулеметы.

Я и верил ему и не верил. Думалось, что расхвастался спьяна, наговорил всякого, особенно насчет спрятанного оружия. Но утром, когда я стал осторожно переспрашивать, хозяин все подтвердил.

— А меня вы собираетесь использовать?

Хозяин поспешил заверить, что работа найдется. Причем, важная, ответственная.

И действительно, через несколько дней я узнал, что назначен связным у руководителей организации. Что ж, «назначение» это меня вполне устраивало: связному легче изучить расстановку вражеских сил.

Вскоре я как свой человек знал все планы контрреволюционной организации, знал, где и когда будет начато восстание, кто руководит отрядами, сколько у них оружия.

Намечалось восстание на конец 1919 года, с тем чтобы охватить Ардатовский, Алатырский, Курмышский, Буинский и некоторые другие уезды.

Не вызывая подозрений, нужно было сообщить обо всем **В** ЧК. Вот тут и помогли мне активисты, которых я заблаговременно успел подобрать.

Разработанный ЧК план ликвидации контрреволюционной банды удалось осуществить полностью. В назначенный срок были произведены обыски. На колокольне действительно обнаружили склад оружия. Попались с поличным все вожаки «Союза офицеров».

— Поздравляю, «прапорщик» Люткевич! — сказал мне председатель ЧК. — Первую свою операцию провели неплохо.

…Много лет прошло с того времени, во многих местах довелось мне поработать. Из Симбирска попал в Первую конную армию Буденного, затем громили мы контрреволюционные банды на Северном Кавказе, в районах Армавира, Майкопа и станицы Лабинской. Но до сих пор я вспоминаю первое свое боевое крещение, когда поневоле сделался «его благородием».

Александр Куликов. ИЗ ПРОШЛОГО

1. ПОБЕДА ОКТЯБРЯ

Ныне я в преклонном возрасте, а на старой, выцветшей фотографии вид у меня довольно бравый: по-военному подтянут, молодцеват.

В те далекие годы партия призвала рабочих к оружию, и мы стали бойцами революции.

Еще подростком примкнул я к революционному рабочему движению. В 1913 году нанялся на завод «Новый Парвиайнен», проработал, правда, там недолго. На этом же заводе и в партию вступил.

Шла империалистическая война. Как-то к нам пожаловала расфуфыренная баронесса. Ходит по цехам, брезгливо приподнимая подол нарядного платья. Откормленная, сытая дамочка, а тычет под нос изможденным рабочим кружку, чтоб жертвовали на войну. И ко мне подкатилась. Ну я и не выдержал:

— Не стыдно с этакой рожей побираться! А ну, брысь отсюда! — и для острастки замахнулся гаечным ключом.

Баронессу как ветром сдуло. Меня же после этого случая — в каталажку. Опознали, припомнили и старое: участие в забастовках, ссылку. Время было военное, и решили поэтому избавиться от «нежелательного элемента», заслав в штрафной батальон.

В 1916 году я заболел и попал в госпиталь. После излечения и трехмесячного отпуска снова очутился на старом заводе.

Рабочие «Нового Парвиайнена» приняли в Февральской революции активное участие. 27 февраля 1917 года мы разгромили 2-й участок полиции в доме № 62 по Сампсониевскому проспекту.

В апреле в Петроград прибыл Ленин. В тот день я, как и тысячи других, находился на площади у Финляндского вокзала. Здесь впервые увидел и услышал Владимира Ильича.

Вскоре после приезда Ленина по заводам Петрограда стали формироваться отряды Красной гвардии.

Мне было поручено создать отряд на «Новом Парвиайнене». За несколько дней подобрали мы человек двадцать, в основном из тех, кто уже принимал участие в революционной работе. Отряд обзавелся оружием, и я, как малость знающий военное дело, начал проводить занятия.

Собирались мы на поляне за заводом, где были вырыты окопы. Пестрота вооружения никого не смущала. С одинаковым упорством красногвардейцы изучали и допотопную берданку, и новенькую трехлинейку. Не обращая внимания на усталость,

часами метали железные болванки, заменявшие нам гранаты. Кроме всего этого, отряд нес охрану завода.

Взяв курс на вооруженное восстание, партия обратила самое серьезное внимание на подготовку боевых сил революции. На первых порах красногвардейские отряды действовали разобщенно, но после создания районных штабов с этим было покончено.

За несколько дней до вооруженного восстания наш отряд был переведен на казарменное положение. 24 октября районный штаб Красной гвардии приказал мне срочно выступить с отрядом к Зимнему дворцу. До Дворцовой площади мы двигались по Миллионной улице. Зимний дворец был осажден революционными силами. Шла перестрелка. Наш отряд также открыл огонь по Зимнему.

Левый наш фланг был уже близок к садику Зимнего дворца, когда матросы и красногвардейцы бросились на штурм. Побежали и мы. Юнкера, на ходу отстреливаясь, стали отступать.

Вскоре Зимний дворец был взят, а Временное правительство арестовано.

Мне поручили отвести в Петропавловскую крепость человек двести юнкеров. А утром новое задание — разоружить на станции Левашово три роты знаменитого «батальона смерти». Фанатичные сторонницы Керенского сдались нам без единого выстрела. Оружие у них было отобрано, а «вояк» мы распустили по домам.

Через несколько дней меня вызвали в Смольный к Я. М. Свердлову. Яков Михайлович сказал, что по распоряжению Ленина мне и красногвардейцу К. Орлову поручено выехать в Тулу с красногвардейским отрядом.

Мы должны были помочь тульским рабочим в установлении Советской власти, привезти оттуда как можно больше оружия, а также предотвратить расхищение имевшихся там запасов спирта.

В Тулу мы прибыли в тот день, когда рабочие города свергли сторонников Керенского и создали свой ревком. Я был назначен помощником начальника гарнизона.

Враги с поражением не примирились и шли на всяческие провокации против ревкома.

Однажды, к примеру, мы узнали, что на ревком готовится нападение. Задумала его группа реакционных офицеров. Штаб этой банды был расположен в здании бывшего благородного собрания.

Надо было принимать энергичные меры. Мы окружили здание, где собрались контрреволюционеры, а я со своими красногвардейцами вошел в зал. Большинство собравшихся здесь были в погонах, хотя имелся приказ: в погонах по городу не

ходить.

— Господа офицеры! — сказал я. — Прежде всего прошу всех снять погоны!

В ответ раздался выстрел, за ним второй. Даю команду: «Приготовить к бою гранаты!» Выясняем, кто стрелял. Первым, оказывается, выстрелил в меня генерал, начальник здешнего оружейного завода, а вторым — один из наших красногвардейцев. Генерал промазал, а красногвардеец его легко ранил. После этого мы по одному вывели и разоружили контрреволюционеров.

В конце декабря наш отряд с большими трудностями вернулся в Петроград. Привезли мы с собой вагонов сорок винтовок, пулеметов и патронов.

Через несколько дней меня снова вызвал в Смольный Я. М. Свердлов и прежде всего поинтересовался, сколько в отряде людей. Я ответил. Тогда Яков Михайлович Свердлов приказал часть людей отправить для охраны редакции газеты «Правда», а часть — в Таврический дворец.

Остальные красногвардейцы под моим командованием заняли здание военной организации на Литейном проспекте. В нашу задачу входила охрана Литейного моста и Французской набережной.

2. МЕНЯ ПОСЫЛАЮТ В ЧК

В начале 1919 года я был вызван в Москву, где мне предложили стать командиром отдельной роты при Петроградской ЧК. Рота в большинстве своем состояла из коммунистов, направленных партийными организациями. В задачу ее входила охрана Смольного и гостиницы «Астория», где размещались руководящие работники Союза коммун Северных областей.

Первоначально рота занимала часть дома № 3 по Гороховой улице. Бойцы роты всегда находились в боевой готовности, в окнах первого этажа были установлены пулеметы. Напротив нас было здание Петроградской ЧК.

Работы в то время было много. Помимо доморощенных контрреволюционеров, бандитов и спекулянтов, в стране орудовали вражеские шпионы.

Шпионской и заговорщической деятельностью в Петрограде руководил известный английский разведчик Поль Дюкс. Им была создана разветвленная агентурная сеть, охватывающая многие городские организации. Помню, как было арестовано, например, руководство лже-кооператива «Заготовитель» во главе с бывшим царским генералом Аносовым. Следствие показало, что этот «кооператив» использовался английской разведкой для прикрытия ее заговорщической деятельности.

Перед осенним наступлением Юденича на Петроград был такой эпизод: командующий обороной города тов. Авров поручил мне установить в Александровском саду три тяжелых морских орудия, которые должны были в случае необходимости держать под огнем районы вокзалов. В помощь мне выделили специалистов, а в их числе некоего Шредера, артиллерийского офицера. И вот один из товарищей, занимавшийся переоборудованием грузовых машин в броневики, передает мне свой разговор с этим Шредером. Когда две первые машины были готовы, к нему подошел Шредер и говорит: «Напрасно трудишься! У Юденича танки. Он нас как мух раздавит». Мы, естественно, заинтересовались этим «специалистом» и установили, что Шредер активный белогвардеец. Кстати, орудия в саду он пытался поставить так, чтобы они били не по Юденичу, а по своим.

После раскрытия заговора Аносова стало ясно, кто принес мне подметное письмо осенью 1919 года, во время наступления Юденича.

История эта такова. Однажды прихожу домой, а жена передает мне письмо, которое доставила какая-то девушка.

Раскрываю его, в нем написано:

«Переходи к нам. Если перейдешь, получишь в командование полк. Не перейдешь — повесим на первом столбе».

Большая и напряженная работа чекистов привлекала внимание врага. Делалось все, чтобы запугать работников ЧК, отвлечь их от борьбы с контрреволюцией.

К сожалению, история знает и такие случаи, когда отдельные сотрудники оказывались недостаточно стойкими и вставали на преступный путь.

В 1919 году был арестован Чудин, сотрудник Петроградской ЧК. Он запутался в связях с враждебными элементами, освобождал из-под стражи крупных спекулянтов. По постановлению специальной комиссии под председательством Ф. Э. Дзержинского Чудин был расстрелян, и об этом ЧК объявила в газетах.

Высокое звание чекиста следовало хранить в чистоте.

3. НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

После окончания гражданской войны страна долго еще не могла жить спокойно. Много было грабежей, хищений, убийств. Надо было решительной рукой наводить порядок.

Однажды на Садовой улице был ограблен банк, придем похитили злоумышленники около трех миллионов рублей. ЧК занялась этим делом. На Невском был задержан один тип, который, проезжая на извозчике пьяным, стрелял в воздух из револьвера. При нем нашли огромную сумму денег. На допросе он показал, что выиграл их в карты. Ему, конечно, не поверили. В тюрьме этот тип стал подговаривать часового, чтобы тот отнес по указанному им адресу письмо, обещая хорошо заплатить. Часовой доложил об этом мне. Посоветовавшись, мы решили пойти по следу письма. Задержанный просил в нем своих дружков подготовить вооруженную группу, которая должна его освободить по дороге на допрос. Письмо помогло ЧК раскрыть участников ограбления банка.

В феврале 1921 года контрреволюционные элементы подняли мятеж в Кронштадте.

В Петрограде среди некоторой части моряков во втором Балтийском экипаже, располагавшемся на Мойке, началось брожение. После соответствующей разъяснительной работы волнения эти были успокоены.

В Кронштадте дело было хуже. Монархистские элементы при поддержке белогвардейской эмиграции и империалистических разведок вели контрреволюционную пропаганду, выступая с лозунгом «Советы без коммунистов».

Обманным путем им удалось убедить некоторых матросов, что на их стороне находятся рабочие Петрограда и воинские части.

Батальону чекистов, которым я командовал, довелось участвовать в подавлении мятежа. Накануне штурма я получил приказ: первым делом захватить тюрьму, где содержались арестованные мятежниками коммунисты, любыми средствами предотвратить возможную расправу.

17 марта начался штурм Кронштадта. Вместе с частями Красной Армии, делегатами X съезда партии, наш батальон ворвался в крепость со стороны Петроградских ворот. Задание партии было выполнено. Коммунисты были освобождены из тюрьмы. Кронштадтский мятеж подавлен.

Абрам Мильнер. НАПАДЕНИЕ НА ДЕМЯНСК

Я не сразу решился писать эти воспоминания.

Память человеческая иногда кажется глубоким колодцем, где нескоро различишь то, что случилось с тобой более сорока лет назад. Посмотришь в темный квадрат воды: гулко капают капли со стен колодца, за каплями срываются песчинки, и вот уже по поверхности воды побежали маленькие волны. Всего одно мгновение— и исчез блестящий квадрат. Замутилась вода в колодце, рябью покрылась ее поверхность.

Так и память. Ясно вижу яркий, солнечный день. Листва деревьев еще не покрыта летней пылью. Новгород. Лето 1922 года. Белое здание на окраине города. Здесь, в просторных хоромах Десятинного монастыря, разместился губернский отдел ГПУ.

Я сижу за своим рабочим столом. Я еще молод. В 1919 году на фронте принят в ряды коммунистов. На мне неизменная гимнастерка. Как и все чекисты, я чувствую себя на переднем крае острейшей классовой битвы, хотя отгремели уже залпы гражданской войны и рядом, на соседней улице, нэпман прибивает вывеску «Чайная „Уют”». Оттуда по вечерам доносятся разухабистые звуки баяна и раздражающие запахи только что испеченных оладий.

В памяти возникают подробности обстановки. Но не все вспоминается в равной степени ярко: почему-то припоминаю старенький телефонный аппарат «Эриксон» с красным вензелем из перекрещенных молний, массивную чернильницу с бронзовой крышкой, часового у дверей.

Какие мы были тогда молодые, энергичные, решительные! Старшие товарищи сдерживали нашу порывистость, называли полушутливо «необъезженными лошадками», и каждый из нас хотел быть похожим на Феликса Эдмундовича, про которого уже тогда, в 1922 году, ходили легенды. Слова Дзержинского о главных качествах чекиста узнали мы из инструкций и служебных предписаний; их передавали из уст в уста: «У чекиста должны быть горячее сердце, холодный ум и чистые руки».

В «Памятке сотрудникам ЧК», разработанной еще в 1918 году, говорилось, что каждый чекист должен быть «всегда корректным, вежливым, скромным, находчивым. Каждый сотрудник должен помнить, что он призван охранять советский революционный порядок и не допускать нарушения его; если он сам это делает, то

он никуда не годный человек и должен быть исторгнут из рядов Комиссии.

Быть чистым и неподкупным…

Быть выдержанным, стойким, уметь быстро ориентироваться, принять мудрые меры…»

Быть выдержанным, быть стойким — это понятно. А вот как «уметь принять мудрые меры»? Здесь не иначе нужно самому мудрецом стать. В молодые годы, увы, не каждый на это способен.

Короче говоря, наступил и для меня день экзамена. Июльской ночью 1922 года польско-советскую границу перешла банда террористов.

Сформированная Борисом Савинковым, этим злейшим врагом Советской власти, снабженная оружием и деньгами генеральным штабом панской Польши, банда проникла в глубь советской территории. Десятки конспиративных квартир и явок, разбросанные вдоль границы, облегчили ей скрытное передвижение.

Как ни хитрили бандиты, их передвижение было замечено.

В центр поступили первые тревожные сигналы. Одна из шифрованных телеграмм была адресована Новгородскому губотделу ГПУ. Немногое знал я о Савинкове в ту ночь, когда пришла тревожная шифровка.

На столе передо мной лежит теперь маленькая книжечка: «Борис Савинков перед Военной коллегией Верховного Суда СССР». Листаю страницы обвинительного

заключения, застенографированные ответы подсудимого, читаю приложенные в конце книги фотокопии его писем. С первой страницы смотрит на меня человек с остановившимся взглядом. При внешней обыденности его лица за полузакрытыми веками чувствуется недобрая сила профессионального террориста.

В тот день, когда чекисты напали на след его подручных, сам Борис Савинков беседовал с маршалом Пилсудским в Варшаве, обсуждая проблему отделения Украины и Белоруссии от Советской России, торговался О количестве винтовок и пулеметов, выклянчивал деньги в злотых и в фунтах стерлингов для содержания подпольных организаций, договаривался о цене шпионских материалов, собранных его людьми.

Холодны строчки обвинительного заключения: «…ни один работник Народного Союза не отправлялся через границу в Россию без того, чтобы одновременно не состоять сотрудником разведывательного отдела Генерального штаба Польши или Французской военной миссии. При вступлении в организацию и при отправке в Россию савинковские агенты давали присягу, в

которой обещали вести непримиримую борьбу с Советской властью. Агенты снабжались особыми мандатами на полотне за подписью Бориса Савинкова…Возвратившийся из России агент прежде всего должен был являться в разведывательный отдел Польского генерального штаба, где делал письменный доклад о проделанной шпионской работе, и только после этого мог отправиться к начальнику пункта Народного Союза…»

Далее идет перечисление убийств, грабежей, насилий, диверсий, произведенных в разное время на советской земле савинковскими бандитами.

В те далекие дни я знал только о нападениях на военные комиссариаты и советские учреждения, совершенных в Белоруссии в 1921 году.

Знал, что бандами руководит сбежавший от справедливого возмездия эсер Борис Савинков, что в годы гражданской войны был он организатором многих контрреволюционных заговоров, а затем стал представителем Колчака в Париже и Лондоне.

Именно в 1922 году Савинков и известный английский разведчик Сидней Рейли готовили покушение на наркома по иностранным делам Г, Чичерина, возвращавшегося вместе с советской делегацией после конференции в Гааге. Лишь случайная задержка на дипломатическом приеме спасла тогда жизнь Чичерину.

Савинков был представлен Сиднеем Рейли самому Уинстону Черчиллю. Раскройте воспоминания Черчилля и прочтите, что пишет он о Савинкове: «…невысокого роста, с серо-зелеными глазами, выделяющимися на смертельно бледном лице, с тихим голосом, почти беззвучным. Лицо Савинкова изрезано морщинами, непроницаемый взгляд временами зажигается, но в общем кажется каким-то отчужденным…» Черчиллю Савинков показался «странным и зловещим человеком», однако нашел он в нем то главное, что его интересовало: непримиримость в борьбе с Советской властью, личную смелость, редкую выносливость.

Локкарт в своих мемуарах отмечает умение Савинкова «зажигать» слушателей, хотя и рассказывает о его бешеном честолюбии и любви к роскошной жизни.

Кстати, об этих чертах характера Савинкова я узнал недавно, прочтя книгу Льва Никулина «Мертвая зыбь». Один из деятелей савинковского подполья в России Стауниц говорит о нем: «Человек для него спичка: понадобился — взял, потом сломал и бросил…»

Данная Савинкову характеристика достаточно иронична, но полностью соответствует истине. Именно таким был этот авантюрист.

В губотделе ГПУ, несмотря на ранний час, жизнь шла своим чередом: дежурный разговаривал по телефону, сменились на посту часовые, у дверей кабинета встретила меня озабоченная шифровальщица:

— Прочтите… Важное сообщение…

В шифровке было сказано, что с западной границы (Витебский пограничный округ) прорвалась к нам са-винковская вооруженная банда, устремилась внезапно на территорию Псковской губернии, напала на город Холм, но, встретив сопротивление, отступила к Старой Руссе.

В тишине гулко отсчитывали секунды большие часы, стоявшие в углу. Нужно было немедленно действовать, принять какие-то меры. Но какие?

В шифровке предлагалось немедленно принять меры по защите населенных пунктов Старорусского и Демянского уездов, обнаружить бандитов и разгромить. Я должен был связаться с губвоенкомом, разработать общий план, используя местные воинские силы, а если их не хватит, Петроград обещал помочь.

Об исполнении мне было предложено докладывать через каждые шесть часов.

Шифровку подписал полномочный представитель ГПУ в Петроградском военном округе Станислав Адамович Мессинг.

Поднятые по тревоге, в отдел стали прибывать все наши сотрудники. Не велик был штат Новгородского губотдела ГПУ. Однако это были честные, смелые и решительные работники. Каждый понимал исключительную серьезность обстановки. Нельзя было упустить драгоценное время. Банду нужно поскорее обезвредить, иначе прольется много крови.

Из опыта гражданской войны я знал, что излюбленное время для передвижения бандитов ночь. Дороги они выбирают глухие, проселочные, вперед высылают разведчиков, которые путают след, направляя погоню в противоположном направлении, привалы обычно делают в лесу, а в отдельных случаях даже убивают проводников, чтобы те не проболтались о путях движения банды.

В кабинет вошел губвоенком Григорьев.

Тяжело дыша, он вытер пот со лба и молча протянул руку.

Григорьев ни о чем не спрашивал. Решительный и молчаливый, он ждал информации. Я протянул ему шифровку.

Мы подошли к большой карте, висевшей на стене.

— Давай посмотрим, по каким дорогам они могут двигаться, — сказал Григорьев. По нахмуренным бровям можно было догадаться, как сильно обеспокоила военкома шифровка.

У нас был некоторый навык борьбы с бандитами. Наиболее

упорной была эта борьба против банды кронштадтского мятежника Финогенова, орудовавшей на территории одного из уездов. Эта банда терроризовала всю округу, дезорганизовав работу советских и партийных органов. Ликвидацию ее возглавил чекист Мельниченко. Опираясь на местное население, он выследил банду и заманил ее в засаду. В завязавшейся перестрелке большинство бандитов было убито. Однако уцелевшие решили отомстить чекисту. Вскоре в центре Новгорода, в городском саду, они напали на Мельниченко. Спасти жизнь отважного чекиста не удалось.

Вспомнив об этом случае, мы с Григорьевым не нашли сходных моментов. Финогенов, беглец из мятежного Кронштадта, был жалким кустарем, грабителем, так сказать, уездного масштаба, а банда савинковцев, с которой нам предстояло иметь дело, располагала пулеметами и скорострельным оружием, причем руководил ею известный мастер провокации полковник Павловский, не раз уже переходивший советскую границу.

Мы связались с уполномоченным ГПУ по Старорусскому уезду, а тот, в свою очередь, предупредил волостные организации.

Был разработан примерный маршрут, по которому должен двигаться новгородский конный отряд милиции во главе с нашим сотрудником Моисеевым.

В основе плана лежали две тактические задачи. Во-первых, защитить Старую Руссу и зажать банду в клещи, а во-вторых, дать бой окруженным бандитам по возможности в поле или в лесу, подальше от жилья, чтобы избежать жертв среди населения.

Опытный чекист Моисеев со своими конниками уже мчался к Старой Руссе, а другой фланг продолжал оставаться открытым. Мы попросили Мессинга направить нам в помощь эскадрон из Петрограда. Разговаривая по телефону со Станиславом Адамовичем, я сказал, что желательно перебросить отряд за сутки, иначе к банде могут присоединиться местные кулаки и дезертиры.

Мессинг обещал быстро перебросить к нам эскадрон.

Однако произошла непредвиденная задержка. Страна в ту пору еще не оправилась от разрухи, железные дороги работали плохо. Не зная об этой задержке, я вместе с губвоенкомом выехал в Старую Руссу для руководства операцией.

В Старой Руссе мы встретились с уполномоченным ГПУ и уездным военкомом. Никаких сведений о передвижении бандитов у них не было. Но слухи о нападении бандитов на Холм вызвали тревогу среди населения.

Невольно возникло сомнение: по правильному ли пути мы

идем? Что, если бандиты узнали о наших контрмерах и изменили свой маршрут?

Мы поехали на телеграф, вызвали Демянск и пригласили к прямому проводу уполномоченного ГПУ Граудинга. Выяснилось, что о нападении на Холм он ничего еще не знает. Посоветовали мобилизовать и вооружить коммунистов города, установить круглосуточные дежурства.

Поздно вечером связались с Петроградом. То, что мы узнали, ошеломило нас. Оказалось, что вагоны с подкреплением по вине железнодорожников где-то застряли, так как были прицеплены к балластному составу.

Расстроенные, мы долго не могли заснуть в тесном номере старорусской гостиницы. Григорьев всю ночь ворочался на койке, а на рассвете разбудил меня:

— Идем на телеграф, что-то неспокойно на сердце. Не случилось ли чего в Демянске…

Через несколько минут мы были на телеграфе. Заспанный телеграфист долго возился с аппаратурой, потом растерянно сказал:

— Демянск не отвечает…

— Может, повреждение на линии?

— Пошлем проверить, — сказал телеграфист.

Случилось именно то, чего мы опасались. Бандиты, верные своей тактике, прежде всего перерезали провода. Но, если они нарушили связь близ Демянска… стало быть, именно там их и нужно искать.

Томительно тянулось время. Наконец вернулись монтеры с линии. На старорусской дистанции все было в порядке.

— Где же повреждение?

— Повреждение в самом Демянске…

Лихорадочно заработала мысль. Телефонной связи нет. До Демянска больше пятидесяти километров. Что же делать? Может, изменить маршрут конников Моисеева?

Мы с военкомом и Ильиным — уполномоченным ГПУ по Старорусскому уезду — стали перебирать различные возможные варианты связи с Демянском, но все они тут же отвергались. Оставался только один — просить Петроград направить самолет.

И тут вдруг заработала связь. Узкая полоска бумаги дернулась, и затрещал молоточек самописца.

К аппарату подбежал телеграфист. Быстро отстукав ответ, перешел на прием.

Наши глаза впились в узкую ленточку бумаги, которая бежала и бежала из аппарата, свиваясь на полу в кольца.

Военком взял ленту, начал читать ее, побледнел.

— Беда, товарищи, савинковцы напали на Демянск, — хрипло сказал он. — Город захвачен, имеются жертвы!

* * *

Что же случилось в Демянске?

Оказывается, Граудинг после разговора со мной сразу же выступил в разведку, надеясь обнаружить и ликвидировать банду. Прихватил с собой и отряд ЧОН (часть особого назначения). И военком Демянска, оказывается, присоединился к Граудингу. В результате город на какое-то время был оставлен без военного руководства. Бандиты этим и воспользовались. Обнаружив нашу разведку, они скрытно обошли отряд Грау-< динга и устремились к Демянску.

Было это ранним утром, когда мы томились у молчавшего телеграфного аппарата. Действовали бандиты сноровисто: закинули на столб вожжи и сорвали провода. Затем ворвались в город и захватили ключевые позиции.

Начались бесчинства. Бандиты учинили зверскую расправу над партийными и советскими работниками, разгромили и разграбили финотдел.

Боясь возмездия, савинковцы торопились. Около двенадцати часов дня, открыв беспорядочную стрельбу вдоль улиц, они покинули город.

В это время вернулся Граудинг с военкомом. Связь со Старой Руссой была восстановлена. За бандитами организовали погоню.

Мессинг, которому мы доложили о событиях в Демянске, коротко сказал:

— Сегодня же выезжаю с отрядом в Старую Руссу.

Весь день к нам поступали донесения. Граудинг сообщил, что по сведениям разведки банда повернула в сторону Старорусского уезда, то есть к нам. Я приказал Моисееву и его коннице взять под контроль все дороги.

Затем из Демянска сообщили, что по пути следования савинковцев обнаружены повешенный старик крестьянин и расстрелянный комсомолец. По рассказам очевидцев, старик обругал савинковцев, назвав их убийцами, а комсомолец в ответ на приглашение присоединиться к бандитам плюнул врагам в лицо;

Вечером прибыл Мессинг. Обсудив меры, принятые нами для ликвидации савинковцев, он их одобрил. К этому времени конный отряд Моисеева гнался буквально по пятам бандитов. Другие отряды перекрыли пути их отступления. Поле для

маневрирования банды заметно сузилось.

Вскоре удалось захватить отставшего от банды матерого савинковца. Это был высокий кряжистый старик, бежавший в свое время за границу.

На допросе он дал ценные показания. Бандой действительно руководил полковник Павловский, правая рука Бориса Савинкова. В помощниках у него был капитан Тронов. Задача банды — организация террора и диверсий, а также добыча секретных документов, за которые в генштабе Польши и во французском посольстве в Варшаве обещали хорошо заплатить.

Старик сказал между прочим, что крестьяне совсем не поддерживают банду, что еще год назад Павловский бесчинствовал как хотел, а теперь за ним организована погоня.

Вечером ко мне подошел Ильин и сообщил, что крестьяне одной из отдаленных волостей прислали нам подарок.

— Какой подарок? Пусть лучше помогут поймать бандитов.

Ильин улыбнулся.

— Подарок вот… — указал он на крестьянскую подводу, стоявшую во дворе.

Мы вышли во двор. Возле подводы стояли крестьяне, вооруженные охотничьими дробовиками. По-видимому, это был конвой. Подвода была прикрыта рогожей.

— Что там такое?

— Просят лично посмотреть… — уклончиво ответил Ильин.

Мы подошли поближе. Угрюмый старик, стоявший около подводы, низко поклонился и молча поднял рогожу.

То, что мы увидели, заставило нас попятиться назад. На дне телеги, устланной соломой, плотно прижатые друг к другу лежали два трупа.

Старик, сдернувший рогожу, пояснил:

— По-нашему иродов казнили, по-крестьянски…

— Как вы их поймали? — оправившись от волнения, спросил Мессинг.

— Из лесу они вышли. Как волки… Лошадей требовали. Ну, мы их в избу заманили и всем миром кончили…

— Но почему без суда? — возмутился Мессинг.

Вслед за этим происшествием посыльный принес телеграмму.

— Приятная новость, товарищи, — сказал Мессинг, прочитав ее. — Из Пскова сообщают, что во время перестрелки убит помощник главаря банды капитан Тронов…

— Бегут на запад, почуяли близкий конец! — воскликнул Ильин.

— Не все бегут, — холодно возразил Мессинг, — основное ядро еще здесь. Теперь дело за вами, товарищи новгородцы!

Прошло несколько дней. Бандиты метались из стороны в сторону, пытаясь пробиться к границе. Кольцо преследователей все плотнее сжималось вокруг них. Отлично действовали конники Моисеева, они захватывали отставших бандитов, успевали отбить награбленное имущество.

Дело явно близилось к концу, как вдруг получаю телеграмму, что банда исчезла, бросив повозки и лошадей. Брошены были даже тюки с награбленной мануфактурой.

Стали советоваться. Что же произошло?

Григорьев говорит:

— Ничего особенного не произошло. Ездили они на лошадях, теперь будут ходить пешком. Вот так и потопают к польской границе…

Так оно и было. Полковник Павловский, догадавшись, что его окружают, распустил банду, приказав каждому участнику самостоятельно добираться до границы.

Нам удалось выловить почти всех бандитов. Ушел от погони лишь Павловский. Правда, через полтора года и он был задержан на одной из конспиративных квартир, когда прибыл для инспектирования савинковского подполья. Суд приговорил матерого бандита к расстрелу.

Все захваченные бандиты были доставлены в Новгород.

Летом 1923 года их судила выездная сессия Военного трибунала Петроградского военного округа. Активные участники банды были приговорены к расстрелу.

Приговор был приведен в исполнение в Демянске.

Прежде чем поставить точку, хочу сообщить читателю, что Борис Савинков, этот самозванный кандидат в русские Бонапарты, в том же году, что и Павловский, был пойман чекистами на советской территории.

В обвинительном заключении Военной коллегии Верховного Суда СССР об этом говорится весьма лаконично: «…в августе 1924 года, желая лично проверить состояние антисоветских и контрреволюционных организаций на территории Союза ССР, Савинков перешел по фальшивому документу на имя Степанова В. И. русско-польскую границу… был арестован в 10 часов утра 18.VIII—24 в Минске, куда он в ночь на 16.VIII прибыл из Польши…»

На процессе Савинков признал свою вину, подробно рассказав о всех своих преступлениях. Позднее Президиум ВЦИК счел возможным заменить ему расстрел десятью годами тюремного заключения.

В том же обвинительном заключении есть раздел о деятельности савинковских банд в 1921–1923 годах. Вот что

говорилось там о Павловском: «…одной из наиболее выдающихся по жестокостям, творимым ею, являлась банда полковника Павловского, состоявшего одновременно и начальником оперативного отдела организации. Банда эта в начале июля 1922 года пыталась занять город Холм, но, встретив достаточное сопротивление, отступила к Старой Руссе, убив продкомиссара. По дороге бандой был разгромлен волостной исполком и совершен ряд убийств, затем был захвачен город Демянск и ограблено там советское казначейство. После ограбления Демянска бандиты двинулись в Порховский уезд. В пути ими был захвачен продработник, член РКП (б) Силин, у которого вырезали на груди звезду, его избили, искололи штыками и повесили. Среди других зверств, совершенных над коммунистами, был случай, когда одного коммуниста после избиения привязали за ноги к подводе и волокли до тех пор, пока он не умер.

Всего в этот приход савинковской банды в Россию ею было совершено 18 вооруженных нападений и ограблений и убито свыше 60 человек».

Таковы были эти матерые враги, которых нам удалось ликвидировать.

Леонид Дмитриев. КОНЕЦ ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА

Петроград, начало двадцатых годов. Страна наша залечивает тяжелые раны, нанесенные войной и разрухой. Вводится новая экономическая политика.

Живым напоминанием о сложном и незабываемом том периоде служат мне пожелтевшие газетные вырезки. С них, пожалуй, и начну, сохраняя стиль и языковые обороты тогдашних петроградских репортеров.

Итак, немного уголовной хроники.

30 сентября 1922 года «Красная газета» опубликовала в своем вечернем выпуске сообщение о поимке бандита Леньки Пантелеева, известного главным образом под кличкой Ленька Фартовый.

«Шайка, — писала газета, — организовалась в июле этого года. Кроме Пантелеева в нее входили Варшулевич, Гавриков, Белов и другие бандиты. За короткое время шайка успела совершить целый ряд ограблений — меховщика Богачева, вооруженное ограбление в Толмазовом переулке, налет на квартиру гостинодворца Аникеева и другие. Не брезговала шайка также и мелкими ограблениями — грабила выходивших из игорных домов игроков, раздевала прохожих на улицах. Во время преследования бандита Пантелеева последний, пробегая мимо Госбанка, стреляет в пытавшегося задержать его начальника охраны банка и убивает его».

Сенсационное сообщение об аресте Леньки Пантелеева было встречено в городе с радостью. Вскоре «Красная газета» известила своих читателей и об окончании следствия по делу пантелеевской шайки и о назначении судебного разбирательства в ревтрибунале. Всеобщий интерес к предстоящему процессу, естественно, был огромный.

11 ноября 1922 года в газетах появляется первый отчет из зала суда.

«Главари шайки Пантелеев, Белов и Гавриков признают себя виновными во всех инкриминируемых им преступлениях и лишь отрицают вооруженное сопротивление при аресте. Остальные подсудимые если и признают себя виновными, то лишь отчасти. Один вместо обвинения в наводе — признает себя виновным в недоносительстве, другой вместо укрывательства — в продаже награбленных вещей и т. д.

Ни внешний вид, ни ответы и объяснения Пантелеева не

производят отрицательного впечатления. Рабочий петроградских типографий, Пантелеев за свою жизнь ни разу не судился и вел честный образ жизни. Как только была образована Красная Армия, Пантелеев поступает добровольцем и отправляется на Нарвский фронт. Тут он попадает в плен, где, однако, пребывает недолго, то есть бежит и снова поступает в ряды армии. По демобилизации он поступает на службу в ЧК. В 1921 году его по подозрению в налете арестовывают, но за недоказанностью обвинения выпускают. На службу ему обратно попасть не удается, и в компании с рецидивистом Беловым он шаг за шагом из честного человека превращается в настоящего налетчика».

В печати того времени еще подвизались журналисты, питавшие необъяснимое пристрастие ко всяческой «клюкве». Немало ее и в отчете о первом дне суда.

«Пантелееву не везло, — утверждает судебный репортер «Красной газеты». — Ни одна добыча с дела его не удовлетворяла, а если в налете на квартиру доктора Левина и удалось забрать вещей на крупную сумму, то наводчик на дело, племянник доктора, надувает его и Белова и берет себе большую часть награбленного. Кроме того, Пантелееву постоянно приходится «мазать» случайных и неслучайных компаньонов. То его задерживают и ему приходится давать взятки за освобождение, то, дав для продажи награбленные бриллианты, он грошами получает их стоимость от комиссионеров-продавцов. Свыше пяти месяцев ему приходилось скрываться, и это тоже обходилось недешево — конспирация чересчур дорого оплачивалась».

Вряд ли есть нужда и дальше цитировать этот отчет, написанный едва ли не с сочувствием к матерому бандиту. Важно другое: наконец-то знаменитого Леньку Фартового удалось поймать и он предстал перед трибуналом в ожидании заслуженного наказания.

Но дальше случилось неожиданное. Вместо сообщения о втором дне судебного разбирательства петроградские газеты вышли с заметками, в которых сообщалось о побеге бандита из тюрьмы.

«Несмотря на усиленные меры по охране Пантелеева и Гаврикова, оба они с двумя другими бандитами бежали из третьего исправдома, где содержались. Бегство произошло в ночь с десятого на одиннадцатое ноября. В момент бегства по всей тюрьме погасло электричество. Невзирая на то, что во всех четырех галереях дежурили постовые, преступники по винтовой лестнице спустились с четвертого этажа и по коридору прошли через главный пост. Дальше они, пройдя комнату для свиданий, никем не замеченные, разбили стекло в окошке и пробрались во

двор, а затем через двухсаженной высоты забор благополучно выбрались на улицу и скрылись. Есть основание предполагать, что бегство преступников не обошлось без помощи кое-кого из друзей, находящихся на свободе».

Заседания трибунала были прерваны. Спустя несколько дней в газетах появились заметки, сообщавшие, что преданы суду должностные лица третьего исправдома. Удалось установить, что один из надзирателей действовал в сговоре с преступниками.

Надо ли объяснять, что весь угрозыск и вся милиция Петрограда были мобилизованы на поимку бежавших преступников. Однако найти их не смогли. Между тем, очутившись на свободе, Ленька Пантелеев продолжал свои преступления.

Месяц спустя возле ресторана «Донон» Леньку Пантелеева и его ближайшего сподвижника Гаврикова наконец-то схватили. Бандиты были обезоружены, но и тут главарю шайки посчастливилось в самый последний момент.

«Пантелеев, — сообщала «Красная газета», — обманув бдительность охраны, опрокинул стоявшего рядом милиционера и бросился бежать. Несмотря на открытую стрельбу, ему удалось скрыться».

На этом, по-видимому, нужно кончать с цитатами из старых газет, чтобы рассказать далее о сравнительно малоизвестной странице истории Петроградской ЧК — о ее борьбе против бандитизма и о том, как была ликвидирована шайка Леньки Пантелеева.

Пышный расцвет банд в начале двадцатых годов являлся, как все мы понимали, тяжким наследием гражданской войны. Весьма широкий размах приобрела преступность и в Петрограде. Не проходило ночи без грабежей, убийств, вооруженных налетов, краж, причем многие преступления оставались нераскрытыми.

Об обстановке, сложившейся в городе, лучше всего говорило официальное извещение, рекомендовавшее населению воздержаться после двух часов ночи от появления на улицах. Угрозыск даже предупреждал, что никаких заявлений от потерпевших после этого часа принимать не будет.

Зловещая фигура Леньки Пантелеева, естественно, привлекала к себе особенно много внимания. Обывательская молва приписывала этому налетчику и его сподвижникам качества почти легендарные: и неуловим, дескать, Ленька Фартовый, и сказочно удачлив, и едва ли не рыцарь без страха и упрека, потому что грабит только нэпманов.

Замечу попутно, что по следам этих слухов пошли впоследствии и некоторые уважаемые литераторы, писавшие про

Леньку Пантелеева. Почитаешь иной раз их произведения — и диву даешься, настолько далеки они от действительности. Вот рассказ, в котором Ленька Пантелеев, появившись в ресторане, галантно целует ручки дамам, вот другой рассказ, где изображается он этаким джентльменом, возвращающим назад награбленные ценности, поскольку, как выяснилось, принадлежат они простому труженику.

Должен разочаровать любителей уголовной романтики. Литературные украшения никак не подходят к реальному облику Леньки Пантелеева. Это был безжалостный и жестокий убийца, на счету которого множество человеческих жизней. Спасая свою шкуру в минуты опасности и даже в такие минуты, когда опасность лишь чудилась, он стрелял в кого попало: в мужчин, женщин» детей — лишь бы уйти от возмездия, лишь бы остаться безнаказанным.

При всей своей склонности к браваде и показной храбрости Ленька Фартовый отличался дьявольской осторожностью. Никогда не позволял себе выйти на, улицу в одиночку — только в сопровождении личных телохранителей. Вооруженные до зубов, они шли спереди и сзади, оберегая своего атамана от нежелательных встреч с работниками угрозыска. И многочисленные бандитские притоны посещал он, лишь убедившись в отсутствии засады: сперва «в хазу» посылался телохранитель, готовый принять выстрелы на себя, а Ленька Пантелеев тем временем прохаживался по улице с двумя револьверами в карманах тужурки. Любой прохожий, показавшийся ему подозрительным, мог при этом поплатиться жизнью.

Необыкновенно удачные побеги еще больше способствовали всяческим легендам об этом преступнике. Как всегда в подобных случаях, действительные факты многократно преувеличивались, обрастая невероятными подробностями. В открытую говорили, что милиция подкуплена уголовными элементами, что сколько бы ни бесчинствовали бандитские шайки, все равно ничего с ними сделать не смогут. В довершение на стенах домов в Петрограде начали появляться многозначительные предостережения. «До десяти вечера шуба ваша, а после десяти — наша». Довольно точно было установлено, что надписи эти принадлежат хулиганствующим подросткам, что бандиты тут ни при чем, но слухи о них все равно ползли из дома в дом.

Словом, положение становилось совершенно нетерпимым, и нужно было принимать решительные меры.

Вот тогда-то при губернском управлении ГПУ и была создана ударная оперативно-следственная группа по борьбе с

бандитизмом. Вошли в нее опытные боевики-чекисты, зарекомендовавшие себя в годы ожесточенной схватки с силами контрреволюции. Это были люди смелые, энергичные, в любую минуту готовые на самоотверженный подвиг. И очень скромные это были люди, очень невзыскательные в личной жизни. Не побоюсь назвать их замечательными чекистами школы Феликса Дзержинского, людьми горячего сердца и холодного, трезвого разума.

Время стирает в памяти многое. И все же никогда не забыть мне боевых моих друзей, с которыми пришлось работать в ударной группе. Несколько угрюмого и мрачновато неразговорчивого Георгия Михайлова, донского казака с нависающим на лоб седым чубом и с резко очерченными морщинами: в двадцать пять своих годков он многое повидал и многому успел научиться, пройдя, как говорят, сквозь огонь тяжелейших испытаний. И добродушного, чуть медлительного силача Йозефа Иваниса с редкостной его внутренней собранностью, человека исключительной отваги, одаренного музыканта: в нечастые минуты отдыха

Йозеф с удовольствием усаживался за рояль, приучая всех нас к серьезной классической музыке. И Бориса Дмитриева с Сашей Юрковым, двух неразлучных друзей, всегда веселых, улыбчивых, начиненных молодой, нерастраченной энергией. И, конечно, прикомандированных к группе сотрудников угрозыска Сергея Кондратьева и Петра Громова; старейшие по стажу петроградские сыщики, они отлично знали уголовный мир, его нравы, обычаи, лексикон, его некоронованных королей, и оказали всем нам большую помощь.

Не забыть мне, разумеется, и старого моего товарища Ивана Григорьевича Бусько, ныне полковника в отставке, а в те времена попросту Ванюшку Бусько, юного разведчика-комсомольца. Но о нем предстоит отдельный разговор, потому что именно ему, самому молодому среди нас, выпали наиболее активные действия в уничтожении Леньки Пантелеева.

Забегая вперед, скажу, что ударная оперативнаследственная группа полностью оправдала свое назначение. Просуществовав немногим более года, она добилась ликвидации бандитизма в Петрограде. Хорошо организованные шайки одна за другой были уничтожены, и в городе наступило спокойствие.

Но вернемся, однако, к Леньке Фартовому. После нежданной своей удачи возле ресторана «Донон», когда посчастливилось ему вновь скрыться, этот бандит как бы сорвался с цепи, совершив целую серию новых преступлений.

Особо зверским был его налет на квартиру бывшего статского

советника, профессора Н. Ф. Романченко, проживавшего в доме № 12 по Десятой роте Измайловского проспекта. Всего за неделю до того профессор вернулся в Петроград из длительной научной командировки в Англию. Человек это был состоятельный, в прошлом крупный столичный домовладелец. Взяв в его квартире немалые ценности, бандиты с изощренной жестокостью убили профессора и его жену.

После этого Ленька Пантелеев притих. Ближайший его помощник Дмитрий Гавриков (по прозвищу Гав-рюшка), арестованный вместе с ним у ресторана «До-нон», показал на допросе, что, совершив побег из третьего исправдома, они отказались от посещения излюбленных своих воровских «хаз», предпочитая ночевать в случайных помещениях.

Ясно было, что бандит пытается сбить с толку своих преследователей, хочет притихнуть, уйти на время в тень, не напоминая о себе новыми преступлениями, и выиграть время. Такая тактика бандитов была нам известна задолго до Леньки Пантелеева.

Тревогу вызвали полученные нами сведения о том, что банда готовится к побегу в Эстонию. Допустить этого, понятно, мы не могли.

Ударная группа работала круглосуточно.

Мы уже знали немало новых адресов, где время от времени появлялся бандит. Наиболее «перспективной» считалась воровская «хаза» на углу Фонтанки и Столярного переулка. Содержал ее, как выяснилось, некий Климаков, стародавний знакомец угрозыска. Вдобавок стало известно, что Климаков приходится родственником Леньке Пантелееву.

В ночь на И февраля 1923 года климаковской квартире предстояло сделаться последним убежищем налетчика. Все было заранее и тщательно подготовлено. Оперативные группы окружили квартал, в самой квартире заняла удобные позиции наша засада.

И вновь нас постигла неудача. Причины ее обнаружились чуть позже, а тогда, признаться, никто не мог сообразить, что же все-таки случилось. Как мы и ждали, Ленька Пантелеев появился в сопровождении верных своих телохранителей и вдруг ни с того ни с сего бросился бежать, точно кто-то предупредил его об опасности. Завязалась перестрелка, но было уже поздно. Бандиту удалось уйти.

А предупреждение и в самом деле было. Бесшумное, понятное лишь посвященным. Таким предупреждением об опасности послужил горшок с геранью, выставленный в окне «хазы». Наши товарищи не обратили на него внимания, стоит и

пусть себе стоит, а горшок служил, оказывается, заранее условленным сигналом.

«Хаза», конечно, перестала существовать. Мы арестовали Климакова, сестер Пантелеева Веру и Клавдию, принимавших участие в налетах, известного бандита Иванова по кличке Федька Портной, но в главном успеха не достигли: Ленька Пантелеев, а вместе с ним активный его сообщник Лисенков, по прозвищу Мишка Корявый, выскользнули из ловушки.

Теперь бандит знал, что мы не поверили в устроенную им паузу, что его усиленно ищут. Знал он и о том, что за ликвидацию бандитизма взялись чекисты. Ничего хорошего это ему не сулило, и он, конечно, должен был ускорить побег в Эстонию.

Учитывая это, мы перекрыли все известные нам лазейки. Куда бы ни направился Ленька Пантелеев, всюду его должны были ждать наши люди.

Решающая операция была назначена в ночь на 13 февраля 1923 года. По оперативным данным стало известно, что на Лиговке, в доме № 10 (ныне этот дом входит в комплекс гостиницы «Октябрьская»), назначен в эту ночь очередной сбор банды и что будет там непременно Ленька Пантелеев.

Дом № 10 по Лиговке имел недобрую известность. Населенный деклассированными элементами, он еще в дореволюционные годы славился воровскими притонами и ночлежками. Небезынтересно, между прочим, отметить, что принадлежал этот дом министру царского двора барону Фредериксу, нисколько не гнушавшемуся извлекать из него солидные доходы.

Были, правда, и другие возможные адреса, но главное внимание мы сосредоточили на этом доме. В засады на Лиговку были посланы лучшие оперативники группы — Саша Юрков, Борис Дмитриев, Георгий Михайлов, Йозеф Иванис.

Мне в ту ночь довелось быть оперативным дежурным, заниматься комплектованием групп, инструктажем, организацией взаимодействия засад и прочими вопросами, которые неизбежно возникают в подобных случаях.

Хуже нет быть оперативным дежурным. Товарищи твои в опасном деле, а ты торчишь у телефона, с нетерпением ожидая звонка, и ничего, в сущности, от тебя не зависит. Сиди и жди — такова твоя обязанность.

Случается же в работе всякое!

Про воровской притон в знаменитых «Сименцах» («Сименцами» в дореволюционном Петербурге — Петрограде назывался район Можайской, Рузовской, Верейской и других близлежащих улиц, составляющих довольно обширный квадрат

между Обводным каналом и Загородным проспектом. В изобилии насыщенный домами терпимости, притонами, игорными залами, чайными и воровскими «маликами», район этот издавна был облюбован уголовниками. Название свое он получил от расположенных поблизости казарм лейб-гвардии Семеновского полка), на Можайской улице, в доме № 38, вспомнили мы буквально в последнюю минуту, когда главные силы были уже распределены. Адрес этот считался второстепенным, хотя и проживала там проститутка Мицкевич, давняя сожительница Мишки Корявого. Рассуждали мы вполне, казалось бы, логично: уж если сбор банды назначен на Лиговке, то с какой стати потащатся они в район «Сименцов»?

Между тем вышло все наоборот. Именно в «Сименцах», на Можайской улице, нашел свой бесславный конец Ленька Пантелеев, а товарищи наши, посланные на Лиговку, вернулись без особо ощутимых результатов.

И еще вышло, что кроме Ванюшки Бусько посылать на Можайскую было некого. До сих пор помню умоляющие его глаза: как же так, мол, все товарищи получили боевые задания, все умчались по адресам, а мне почему-то торчать на Гороховой без работы?

Однако начальник нашей группы категорически возразил против использования Бусько, считая его слишком уж молодым и неопытным. Знал бы тогда он, как развернутся события этой тревожной ночи, не стал бы, наверно, возражать. Но в том-то и штука, что жизнь иногда выкидывает довольно странные трюки. Рассчитываешь так, а получается иначе, видишь в своем сотруднике лишь зеленого юнца, а он, оказывается, вполне созревший и опытный работник, готовый выполнять самые трудные поручения.

Короче говоря, Бусько все же отправился на Можайскую. Дали мы ему двух красноармейцев, проинструктировали на тот случай, если и впрямь появятся бандиты, и отправили в «Сименцы». В душе-то, конечно, считали, что подежурит парнишка и вернется ни с чем обратно.

Время тянулось медленно. Мы все страшно волновались.

Волновался даже обычно сдержанный начальник группы. Ходит из угла в угол, виду старается не подавать, но чувствуется, что весь напряжен, весь — сплошное ожидание.

И вдруг в комнату к нам врывается комиссар Евгеньев (он в ту ночь был ответственным дежурным по Управлению). Кто-то ему только что позвонил, назвать себя не успел, а лишь взволнованно и путано крикнул в телефонную трубку, что на Можайской улице стрельба, имеются убитые и раненые, надо

срочно принимать меры.

Интересна все же мгновенная реакция на такого рода новости у разных людей. Начальник группы сорвался с тормозов, побледнел и, схватив телефонную трубку, начал звонить в резерв, поглядывая на меня с нескрываемой свирепостью. Пишущий эти строки, что называется, обмяк, не в силах произнести и слова, а в голове была лишь одна мысль, одна тревога: «Неужто наш Ванюшка погиб?»

Невозмутимее всех повел себя шофер нашей группы флегматичный латыш Янсон. Поднялся с табуретки возле печки, задумчиво покачал головой, вынул маузер, не спеша проверил его и, ничего не сказав, направился вниз, к своей машине.

Спустя несколько минут мы уже мчались на Можайскую. Янсон выжимал из нашего «панар-левассора» все, что могла дать эта старенькая машина, доставшаяся чекистам в наследство от какого-то питерского буржуя. Шофер он был первоклассный, любил быструю езду.

Вот и Можайская. Нужный нам дом на углу Малоцарскосельского проспекта, у ворот его толпа людей. Бросив машину, мы с Янсоном взлетаем на третий этаж. В голове одна мысль: жив ли Бусько, что здесь случилось?

Входная дверь приоткрыта. Распахнув ее ударом ноги, врываемся на кухню. В руках у нас оружие, готовы мы к самому худшему.

И первый, кого видим, это наш Ванюшка Бусько. Живой, невредимый, только чуть-чуть побледневший. Направо от входа, головой к окну, лежит в луже крови какой-то мужчина. Перекошенное его лицо окровавлено, на губах пузырится розовая пена. Одет он в белую заячью шапку с длинными свисающими наушниками, в тужурку с нагрудными карманами и меховым воротником и в щегольские хромовые сапоги. На полу рядом с ним валяются маузер и браунинг.

— А второй там, — говорит Ванюша Бусько и кивает головой на комнату.

Миновав прихожую, где красноармеец стережет собравшихся в воровской «хазе» гостей, входим во вторую комнату. На диване я вижу старого своего знакомца, с которым не раз сталкивался, когда работал на Петроградской стороне. Это Мишка Корявый, ближайший помощник и друг Леньки Пантелеева. Плечо у него прострелено, и он сидит на диване с низко опущенной головой. Рядом — с винтовкой наизготовку — красноармеец.

— На кухне кто? — быстро спрашиваю я Мишку Корявого.

— Не узнал, что ли? — говорит он, не отвечая на мой вопрос.

— Это Ленька?

— А то кто же, конечно он, — говорит Мишка Корявый и, шмыгнув носом, отворачивается.

Осмотрев труп, мы убеждаемся, что говорит он правду. На полу лежит действительно Ленька Пантелеев, некоронованный король петроградского уголовного мира. Карьера этого бандита оборвалась после меткого выстрела Ванюшки Бусько, юного нашего комсомольца-разведчика, которого и брать-то не хотели в операцию.

В карманах бандита, как и следовало ожидать, мы обнаружили немало золотых вещей и драгоценных камней. Выгребали их буквально пригоршнями, складывая на кухонный стол. Это были крупнокаратные бриллианты, золотые монеты, колье, диадемы, платиновые слитки и туго связанные пачки иностранной валюты. Теперь уже не оставалось сомнений, что банда и впрямь собиралась смываться в Эстонию. Иначе бы не нагрузил себя Ленька всеми этими ценностями.

И еще одна интересная находка обнаружена нами в куртке бандита. Кроме заячьей шапки с длинными наушниками, надетой на голову, носил он с собой еще три головных убора — мятую красноармейскую фуражку, финку с кожаным верхом и высокую котиковую шапку. Это была излюбленная его манера: в случае опасности мгновенно менять внешность, чтобы ввести в заблуждение преследователей.

Итак, операция подошла к концу. Главарь банды был убит, а ближайший его помощник сидел на диване, дожидаясь отправки в тюрьму.

Но как же все это случилось? И почему вместо Лиговки, где его ждали наши засады, очутился Пантелеев на Можайской?

Позднее мы узнали подробности. Оказывается, они и в самом деле шли на Лиговку, но по дороге Мишка Корявый уговорил атамана завернуть ненадолго к своей возлюбленной — проститутке Мицкевич. Тот нехотя согласился, а когда приблизились они к Можайской, послал вперед Мишку Корявого.

Задачу свою молодой чекист Бусько выполнил блистательно: с завидным хладнокровием, с молниеносной реакцией на быстро меняющиеся обстоятельства и с тонким пониманием психологии преступников.

Придя с двумя красноармейцами на Можайскую улицу и постучав в двери нужной квартиры, Бусько застал там довольно пеструю компанию. Сама хозяйка, ее дочь — проститутка Мицкевич, несколько развязных молодых парней, скорее всего карманных воров. Сидят за столом, играют в карты. Леньки Пантелеева, судя по всему, не ждут.

— Продолжайте игру! — приказал Бусько. — В каждого, кто

попытается разинуть пасть, стреляю без предупреждения!

Красноармейцы заняли удобные позиции за спинами игроков, а сам Бусько вышел на кухню. Не понравилось ему окно на лестнице соседнего дома. Если бандиты, прежде чем постучаться, заглянут из этого окна, то увидят в комнате посторонних. Пришлось вернуться, расставить красноармейцев по-другому.

Прошел час. И вдруг раздался звонок у входной двери. Игра за столом прекратилась, все сидели с испуганными лицами.

— Играйте! — прикрикнул Бусько и вместе с дочкой хозяйки пошел открывать дверь. В последний момент предупредил проститутку:

— Скажешь хоть слово — первая пуля тебе!

Дверь открылась. На площадке стояли двое мужчин.

— Заходите, братишки! — любезно пригласил Бусько, явно работая под уголовника.

Мужчины вошли, настороженно к нему приглядываясь. Незнакомый парень с открытым добродушным лицом, видимо, не вызвал у них подозрений. Тот, что держал руки в карманах, шел первым, а следом за ним, вперевалочку, двигался второй. Замыкал шествие Бусько.

Все дальнейшее разыгралось в считанные секунды. Приоткрыв дверь в комнату и увидев напряженные, неестественные лица сидевших за столом, передний резко отпрянул. «Сейчас будет стрелять в меня», — подумал Бусько и выхватил наган:

— Руки вверх!

Выстрелы грохнули почти одновременно. Пуля Леньки Пантелеева (а это был он, Бусько узнал его еще на площадке) свистнула возле лица чекиста, обжигая горячим воздухом. И тут же, впервые, быть может, промахнувшись, бандит начал оседать, валиться на бок, а сообщник его, успевший выхватить браунинг, был легко ранен и молниеносно обезоружен подоспевшими красноармейцами.

В ту же ночь ударная группа провела обыски и аресты в других воровских притонах.

На Международном проспекте был захвачен один из самых отъявленных негодяев — Александр Рейнтоп, по кличке Сашка Пан, бежавший вместе с Пантелеевым из третьего исправдома. На Десятой роте Измайловского проспекта мы арестовали извозчика Ивана Лежова и достойную его супругу — наводчиков банды.

Кровавая эпопея Леньки Фартового закончилась. Все газеты Петрограда вышли на следующий день с подробными сообщениями о том, как чекисты ликвидировали эту банду.

Рафаил Михайлов. Дочь СВОЕГО ОТЦА

Не долетев до партизанских костров, самолет вернулся на базу. Летчик с досадой доложил:

— Зенитный огонь, нельзя пробиться… На обратном пути болтало… Радистке помогите — аж зеленая вся…

Высокая девушка, придерживая полу шубы, спрыгнула на землю, приняла рацию, которую ей подали из самолета. Подполковник протянул руку:

— Помочь, Пятнадцатый?

— Не развалюсь! Надо привыкать. По должности и потому, что я из… — хотела сказать «из Восковых», но по давней привычке, воспитанной матерью, удержалась. — Из тех, кто в горячее лезет…

Да, она была дочерью Семена Воскова.

Прославленный комиссар гражданской войны Семен Петрович Восков, может быть, как никто другой, воплотил в себе характерные черты ленинского военкома. Старый большевик, подпольщик, он многое сделал для победы революции. Помнит его Полтава, где он под носом у полиции похитил для кружка социал-демократов целую типографию, помнит рабочий Екатеринослав, где он освобождал политзаключенных, и Харьков помнит, где экспроприировал оружие в бурные месяцы первой русской революции. Сестрорецкие оружейники назвали его именем свой завод.

Девочка родилась через три месяца после смерти отца. Назвали ее Сильвией — в память зарубежной коммунистки, погибшей в полицейском застенке.

В семье, где она выросла, революция строго смотрела с больших настенных портретов. Но хвастаться революционными заслугами здесь не разрешалось, — такова была семейная традиция.

Дети всегда уважают тех, кто умеет дать сдачи. А Сильвия была не из плакс. При этом обожала малышей. Наверное, в крови у нее была эта любовь. Семен Восков, бывало, даже на митинги, где собирался выступать, брал с собой детей. И Сильвия вечно возилась с ребятней, а потом стала пионервожатой.

Школьные друзья знали ее как азартную волейболистку, большую любительницу стихов, но, только проучившись с Сильвией много лет, поняли, что комиссар Восков и есть ее отец. Случилось это как-то нечаянно. Шли в ТЮЗ, остановились на

Марсовом поле, у серых гранитных плит. «Восков Семен Петрович, — прочел кто-то. — Сильва, а ты ведь Семеновна?»

— Здесь лежит мой отец, — просто сказала она. — Пойдемте, ребята, опаздываем…

Ей не хотелось слышать соболезнующих слов. И характером она была замкнутая, молчаливая. Любила сидеть на собраниях в уголке, и только по заблестевшим глазам или по легкому облачку, набегавшему на лицо, можно было догадаться, о чем она думает.

Сильвию приняли в Электротехнический институт имени В. И. Ульянова (Ленина). С вузовской обстановкой она освоилась без труда. Училась ровно, как и в школе. Бывало, в математике и в черчении обгоняла мальчишек. Была неплохой гимнасткой, вошла в сборную института по волейболу.

В спортзале в одной из баскетболисток узнала она и Лену Вишнякову, с которой училась в школе. Только Лена была двумя классами старше. Веселая, всегда окруженная шумными друзьями, Лена ей и раньше нравилась, да только никак было не познакомиться. А сейчас она не выдержала, подошла к ней:

— Помнишь меня по школе?

— Помню, — засмеялась Лена. — Ты всегда забиралась в угол и, как сурок, поблескивала оттуда глазами…

— Если хочешь, давай дружить…

— Хочу, — серьезно сказала Лена.

Так началась их дружба, которой суждено было продолжиться и на войне.

До диплома оставался год, когда гитлеровские полчища напали на нашу страну.

Война разметала студентов. Опустели институтские коридоры.

Подруг послали на строительство оборонительных сооружений. Когда вернулись в город, Сильвия в упор спросила Лену:

— Эвакуироваться будешь? Нет? Правильно. Я тоже не буду.

И решив так, они отправились обе в военкомат.

— Пошлите нас на фронт.

Военком заявил, что «без пяти минут инженеры»-нужны будут в городе. Вышли от него сердитые, неудовлетворенные. Потом Сильвии удалось все же *кое-чего* добиться. В выцветшей за четверть века бумажке об этом говорится так: «Согласно указанию военного отдела горкома ВКП(б) тов. Воскова С. С. мобилизована Ленинградским городским комитетом ВЛКСМ на краткосрочные курсы по подготовке радистов для Красной Армии».

Два месяца она училась работать на ключе, вести прием,

передачу. Вечерами возвращалась в свою холодную комнату, разводила в печурке огонь, поила кипятком соседских ребятишек и с учебником — на диван. Однажды обнаружила, что потеряла свою продовольственную карточку. От матери, работавшей хирургом в военном госпитале, беду эту скрыла. Зачем ее зря расстраивать?

Когда курсы временно прекратили свою работу, пошла в госпиталь санитаркой. Голодная, озябшая, умудрилась еще доедать последние экзамены в институте.

Услышав, что военно-морская школа на Крестовском объявляет прием операторов для спецзаданий, подруги пришли к начальнику этой школы. Тот попросил рекомендаций. «Спортивные призы устроят?» — спросила Сильвия. Начальник засмеялся, посмотрел их документы, обеих зачислил.

Было голодно, а в ней бурлили силы. Восемьдесят знаков в минуту, сто, сто двадцать… Начальник школы вызвал девушек к себе.

— Быстро осваиваетесь, девушки. Переводим вас…

— К партизанам? — обрадовалась Сильвия.

— Нет, переводим в инструктора.

Свыше ста радистов-операторов подготовила Сильвия Воскова. Тренировала своих ребят самозабвенно, засиживалась с ними в аппаратной до полуночи. Добивалась четкости, быстроты, высокой дисциплины. Сохранился приказ по школе: курсант-инструктор Воскова С. С. «поощряется 100 граммами махорки, 2 коробками спичек и 1 литром соевого молока».

Дневниковые ее записи того времени выдают страстное желание попасть в списки ежемесячных «счастливцев», которых штаб отбирал для работы в тылу врага: «Меня тянет на горячее, на фронт, и я уже собираюсь полечь костьми, а добиться осуществления своих мечтаний».

Сильвия схитрила. В очередной приезд партизанских представителей заняла у передатчика место испытуемого радиста. Отстучала свой текст, как пулеметную очередь. Подполковник из партизанского штаба сказал: «Годишься». Но начальник школы бурно запротестовал, вычеркнул ее из списка.

Тогда Сильвия поехала в Смольный, в Военный совет фронта. И впервые, нарушив семейную традицию, напомнила, чья она дочь и к чему это ее обязывает.

Шел год 1944-й. Фронтовая контрразведка комплектовала особые отряды для переброски в Прибалтику. Стало известно, что в Эстонию полетит радистом Сильвия Воскова, а в Латвию — Лена Вишнякова.

Завывали февральские метели. Трижды поднимался в воздух

самолет с группой, которую предстояло сбросить в эстонских лесах. Не сразу удалось это сделать. Потом Центр долго не получал ее позывных. А еще позднее стало известно, что группа в первые же дни нарвалась на вражескую засаду. Окруженные превосходящими силами, разведчики мужественно защищались и героически погибли в неравной схватке.

Так оборвалась жизнь отважной разведчицы и верной патриотки Советской Родины Сильвии Восковой. Вся жизнь, да и сама смерть этой девушки были подтверждением верности идеалам ее отца.

К двадцатилетию Победы советский народ отметил орденом Отечественной войны верную свою дочь, воспитанницу комсомола, чекиста Сильвию Семеновну Воскову. Она погибла вдали от Ленинграда, но сердце ее, мужество ее, память о ней, запечатленные в чудом дошедших до нас дневниках, — с нами, с ее земляками, с ленинградцами.

ИЗ ДНЕВНИКОВ СИЛЬВИИ ВОСКОВОЙ

1941 год.

Сентябрь. Вечер. Кругом постепенно все смолкает— люди после тревожного дня спешат отдохнуть перед тревожной ночью, чтобы суметь прожить не менее тревожный завтрашний день. На улице терпкая осень, прозрачностью которой любуются поэты. Улицы пустынны, людям сейчас не до осени, не до ее красок… Что-то сокровенное, всегда таящееся в глубине души, начинает медленно обнажаться, — это непостигаемое сожаление о потерянных днях, сознание своей духовной неудовлетворенности и какое-то неизъяснимое чувство одиночества.

Сентябрь — октябрь. «Просыпаться по утрам с ощущением счастья — это большое достижение в жизни» *(Олдингтон)*.

Счастье завтрашнего дня
Силой призови.
Не отдай врагу меня
И моей любви.

(Е. Рывпна)

(Очень мне это нравится.)

На улице — барабан дождя, блестящие мостовые, тусклые звонки проходящих трамваев, потемневшие от дождя дома. Небом осенью не любуются — оно такое мрачное и набухшее, как намокнувшая серая вата.

В институте пусто и холодно. Славные веселые парни на фронте. Остались немногие — пусть доучиваются, да поскорей! Стены голые, скучные — не зовут на собрания, кружки, секции, лишь на втором этаже кричат плакаты с вестями с фронта — здесь всегда толпятся студенты, преподаватели, служащие. Неприятная тишина мерно режется ударами метронома.

18 октября. Я пока называюсь студенткой 5-го курса, но такого короткого, что даже весело делается — учебный год всего в два месяца. Нас хотят выпустить к 1 декабря, закончив наше образование обыкновенными экзаменами. Кроме своих академических занятий, посещаю курсы радистов для Красной Армии. Так что кем я буду в результате всего, узнаю не ранее конца декабря. Вроде повзрослела, но дух имею веселый и обидно молодой.

11 декабря. Умер дед. Трагизм этого события сглажен военной обстановкой. Похоронили его на Богословском кладбище. Я рыла могилу, помогали соседи. Но больше о печальном ни слова!

Музыкой я сейчас не сыта, приходится довольствоваться сигналами «тревоги» и «отбоя». Последний более приятен для слуха. Нехорошо» что желудок начинает править духом. Зато в чтении себе не отказываю. Здесь уж я не ставлю- себе голодных норм…

1942 год.

20 апреля. Мама пережила все стадии блокадной ленинградской жизни — страшно исхудала, истощала, лицо опухло, ноги распухли, настроение падало.

Работала вначале просто ординатором в госпитале — сейчас она начальник отделения… У меня «ленинградские» стадии появились несколько позже — теперь опухают ноги — авитаминоз, но я научилась от своей чудесной мамаши плевать на это с самым беспечным видом. Институт я окончила (ценой легкой голодовочки) по специальности проводной связи (дальняя связь, телефония, бильд-телеграфия), получила путевку в наркомат в Горький, но уехать — не уехала, хотя имела в зубах эвакосправку и сидела на узлах. Работой обеспечиться некоторое время не смогла и пошла работать санитаркой в госпиталь.

…Живу в закопченной кухне и отопляюсь мебелью. На лестнице нашей все поумерли или поуехали. З. П., с которой я жила, умерла. Дивная женщина. Убили ее 125 граммов хлеба.

Решила идти в военную школу.

Конец апреля. Учу людей и сама учусь…. Встретилась с человеком, не говорящим, по-русски, но прекрасно владеющим немецким, чуть похуже — английским и совсем плохо —

французским. На удивление себе самой смогла с ним болтать (конечно-, не произносить выспренних спичей) на трех языках. Английский я знаю в пределах технических текстов и, кроме того, самосильно кое-что читала… Как голодная, набросилась сразу на три языка.

Июнь. Я теперь доброволец Красной Армии и изучаю радиодело. Мама работает кошмарно много, и мне приходится только удивляться, как она держит темп.

29 июня. Спешу обрадовать себя и заодно утешить: идем в гору жизни, бодро и весело, обретаем садах себя, обретаем до такой степени, что любуемся белыми ленинградскими ночами, гранитом, Невой, Крестовским островом, отороченным свежей зеленью и… безлюдной тишью. Мамка — совсем молодцом — свежеет, хорошеет, веселеет.

Пока что застряла в инструкторском виде — учутому, чему сама научена. Хоть это дело и благородное — делать из людей людей и радостно наблюдать, как всходит то, что сеешь, а все же не по моей натуре. Меня тянет на горячее, на фронт, и я уже собираюсь полечь костьми, а добиться осуществления своих мечтаний. Работаю довольно ощутительно и одновременно не отказываю себе в удовольствии почитать хорошие вещи вроде Олдинг-тона, Маяковского, Мериме и других почтенных классиков, полуклассйков и просто неклассиков… — в долгу у жизни оставаться не намерена.

Легко мне переносить тяготы житейского и духовного порядка еще и по той причине, что под рукой у меня кроме мамы есть подруга. Мы вместе работали в совхозе, на окопах, вместе зубы клали на полку, вместе догрызали этими зубами последние экзамены, одним словом, падали и духом *ш* брюхом (в смысле подведения последнего). Вместе инструкторами сейчас… С Ленкой делюсь абсолютно всем, причем просто, непосредственно, от сердца, от души и вообще от всего нутра.

13 июля. Пока я не уйду на оперативную самостоятельную работу — я позорный должник Родины, и каждый угасший в моем жизнетечении день будет утяжелять мой долг и угрызать напоминание о нем.

14 июля. Как мне не хватает деятельного настоящего при жгучем и неотвратимом стремлении к нему.

20 сентября. Ого! Меня уже называют Сильвией Семеновной! Не нравится мне это, но говорят, что так надо для пользы дела.

23 сентября. Не научиться бы курить. А то все балуюсь, балуюсь. Привыкну, тогда пиши пропало.

28 сентября. Многоглазое небо сегодня чисто и не замутнено тучами. Такая ночь, не запятнанная туманами, не издерганная

дождливыми порывами ветра, как самый задушевный друг, вызывает на откровенность хотя бы просто с собою. Дружба, завязанная под звездами, будет навсегда освещена их нежным светом…

Первое, что вспыхивает перед глазами, — Эльбрус. Ты всегда напоминал мне об Эльбрусе — в разговорах, письмах и просто на фотографической карточке. Славное было время, славное местечко, славный Кавказ. Но ты-то где сейчас? Никто не знает о тебе ничего, и, что всего печальней, — не знаю я.

8 октября. Лес уже шумит по-осеннему. Желтокрасная листва придает лесу вид опаленного зноем. Это время особенно прекрасно… Но сейчас война. Она свое берет. Все в сознании подавляется одной мыслью — фронт, кровь, ненависть!

25 октября. Наконец-то съездила домой и поработала на благо родным. Семь потов пролила. Мать довольна. А я, стало быть, и подавно. Только вот как побываешь в Ленинграде, так сердце здорово защемит. Знакомых никого. Кругом, пусто. Погоревшие и разбомбленные дома зияют сквозной осенней темью. Ребячьего гомона давно уж не слыхать…

К институту и подойти боюсь, уж больно много у меня с ним горького и счастливого связано. Ребят своих, друзей порастеряла, кажется, безвозвратно… Юрка, может быть, и жив, а вот Костя счеты с жизнью свел. Как он сильно горевал, что не довелось ему повоевать в финскую войну, а теперь свое взял. Те ребята, что эвакуировались, больше во мне не возбудят симпатий.

Октябрь — ноябрь. Я кровожадная никогда не была, но сейчас чувствую в себе все время растущую ненависть к фашизму. Правда, я многого не видела, но прежде всего я ленинградец, и глотнула наравне с ленинградцами, что выпало на нашу долю… Я не знаю, предрассудки это или нет, но когда выпадают веселые денечки, когда много насмеешься, то вдруг становится совестно и по-настоящему стыдно, что еще не все сделала, что можешь.

7 ноября. Сегодня 7 ноября. День торжественный. Погода тоже празднует 25-летие Октября — солнышко и мороз.

1943 год.

22 июля. Дочерью Сальмы Ивановны я достаточно побыла и пожила, нужно быть еще и дочерью Семена Петровича Воскова. Тем более, что случай представился — иду, куда мечтала все время пойти. Красивые слова я оставлю на послевоенное время, а скажу, что считаю себя достаточно подготовленной морально, а тем более физически, чтобы быть настоящим бойцом. Говорят, раз крепко хочешь, значит и крепко получится. А я направляю всю свою волю, соединенную с разумом, в единственную цель — быть патриотом до конца.

25 июля. Вся военная жуть и горесть будут потом подернуты особой дымкой, которая необходима для воспоминаний. А сейчас это голо и давит, а потому трудно. В таких условиях надо развивать и укреплять главный двигатель человека — волю… Часто в житейской мудрости примитивно рассматривается действие воли. Сделай то, чего тебе безумно не хочется делать в данный момент, и ты, значит, достиг чего-то… А достигнуть результата— это стать настоящим культурным советским человеком. Этой цели я до сих пор добивалась, не ощущая резко, чего добиваюсь… Теперь же, добившись возможности попасть на фронт, я одновременно приложу все свои усилия.

26 июля. Этот чертов обстрел растянулся на целые сутки, каждые полчаса — залп. И в результате день пропал— не пройти, не пускают. Нам они мстят задним числом. Чем крепче фрица бьют на фронте, тем чаще он обстреливает Ленинград, уже, видно, не мечтая прогуляться по нему.

И августа. Долговязый неуклюжий Колька канул в вечность, а возродился капитан Б., настоящий фронтовик. Когда такие изменения происходят в знакомом, близком человеке, то это знаменательно и для друзей. Только не прав ты, друг дорогой, что многие стремятся на фронт для успокоения совести — не тыловая, мол, крыса. Голос совести заглушается и в тылу, надо только работать хорошенько,' а горячее желание идти на зов Родины удовлетворяется лишь на фронте.

17 августа. Образование мое не окончено. Теперь, как только война кончится, брошусь в работу и костьми лягу, а буду инженером. Мама пишет, что наш институт объявляет набор на все курсы. Хоть и обидно, но совести не хватает уйти с военной службы.

Пишет мне Даня Восков. Он старший лейтенант. И служит в авиаполку. В Ленинграде мы с ним часто встречались.

Из моих ленинградских друзей-студентов осталось уже немного. Совсем недавно один парень, с честью выкарабкавшийся из дистрофической зимы, потеряв отца и здоровье и летом приобретший диплом инженера, погиб от вражеского снаряда на Невском. Очень горевала. Моя хорошая приятельница погибла от бомбы, находясь на дежурстве. Если мне придется иметь свой боевой счет, то я знаю, за что буду мстить — за славных своих товарищей.

Пусть моя жизнь сейчас мало похожа на мечту, но две мои мечты — повоевать и с победой прийти домой — должны осуществиться. Как-то особенно остро я чувствую, как хорошо быть ленинградцем и как гордо звучит:

Я счастлив тем, что в пламени суровом,
В кольце блокад
Сам защищал и пулею и словом
Мой Ленинград.

(Вс. Рождественский)

12 сентября. Наконец-то в Боровичах. Ехали в телячьих вагонах. Мне они нравятся больше пассажирских — простору больше.

Городок очень хорош. Расположен на горе, довольно зеленый, много хороших и больших зданий. И главное, бросается в глаза — много публики спокойной и не нервной. Ловила себя на этой мысли даже в городской бане, где бабы спокойно пропускают без очереди девушек, которые спешат…

Все очень интересуются Ленинградом, но, рассказывая, приходится следить, чтобы не очень сгущались краски. Слушают, да и думают, наверное, что у нас там ад кромешный. Ведь нет…

21 Сентября. Я никогда не была так спокойна за будущее, как теперь, и не думаю, чтобы это было плохим предзнаменованием. Наша славная Красная Армия таким мощным валом гонит фрицев с нашей земли, что скоро мы услышим радостные вести и с нашего Ленинградского фронта.

Октябрь. Прочла новую книгу «Ленинград в борьбе» и нашла тот абзац, где говорится о светлой памяти моего отца. Девушка из библиотеки обещала мне ее достать…

22 октября. Мне кажется, что все идет очень медленно. Хочется гореть и кипеть, а пока только тлеется. Осень стоит расчудесная, сухая, теплая и хорошо пахнущая. Звездные вечера и темные ночи делают свое дело в человеческих душах.

Говорят, надо написать (той-то или тому-то). Считаю, что писать письмо, значит отдавать кусочек своего «я». Делать иначе — значит фальшивить, а я не фальшивомонетчик.

19 ноября. Здесь, в небольшой дали от славного родного города, я очень по нему скучаю, и никогда мне боровичская луна не заменит ленинградскую, обливающую своим нежным светом золотистый шпиль Петропавловской крепости, перспективу Кировского проспекта и неповторимые липовые аллеи. Все это стало ужасно дорого моему сердцу, пусть даже это ощутилось так ярко только в разлуке. Злодейка-разлука на многое открывает глаза и душу, и за это ей спасибо. Ничего я так не жду с громадным нетерпением, как освобождения нашей области, и если мне удастся приложить к этому свои силы, это будет счастьем.

27 ноября. Я не хочу вернуться в Ленинград, не сделав чего-либо существенного по ходу событий.

7 декабря.

Пусть далека адмиралтейская игла,
Пусть не видны аллеи лип и сад,
Но никакая мгла
Не заслонит тебя, мой Ленинград.

17 декабря. Ждала новостей. Подполковник мне приказал собираться и быть готовой.

А в Ленинграде усилились обстрелы… Не бегайте, ленинградцы, как бегали мы под обстрелом!

20 декабря. Теперь уже точно, что еду, и на днях… Мне ужасно жаль, что едем не одновременно (с Еленой), но мы уела вливались не огорчаться, если едет вначале одна. Меня это мучает… И все же я надеюсь, что и она вскоре, если не теперь вот, тоже поедет…

29 декабря. Скоро пойду выполнять свою работу в отряд. Постараюсь не ударить в грязь лицом и быть настоящей дочкой старых большевиков. И ничего со мной не случится.

1944 год.

Вторая декада января. Уже в Хвойной. Здоровье у меня мировое, только иногда кровь из десен идет. Но против этого я имею замечательное средство — чеснок, им в изобилии снабдили меня при выезде из Боровичей, и я без стеснения поедаю его в нужном количестве.

Одета я тепло, прямо скажем, не по зиме — шуба, ватные штаны, валенки, свитер, гимнастерка, ну и остальные атрибуты полумужского-полудамского туалета.

Чувствую себя каким-то двойным человеком. Снаружи огрубела, а в душе стала мягче и нежнее. От хорошей музыки навертываются слезы на глаза, а от хороших стихов щемит сердце. Друзей своих люблю крепче и глубже, чем до войны, а уж о родных и говорить не приходится. Сердечные дела мои в обидном загоне…

Жизнью пока довольна, может быть, потому, что привыкла ко всем ее видам, а может быть, и потому, что строю крепкие солнечные планы на «после войны» и твердо верю в их исполнение.

С такой верой в будущее удивительно легко жить и работать.

Владимир Дягилев. АЛЕКСАНДР КАДАЧИГОВ И ДРУГИЕ

1. ЗАТЯНУВШИЙСЯ ПРЫЖОК

Этой ночи ждали долго. Трижды получали парашюты. Трижды приезжали на аэродром. И — трижды возвращались на базу. В районе выброски рыскали карательные отряды.

Группа состояла из девяти человек. Чекисты были из разных мест, в Валдае встретились впервые. Александр Филиппович Кадачигов, старший опергруппы, присматривался к товарищам, прикидывал в уме: «Годятся ли?» Зюков — здоровый, высокий, носатый, больше всего молчит. Ни словечка лишнего, ни шуточки, ни смешка. Бесчастнов — исполнителен, аккуратен, любит порядочек. Тимоненко — молодцеват, с выправкой, рвется к работе. Мусин — какой-то не такой, все чего-то не понимает, переспрашивает. Пуховиков — болеет, фурункулы беднягу замучили. Пуговкин — замкнут, но сметлив. Мальцев — крепок, надежен, сразу вызывает симпатию. Ваня Гусев — радист, совсем еще мальчишка, восемнадцать лет. Романтик, в тыл стремится, как на футбол… «Поживем — увидим», — думал Кадачигов.

Выброска намечалась в Карамышевские леса, в район партизанской бригады Германа.

С каждым возвращением на базу настроение все заметнее портилось. Кадачигов понимал: еще одна ночь ожидания — и нервы не выдержат.

Выбросили их на шестнадцатые сутки. На костры они не попали. Приземлились довольно близко от врага. Фашисты открыли огонь. Хорошо что лес укрыл чекистов.

2. ГОЛОДАЙ

Спалось плохо. Забылся Александр Филиппович только под утро. Разбудили чьи-то голоса. В землянке было мрачно. Вскочил, быстро обулся. Что такое? А где ремень? Ремня не было. Вышел из землянки, невольно поежился от утренней свежести. Неподалеку горел костер. Человек шесть, щурясь от дыма, сидели над ведром. Лица у всех были серые, большеглазые. Такие лица знакомы Александру Филипповичу по блокаде.

В ведре пузырилась вода и плавали кусочки какой-то бурой приправы. «Грибы, наверно», — подумал Александр Филиппович и тут же заметил блеснувшую в траве пряжку своего ремня. Один из партизан — брови словно усы — перехватил его взгляд.

— Копыто варим, — сказал он, оправдываясь.

На дорожке показался Бесчастнов, поманил Александра Филипповича.

— Парашюты с грузом накрылись…

— А батареи?

— В порядке. Зато и продукты и табак растащены…

Александр Филиппович покосился на костер, где разваривался его ремень, вздохнул и пошел знакомиться с командованием бригады.

С первых часов пребывания в тылу врага опергруппа оказалась без своих запасов на островке с довольно точным названием — Голодай.

Голодай — это клочок суши среди труднопроходимых болот. Он укрыл партизан от карателей. Бригада переживала тяжелые дни после трехнедельных изнурительных боев. Не было хлеба. Не было боеприпасов. Не было и аэродрома, на который мог бы сесть самолет. Лишь одно оставалось на вооружении людей: высокий боевой дух и ненависть к захватчикам. Это Александра Филипповича обрадовало.

На небольшой полянке шли военные занятия.

Худые, измотавшиеся бойцы с трудом перебегали от кочки к кочке, падали, стараясь укрыться от воображаемого противника. Бежали они с натугой, падали с удовольствием. Александр Филиппович чувствовал, как им не хочется снова подниматься, но голос командира был неумолим:

— Не отставай! Не отставай!

3. ИСАЕВ И ГЕРМАН

Еще в Валдае Александр Филиппович старался побольше узнать о командовании бригады.

О комиссаре Исаеве ему сказали коротко: «Стоящий человек». Сложнее было с комбригом Германом. Александр Викторович — ленинградец. Окончил военное училище в Барнауле. Войну начал старшим лейтенантом в должности офицера связи при разведывательном отделе фронта. Был переведен в Партизанский край сначала заместителем комбрига по разведке, а затем, когда создали третью бригаду, стал ее командиром. Герман, как говорили знающие его люди, командир боевой, требовательный, но с несколько гонористым характером.

Вот этого-то и опасался Александр Филиппович. Нужно было сработаться, найти общий язык. По дороге Александр Филиппович спросил Бесчастнова:

— У тебя ремня нет запасного? Моим позавтракали…

Бесчастнов достал из вещевого мешка широкий офицерский ремень с надраенной бляхой.

— У меня все есть.

Александр Филиппович к Герману все-таки не пошел. Решил прежде зайти к комиссару. Исаев принял его, как старого знакомого.

— Слышал, рад. Теперь и мне легче будет…

— Постараемся, чтоб было легче. За тем и прилетели. И еще кое за чем. У нас и свои задания есть…

— Понятно. Информирован.

— Мне говорили, что комбриг…

— Ничего, — опередил его Исаев. — Идите к нему, я подойду.

В землянке комбрига сидели двое. Со света лиц не разобрать.

— Разрешите? Мне бы товарища Германа…

— Я — Герман.

— Старший опергруппы Кадачигов. Прибыли сегодня ночью…

— Мне доложили, — перебил Герман и знаком велел второму выйти из землянки. — Сколько вас?

— Девять человек. Мы со специальным заданием…

— Что значит со специальным? — набычился Герман. — У всех у нас одно задание: фашистов бить…

Александр Филиппович промолчал. И как раз в этот момент в землянке появился Исаев.

— Договорились? Вот и хорошо. Надежные люди прибыли, чекисты, — комиссар сделал вид, что не замечает рассерженного лица комбрига. — Давайте хоть чайку попьем. Больше, к

сожалению, угощать нечем.

4. ГНИЛЬ

Из Центра пришла радиограмма: «Железняку.

Приступайте выполнению задания. Ждем донесений. Укажите координаты сбрасывания взрывчатки».

Железняк — это псевдоним Александра Филипповича. Когда-то, еще в юности, увлек его образ героя-матроса. Мечтал и сам стать моряком. А стал вот чекистом. И в такие условия попал, что ни о каком выполнении задания пока и речи быть не могло.

Бригада увязла на Голодае. Положение ухудшалось с каждым днем. Таяли скудные запасы патронов. Ели преимущественно клюкву. Боевых операций не проводили. Лишь разведчики бывали в соседних деревнях, возвращаясь иногда с небольшими запасами пищи, но чаще — с ранеными.

— Что ответить Центру? — спросил Ваня Гусев.

— Пока ничего, — сказал Железняк.

Вскоре он начал замечать, что в бригаде появилась гниль. Встретил партизан, возвращавшихся с разведки. Они несли раненого товарища.

— Как это случилось?

Бойцы не ответили. Железняк пошел с ними в лазарет, присел возле раненого. Дождавшись, когда его перебинтуют, повторил свой вопрос. Боец облизал сухие губы. Железняк подал ему кружку с водой.

— Если бы не побежали, — сказал раненый. — А то как рванули, так и ударили по нам с чердака из пулемета…

— Зачем же бежали?

— Пчелы… Мы пасеку… Мигров приказал…

В следующий раз Железняк узнал, что разведчики утащили у крестьян хлеб, и снова услышал:

— Мигров приказал…

Мигров был начальником разведки — любимцем комбрига.

Железняк рассказал обо всем комбригу. Герман недовольно поднялся, накинул на плечи ватник.

— Наговор это… Мигров не может. Я его знаю…

— Данные проверены…

— Ладно, сам разберусь.

Через час из землянки комбрига пулей вылетел весь красный и взлохмаченный Мигров.

— Зайди-ка, — увидев Железняка, позвал Герман. — Я решил, — произнес он после долгого молчания, — расстрелять Мигрова…

— Может, слишком это, — сказал Железняк. — Сами же

говорили: заслуженный, отличившийся…

Вошел Исаев. Втроем они все обсудили. Мигрова решено было приговорить к расстрелу условно, пощадив до первого замечания.

Построили бригаду. Комиссар произнес коротенькую речь. Зачитали приказ. Грабежи после этого прекратились.

Мигров тяжело пережил свою ошибку и в дальнейшем воевал хорошо, имел награды.

5. ГЛУБОКАЯ РАЗВЕДКА

Среди тех, кто в эти тяжелые дни пришел в партизанский лагерь, был человек, не похожий на остальных: крепкий, упитанный, в добротной одежде. Рассказал о себе: ленинградец, шофер, попал в плен, был в лагере, дважды пытался бежать, ро все неудачно. Сейчас бежит в третий раз.

Железняк занялся Калинкиным. Разговор у них шел начистоту. Интуицией Железняк чувствовал: свой это, наш человек. Но вид?! Совсем не похож на пленного. Слишком уж сытый.

Герман в Калинкина не поверил.

— Смотри, — предупредил Железняка. — Он нас всех подведет.

После истории с Мигровым комбриг стал мягче, не лез больше на острые объяснения.

— Ладно, — сказал Железняк, — возьму его с собой, хорошая будет проверка…

Еще в Ленинграде ему сказали: «Вам лично не разрешается участвовать в операциях». В Валдае это подтвердил полковник Осмолов: «Вы, Александр Филиппович, сами в бой не лезьте. Ваша обязанность — организовать дело». Но то были указания Кадачигову, а Железняк не мог не пойти. Сама жизнь вынуждала нарушить приказ. Или бригада погибнет от голода, или надо с боями выходить с Голодая. Но выйти можно, лишь разведав обстановку в соседних районах. Каковы там силы противника? Нужна была глубокая разведка. Ее Железняк взял на себя.

Пошли двумя группами. С Железняком были Бесчастнов, ординарец Горбунов, Калинкин и еще двое партизан. Из лагеря вышли днем. Пройдя болото, обсушились на опушке, поели клюквы и вечером зашли в ближайшую деревеньку, где немцев — они это знали — не было. На улочке было пустынно. Появившаяся на дороге девчонка с хворостинкой, завидев партизан, скрылась в сенях. Из окон выглядывали старухи.

— Напиться бы, мамаша, — попросил Железняк.

Старуха не ответила. Молча ушла и молча вернулась с ведром воды.

— Мы никого не тронем, — успокоил ее Железняк. — И ничего у вас не возьмем. Не бойтесь.

Старуха опять ушла в избу. Через несколько минут на крыльце появилась молодая женщина в белом выцветшем платке.

— Заходите.

Войдя вместе с разведчиками в избу, она сказала:

— Маманя, хоть чайком-то угостите…

Вскоре на столе появились самовар, картошка, огурцы.

Железняк предупредил:

— Только платить нам нечем.

— Ладно, — оборвала его молодая женщина. — Придет время — расплатитесь.

Поблагодарив душевных хозяев, разведчики ночью вышли из дома и направились к железной дороге. Здесь, по сведениям, которые были у Железняка, жил на разъезде наш разведчик.

Разведчик удивился приходу незнакомых людей, замкнулся. Каким образом очутились здесь? Кто такие? Лишь услышав пароль, заговорил, коротко доложил обстановку.

Неподалеку от разъезда был курорт, где отдыхали вражеские офицеры. У Железняка сразу возникла мысль: а нельзя ли туда проникнуть?

— Кроме мельника помочь некому, — сказал разведчик. — Мельница на этой стороне реки, а на той — курорт. Правда, мельник немцам прислуживает. Так что сами глядите…

Первым пошел Калинкин. Уже выяснилось, что, кроме большой физической силы и смелости, обладает он очень важным для разведчика свойством: умеет двигаться почти бесшумно.

Холодно блеснула река. На той стороне перекликались часовые врага.

Подошли к мельнице, постучали.

— Кто там?

— Шнель! Шнель! — поторапливал Калинкин.

Мельник открыл дверь. В избу вошли Железняк, Бесчастнов, Калинкин.

— Ну, господин хороший, выкладывай все начистоту, — сказал Железняк. — Как живется при немцах? Кого успел предать?

Мельник сразу все понял. Стоял перед ними в одном белье, и лицо было белым, как рубаха.

— Выкладывай все! Я и пистолета твоего из-под подушки доставать не стану…

Калинкин подскочил к кровати, отшвырнул подушки. Там действительно оказался пистолет.

— Кого успел предать?

— Никого не предавал…

— Ну тогда счастье твое. Поможешь нам, надо будет кое-что сделать на курорте…

— Сделаем, все сделаем, — бормотал мельник, еще не веря, что грозу пронесло.

В другой деревне, неподалеку от курорта, разведчики решили

провести сход. Днем скрывались в лесу, а к вечеру, выставив дозорных, Железняк и Бесчастнов направились в деревню. Люди собрались возле сельсовета. Настороженно ждали.

— Здравствуйте, товарищи, — сказал Железняк, подойдя к толпе. — Разговор у нас с вами короткий. Знайте и запомните крепко: как бы там ни было, а победа все равно будет за нами. Вернется Красная Армия, и вся земля эта, как была, так и будет советской…

Толпа одобрительно зашумела.

— Вернется к вам Советская власть, — продолжал Железняк. — Ваши дети пойдут в школу, а вы будете свободно передвигаться по своей земле, без пропусков, без опаски, будете петь свои советские песни, праздновать свои праздники. И знайте, товарищи, все тогда припомнится, хорошее и плохое. Нам известно, что большинство из вас — преданные люди, патриоты, но есть и предатели… Знайте, не уйдут они от расплаты. Старайтесь на немцев не работать. Помогайте партизанам. Они за вас кровь свою проливают… Им нужна ваша помощь…

Никогда не был Железняк оратором, но тут его слова дошли до людей, задели за живое. Партизан обступили, завязались оживленные разговоры. Особенно наседали две девушки. Они, как выяснилось, работали на курорте и рвались хоть чем-нибудь помочь партизанам.

— Найдем дело, — сказал Железняк.

Группа его обошла более десяти деревень. В бригаду возвращались на четвертые сутки. До самых болот сопровождал их небольшой обоз с хлебом, картошкой и мясом.

6. ДЕРЗКИЙ ВЫХОД

Железняк даже не предполагал, что Герман так обрадуется его возвращению.

— Филиппыч?! Живой?

— Живой, как видишь, да еще с приданым…

После первых объятий и расспросов зашли в землянку комбрига. Собрались Герман, Исаев, начштаба, новый начальник разведки. Железняк доложил о результатах похода.

Герман встал, при всех пожал ему руку.

— Я ж говорил — настоящая помощь прибыла, — заметил комиссар.

Попрощавшись с комбригом, Железняк остановился у порога землянки:

— Да, относительно Калинкина… По-моему, стоящий парень. Отлично себя вел…

— Что ж, я рад, — сказал Герман. — Думаешь, мне приятно возиться с предателями? Куда приятней, когда надежные парни…

К вечеру комбриг собрал командирский совет.

— Надо выходить с Голодая, — сказал Герман. — По достоверным сведениям, — он покосился на Железняка, — немцев кругом немного. Поддержка населения нам обеспечена. На подготовку, думаю, хватит суток. Медлить нельзя.

Решение было дерзким: выходить под самым носом у немцев, открыто показывая свою слабость, с разутыми, истощенными, плохо вооруженными людьми. Но другого решения не было.

Вышли на рассвете, рассчитывая засветло выбраться из болот. Однако расчет этот не оправдался. Хотя высланными вперед людьми были выложены гати, все равно дорога оказалась очень трудной. Истощенные и раненые задерживали движение. Их несли на руках.

Лишь к вечеру следующего дня партизаны добрались до деревни Красные Щеки.

Перед тем как разместиться по избам, Герман приказал обеспечить усиленное охранение. Без спроса ничего не брать, ни грамма, ни капельки. За нарушение — расстрел.

Ночью Железняку донесли: фашисты встревожены, на борьбу с партизанами выступают карательные отряды.

Так и не отдохнув, бригада вынуждена была сниматься и уходить в Громулинские леса. Все, кто мог держать оружие, в том числе, конечно, и чекисты, взяли на себя прикрытие отхода. Бои начались вечером, возобновились на следующее утро.

Силы заслона таяли. Боеприпасы кончались. Выручило

местное население. Окольными путями партизанам доставлялись патроны и, что особенно важно, сведения о каждом шаге карателей.

Лишь через несколько дней группа прикрытия получила приказ отходить. Ночью, бесшумно снявшись со своих позиций, люди исчезли в лесах, будто растворились в тумане.

7. ЗЮКОВ

Железняк решил «побеспокоить» фашистских офицеров, отдыхавших на курорте. Операция была неплохо подготовлена: активно помогали мельник и его жена, знакомые девушки-официантки. Руководство операцией Железняк возложил на чекистов: Мальцев был старшим, Зюков — его помощником.

Вечером, накануне выхода бригады с Голодая, эта группа незаметно отправилась на задание. Удачно прошли болота, вышли к железной дороге, встретились с разведчиком, жившим на разъезде. Удачно добрались до мельницы, И тут почти в упор столкнулись с карателями. Началась перестрелка; перескакивая с кочки на кочку, они кинулись к заболоченному леску. Еще бы минута — и скрылись, но у самого леса их настигли пули. Мальцев был убит наповал, Зюков тяжело ранен. Упал он с разбегу на мягкий, податливый мох, и высокая болотная трава его тотчас накрыла.

Сгоряча Зюков не почувствовал боли, только страшную слабость и сонливость, точно не спал несколько ночей. Но тут же острая мысль заставила его напрячься: «Каратели сейчас подойдут». Зюков еще не знал, что скрыт от людских глаз. Хотел приподняться, отползти, но сил хватило лишь взвести курок пистолета. «Живым не дамся», — решил он.

Послышались голоса. Каратели приближались.

— Ага! Вот один.

Зюков затаил дыхание, замер и почти одновременно почувствовал боль. «Не застонать бы. Не застонать».

— Где же второй?

Вокруг него хлюпали сапоги карателей. Он готов был стрелять, но цели не видел. Над ним голубело небо,

— Может, утащили второго?

— Не должно…

Потом все утихло. Зюков как бы попал в ванну, провалился в приятную теплоту. Несколько раз открывал глаза, видел кусок неба над головой и опять проваливался. Потом его кто-то тихо позвал, словно боялись разбудить.

— Зюков!

Он хотел ответить, но лишь застонал, протяжно и несдержанно. Очнулся он от боли. Теперь боль была во

всем теле, в руках, груди, в сердце. И было темно. И перед ним темнела чья-то спина. И он покачивался, как в вагоне. «Кто это? Где я? Куда меня несут?» В руках не было пистолета, он вздрогнул.

— Ну, что ты, Саша! Это я, Горбунов.

Зюков не знал, сколько прошло времени. Услышал знакомый голос.

— Саша, ну как ты?

Над ним склонился Кадачигов.

— Бой идет. Мы вынуждены тебя временно оставить. Иначе никак нельзя. Иначе…

— Оставляйте, — тихо ответил Зюков и сам не услышал своего голоса.

— Вот возьми мою плащ-палатку. Давай укрою, а то дождь…

Зюков остался один на один со своей болью. Она все нарастала, казалось, все тело — сплошная рана.

Дождь прекратился, потом опять стал моросить. Темнело и вновь светлело небо. Но боль все не отпускала его. Потом как-то сразу исчезла. И почти в тот же миг заработало сознание: «Я должен выжить. Они придут. Железняк не обманет».

Зюков приподнялся на руках, огляделся. Вокруг рос густой кустарник. Прямо над ним были высокие сосны. Пахло прелыми листьями и еще чем-то острым. Вначале Зюков не понял — чем? Потом догадался: это его рана. «Надо что-то делать», — подумал он и размотал тряпки. Достал нож, начал отрезать куски собственных мышц. Несколько раз ему становилось плохо, он откидывался на спину, набирался сил и заставлял себя продолжать операцию. Проделав это, Зюков нарвал травы, закрутил тряпицей, нарвал мягкий мох и приложил все к ране. Стало как будто легче.

Лежал он до тех пор, пока не почувствовал голода. Тогда начал ползать вокруг, обдирая листья, траву, выдергивая корешки.

Когда за ним пришли, кустарник вокруг был голым, все ветви обглоданы.

— Я вернулся, Саша, — сказал Железняк, приподнимая товарища за плечи.

— А-а, — протянул Зюков и закрыл глаза.

Железняк отправил его первым же прилетевшим к партизанам самолетом.

8. ЦЕЛЬ - ПСКОВ

За короткое время бригада окрепла, пополнилась. Шире стал радиус ее действий. Теперь чекистам можно было приступать к выполнению основных своих задач, и в первую очередь к организации разведки. Результатов ждал Центр.

Важнейшим объектом, требующим постоянного наблюдения, был Псков — узел коммуникаций. Здесь формировались эшелоны с войсками, сюда прибывали оружие и боеприпасы.

Нужно было найти ключи к Пскову. Но как это сделать?

Железняк беседовал с людьми, знающими Псков и его окрестности. Особенно интересовался теми, у кого там родственники. Узнал, что все основные операции с грузами в сторону фронта проходят со станции Торо-шино, неподалеку от Пскова. Еще узнал, как легче всего попасть в Псков без пропуска.

Первой в Псков направилась Полина Черная.

9. ПОЛИНА ЧЕРНАЯ

В бригаде было две Полины. Одну звали Полиной Черной, другую — Полиной Белой. Обе оказались находчивыми разведчицами.

Полина Черная до войны была сельской учительницей, любила свою работу, своих учеников, жила весело и легко.

Все было хорошо. И вдруг — война, деревню заняли немцы, из школы вышвырнули парты, вырубили школьный сад.

И тогда Полина Михайловна пошла к партизанам и стала бойцом, мстителем, разведчицей. Она уже была проверена во многих операциях, и потому на нее пал выбор Железняка.

Вышла она из лагеря на рассвете, когда птицы только-только начинали свою утреннюю песню. В лесу вкусно пахло сосной. Роса приятно освежала ноги.

Путь предстоял неблизкий, окольный. Железняк специально разработал ей маршрут, приказав зайти в деревню Семенково, где можно отдохнуть и переночевать. Велел отыскать Егора Борисовича Кутузова, спросить: «Вам работницы не надо?» — на что последний должен был ответить: «Только на временную работу».

На всей дороге до самого Семенкова никого она не встретила. Лишь заяц перебежал дорогу, остановился, навострил уши.

— Серенький! — позвала она.

Зайчишка подскочил и кинулся вдоль дороги.

— Вот дурачок. Сверни в лес, сверни…

В деревне было пусто. С огородов доносились мальчишечьи голоса, но самих ребятишек не видно. К ней подошла старуха — сухая, костлявая, прямая как палка.

— Бабушка, где Кутузов живет, Егор Борисович?

Старуха смотрела на нее, часто мигая белесыми ресницами.

— Кутузов, говорю, — повторила она погромче.

— Староста это наш, — сердито сказала старуха и отвернулась.

У Полины Черной екнуло сердце. «Староста? Как же так? А Железняк велел к нему зайти. Может, не знал?»

Она брела вдоль деревни, боясь постучаться в избы. «Быть может, и мне, как зайчишке, в лес?» Вышла за деревню, свернула с дороги, села на пригорок. Теплый ветер налетел на нее, поиграл концами платка. Облачко проплыло над головой и на глазах изменило форму, сделалось похожим на Африку, какой ее рисуют на картах.

— Тетенька! — послышался мальчишечий голос.

К ней бежал белобрысый парнишка.

— Пошли, тетенька.

— Куда?

— К старосте.

«В конце концов, он не знает о моем задании, — рассудила она. — Ну, иду и иду. Горожанка. Вещи вот меняю».

Староста оказался высоким, костистым мужиком. Сидел у окна и деревянной ложкой хлебал из миски похлебку. Тут же на столе лежал каравай черного хлеба.

Она поздоровалась, с минуту раздумывала, говорить ли пароль.

— Вам работницы не надо?

Староста уронил ложку, а потом начал хлебать еще быстрее. Она видела, как ходит у него челюсть, а под рубахой двигается острая лопатка.

— Только на временную работу, — наконец произнес староста и без слов пододвинул к ней все, что было на столе.

Она облегченно вздохнула, сняла заплечный мешок, села. Некоторое время они молча ели, приглядываясь друг к другу.

— Мои все на поле, — объяснил староста свое одиночество. — А тебе спокойно будет идти. Чтоб веселее было, двух девок приставлю. Как раз спозаранку уходят.

Уловив ее настороженность, успокоил:

— Ничего. Не впервой…

И верно, попутчицы у нее оказались хорошие (одну — повыше ростом — звали Лизой, вторую — Липой). Лишних вопросов не задавали, спросили только, есть ли у нее самогон, чтобы угостить в случае чего немцев.

К окраине города они подошли как добрые знакомые.

— Фриц нынче дежурит! — воскликнула Лиза и будто даже обрадовалась.

— Пошли, пошли, — ободрила Липа.

Возле шлагбаума прохаживался автоматчик. Чуть в сторонке, на каком-то ящике, сидел толстомордый Фриц и уплетал вареные яйца.

— Гутен морген, Фриц! — закричали Липа и Лиза.

Немец, не переставая жевать, улыбнулся и неторопливо пошел навстречу девушкам. А они уже протягивали ему гостинцы.

— Дай чего-нибудь, дай — шепнула Липа.

Полина через силу улыбнулась.

— Самогончика не желаете?

— О-о! Гут!

Немец засмеялся и ткнул пальцем сперва себя в живот, затем Полину в грудь и захохотал еще сильнее. Потом взял из рук

Полины бутылку.

«Подавись, сволочь», — подумала Полина. Но Фриц не подавился, с сожалением вернул ей бутылку и опять ткнул пальцем.

— Отчен карош!

— Она спеть может, — сказали девушки. — О-ля-ля-ля! Концерт!

— О-о! — удивился Фриц.

— Спой ему — подобреет, — зашептали девушки.

Полина откинула косу за спину, вскинула голову:

Синенький, скромный платочек…

К шлагбауму подходили люди с котомками и мешками, откуда-то появилась старуха в черном платке.

Порой ночной
Мы расставались с тобой…

Полина видела потеплевшие глаза людей. Теперь она пела для них. На секунду представилось, что она, как бывало, поет в своем клубе, для односельчан. Голос набрал силу:

Мелькнет как цветочек,
Синий платочек…

Плакала старуха в черном. Благодарно и молчаливо слушала толпа. Неизвестно, что произошло бы дальше, если бы на дороге не показалась немецкая штабная машина. Фриц первым ее заметил.

— Шнель! Шнель!

В городе девчата сказали Полине:

— Послезавтра встретимся у церкви. Утром, ровно в девять.

Они явно хотели уйти, и Полина не стала их задерживать. Ей нужно было отыскать сапожника Ермолина и передать «привет от Федора». Ермолин жил возле базара, в домике с красной крышей. К нему Железняк рекомендовал прийти вечером, чтобы не столкнуться с заказчиками.

По улицам шататься было опасно, и Полина свернула к подружке, которая жила как раз неподалеку, на Советской улице. Еще во время учебы в педучилище Полина ездила к ней на каникулы, гостила целую неделю. У Лариных был свой домик,

небольшой сад и огород. Жила подружка с мамой, — тихой, приветливой женщиной.

Полина легко отыскала их дом. Ее узнали, приняли хорошо. Евдокия Дмитриевна очень изменилась, постарела, а Нина хоть и похудела, но выглядела неплохо, да еще постриглась под мальчишку. Полина вспомнила, что в училище она дружила с мальчишками, выкидывая иногда такие номера, над которыми смеялся весь курс.

— Я шмутки поменять, — объяснила Полина свой приход. — Послезавтра уйду. Можно у вас остановиться?

— О чем ты спрашиваешь?! — воскликнула Нинка и потянула ее в комнату. — Мама, дай нам поесть…

За столом Евдокия Дмитриевна всплакнула:

— Витенька наш пропал без вести…

Полина и забыла, что у Евдокии Дмитриевны был сын. В то время, когда она гостила у Лариных, Виктор служил в армии.

После ужина Полина засобиралась.

— Куда? — спросила Нинка.

— Нужно… Ненадолго.

— Скоро комендантский час… И вообще…

— Не бойся. Я город знаю.

На обратном пути от сапожника Ермолина, который передал Полине чистые бланки пропусков, она столкнулась с Нинкой.

— Ты чего? Я ж говорила, что город знаю.

Пошли молча. У самого дома Нинка сказала:

— Не считай меня дурой. Понятно?

Когда легли спать, она зашептала:

— Полинка… Я сразу почувствовала. Какая ты счастливая. Возьми и меня.

Полина подумала, потом сказала:

— Там видно будет.

— Не веришь? Хочешь, клятву дам.

Полине пришла неожиданная мысль.

— У тебя никого нет на станции Торошино?

— Есть. Если надо, могу сходить…

Утром Нинка махнула на станцию Торошино. Там жил дальний ее родственник, работал путевым обходчиком на железной дороге.

— Я его сагитирую, — заверила она Полину.

Вернулась Нинка поздно, усталая и злая.

— Ты подумай, — зашептала она: — не поверил. Доказательства велел принести.

10. НИНКА БЕДОВАЯ

С детства Нинка считала, что ей не повезло: родилась почему-то девчонкой. Как могла, она исправляла эту ошибку природы: гоняла футбольный мяч, каталась на лыжах с самых высоких гор, ни в чем не отставала от мальчишек.

Когда началась война, Нинка еще раз погоревала, что не родилась парнем. Никуда ее не брали, хотя была она «ворошиловским стрелком».

Жизнь заставила ее устроиться в офицерскую столовую. Работала она легко, никогда не терялась и с немцами держала себя гордо, недоступно. Так все устроила, что не приставали к ней офицеры, не пытались ухаживать, как за другими. Влепила раз пощечину одному лейтенанту. Тот было схватился за парабеллум, а Нинка крикнула на всю столовую звонко, хлестко: «Что же, стреляйте, если ничего другого не умеете!» И лейтенант опустил пистолет.

Нинка презирала и ненавидела фашистов. Ненавидела за то, что ворвались в ее город, лишили людей счастья, нагло ходят по чужой земле, громко смеются, жадно жрут. Будь это в ее силах, всех бы перестреляла. Не напрасно звали ее бедовой. Не испугалась бы, не дрогнула.

Но ничего она сделать не могла. Мучилась своим бессилием, мечтала о подвиге. И когда пришла к ней Полина, это было счастьем. Обрадовалась, а потом и расстроилась. Первое же простенькое поручение не выполнила, не сумела уговорить дядю Пашу.

Вскоре Полина опять пришла в Псков и передала ей задание. Железняк так и сказал: особое это задание, очень важное. Немцы будто бы собирались применить отравляющие вещества. Весь свой личный состав спешно вооружают новыми противогазами. Центр потребовал срочно достать образец.

— И это все-е?.. — разочарованно протянула Нинка.

— Во-первых, это не просто. Во-вторых, срочно.

— Через три дня будет тебе противогаз, — сказала Нинка.

Путь был один: познакомиться с немецким офицером, войти в доверие, побывать в его доме. О, как презирала она всех этих нагловатых молодчиков! Но пришлось сдерживать себя, пришлось играть и притворяться.

Явившись в столовую, Нинка отыскала Раечку, черноглазую красавицу. Раечка давно уже водилась с немецкими офицерами.

— Как дела, подружка? Все гуляешь?

— А что ж! — вызывающе ответила Раечка. — Жизнь не в

грош, день, да хорош…

— Не очень-то я согласна с тобой.

— Ну и живи как знаешь.

— Ладно, ладно, не сердись. Скажи лучше, чем сегодня занята после работы?

— А что?

— Да скучно что-то.

Раечка недоверчиво оглядела Нинку.

— Верно тебе говорю, — подтвердила Нинка. — Познакомила бы с кем…

В обед Раечка специально прошла с пустым подносом мимо Нинки:

— За третьим столиком у окна…

За третьим столиком сидели четверо: три обер-лейтенанта и капитан. Нинка выбрала одного из оберов, самого крупного и самого некрасивого. Подумала: «Этот обязательно клюнет».

Вновь встретив Раечку, прошептала:

— Самый крупный, самый рыжий…

Рыжего звали Гансом, и был он удивительно тихим, не давал волю рукам, мало говорил, больше все слушал. Зато товарищи его вели себя нахально. Весь вечер просидели они в ресторане, слушали визгливый джазик, танцевали. Раечка много пила, смеялась.

Ганс пошел провожать Нинку. Когда выходили из ресторана, Нинка услышала фразу, резанувшую ее по сердцу: «Новая сучка объявилась».

Сказал это один из швейцаров, седоголовый инвалид без руки. Нинка его знала. Он жил по соседству, на их улице.

Наутро Нинка проснулась от странного звука: кто-то всхлипывал у ее кровати. Открыла глаза. Перед ней сидела мать. По щекам текли слезы.

— Ты что, мама?

— Нет, ты что? Стыдобушка наша…

Нинка догадалась: седоголовый все рассказал.

— Ничего не думай плохого, мама…

В столовой она отыскала Раечку, отвела в посудомойку.

— Что я тебе хочу сказать. Не пей ты так много. Ты же теряешь голову…

— Ах, все равно!

— Нет, не все равно. Я прошу тебя сегодня, чтоб вела себя умненько…

— Значит, понравилось?

— Конечно. Только не в ресторане устрой…

Раечка устроила. Правда, сперва они пошли в ресторан, но

затем направились к офицерам, которые жили в доме райисполкома. У входа стоял часовой, документы проверяли строго.

В комнате Нинка обратила внимание на окно. Выходило оно в сад.

Начали пить. Нинка все следила, чтобы Раечка не перепивала. От очередной рюмки она, гримасничая, отказалась, сделав вид, будто задыхается от запаха алкоголя. Хитрость ее удалась. Один из оберов полез под кровать и вытянул оттуда, как кошку за хвост, противогаз. Нинка, преодолевая брезгливость, надела его, взялась за стакан.

Оберы ржали. Даже капитан улыбался одними губами.

Закончились эти встречи просто. Нинка все высмотрела и на другое утро, отпросившись на часок, отправилась в исполкомовский сад. Убедилась, что офицеров дома нет, залезла в окно, вытащила противогаз и незаметно ушла.

— Выполнила, — доложила она Полине Черной. Та обняла подругу, поцеловала.

Секретный немецкий противогаз был немедленно, первым же самолетом отправлен в Ленинград.

11. ДЯДЯ ПАША

На вид дяде Паше можно было дать все пятьдесят, а на самом деле не было и сорока. Старила его борода и заметная проседь. Был он кряжист, приземист, кривоног, ходил вразвалочку. В армию его не взяли по состоянию здоровья, а работал он не хуже здоровых. Характера был строптивого, своенравного. Начальства не признавал, на собрания ходил редко и на заем, бывало, подписывался со скрипом.

Жил дядя Паша на втором километре от Торошина, в желтом домике с огородом. Была у него семья: двое мальчишек-близнецов, жена Марья Яковлевна. Было хозяйство: коза, два поросенка, куры.

Из-за хозяйства этого больше всего и невзлюбил он немцев. Пришли, забрали поросят, кур. Козу еле-еле отбил.

— Это, знашь-понимашь, не пойдет такое дело, — только и сказал он Марье Яковлевне и опять стал работать, обходить свой участок, как обходил его почти двадцать лет.

Служба его и подняла авторитет дяди Паши в глазах немцев, потому что мало кто соглашался тогда работать на них. Потом-то нужда многих заставила, а поначалу лишь единицы служили с охотой. Дядя Паша стал вроде бы лояльным человеком. Сам комендант станции Торошино господин Козлов ставил его в пример другим.

Дяде Паше и в голову не приходило, что работает он на врага. А кто же будет наблюдать его участок, если он не станет этого делать? Немцы пришли и уйдут, а дорога останется. И, стало быть, надо ее держать в порядке.

Так он думал поначалу. Но постепенно стало в нем расти чувство протеста. Дядя Паша видел, как шли эшелоны с награбленным добром, и все больше понимал, что фашисты — закоренелые воры. Видел он и как везли наших пленных, как издевались над ними. Обходя свой участок, нередко подбирал записки, в которых неизвестные ему люди просили сообщить о них родственникам. Дядя Паша складывал их в потайное место, под камень за сарайчиком, потому что не знал, куда направить.

Когда пришла Нинка, дальняя его родственница, он ей не поверил, хотя внутренне был подготовлен к борьбе. Потом они встретились еще раз и обо всем договорились.

Дядя Паша направился в Торошино. Шел он по шпалам и ко всему приглядывался, все запоминал. Паровозы гудели, стрелки пощелкивали. Дяде Паше это было не в новинку. Бросалось ему в глаза скопление техники. Станция была забита эшелонами.

Его все знали, и шел он беспрепятственно. Только у входа в полуразбитый вокзальчик остановил часовой.

— Я знашь-понимашь, к господину Козлову. По делу, стало быть…

Господин Козлов стоял в окружении немецких офицеров, которые все разом орали на него, а он только кивал головой да прищелкивал каблуками. Завидев дядю Пашу, шагнул к нему.

— В чем дело, дядя Паша?

— Я, знашь-понимашь, насчет костылей… А то участок не тово. Движение усиливается.

— Да, да, — подтвердил Козлов. — Нагрузка большая. И еще увеличится…

Он распорядился выдать дяде Паше все, что тот просил. Теперь дядя Паша заспешил домой. Шел и думал: надо как-то сообщить, пусть авиацию присылают.

Вечером появилась у него Нинка.

— А я тебя жду, — обрадовался дядя Паша и пересказал ей все, что видел.

— Самолеты бы! А то вся техника на наших двинется…

Нинка, прихватив для маскировки крынку с козьим молоком, бросилась домой, где ждала ее Полина Черная.

12. ВАСЯ ТРОЯНОВ

Прошло несколько месяцев с тех пор, как Железняк и его группа приступили к выполнению заданий Центра. Они уже знали своих врагов и друзей. Немало советских патриотов, волею судьбы оставшихся на оккупированной территории, с охотой работали на нашу разведку.

Вот одно из писем, полученных в то время Железняком:

«Товарищ командир! Связавшись с вами, мы вновь почувствовали себя людьми, которые имеют в жизни определенную цель. Данные нам задания выполним. Ждем вас, хотим воевать, но уйти нельзя, немцы расстреляют семью. Эх, если бы вы пришли да нас мобилизовали! С приветом. Все наши».

Кроме Пскова сильные группы удалось создать в Порхове, Дно, Острове, Новоржеве. Особенно активной была порховская группа. Здесь разведкой руководила Нина Федоровна Жадрицкая. Было ей в то время лет тридцать. Высокая, стройная, с редкой сединкой в волосах, работала она аккуратно, надежно. Активно ей помогали староста деревни Фомкина Гора Александр Иванович Кипровский, его дочь Анастасия, сестры Тахватулины, Полина Белая, почтальон Мария Арсентьевна Хрусталева, пильщик из деревни Каменка дядя Вася, повар порховского ресторана Дмитриев, Вася Троянов и многие другие.

О Васе Троянове стоит рассказать особо. Это был молодой, очень смелый и смекалистый парень. Каким-то образом очутился он в полиции, вероятно потому, что в то время начальником порховской полиции работал его родственник Розов. Наши разведчики познакомились с ним на порховском рынке. Странно даже, полицай, а всегда с улыбкой.

Полина Белая рассказала о нем Железняку. Тот дал задание:

— Рискни. Попробуем его привлечь…

Полина Белая, встретившись с Васей на рынке, назначила ему свидание.

Вася пришел, посидел, попил чаю, послушал патефон с единственной пластинкой «У самовара я и моя Маша», попел вместе с девушками.

— Вася, ты нам нужен, — прямо сказала Полина Белая.

— В женихи, что ли?

— Это само собой. Но и для дела нужен. Для борьбы с захватчиками.

Вася встал, оглядел девушек серьезным взглядом.

— Вы, что ли, придумали?

— Не мы, — сказала Полина Белая. — А кто — тебе пока

знать не положено…

— Что от меня требуется?

— Списки предателей. И неплохо бы тебе к Беляеву в охранники…

Беляев был главой Дновско-Порховского уезда.

Задание Вася Троянов выполнил.

— Давайте мне настоящее дело, — просил он. — Я все могу.

— Пока ничего не нужно, — сказала Полина Белая. — Ты пока смотри, слушай и нам обо всем докладывай…

И Вася Троянов начал работать на Железняка. Беляев негодовал и терялся в догадках: все его операции против партизан и подпольщиков неизменно проваливались. Каратели прибывали в указанные им места, когда партизан и след простыл. Зато сами партизаны действовали безошибочно. За короткий срок в Порхове и Дно были проведены крупные диверсии: выведены из строя овчинношубный завод, баня, водокачка. А когда появились маломагнитные мины, начали пылать цистерны с горючим, взлетали на воздух мосты.

Беляев организовал слежку за своими подчиненными, за своей охраной.

Тогда Железняк решил убрать этого матерого предателя. Операция была тщательно и хитро продумана. Ликвидировать Беляева решили руками врагов. Так было проще и безопаснее.

Железняк написал ему письмо, в котором благодарил за якобы оказанные партизанам услуги. Письмо это через Васю Троянова подбросили в гестапо.

Утром всех в уезде потрясла новость. Гестапо арестовало Беляева. В тот же день подорвался на мине состав с солдатами.

13. ЗАОЧНАЯ ДУЭЛЬ

Полина Черная вернулась из Пскова раньше срока. Глаза ввалились, лицо бледное.

— Нинку забрали прошлой ночью…

Она опустилась на лавку и долго смотрела в подслеповатое окошечко землянки. Железняк позвал ординарца:

— Ужин сообрази.

— Не хочу, — отказалась Полина. — И я еле выбралась. Теперь всюду двойные заслоны: немцы и полицаи.

Для Железняка эта новость была не совсем неожиданной. Он понимал, что против него работает вражеская контрразведка. Вот и первые тому доказательства. Заочный, так сказать, привет от майора Руста.

Железняк никогда не видел Руста, но знал его так, будто прожил с ним всю жизнь. Это был враг опытный, хитрый и тонкий. Арест Нинки совпал с провалом операции на железной дороге. Минеры, вышедшие на эту операцию, натолкнулись на карателей.

Кто же их предупредил?

И новый провал. Группа, выехавшая на поимку старшины Сошихинского района, неожиданно нарвалась на засаду. Двое были ранены, один убит.

Кто выдал эту группу?

Железняк наносил и ответные удары. Вот его радиограмма Центру:

«Нами задержан бывший военнопленный Белитенко. На предварительном следствии разоблачен как крупный шпион, окончивший школу в г. Витенбурге. По его показаниям, в августе и сентябре школа выпустит еще сто человек, с засылкой в Ленинградскую и Смоленскую области».

14. ЗОЛОТА ГОЛОВУШКА

В бригаде Германа было несколько девушек по имени Зоя. Одну из них звали сначала «рыженькой», потому что волосы у нее были пшеничного цвета, а позже, после славных ее подвигов, стали любовно называть Золота Головушка.

В районе действия бригады находилось несколько подразделений власовцев. Было известно, что есть среди них немалое число людей, мечтающих повернуть оружие против немцев. Центр поставил задачу: всячески разлагать части власовцев, а тех, кто готов искупить свою вину, принимать в бригаду. Эту работу взвалила на свои хрупкие плечи Золота Головушка. По совету Железняка она устроилась официанткой в столовую командного состава РОА — так называемой Русской Освободительной Армии. Золота Головушка обладала даром быстро сходиться с людьми. Через несколько дней она уже знала многих офицеров по имени, знала, откуда они, каково их семейное положение и даже настроение.

Никто не мог заподозрить в этой девушке разведчицу. Многим она напоминала сестренку, многим дочку, с ней охотно разговаривали, расспрашивали и о себе рассказывали. Появились у нее друзья — Анатолий и Глеб. Точнее, подружился с ней Анатолий, а Глеб был его другом.

Анатолий, бывший младший лейтенант Советской Армии, был синеглазым, высоким, не по возрасту серьезным парнем. На эту серьезность и обратила внимание Золота Головушка.

— Вы откуда, Анатолий?

— Из Омской области.

— Мы, значит, земляки! А я из Омска. На Лугу жила, за деревянным мостом…

Все свободное время они проводили теперь вместе, частенько бывал с ними и Глеб.

— Тоскуете, ребята? — как-то спросила Золота Головушка.

Оба признались, что тоскуют по родным краям.

— Что же вы не воюете за них?

— Не моя воля, — вздохнул Анатолий.

— А вот и неправда! — воскликнула Золота Головушка.

Друзья посмотрели на нее вопросительно. Но она ничего больше не прибавила.

Уходя из бригады, Золота Головушка прихватила с собой несколько листовок и газету с рассказом Алексея Толстого «Русский характер». Рассказ этот ей самой нравился, сколько ни читала его, все плакала. «Вот бы показать его обоим, — думала

Золота Головушка. — Пусть бы почитали».

Однажды она натерла на кухне глаза луком и вышла к обеду. Все заметили покрасневшие ее глаза, стали расспрашивать, что случилось. Анатолий придержал за руку.

— Да так… Рассказик один прочитала…

— Дай и нам.

Газету она обработала, срезав число, иначе поймут, что вышла она совсем недавно, и начнут доискиваться — кто принес? Отдала ее Анатолию, а у самой сердце колотится.

После работы, как всегда, Анатолий и Глеб пошли ее провожать. У калитки Анатолий сказал:

— Все понятно, девочка.

— Что понятно?

— Если знаешь выход — подскажи. Не выдадим.

— Это точно, — подтвердил Глеб. — Сами ищем выход, да не можем связаться с нужными людьми…

Таиться больше не имело смысла.

— Хорошо, — согласилась Золота Головушка. — Только действовать не в одиночку. Людей нужно готовить. А пойти можно к партизанам. Я подскажу, куда и когда двигаться.

Вскоре с помощью Анатолия и Глеба были подготовлены к уходу в партизаны семьдесят человек.

Золота Головушка выхлопотала отпуск на два дня «ввиду болезни матери», вышла на связь с Железняком. Был разработан маршрут, и вся группа благополучно выведена в Громулинские леса. Власовцы всполошились, усиленно заработало гестапо. Но все усилия отыскать виновных успеха не имели. Через месяц уже триста человек во главе с Анатолием и Глебом, прихватив оружие, ушли в лес. Перед уходом Анатолий оставил в казарме листок: «С оружием — к партизанам!»

15. ПОЧТАЛЬОНША

Каратели напали на партизанскую базу. Знали о ней немногие. Кто-то, значит, работал на немцев. Кого-то прихватил на крючок майор Руст.

Но кто? Железняк ломал голову и не мог найти ответа.

— К вам Роза, — доложил ординарец.

Вошла Роза. На лице всегдашняя полуулыбка. Собственно, она не улыбалась, просто у нее верхняя губа была вздернута, видны зубы, и казалось, что улыбается.

Роза была выброшена в тыл с полгода назад. Вначале куда-то пропала, и Железняк решил: нарвалась на немцев. Потом нашлась, рассказала, что схватили ее полицаи, но она их обманула и даже устроилась паспортисткой в Порхове, в волостном управлении. Приносила она надежные сведения. Железняк вначале придирчиво проверял, потом перестал — данные всегда были точными. И сейчас Роза явилась с важными сведениями.

— Добро, — поблагодарил Железняк. — Только не исчезай опять надолго.

В дверях Роза столкнулась с ординарцем.

— Почтальонша пришла, — доложил Горбунов.

— Давай, давай, — обрадовался Железняк.

Почтальоншей называли Марию Арсентьевну Хрусталеву. Она и впрямь работала у немцев почтальоном. «По совместительству» была и партизанской связной, тем более, что передвигаться по району могла беспрепятственно.

Неспокойно было на душе у Маруси Хрусталевой. Никогда ничего не боялась, и вдруг…

И вдруг вышло такое:

— Стой! Как раз тебя-то и поджидаем. — Это случилось под Порховом. Вышли из-за угла двое, нездешние, морды жирные, аж лоснятся.

— Почтальон я. Вот мои документы.

— Двигай. А ну!

Толкнули Марусю прикладом и на документы смотреть не стали.

«Кто-то предал!» — всю дорогу думала Маруся. Сомнений у нее не было: схватить могли только по доносу.

Привели ее в Порхов, в гестапо. В кабинет вошел начальник, уставился на Марусю бесцветными глазами:

— Партизанка?

— Нет, я не партизанка…

— На связи состоишь?

— Ага, на связи. Я — почтальонша.

Маруся разыгрывала простушку. Майор ее прервал:

— Ви ни есть связь…

И махнул рукой. Повели Марусю по темным коридорам, втолкнули в камеру. Решила: ни слова правды, притворяться, разыгрывать дурочку или молчать. «А если они всё знают?..» Забылась только под утро. Подняла голову, рядом кто-то лежит.

— Кто здесь?

— Не спится тебе? Мне тоже.

Лицо было незнакомое. Рот треугольником, будто улыбается, а глаза серьезные.

— За что тебя? — спросила незнакомка.

— Перепутали с кем-то. Почтальонша я…

Незнакомка вроде опять улыбнулась, не поверила. А Марусю кольнуло: «Неспроста она, неспроста здесь».

— Как хочешь думай, перепутали и все.

Каждый день ее вызывали на допросы, но не били, не пытали, требовали назвать сообщников, и каждый раз, когда она возвращалась в камеру, незнакомка спрашивала:

— Ну что? Да ты говори, меня ж тоже вызывают. Посоветуй.

— Что вы, тетечка. Куда мне до вас. Вы городская, образованная…

— Не придуривайся! — крикнула незнакомка.

— А что говорить-то, — прикинулась Маруся. — Говорить-то могу, да все не по делу. Есть вот у меня один знакомый в Требёхе.

Маруся вспомнила, что как раз в Требёхе появился предатель, родственник старосты. Староста сам ничего мужик, а родственник на своих доносит. Незнакомка ночью исчезла. А Марусю наутро — в закрытую черную машину.

— В Требёху, — приказал офицер.

Ехала Маруся, и сердце замирало. «Что-то будет? А вдруг староста за родственничка заступится?» Неожиданно машина остановилась. Не слышно было ничего, только под потолком гудела муха. Потом открылась дверь.

— Выходи.

Свет полоснул Марусю по глазам, и она невольно зажмурилась. «Расстреливать привезли», — мелькнула догадка. Ноги сделались ватными, непослушными, будто чужие.

— Быстрей, — поторапливал солдат.

Как ей удалось вырваться, она и сама не знает… Выручили прибрежные камыши. Кинулась в их чащу, вдогонку стреляли, а она бежала, не чуя под собой ног. Партизаны привели ее прямо к Железняку.

— Ты откуда такая встрепанная?

— Попить дайте.

Напилась — стало легче.

— Что случилось?

— От смерти едва спаслась… — И Маруся рассказала обо всем, что пережила за эту неделю..

На следующий день она ворвалась к Железняку сама не своя.

— Она! — крикнула Маруся с порога. — В лагере нашем…

— Кто?

— Та самая. Рот треугольничком… Все выведывала, все подделывалась, когда в камере вместе сидели…

Через несколько минут Роза стояла перед Железняком.

— Вы еще здесь, оказывается?

— Да, задержалась.

— Ну что ж, рассказывайте… На подсадке, значит, работаете?

— Что вы говорите? Я ничего не понимаю…

Железняк сделал знак ординарцу. Вошла почтальонша. Роза вскрикнула и сразу обмякла.

— Вот и кончена игра, — сказал Железняк. — Теперь слушаю вас.

Запираться не имело смысла. И Роза все рассказала. Оказывается, при выброске она действительно попала к немцам и, спасая свою шкуру, согласилась на них работать. Это она выдавала разведчиков, это она навела карателей на партизанскую базу. И никто бы не знал об этом, не встреться предательница с почтальоншей.

16. ПЕСНЯ НЕ УМИРАЕТ

Полина Черная шла быстро. До захода солнца нужно было выйти из города. У шлагбаума опять стояла толпа. Проверяли документы. Маячила опять фигура Фрица.

— Платточек! — увидев ее, закричал немец.

Всегда, проходя шлагбаум, она пела. Фриц и другие немцы слушали. И всегда на ее песни собиралась толпа.

На этот раз что-то случилось. Фриц, не дойдя до нее, выхватил из кобуры пистолет. И за спиной у нее оказались двое с автоматами.

— Хенде хох! — Фриц вырвал у нее сумку.

Полину прикладами подтолкнули к черной машине, и не успела она опомниться, дверца захлопнулась.

Бросили ее в темную камеру. Со свету она не могла разглядеть, кто с ней рядом, только чувствовала, что кто-то есть.

— И тебя взяли?

Голос был знакомый, а лица она не узнала. Лицо было чужим, неузнаваемо распухшим.

— Это я, Раечка. Неужели не узнаешь?

— А Нина где? Ведь ее схватили?

— Нинка сбежала… Обхитрила их…

Раечке сделалось плохо, и Полине пришлось за нею ухаживать. Ей и самой было нехорошо, ее тоже били, но Раечке было совсем худо. Ночью она пришла в себя, зашептала:

— Из-за меня все получилось… Я проговорилась по пьянке…

Полина невольно отодвинулась.

— Правильно, — простонала Раечка. — Меня ненавидеть надо…

Каждую ночь Полину вызывали на допросы, пытали, подвешивали к потолку за косу. Она ничего не сказала. Потом ее оставили в покое, как будто забыли, даже пищу не приносили. Она лежала и старалась не двигаться, потому что каждое движение вызывало боль.

Неожиданно заскрипели двери.

— Поднимайтесь!

Подталкивая прикладами, их повели к машине, втолкнули в кузов. Там уже сидело двое — седой как лунь старичок и заросший черной бородой парень. Лица обоих были знакомы Полине, и в то же время как бы незнакомы — опухшие, страшные, в кровоподтеках. Старичок поддерживал сломанную на допросах руку.

Машину окружили мотоциклисты, и они поехали. Когда

машина остановилась и их всех вывели, Полина все поняла.

Находились они на городской площади, у виселиц. Кругом вооруженные немцы, а за ними толпа. И гробовое молчание. Сотни людей, согнанных на площадь, стояли молча.

Полина посмотрела на своих товарищей. Впервые разглядела страшное лицо Раечки, не лицо, а сплошной кровоподтек. Это особенно бросалось в глаза, потому что рядом с Раечкой стоял румяный, сытый немец. Пошел дождь. Капельки его приятно освежали кожу.

И Полине вдруг показалось, что все это — виселицы, румяный немец, безмолвная тишина на площади — все это сон. Сейчас она проснется, и все будет хорошо. Засияет солнце. Послышится родная русская речь. Ей развяжут руки и она побежит по знакомым улицам Пскова. Не может ведь она умереть, еще не пожив как следует.

Рядом о чем-то заговорили немцы, и тотчас отчаянно взвизгнула Раечка.

— Перестань, — сказала Полина. — Возьми себя в руки.

Их подвели к открытому грузовику, неизвестно когда очутившемуся под виселицей, велели подняться в кузов. Появился немецкий офицер в пенсне и какой-то тип с продолговатой, похожей на дыню, головой. Офицер читал по-немецки, а тип переводил. Полина его не слушала. Она вглядывалась в толпу, стараясь увидеть знакомых людей.

Наконец чтение кончилось. Наступила страшная пауза, и в тишине Полина уловила вздох толпы. Тотчас засуетился розовощекий. Подошел к седому старичку. И как только подошел к нему, старичок отчетливо произнес:

— Звери вы, звери…

Последней была очередь Полины. Она хотела взглянуть в глаза розовощекому, но палач отвел их в сторону и накинул веревку. В петлю попала коса, и Полина привычным движением хотела забросить ее за спину. Коса не послушалась. Розовощекий уловил ее жест и выбросил косу из петли. Полина вдруг поняла: это конец. И сами по себе, как протест, из горла вырвались последние слова:

— Прощайте, товарищи! Да здравствует…

Толпа колыхнулась.

Полина уже не слышала, как из-за домов затрещали выстрелы, как ворвались на площадь партизаны.

17. ПЛАМЯ

— Пожар! Пожар!

Фашисты оцепили площадь. Горела биржа труда. Ненавистное всему городу здание.

С первых дней Железняк и его группа многое делали, чтобы спасти советских' людей от угона в фашистское рабство.

Необходимо было направить своих людей на биржу труда. Но как их там устроить? Кандидаты проходили строгую проверку: через полицию и гестапо. За всеми, кто там служил, был установлен контроль, проверялся каждый шаг.

— Неужели не найдется патриота, который уже служит на бирже и согласен нам помочь? — спросил Железняк Нину Парину.

— Найдется, — как всегда решительно сказала она.

Нина знала город, земляков своих, и ее хорошо знали люди. Кто же там работает, на этой бирже труда? Оказалось, Дмитриев. Нина вместе с ним училась в школе.

Встретились они по случаю дня рождения. Нинке пришлось специально доставать самогонку. Пришли школьные подруги. Собралось почти полкласса.

— Как на восьмое марта! — воскликнул Дмитриев, входя *в* комнату. — Одни девчонки…

Пели песни, вспоминали школу. У всех было довольно грустное настроение.

Нинка буквально напросилась проводить Дмитриева до дому. По дороге сказала:

— Слушай, достань мне справку с биржи. Очень нужно…

Дмитриев долго не отвечал, все смотрел на небо, словно угадывал, не будет ли дождя. Потом положил свои большие руки ей на плечи, произнес тихо:

— Достану.

С этого и началось. Дмитриев стал снабжать чекистов бланками документов, дающих освобождение от трудовой повинности, своевременно сообщал о предстоящих мобилизациях.

Гестапо занялось биржей. Майор Руст самолично проверял служащих.

«Что делать?» — запросил Дмитриев.

«Сжечь биржу», — пришел ответ от Железняка.

Дмитриев стал готовиться к выполнению приказа. Нужно было достать горючее, принести его в здание, заминировать выходы, чтобы никто не смог помешать пожару, выбрать удобный момент для поджога. Гестапо свирепствовало. Нужно было

спешить.

Он завел себе сапоги с широкими голенищами. В них проносил плоские бутылочки с бензином. Его помощница Егорова маломагиитную мину пронесла в шляпе с глубоким дном.

Наконец все было подготовлено. Оставалось выбрать удобный момент. Но его-то как раз и трудно было выбрать. Приходили все служащие к определенному часу, уходили одновременно, а если и оставался кто-то, непременно находился под приглядом немцев. А тут нужно было остаться одному. Дмитриев извелся в ожидании.

В один из дней обер-лейтенант Фогель приказал служащим:

— Всем на проверку! Быстро! Момент!

«Вот оно», — сказал себе Дмитриев, ощущая во всем теле незнакомый доселе озноб. Поманил глазами Егорову, в коридоре успел шепнуть:

— Мину ставь у входа за батарею. И уходи. Слышишь, уходи!

Сам свернул в туалет. Слышал, как постепенно затихают шаги, как все уходят. Теперь нужно было незаметно вернуться, достать бензин, облить бумаги, поджечь и скрыться через запасной ход.

Действовал он быстро, но ему все казалось, что медленно, и он торопил себя. Облил бензином бумаги в своей, в соседних комнатах, поднялся на второй этаж и там облил шкафы. Одна из бутылочек соскользнула со стола на пол. Дмитриев вздрогнул, притаился. Ему почудилось, что часовой у входа услышал стук.

Прошла минута, другая. Все было спокойно. Теперь оставалось поджечь бумаги и бежать. Щелкнул зажигалкой, вспыхнул огонек. Прикрывая его ладонью, побежал по комнатам, начал поджигать бумаги, столы, шкафы. Все, к чему он прикасался, моментально вспыхивало. Только теперь он почувствовал, как во всем здании пахнет бензином.

Он еще успел подбежать к своему столу, выдернуть из-за бумаг мину, и тут послышались шаги.

Он помчался по коридору, на ходу нацеливая стрелку мины на самое короткое время действия. В этот миг за его спиной послышался взрыв. «Молодец, Егорова!»— одобрил он про себя и, швырнув мину, выскочил во двор, перемахнул через забор.

Здание ненавистной биржи было в огне. И ветер трепал пламя, раздувая его еще сильнее.

18. ДО ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ

Из боевого донесения: «С мая по декабрь 1943 года:

1. Перехвачены каналы засылки агентов псковского гестапо в партизанскую бригаду под видом членов «советского подполья».

2. Контролировались дороги:

Псков — Луга — Ленинград

Псков — Порхов — Старая Русса

Псков — Остров

Остров — Порхов — Дно.

3. Совершено пятнадцать диверсионных актов на железных дорогах, сожжено восемь складов с горючим.

4. За счет разложения подразделений РОА партизанская бригада пополнилась на две тысячи человек».

Шла жестокая борьба. Гестапо ставило преграды на пути чекистов, готовило сотни ловушек, подсылало в бригаду своих агентов. Железняк и его люди быстро распознавали предателей.

Погибли в немецких застенках сестры Тахватулины, повар псковского ресторана Дмитриев, смелый разведчик Ураган, геройский старик дядя Вася. В боях были убиты боевой чекист Пушкин, разведчик Тимоненко.

На место погибших вставали новые бойцы. Борьба продолжалась. Она продолжалась до полной победы. И в этой замечательной победе, в ее торжестве есть немалая доля чекистов, известных и безвестных героев.

Слава им!

Владимир Дружинин. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ИМЯ

Имен в этой повести много. В захваченной фашистами Риге, в концлагере, был военнопленный, который значился по спискам Никулиным, офицером из триста восьмого стройбата.

В кадрах абвера — гитлеровской военной разведки — состоял агент Давыдов. Агент отличной репутации, награжденный за успехи бронзовой медалью.

Из осажденного Ленинграда за линию фронта ушел разведчик по кличке Пограничник. Он получил от советского командования задание большой важности.

Кто зашифрован под этой кличкой, знали немногие.

Есть и другие имена в этой повести о событиях войны. Имен больше, чем людей. В тайной борьбе нельзя доверяться именам, — ведь бывает, что их несколько, а человек один. Но каждое имя — реальная сила. С ней считаются, ее свято берегут или стараются уничтожить.

Имя может пережить человека, остаться в строю, а может и исчезнуть. В донесениях, помеченных «секретно», появляется новое имя, новая роль.

В сущности, у разведчика может быть и сто имен, и тысяча, ибо тайный воин гигантски силен. На весах войны он иногда равен дивизии и армии.

В этом вы убедитесь сами…

Только теперь настала пора раскрыть все клички, все псевдонимы и поведать о замечательном подвиге чекиста.

Никулин

— Значит, Никулин?

Человек на госпитальной койке медленно поворачивается. Рука и ноги у него забинтованы.

Никулин, — мы будем называть его так, как он сам себя называет, — положил за правило с ответом не спешить. Никогда не спешить. Сперва надо поглядеть на того, кто спрашивает, уловить его намерения.

Шебякин сидит на краешке койки, от него слегка несет спиртным. В назойливых глазах тонет, ускользает усмешка. Ясно одно — он узнал…

Никулин заметил его еще вчера. Шебякин стоял за порогом, дверь была открыта настежь. Тогда, наверное, и узнал… Шебякин разговаривал с санитаром, но раза два скользнул взглядом по койкам. Что ему здесь нужно? Разгуливает свободно, сапоги на нем новенькие, шевровые, прямо со склада, — стало быть, перекинулся к немцам, на службе у них.

— Да, Никулин. Я самый и есть.

Ну, что же ты сидишь? Беги к своим хозяевам! Заработаешь еще на выпивку, подлец! Верно, для того и шныряешь тут, по лагерю.

Шебякин не двигается.

— Никулин так Никулин…

Тон наигранно-равнодушный. Усмешка то прячется, то показывается опять. Странная усмешка, осторожная какая-то, пожалуй, даже пугливая…

— Ну, я Никулин. А ты кто?

Усмешка исчезла, лицо Шебякина отвердело.

— Я Савельев, — произнес он тихо, кося глазами в сторону.

— Понятно.

Стало быть, Савельев… Тоже под чужим именем, тоже скрывается. Впрочем, что ему скрывать? Был офицером в соседней воинской части, любитель выпить в тесной, не слишком шумной мужской компании, при закрытых окнах. Вообще служил незаметно, развлекался втихомолку, в узком кругу приятелей. Это, кажется, все, что приходит на память. Знакомство было шапочное — иногда, козырнув друг другу, справлялись о здоровье, а чаще расходились молча. Шебякин всегда как-то торопился.

Значит, Шебякина здесь нет. Есть Савельев и Никулин.

— Ты когда попал?

— В июле.

Смертельно жаркий, душный был день. Смертельно долгий, вобравший в себя и то, что произошло, и то, что мерещилось тогда в тяжком полубреду от ран, от свирепого июльского зноя, от жажды. День последнего боя и плена. Рыжий обер-лейтенант тыкал рукояткой пистолета в грудь, спрашивал, как зовут, звание, из какой части. Пожалуй, хорошо, что тыкал. Иначе, чего доброго, с губ сорвалось бы настоящее имя. Боль шла волнами по всему телу, ноги онемели, накатывалось забытье. Никулин — сосед по квартире. Фамилия короткая, простая, она почему-то всегда нравилась. Другую, посложнее, вряд ли удалось бы и выговорить.

Так появился, попал в списки пленных Никулин Николай Константинович. Теперь он уже свыкся с новым именем. Так и следовало себя назвать. Никулиных много. Да, триста восьмой стройбат. Не станут немцы искать этот батальон из-за него, затерянного в массе пленных, дознаваться, есть ли такой батальон, был ли там начальником штаба Никулин. Батальон, может, и был. И вполне мог исчезнуть, рассеяться на дорогах войны.

До сих пор все складывалось удачно. Но вот теперь в лагере враг, предатель, который знает твое настоящее имя, звание, прежнюю должность. Сейчас руки у него связаны. Он боится за себя. Но очень-то уверенным быть нельзя…

Надо будет сказать о нем друзьям. Санитару Морозову, майору Дудину.

Шебякии не уходит. Почему? Что ему еще нужно?

— А тебя неплохо устроили.

Опять мелькнула и погасла острая, недобрая усмешка. Ну устроили! Дальше что? К чему он ведет?

— Лежишь, как барин, лечат тебя… Чай тебе подают…

— Ты, по-моему, лучше устроен, — отвечает Никулин, — лучше моего, я вижу.

Не очень-то легко произнести это без ярости.

Шебякии дернулся.

— Навоевались, — выдавил он зло. — Хватит! Или ты не навоевался еще?

Он мерзко кривит губы.

Никулин насмотрелся на всяких людей. Пора бы привыкнуть. Чем так взволновал его Шебякин? Одним предателем больше… Но ведь он же служил с ним рядом, козырял, жал руку. Выполнял приказы, жил по уставу, ничего дурного за ним, как будто, не знали.

— Смеешься, что ли? Какой я воин! Едва хожу. Ковыляю до двери и обратно.

— Неважней, — кивает Шебякин. — А то и для тебя нашлось

бы занятие. Я потолковал бы кое с кем…

— О чем же?

— Ладно, отставим… Ковыляй пока!

Он встал. Продавленная, хлипкая койка словно вздохнула, избавившись от него.

Следовательно, обещаешь протекцию? Покровитель какой явился! С чего бы это? Со страху, что ли?

Но черт его ведает, он все-таки может напакостить. Страх — плохая гарантия. Всего можно ждать. Никулин восстанавливает разговор в уме, слово в слово. Похоже, ничего лишнего не слетело *с* языка. А вот он, бывший Шебякин, показал себя в достаточной мере.

Что ж, надо надеяться — пронесло… Самое опасное— удариться в панику. Может быть, глупо полагаться на предчувствие, верить в счастливую звезду, что ли… Наверное, не по-марксистски! Но что поделаешь, коли верится. Отчего, с каких пор? Никулин не может сказать точно. Видимо, с самого начала войны. Ведь взял же он с собой ключ от квартиры, когда ушел воевать, запер дверь и сунул в карман, уверен был, что скоро вернется. Потерялся тот ключик. Лежит в лесу, в том лесу, где вырывались из окружения…

Он мог бы истечь кровью. Мог бы схватить гангрену, — раны загноились. Раны были тяжелые, в обе ноги и в руку. Редкая удача спасла ему жизнь. До сих пор везет ему. Поразительно везет! Тьфу, чтоб не сглазить, как говорится…

Никулин перевернулся на бок и застонал, — надавил на руку, на больное место. «Устроили», — вспомнилось вдруг и неприятно кольнуло. Да, устроили. Опять удача. Теперь таких раненых, как он, немцы попросту добивают. Когда он прибыл сюда, лагерь был еще новенький, а в лазарете еще пахло свежим сеном. Кто-то где-то распорядился направить Никулина в лазарет. Немцы аккуратны, приказ не затерялся…

Теперь жутко что творится. Те, кого гоняют за проволоку, на работы, рассказывают. Прибывает эшелон с пленными. Его отводят на боковой путь, не доезжая Риги, и солдатня выталкивает людей из вагонов. Спрессованную человеческую массу, живых и мертвых, задохнувшихся или умерших от ран, умерших стоя. Слабых, не способных двигаться, тут же приканчивают.

В Риге есть журналисты из нейтральных стран. Их, разумеется, к эшелону не допускают. Видеть им такое не полагается. Им демонстрируют лагерный лазарет. Вот, мол, любуйтесь! Арийцы гуманно относятся к побежденным. Фашистские зверства? Ложь, выдумка коммунистов!

Да, так вот и устроили, лечат пленного, назвавшего себя Никулиным.

А если все-таки выяснится, что нет Никулина, нет и не было триста восьмого стройбата…

Что будет тогда, гадать незачем. На соседней копке лежал харьковчанин Коля. Шрапнель избороздила ему спину, раны заживали трудно. Никулин видел, как Колю стащили с койки, как били его по спине, потом вывели. Колю расстреляли. Он был политруком роты. Выдала его одна сволочь. Никулин запомнил его — красивый ладный парень, сохранивший и в лагере признаки молодцеватой выправки. Как, по какому признаку распознать предателя? Нет, лжет пословица, не метит бог шельму…

Никулину пока что везет. Надо же было застать в лазарете не кого иного, как фельдшера Морозова, бывшего сослуживца. Встреча сперва испугала, а оказалась счастливой.

Настоящие люди есть. Они-то и поддерживают куда лучше убогого лечения. Каждый вечер у койки собираются друзья. Караул несет Морозов. У койки — как бы заседание штаба. Не сходит с повестки дня главный вопрос — организация побега.

Двое уже на свободе. Латыши-хуторяне дали им ночлег, цивильную одежду.

Те двое, слышно, у партизан…

Никулин спорол петлицы, переменил имя не для того только, чтобы выжить. Шебякин вон тоже живет. Ере-меич из рабочей команды тоже как будто живой, хотя что осталось в нем человеческого? То и дело украдкой вытаскивает из потайного кармана перстень — старинный перстень с узором, с крупным зеленым камнем, любуется, причмокивает. И как это он изловчился снять с мертвого, из траншеи, куда валят людей автоматные очереди? Сам рыл траншею и решил воспользоваться. Глаза у Еремеича безумные, он, верно, не слышит ни очередей, ни стонов, он одержим лихорадкой наживы. Рано или поздно и он угодит в траншею со своей лопатой. Впрочем, лопату немцы не позволят зарыть, отдадут другому…

Видение Еремеича с перстнем, хилого, лысого, преследует Никулина. Страшна такая гибель человека.

Сколько раз рисовал себе Никулин, как он получает от майора Дудина явку, ночует на хуторе, потом присоединяется к партизанам, снова воюет. Имя Никулина, маска Никулина сброшены, растоптаны, забыты.

Майор Дудин, бывший начфин полка, старший в подпольной группе. Он рассудителен, сдержан, всегда владеет собой. Никулин любит таких людей, похожих на себя. Дудин умеет красноречиво

помолчать или расправить лукавые морщинки, по-родному улыбнуться.

— Отправим и тебя, — говорит он, — считай себя в резерве у партизан.

Дудин и сам завидует тем, кто на воле. Но в первую очередь пускай бегут молодые, от кого больше пользы на той стороне.

На очередном собрании штаба Никулин сообщил о беседе с Шебякиным. Товарищи встревожились. Был бы Никулин здоров, — хоть завтра снарядили бы в дорогу. Попасть только в рабочую команду, а там…

Ох, до чего же тошно лежать!

Потянулись месяцы. Шебякин больше не навещал. Однажды возле прачечной шептался о чем-то с санитарами. Потом исчез.

Начался второй год войны. Никулин встал на ноги. Стараниями подпольной группы ему доставалась добавка к лагерной баланде, к ломтику хлеба, вязкому, как глина. Мускулы, одряхлевшие от неподвижности, окрепли. Теперь уже скоро! Как оттиск на бумаге, отпечатался в сознании квадрат карты, показанный Дудиным, — спасительные, зеленые сгустки леса, дороги и точечки хуторков. В одном из них примут Никулина, если он сумеет обмануть конвоиров или разделаться с ними… Должен суметь!

И вдруг…

Дробя все надежды, застучали колеса вагона — провонявшего, с ошметками грязной соломы на полу. Никулин сидел, сжимая кулаки, ногти впивались в тело. Ну, что делать! Хоть об стенку бейся головой! На этот раз даже Дудин не находил слов утешения. Разбудили ночью, затолкали в машину, потом в поезд, мчащийся неведомо куда в холодной зимней темноте.

— Вам дядя Ваня удружил, — только и успел сказать полицай Цыганов, связанный с подпольщиками.

Дядя Ваня был санитаром. Заботливый, вежливый, всех по имени-отчеству, ко всем с притворной лаской. Не желаете ли, Николай Константинович, водички выпить? Все-то он называл уменьшительно, сюсюкал, будто за детьми ухаживал.

Неужели подслушал что-нибудь? Дудин и Никулин теряются в догадках. Нет, не мог он ничего узнать. Просто взял на учет тех, которые чаще других встречались в лазарете, у койки в углу. Этого довольно. Фрицы подозревают, не могут не подозревать, что в лагере есть организованное подполье. Но улик у них нет, они бьют наудачу.

Вагон набит битком. Никулин и Дудин притиснуты друг к другу. Никулин страдает. Невыносимо держать отчаяние в себе, мять его в кулаках, молчать. Дудин намеками пытается дать

понять, что могло быть хуже.

Хуже? Пусть! Сейчас все равно. Куда бы ни привезли, режим будет, наверное, строже. Не убежишь! Во всяком случае воля отодвигается надолго. Душный вагон кажется Никулину могилой, в которой его хоронят заживо.

* * *

Опасения Никулина оправдались.

Шесть с лишним тысяч пленных, запертых в офицерском лагере Саласпилс, не имели никакой связи с внешним миром. За оградой, за сторожевыми башнями, шумел лес, но это была не та гостеприимная чаща, что укрывала беглецов под Ригой.

Злой лес! Он охватывал лагерь глухой стеной. Еще никто не спасся под его кровом. Деревья торчали и в лагере, за бараками — такие же высохшие, умирающие, как люди. Голые стволы, лишенные коры, — люди ободрали ее, пытались есть. Весна сгоняла снег, открывала трупы погибших от голода, от пули, от резиновой дубинки с шариком свинца на конце.

Рабочие команды не формировались. Осенью изможденные пленные, свезенные в дикий лес, в шалаши, поставили последний барак, — и с тех пор работа кончилась. Жесткие нары, суп с гнилыми овощами, поверки, ругань, побои. Замедленная казнь.

Когда в барак вошел высокий, смуглый господинчик в щегольском костюме стального цвета, в желтых ботинках, Никулин почувствовал прежде всего удивление. Может, померещилось… Но господинчик шагал по проходу, громко щелкая каблуками.

Никулин вдохнул запах парикмахерской, давно забытый. От него ударило в голову, как от спиртного. И все же странно, глазам не верится…

Откуда взялся франт? Каким ветром его занесло? Удивило Никулина и то, что господинчик бойко говорил по-русски.

— Господа, прошу ко мне!

Что ему нужно? А он, скажи пожалуйста, еще торопит.

— Прошу, прошу!

Скорый какой, воображает, что нет ничего легче, как соскочить с нар. Так мигом все и сбежались к тебе! Еще бы!

— Будем знакомы, — произнес господинчик густым, сытым баритоном. — Моя фамилия Плетнев. Я тоже служил в Советской Армии.

До этой минуты Никулин глядел на него, как на диковинку. Как на артиста в цирке. Так, будто вот-вот начнутся фокусы. Уж

очень странен, прямо невероятен был господинчик с воли, разодетый как на бал.

— Внимание, господа! Я приехал, чтобы помочь вам в смысле работы!

Предатели, столь благополучные, Никулину не попадались еще. Шебякин — тот отличался от заключенных разве что круглой мордой да начищенными хромовыми сапогами. Ну-ка, ну-ка, что за работа?

С нар кто-то свистнул.

— Тихо! — крикнул полицай и погрозил дубинкой. — Тихо у меня!

— Глупо! — поморщился господинчик и поправил тесный воротничок. — Сколько можно жить э… иллюзиями? Ясно даже ребенку — исход войны предрешен. Впрочем, я не намерен упрашивать. Я обращаюсь к людям разумным. К тем из вас, кто стряхнул с себя коммунистический гипноз. И кто хочет работать для великой Германии, которая…

— Поищи в другом месте! — раздалось с нар.

— Шкура!

— Которая не является врагом русского народа, — закончил фразу господинчик. Его хорошо поставленный баритон перекрыл восклицания, свистки, брань полицаев, наводивших порядок.

«Ах, вот о чем речь! — подумал Никулин. — Да, ведь носился слух: приехал тип, продавшийся немцам власовец, вербует шпионов».

Никулин иначе представлял себе вербовщика. Солиднее как-то, не таким пижоном…

— Германия оказывает вам честь, господа. Умолять мы никого не будем. Я нахожусь во втором административном здании, в пятой комнате. Гарантии, разумеется, не даю. Кандидатов больше, чем вакансий. Отобранных направят в школу для соответствующего обучения. Одежда, питание…

— Подавись ты!

— К черту ваши милости!

Никулин размышлял. По тому, как усердствуют полицаи, добиваясь тишины, пижон прибыл не для болтовни. Направят в школу, а затем…

— Обмануть нас не пытайтесь, — баритон стал жестче, — номер не пройдет. У нас могут служить только лица, преданные новой России.

— Фашистской? Нет такой!

— И не будет никогда!

— Долой!

Затем, конечно, перебросят на советскую сторону. Для чего

же еще могут понадобиться бывшие советские командиры.

Бежать отсюда почти невозможно. Попробуй одолеть и ограды, и заряженную током проволоку, и линии сигнализации, отвести глаза часовым, затем уйти от погони, отыскать где-то в чужом нехоженом лесу друга, снять лагерное тряпье… Друзья должны быть, но где они? Много ли шансов у человека, ослабевшего от голода, осилить все эти препятствия? Майор Дудин пытается дто-то придумать, но практически пока ничего…

— Признайся, ты ведь и сам не очень веришь, — сказал в тот же вечер Никулин майору. — Хочешь поднять настроение. За это спасибо! Но давай подойдем трезво. Я слушал Плетнева, — в конечном-то итоге дорога к своим намечается. И вернуться можно не с пустыми руками.

— Смотри сам, Коля, — ответил Дудин, — я тут тебе не товарищ, меня по возрасту забракуют. Ты молодой — это первое твое преимущество. Есть и другое…

Дудин замолчал, так как об этом втором преимуществе Никулина никогда не говорил вслух.

— Я схожу к нему завтра.

— Молодым дорога, — произнес майор задумчиво, и голос его как будто отодвинулся. Лицо в полумраке различалось смутно, отсвечивал только клочок седины, и Никулин пододвинулся, чтобы разглядеть лицо и чтобы понять, почему так, издалека и слегка отчужденно, зазвучал голос.

— Так вы одобряете? — спросил Никулин.

Когда дело касалось чего-нибудь важного, он часто переходил на «вы», а иногда — наперекор плену, наперекор лагерю — обращался к Дудину по званию.

Дудин уловил в вопросе недосказанное. Он вздохнул.

— Прости, Николай, я позавидовал тебе… Что бы и мне родиться на двенадцать лет позднее!

Никулин все еще беспокойно вглядывался, стараясь увидеть лицо друга.

— А я думал, вы…

— Что, Коля?

— Вы и правда одобряете? Честное слово? Кроме вас, у меня никого нет, и если вы… Другие, конечно, отнесутся иначе, но для меня главное, чтобы вы…

Он волновался страшно. Это было давно не испытанное, мальчишеское волнение младшего перед старшим и мудрым. Дудин был в эту минуту не только самым близким человеком. Нет, он значил гораздо больше, чем обычно значит один человек.

— А если вы считаете, что я… Ну, что я подлец, что я из-за жратвы или… Тогда, клянусь вам, я никуда не пойду. Я останусь.

Дудин приподнялся на локте:

— Останешься?

— Клянусь вам!

— Не дури, Николай!

Голос Дудина, — или это показалось, — вернулся, стал теплее.

— Ладно… А то ведь… Кто мне может дать добро? Только вы.

Дудин, пошарив по трухлявой, липкой соломе, отыскал руку Никулина и сжал.

Прошло, однако, несколько дней, прежде чем Никулин постучался в комнату номер пять. Проявлять нетерпение он счел неосторожным.

— Пленный Никулин! — представился он Плетневу. — Я по поводу вашего предложения…

Тогда Плетнев был в серо-стальном костюме, теперь в коричневом. Темные, гладко зачесанные назад волосы. Смуглота естественная, загару взяться еще неоткуда.

— Никулин? — Плетнев опустил щеточку, которой чистил ногти. — И что же? Предложение вас устраивает?

— Так точно, господин капитан.

— Отлично, Никулин. А вы знаете, что такое разведка? Может быть, вы полагаете, это комедия с переодеванием? Публика хлопает… Вы, вообще, имеете хоть какое-нибудь понятие?

— Сталкиваться не случалось, — сказал Никулин степенно. — Но, господин капитан, ведь не боги горшки лепят!

— Согласен. Но видите ли, Никулин, тут горшок не простой. Не бог лепит, но и человек не всякий годится. Вы отдаете себе отчет?

— На то обучение, господин капитан. Вы говорили, в школу направят…

— Уже собрались в школу? Погодите, Никулин!

Капитан поиграл щеточкой и, не выпуская ее, стал расспрашивать. Что заставило прийти, чем обидела Советская власть.

— С Советской властью, господин капитан, — сказал Никулин мрачно, — у меня старые счеты.

— Да? Какие же счеты?

Опустил глаза, занялся ногтями, но Никулин почуял— это-то Плетневу важнее всего знать.

— Раскулачивание вы помните?

— Помню, Никулин.

— Что мне вам объяснять тогда. Вы тоже русский человек. Если родных на ваших глазах без всякой вины… всего лишают…

Никулин замолчал, как бы потрясенный нахлынувшими воспоминаниями.

Капитан задал еще несколько вопросов: о происхождении, о семье, о службе в Советской Армии.

— А вы мне нравитесь, Никулин, — сказал он врастяжку, барственно-пренебрежительно, подбросил щеточку и уронил на пол.

«Ждет, что брошусь поднимать, — подумал Никулин. — Не стану, сам поднимет».

Плетнев, помешкав, подобрал щеточку.

— Я вас поддержу, а там… Прежде чем послать вас в школу, проверят все ваши данные. Мало ли… может быть, вы вовсе не Никулин.

— Без проверки нельзя, господин капитан, — истово произнес Никулин, выдержав взгляд Плетнева.

ДАВЫДОВ

Гауптман Фиш перечитал список, остановился на Давыдове, поднес к фамилии острие карандаша, отточенное, как иголка, и поставил птичку.

Рядок фамилий опять напомнил ему ипподром, лошадей, выведенных на старт. Ипподром, оставшийся в прежней, невозвратимой довоенной жизни…

Азарт вошел в кровь еще в юности. Сжимать в руке бюллетень бегов, гадать, какая лошадь придет первой, получать в кассе тотализатора выигрыш, — что за сладкие минуты! Его упрекали и за это. Каждое лыко в строку, как говорят русские. Азарт, мол, противоречит немецкому духу. Это — признак низшей расы…

Вечное проклятие тяготеет над Фишем. Полунемец, метис, нечистая кровь, — что может быть хуже для карьеры! Э, все-таки расовую теорию иногда доводят до абсурда! Да, мать русская. И вот вместо того, чтобы оценить его блестящий русский язык, его доскональное знание России, его спихнули сюда, в захолустье, на разведывательный пункт абвера. Должность жалкая и в сущности унизительная для бывшего сотрудника посольства в Москве.

А генерал нет-нет и даст тебе понять, что ты и этого недостоин. Что генерал! Любой офицеришка из штаба разведки армейской группы «Норд» имеет право задирать перед тобой нос…

Нет, нерадостная нынче весна. Гауптман с тоской посмотрел в окно на тоненькие березки, окутанные облачками легкой юной зелени. За березками рыжела, медленно подсыхала на солнце ухабистая проселочная дорога. Через нее, тяжело хлюпая опорками, брел старик с ведрами.

Если Давыдов справится… В конце концов, это самая солидная фигура. Из всех окончивших курс. Кто же, если не Давыдов? Риск есть всегда, конечно. Но у гауптмана насчет Давыдова предчувствие. Такое, как на ипподроме, когда ставишь на верную лошадь.

Может быть, предчувствия тоже не арийский признак? Черт возьми, это может довести до сумасшествия! После каждой встречи с начальством копаешься в самом себе, выискиваешь свойства низшей расы…

И снова разматывается в памяти гауптмана — словно затрепанная лента кинохроники — недавний разговор с начальством в Пскове.

— У вас, вероятно, прелестно на Сиверской, — сказал генерал. — Там ведь курортная местность, если не ошибаюсь.

Курортная местность! Это тоже неспроста, Тон у генерала любезный, даже ласковый, он умеет подсластить пилюлю. Курорт, мол, распустились там…

— Для меня отнюдь не курорт, господин генерал, — ответил Фиш, не сдерживая обиды.

— Что с вами? — услышал он. — Вы комок нервов! Хотя я понимаю, неудачи не могут не влиять на психику, но необходима стойкость, гауптман. Иначе мы никогда не вылезем из неудач.

Ишь, старая лиса! Опять намек, прозрачный намек на моральную неполноценность, на дурную кровь. И вообще… Как будто на других пунктах все обстоит превосходно и только у него, гауптмана Фиша, на Сиверской, провалы. Да, заброски терпели фиаско, агенты не вернулись, угодили к чекистам. Случай далеко не единственный на фронте.

— Вы уяснили себе серьезность задачи, гауптман?

Ого, еще бы! Когда тебе твердят чуть ли не каждый день. Но генерал доставил себе удовольствие: еще раз подвел к карте. Ему нравится стоять у карты в позе стратега, размахивать руками. Ему чудится, что он подавляет подчиненного своей зоркостью, своим глубоким проникновением в замыслы фюрера.

Короче говоря, все сводится к Давыдову. Если Давыдов не вывезет, тогда можно слететь и с этой должности.

— На Давыдова я рассчитываю твердо, — сказал Фиш, — он достаточно проверен. На фоне наличного человеческого материала выглядит весьма обнадеживающе. Я знаю русских, господин генерал, и надеюсь…

Генерал поморщился. Так всегда… Все равно он, гауптман Фиш, не устанет повторять. Кто лучше его знает русских? Пускай поищут…

— Давыдов природный разведчик, — продолжал гауптман, — его качества… Я докладывал вам, он натура сложившаяся, характер ровный, уравновешенный. А главное— не угодничает, не бросает громких фраз. В русском языке есть слово «степенность», оно переводится с трудом…

Он закусил губу. Этого не следовало говорить. Немецкий язык так богат, что позволяет перевести все, что угодно. К счастью, генерал как будто не обратил внимания.

— Вы сообщили Давыдову?

— Так точно.

— Как он принял новость? Это очень важный момент, вы понимаете.

— Совершенно верно, господин генерал. Я объявил ему без всяких вступлений, преподнес сюрприз.

— И что же?

— Смутился, оробел немного… Но без паники. Его беспокоит качество документов.

— Хорошо, гауптман, — сказал генерал, — хорошо, что его беспокоит качество документов.

Фиш провел в кабинете генерала больше часа. Надо было уточнить место заброски, время. Генерал влезал во все детали. Дотошный старик, из ревностных служак старші школы. Звезд с неба не хватает, но усерден до обморока.

Послушать его, судьба всей группы «Норд» зависит теперь от пункта на Сиверской. Правда, участок важный, отрицать нельзя.

Ну, Давыдов, на тебя надежда!

* * *

Забыть фамилию Никулин, привыкнуть к новой фамилии Давыдов, данной в разведшколе, было не так уж трудно.

Несложно было и усваивать науки — топографию, технику шпионской связи, структуру советской разведки, которую предстояло перехитрить.

Давыдов на поверку не опаздывал, исправно пел по утрам на плацу «Боже, царя храни», а на занятиях не отставал, но и не вырывался вперед.

Привык Давыдов к Спасову, сожителю по комнате, узколицему, с нечистой, грязно-серой сединой, охотнику до тягучих, надрывных бесед по душам за шнапсом. Привык к разбитной, нарочито веселой Алевтине, зазывавшей к себе на вечеринки. Привык, знал, как себя держать с ними. Видел, что и Спасов, и Алевтина, и шофер Иван, и все их собутыльники — осведомители Фиша. Выпивая с ним, расспрашивая, они проверяют его, Давыдова, стараются поймать врасплох, обнаружить скрытое.

— Слышь, большевики блокаду прорвали, — разглагольствовал Спасов. — Чего доброго, до нас доберутся. Поймают нас с тобой, что тогда?

— Ерунда, — говорил Давыдов, — все равно Питер в осаде.

Никулин-лагерник, тот в политических дискуссиях не участвовал, отмахивался 'от них, как человек, придавленный поражением, голодом. Давыдов — верный сторонник фюрера. Давыдов — за Россию без большевиков.

Роль Давыдова посложнее. Она едва не рухнула, когда Фиш сказал о заброске. Огромных усилий стоило сдержать радость. Опять помогло правило отвечать не сразу. Потоптался, спросил, не лучше ли послать парня поздоровее. Ноги еще побаливают,

особенно от сырости.

— Вы боитесь, — сказал Фиш.

— Не прогулочка по Невскому, — признался Давыдов, — не трали-вали.

— Вы знали, на что шли.

— Я не отказываюсь, господин капитан. Если надо, что же, дело солдатское.

Он прибавил, что главное — бумаги, составленные по всей форме. С плохой липой пропадешь.

И вчера он мог выдать себя, когда надел шинель, настоящую советскую шинель с капитанскими погонами. Сукно словно сохранило чудесный, родной запах… Ладно, что при этом не было ни Фиша, ни Спасова. Давыдов на миг забылся. На миг исчез портной, хлопотавший с мелком в руке, — шинель, доставленную из трофейного вещевого склада, надо было подогнать.

Радость упряма. Она того и гляди блеснет в глазах или прозвучит в голосе, заявит о себе неосторожным движением. Она распирает тебя всего, сладу с ней нет!.

Лучше всего охлаждать ее какой-нибудь печальной картиной. Ты идешь к нашим, а тебя — шальная пуля, совсем… Или снайпер сшибет, не разглядев обмундирования. А то — не пуля вопьется, а недоверие. Оно тоже способно убить… Логика допускает все это, но сердце восстает, сердцу хочется ликовать. Неужели счастливая звезда, никогда не изменявшая, возьмет да и погаснет теперь, перед концом пути? Не может быть!

Для успокоения полезно чем-нибудь отвлечься, занять мозг. Давыдов уже несколько раз с самого утра, повторял в уме задание.

Задание, которое он изложит на той стороне, своим. Маршрут, заучиваемый наизусть. Он не пройдет по нему, не увидит населенных пунктов, развилок дорог, охваченных этим квадратом карты, так как откроет себя на советской стороне сразу. Но ведь нашим важно узнать, что интересует вражескую разведку.

— Вам дается три дня, — сказал Фиш, — три поворотных дня в вашей жизни.

Толстому, лысому Фишу совсем не идет выражаться выспренно. Но его иногда тянет. Давыдов внутренне посмеивался. Пластинка избитая: каждому агенту сулят славу, вечную признательность, деньги, словом, — чего хочешь, то и проси, отказа не будет.

Отбросим все эти фальшивые приманки. Не в них суть. Вот что существенно: абверу не терпится разведать советские позиции у моря, в районе Ораниенбаума. Почему? Гитлеровцев тревожит

Советская Армия, угрожающая флангу и тылу. Ораниенбаумский «пятачок», — так говорят наши. «Пятачок»! Приятно произносить про себя это словечко, родившееся на той стороне, на нашей! Будто держишь в руке гладкую, круглую монету. Пятачок! Нет, не маленький и, видать, дорогой…

Сейчас в голове нет связных мыслей. Их не собрать, как ни старайся. Есть ощущение, странное физическое ощущение счастья. Неужели это не сон, не фантазия? За стеклами машины мелькают сосны, ели, вырастающие из тумана. Поля, залитые утренним туманом, избы, залитые им до крыш. Везут к линии фронта, чтобы переправить на ту сторону. Везут к своим… И кто? Сами немцы. К своим, к своим…

Рядом сидит немецкий лейтенант. Голос его то затихает, то снова колотится в уши. О чем он?

— От них давно не было писем… Берлин ведь бомбили, война никого не щадит…

— Да, — отвечает Давыдов.

— А ваша семья где?

— Не знаю. Была в Москве, теперь неизвестно…

Лейтенант немолод, на лице морщины возраста и забот. Не очень удачливый служака из штатских. Возможно, его просто тянет поделиться. Даже у офицера абвера могут быть минуты слабости, тоски…

Нет, он на службе. И тут в последние часы — проверка. Самое правильное — поменьше говорить. Чтобы ненароком не обнаружить радость, довести роль до конца. Агент Давыдов боится большевиков, он дрожит за свою шкуру.

Пока что он Давыдов. Еще два-три часа он Давыдов. До советского переднего края,

КАРАЩЕНКО

— Караще́нко? И верно — Караще́нко! Откуда ты взялся? Какими судьбами?

Круглолицый, смеющийся капитан поднялся из-за стола, протянул обе руки, сжал плечи, потряс.

— Да уж такими, что…

Ошеломляющая встреча. Черт возьми, да тут невольно поверишь в судьбу! Надо же так — первый офицер в землянке контрразведчиков оказался старым **знакомым,** Васей Шабуровым!

— Гляди-ка! Живой, здоровый! — восклицал Шабуров. — Тоже капитан. Обмыть надо встречу, обмыть!

— Обмывать обождем, — сказал Караще́нко.

Что-то в тоне его заставило Шабурова опустить руки, отойти на шаг.

— Сначала вот… Возьми у меня эти липовые бумажки… И доложи наверх…

— Срочно что-нибудь? — Шабуров сел. — Так. Слушай, в чем дело? Для проверки инженерных укреплений… Из пограничников в инженеры перешел, что ли? И фамилия… Почему другая фамилия?

— Я же сказал тебе, — липовые. Я у немцев был, Вася. С той стороны.

Караще́нко пошатнулся, вдруг закружилась голова. Он оперся о стол.

Шабуров сказал что-то. Караще́нко не расслышал. Шабуров подвел его к скамейке, заставил сесть.

Все стало зыбким. Потом Караще́нко, словно очнувшись, опять увидел Шабурова, он стоял, засунув руки в карманы, растерянный, встрепанный какой-то.

Караще́нко тоже встал:

— Ты доложи начальнику… Скажи, прибыл с той стороны, с повинной… Караще́нко Мокий Демьянович, бывший офицер пограничных войск…

Захотелось оборвать встречу с Шабуровым. Было в нем что-то кольнувшее Караще́нко. Правда, случай серьезный, острый случай, но все же…

Шабуров не двинулся с места. Он вскинул брови, подтянулся, будто пришел в себя.

— С повинной?

— А как же! Раз в плен попал…

— Понятно…

— Попал раненый, в ноги и в руку, — нетерпеливо сказал Каращенко.

— Ясно, ясно… Я ничего такого не думал…

«Врешь, думал, — сказал себе Каращенко. — Не мог не думать. В сущности, обязан думать. Почему ты не идешь докладывать? Что тебе мешает?»

— Ладно, Мокий Демьянович. Я скажу, что знаю тебя. А там… Не мне решать.

Вот это и требовалось. Ничего больше. Значит, встретились по-хорошему. Вспыхнувшее было подозрение рассеялось.

— Конечно, Вася, — сказал Каращенко, повеселев, — конечно, не тебе решать. Главное, ты подтверждаешь, что я — это я.

— Конечно!

В тот же день пожилой полковник в контрразведке Приморской группы войск, расспросив прибывшего с повинной, подвел итог.

— Капитан Шабуров вашу личность подтверждает. У меня нет оснований вам не верить, товарищ Каращенко. Пока отдыхайте.

Это и нужно было. Больше чем отдых, чем родной, ноздреватый черный хлеб, не такой — спрессованный, без запаха, — как у немцев. Чтобы тебе поверили. Чтобы тебя называли товарищем.

Отдыхать, однако, пришлось недолго. Каращенко ждали в Ленинграде.

* * *

Любопытно, что сказал бы гауптман Фиш, если бы увидел сейчас своего Давыдова, сидящего за письменным столом в большом доме на Литейном. И если бы заглянул через плечо и прочел:

«Разведпункт находится в деревне Ново-Сиверская, на окраине ее, в доме под зеленой крышей. Дом окружен садом. Начальник разведпункта, непосредственно ведающий заброской агентуры, капитан Фиш. Он родился в России, до войны служил в германском посольстве в Москве, свободно владеет русским языком. Кадры для разведпункта поставляет школа в г. Валге, в латышской ее части, на Церковной улице, 8. Учащиеся школы одеты в форму латышских фашистов — желтая гимнастерка с накладными карманами на груди…»

Каращенко положил перо, помахал уставшей рукой. Надо еще дать приметы Фиша, его характеристику. Авось пригодится

партизанам…

«Капитан Фиш толстый, с небольшой лысиной. Острый нос, лицо белое, круглое. Возраст — пятьдесят лет. С подчиненными часто бывает резок, очень мнителен, считает себя несправедливо обиженным по службе. Подчиненные его не любят, в особенности капитан Михель, немец из рейха и аристократ…»

Обрисовав гитлеровцев, Каращенко начал вспоминать предателей разных рангов. Вернее, не вспоминать, а как бы списывать то, что резко отпечаталось в уме, многократно повторенное, затверженное так же прочно, как своя роль.

«Агент, числившийся в школе под фамилией Максимов, был заброшен в апреле нынешнего года в советский тыл с Псковского аэродрома и, насколько мне известно, с задания не вернулся. Приметы его…»

Есть и вернувшиеся.

«Братья Урваицевы, Федор и Константин, были заброшены в наш глубокий тыл, вернулись и были награждены медалью «За отвагу в борьбе с большевиками». С помощью абвера открыли в Пскове магазин у моста через реку, торгуют щетками, сбруей и пр. Магазин позволяет братьям заводить разные знакомства, выяснять настроения жителей, следить за лицами, которых подозревает немецкая тайная полиция».

Характеристики тридцати предателей дал Каращенко. Потом сверил написанное с памятью — нет, ничего не упустил, с подлинным верно.

Потом он сидел в глубоком, непривычно мягком кресле, тонул в нем, разминал затекшие пальцы, смотрел на генерала, читавшего отчет. Все пережитое вдруг как-то отделилось от Каращенко вместе с листами исписанной бумаги.

— Мокий Демьяцорич! — генерал поднял усталое лицо с серебристой щетинкой на обтянутых щеках. — Неужели вы все это в уме держали?

— Я себе взял за правило, товарищ генерал, — держать все в уме. В моем положении заметок каких-либо не должно было быть.

— Вы правильно рассуждаете. Очень правильно. Значит, там сейчас после вас ничего не найдут?

— Исключено, товарищ генерал.

— Я имею в виду не только заметки… Вы доверились кому-нибудь? Кто-нибудь знает, что вы Каращенко, что вы решили явиться с повинной?

— Только один человек.

— Кто?

— Майор Дудин. Я указал в отчете… Ему, товарищ генерал, я верю как себе.

— Где он сейчас?

— Точно не могу сказать. Был в офицерском лагере, в Саласпилсе.

«Да, верю Дудину. Никаких документов с печатями, обязывающих доверять, поддерживающих доверие, нет. Что же, надо доверять и просто так, сердцем, доверять без проверки. Нельзя все проверить, раздобыть все письменные гарантии».

Каращенко подался вперед, на краешек кресла, готовый спорить с генералом, защищать свое доверие.

— Хорошо, — кивнул генерал. — Вы пишете, что желаете воевать против фашистов? Как вы себе это представляете? Как именно и в качестве кого воевать?

Каращенко смутился.

— Как прикажут…

— Ладно, мы подумаем. Вы погуляйте пока часа четыре… Козырять не разучились по-нашему? А то задержит вас комендатура, потом выцарапывай…

Вот уж не думал тогда, в кабинете Фиша, что она состоится так скоро, — прогулка по Невскому! Встреча со знакомым городом и радостная и печальная. Израненные стены, воронки на мостовой, голый, без коней Клодта, Аничков мост, фанера в витринах — все твердит о том, что блокада только прорвана, еще не сметена. Бледные, исхудавшие люди, словно вчера поднявшиеся с больничной койки…

Однако немцы сильно приврали: разрушения не так уж велики. Город живет, Невский хорош, его державный блеск потускнел, но не исчез.

Вот что хорошо — теперь на фронтах мы решаем, инициатива наша! Каращенко ощутил это еще на «пятачке», как только освоился немного. Прошло время, когда на войне распоряжались фрицы. Эта истина стала еще отчетливее для Каращенко у генерала, а теперь, на Невском, она крепнет, ее как будто подтверждает каждый прохожий. И деловитый звон трамвая, и дежурная дворничиха у ворот, спокойно штопающая чулок, и ребята, бегущие из школы, и объявление на доске: «Нужны рабочие разных специальностей» — все свидетельствует о долгожданном повороте в ходе войны. На других фронтах немцы отброшены далеко, — только под Ленинградом они на старых рубежах еще сидят, зарывшись в землю, накрывшись накатами бревен, бетоном… Грянет гром и здесь, грянет, наверное, скоро…

Сквозь пейзаж Невского, как бы сливаясь с ним, виделся Мокию Демьяновичу генерал, его серебряные колючки на усталых щеках, золото погон на сутулых плечах, придавленных бессонницей. «В качестве кого воевать?» — спросил генерал.

Должно быть, выясняется вопрос о звании. Восстановят ли прежнее — старший лейтенант? А впрочем, хотя бы старшиной, сержантом, солдатом…

Сегодня все решится… Чтобы скоротать время, Ка-рахценхо зашел в кино. На экране мелькали какие-то люди — военные и гражданские, летел под откос поезд, мужчина и женщина целовались и говорили о чем-то. Каращенко вышел, отметил про себя с удовольствием, что картина, названия которой он так и не запомнил, смахнула полтора часа.

— Ждем вас, — генерал быстро вышел из-за стола, крепко пожал руку. — Кстати, ваша жена в добром здоровье. Имеем известия.

— Она знает?

— Нет. Ей не сообщали.

Почему? Каращенко хотел спросить, но осекся. Потом поблагодарил.

Наводили справки. Иначе и быть не может. Установили, что жена не в оккупации, а в Казахстане. Вообще, за эти четыре часа атмосфера как-то потеплела. Звание, надо думать, вернут. И если еще пошлют на фронт…

— Мы тут посоветовались, заглянули в кондуиты ваши… Короче говоря, есть мнение направить вас обратно к фрицам.

— Что вы, товарищ генерал! — вырвалось у Каращенко.

— Вы чекист, Мокий Демьянович. Вы действовали как чекист. И вы нужны нам как чекист.

Впоследствии Каращенко спрашивал себя: неужели такой поворот военной его судьбы не приходил ему в голову? Обратная заброска агента — прием, не вчера найденный, запечатлевшийся в учебниках. Нет, он просто не хотел допускать… Чудом уцелеть, вернуться и… сразу идти обратно…

— Мы вас не принуждаем, — слышит он, — против желания мы вас не пошлем. Мы нашли, что там вы принесете больше пользы.

Он прав, конечно. Пользы может быть больше, чем на передовой от старшего лейтенанта… Логически возразить нечего. Но не только довод разума покорил Кара-щеико, но и слова, произнесенные раньше, — «вы нужны нам как чекист». Эти слова повторялись и звенели в нем, и Каращенко почувствовал — не в силах он ответить отказом.

— Желание? Безусловно, товарищ генерал, желание у меня остаться среди своих. Но… Я понимаю, война нашего желания не спрашивает.

Только теперь, дав согласие, он сообразил, как мало, до отчаяния мало придется ему побыть среди своих, без всякой роли,

в открытую, со своим именем, фамилией. Возникла физиономия Фиша. Замельтешили желтые гимнастерки, Спасов с его унылой матерщиной, текст гимна «Боже, царя храни!», приклеенный в коридоре, — все, с — чем он распрощался, казалось, навсегда.

— Вылез из слякоти, — вздохнул он, — и опять в нее…

Все равно нельзя отказаться.

— Подумайте, — сказал генерал, — только недолго, время нас поджимает.

— Я готов, товарищ генерал!

— Решение твердое?

— Да.

— Значит, будем работать, — сказал генерал быстро. — Дадим вам легенду, сформулируем задание… Ну и подарок фрицам отнесете, не можете же вы прибыть с пустыми руками.

— Подарок?

— А как же! Абвер должен получить, — и глаза генерала в сетках морщин повеселели, — то, что ему хотелось.

Большая карта фронта висела за креслом генерала. Он встал, показал жирно очерченный Ораниенбаумский «пятачок».

— Фрицы считают, что мы нанесем главный удар отсюда. Таково мнение самого Гитлера, мнение святое, и мы с вами, товарищ Каращенко, не станем подрывать авторитет фюрера. Да, подрывать его нет смысла. Напротив, правильнее всего поддержать.

Дезинформация — так это называлось в учебниках. Когда-то Каращенко изучал науку разведки, сдавал экзамены и не предполагал, произнося длинный учебный термин, что дезинформация станет как бы миной в его руках. Одно неосторожное движение, и… Только теперь, когда его начали собирать в дорогу, уразумел Каращенко, какое крупное, жестокое, опасное сражение ему предстоит вести.

* * *

Чего не бывает на войне! Против чаяния довелось-таки Каращенко пройти по маршруту, заданному Фишем, точнее проехать в «виллисе» вместе с капитаном Маковеенко из СМЕРШа.

— Поглядели? — спрашивал капитан. — Едем дальше?

Впечатать в память, накрепко впечатать развилку дорог, полосатый шлагбаум контрольно-пропускного пункта, заросшее полотно железной дороги, обрезанной фронтом, безмолвное селение — без петушиного крика, без запахов стойла, занятое

тыловым штабом.

— Таменгонт, — говорит капитан.

— Зайдем. Я здесь ночевал. Интересно, где у них КП стройбата?

Каращенко никогда не ночевал в Таменгонте. Никогда не был в Таменгонте. А по легенде был, ночевал, любезно принятый командиром строительного батальона. В Таменгонте узнал, что соседняя бригада морской пехоты получила большое пополнение и скоро начнет подготовку к десанту. Хлопочет, разыскивает все, что требует легенда, капитан — молодой, с клочком седины в иссиня-черных волосах.

Так где же тут ночуют приезжие? Каращенко вбирает в память двухэтажный, старый, осевший одним боком дом с мезонином, с флюгером на крыше. Год на флюгере — тысяча восемьсот девяносто шестой.

— Вы ночевали наверху, — сообщает капитан. — Там четыре койки, картина «Мишки в лесу».

— Ясно.

— Теперь в Ново-Калище.

— Попрошу сбавить скорость.

Надо выбрать удобное местечко возле дороги для военнослужащего из девяносто восьмой дивизии. Для человека, которого не существует. По легенде он присел покурить, и Каращенко, шагавший на станцию Ново-Калище, присоединился к нему. Дивизия, оказывается, прибыла недавно. Ходит слух — бросят ее в наступление…

У станции рельсы укатаны, блестят, дорога на «пятачке» хоть и короткая, но живет. Попыхивает паровоз. Здесь, по легенде, Каращенко получил по аттестату продовольствие. Тут же, в очереди, прислушался к разговорам военных с кладовщиком, установил наличие на «пятачке» 227-й дивизии и 13-й бригады морской пехоты. Кроме того, подобрал номера «Известий», «Ленинградской правды» и армейской газеты.

Газеты есть. Они в сумке-планшетке, добросовестно захватанные, помятые, с пятнами дорожной грязи…

Каптерка — в каменном здании, приваленном волной земли. Ни домик ни землянка. У входа сидят на ящиках, свертывают цигарки командированные военные. Два солдата делят паек, рассовывают в вещевые мешки. Запоминай, Каращенко, все запоминай!

— Тушенку дают, — сообщает запыхавшийся капитан, — и крупу…

— Какую крупу?

— Все ту же пшенку. Пшенка — карий глаз. Слыхали такое

выражение?

— Карий глаз? Неплохо! Пригодится…

— Генерал говорит, — в тоне капитана звучит зависть, — богатейшая память у вас.

На память вся надежда… Что же я делал дальше? Я «проголосовал» на дороге, очутился в кузове трехтонки, с военными из бригады морской пехоты. Угостил куревом, разговорились. Люди попались болтливые, не удержали военную тайну.

Приморская армия располагает новым оружием — подвижными самоходными баржами. О них и раньше упоминали разные собеседники, а теперь удалось уточнить: на каждой барже двадцатимиллиметровые орудия, а на бортах броня, защищающая от огня мелкокалиберной артиллерии. Стрелять с баржи можно и в воздух. Словом, для десантной операции посудины лучше не придумаешь…

Я удивился — море ведь у берегов мелкое, базу для барж найти трудно. Мне возразили — в Копорском заливе глубоко. Как раз там они стоят, готовят фрицам гостинец…

Баржи — тоже из легенды. Никаких барж нет, они придуманы, так же как все путешествие агента абвера в районе Ораниенбаума. И однако оно должно быть реальностью для немцев — твердой и неопровержимой.

Настает минута, которую хотелось отдалить. Сейчас время ощущаешь физически: оно железной хваткой стиснуло горло. Он уже пожал руку капитану. Лег на землю, в высокую росистую траву у опушки леса. По легенде, агент абвера Давыдов пробирается к линии фронта долго, с опаской, всю ночь.

Каращенко мнет, гладит мокрую скрипучую траву, вдыхает ее горьковатый запах. Когда-то очень давно он косил такую траву, на исходе ночи, в предрассветном белом тумане…

Теперь пора. Каращенко поднимается, шинель намокла, отяжелела, как того и требовала легенда. Легенда строга. Но она все же позволила проститься с родной землей.

Конечно, и там, за линией фронта, земля не чужая. Но прощался Каращенко здесь, так как путь его отсюда долгий и далекий.

Теперь надо снова забыть, что ты Каращенко Мокий Демьянович. Тебя нет. Даже в большом доме на Литейном твое имя никто не произнесет вслух. Ты, в сущности, раздвоился. В распоряжение абвера вернется Давыдов с весьма ценными данными. А наша контрразведка будет следить за успехами, за сложной судьбой агента по кличке Пограничник, заброшенного в тыл противника.

ПОГРАНИЧНИК

Проверка идет уже чуть ли не месяц. Фиш и другие начальники заставляли Каращенко повторять отчет устно и письменно, переспрашивали и уточняли, — все искали противоречия.

Особенно донимал гауптман Михель — тощий, как жердь, с холеным лицом, закоренелый соперник Фиша. Фиш верит своему агенту, следовательно, Михель не пожалеет сил, чтобы его очернить.

А сколько было выпито у Алевтины! У нее на плите — > самогонный аппарат, кап-кап — набирается в бутыль хлебное вино. Благодари, пей, делай вид, что пьешь в охотку, что тебе весело. Еще бы, вернулся, обманул большевиков!

Как-то раз Спасов ушел, оставив Давыдова наедине с Алевтиной. Она придвинулась:

— Немцы-то под Курском драпают. Ты в курсе? Скоро им и тут дадут прикурить.

— Едва ли…

— У меня мозги разламываются. Может, пока не поздно, сбежать отсюда? Летом и в шалаше можно кое-как… Может, к партизанам прибьюсь. Да ведь одной-то боязно! С тобой бы я с великим удовольствием.

— Ерунда! Глупая паника! Я сам был на той стороне и врать тебе не стану. Имей в виду — красным против вермахта не выстоять.

Можно ли отвечать иначе? Фиш завтра же вызовет Алевтину и спросит, о чем беседовали. Ушей и глаз тут много. И сапожник, с которым познакомил Спасов, наверняка из числа осведомителей. Уж очень настырно, выведывал, как обстоят дела на советской стороне.

— Верно, что готовят удар?

— На то и армия, чтобы воевать. Само собой — надеются.

— Силенок-то поднакопили, чай?

— У немцев больше…

От сапожника, от Алевтины, от прочей мелкоты отбиваться не впервой. Приемы у них наивные, рассчитанные на простачка. Но ежедневные расспросы — то в кабинете начальников, то за самогоном — выматывают нервы. Поспишь часа два после ночной попойки — будят, зовут к Михелю.

— Послушайте, Давыдов! Вы пишете, что получили на станции сухой паек. Что за паек у них, любопытно?

— Я все написал, господин гауптман. Американская свиная

тушенка и пшенная каша. Карий глаз, как говорят солдаты.

— Карий глаз? Забавно!

— Так точно, господин гауптман. Надоела она им до чертиков, пшенка.

Продержит часок, потом милостиво разрешает доспать. Просыпаешься — и встречаешь взгляд Спасова. И тут, в своей комнате, проверка. Любит Спасов сообщать с безразличным видом новости: Михель и Фиш чем-то недовольны, ругали Давыдова.

— За что же?

— Не знаю. Я не дослушал. Они в коридоре разговаривали, потом заперлись…

Провокация, конечно. Еще одно испытание для нервов. Авось не выдержит! Спасов в поте лица зарабатывает награду. Но и Спасов — противник давно известный. Вот последняя его новость посерьезнее…

— Сказывали мне, — говорит Спасов, щуря зеленоватые, чуть раскосые глаза, — послали одного гаврика… По твоим следам, понял? Так что, если напутал чего, пропала твоя голова, заказывай панихиду!

Хохотнув, он проводит рукой по дряблой шее.

— Без попа панихиду не споют, — спокойно отвечает Каращенко.

— Поп найдется.

— Для моей панихиды поп, может, и не родился.

— На тот свет и без попа пускают. Я тебе совет даю: если что наврал, лучше сразу признайся. Сходи к Фишу и признайся, тебе ничего не будет. Если схватят за загривок, тогда хуже. Тогда петля, понял? Человека специально послали, понял?

— Пускай! На здоровье!

— Тебе видней.

Наверняка так оно и есть, решили проверить на месте. Ничего удивительного!

Каращенко не был бы разведчиком, если б не предвидел и такой ход. Проверяют всеми способами, гитлеровцы ничего не примут на веру. Тем более, если информация касается положения на Ораниенбаумском «пятачке», планов советского командования. Вопрос слишком важный… Да, наверняка так оно и есть: абвер забросил агента-контролера. Он послан выяснять, точно ли прибыли пополнения, точно ли морская пехота готовится к десанту, точно ли…

Э, что попусту ломать голову! Все равно помочь ничем нельзя, надо сидеть и ждать, не показывая вида, что тебе страшно.

Каращенко по-прежнему невозмутимо выдерживал длинные, унылые беседы со Спасовым, бывал на вечеринках у Алевтины, у сапожника, по-прежнему отвечал на бесконечные вопросы Фиша, Михеля. и старался угадать по их тону, по выражению лиц свою судьбу. Страх не убьешь, но сдержать его можно. Постоянные опасности научили Каращенко сковывать страх, он пытался даже смотреть на себя со стороны, так, словно угроза нависла над каким-то другим Каращенко. Но прятать страх, отрывать его от себя становилось все труднее. Во дворе стучали топоры, плотники сооружали виселицу.

— Не для тебя ли? — спрашивал Спасов, ухмыляясь.

— С чего бы! — пожимал плечами Каращенко. — Вроде бы не за что… А сам не полезу, мне жизнь не надоела.

Петля качается на ветру прямо против окна, и это, конечно, не случайно. Очередная пытка для нервов, или… Нет, нельзя предполагать самое худшее! Надо спокойно двигаться, спокойно говорить, спокойно спать в одной комнате со Спасовым. Черт с ней, с петлей! К агенту Давыдову она не имеет отношения. А Мокия Демьяновича Каращенко, советского разведчика под кличкой Пограничник, фашисты не поймают.

— Орал же ты ночью! — говорит Спасов. — Сон, что ли, приснился? Будто душили тебя…

— Не помню…

Врет Спасов. Не кричал я во сне… А впрочем, может, и кричал.

* * *

В Ленинграде, в большом доме на Литейном, на карте, висящей в кабинете генерала, появилась новая пометка, нанесенная красным карандашом очень легко. Среди множества других пометок она теряется. Значение ее известно немногим.

Линию фронта пересек вражеский лазутчик. Если бы его схватили, этот знак на карте был бы, по существу, точкой, завершающей операцию.

Нет, лазутчика не задержали.

Однако глаза у генерала веселые. Он быстро, со звоном, размешивает ложечкой чай.

Крохотная стрелка на карте означает успех. Прогноз оправдался. Пограничник проторил путь для немецкой агентуры. Путь, прослывший безопасным…

Да, нужно уметь драться и впотьмах, но до чего же хорошо, когда темнота рассеивается, когда ты чувствуешь себя в силах

управлять событиями!

Чай еще не успел остыть, как на стол ложится новая шифровка. Лазутчик двигается к дороге Усть-Рудица — Пульман. Да, это агент-контролер. Отлично. Он поддержит легенду Пограничника. Все возможное для этого сделано. На КПП у лазутчика потребуют документы и пропустят. Выдадут паек по аттестату на той же станции Ново-Калище. Он столкнется с военнослужащими из воинских соединений, указанных в легенде. Для этого ведь не обязательно держать на «пятачке» всю 13-ю бригаду морской пехоты, всю 227-ю стрелковую дивизию…

Лазутчику расскажут по секрету про подводные баржи с пушками. Слух о таких баржах уже пущен и, верно, обежал всех. Так же, как слух о подкреплениях, о готовящемся могучем ударе…

Конечно, существует враг всяческих расчетов, любых предположений и планов — случай. Можно построить остроумнейшую легенду, но случай вмешается невзначай и разрушит ее, как карточный домик. Слепой случай, равнодушный и к нам, и к Гитлеру, занятый лишь своей бессмысленной игрой… Правда, все меры против него приняты. Сержант Палук, тот самый сержант, который указал Каращенко тропинку к землянке СМЕРШа, и другие люди, свидетели появления Каращенко на нашем переднем крае, переведены в тыл, и лазутчик с ними не встретится. И все же случай не устранишь совсем. Урезывать его, ослаблять его можно до бесконечности. Но и бесконечно малый, ничтожный, питаемый крохотным процентом вероятности, он способен причинить огромные потери…

Жаль, если Каращенко погибнет. Генералу трудно отделить тревогу за человека и тревогу за агента, за успех большого дела. Все как-то сплелось в сердце. Каращенко не из тех людей, которые скоро забываются. Генерал поверил Каращенко, поверил чутьем, с первого взгляда. Когда проверка подтвердила правоту интуиции, стало так радостно, будто пришла весть от близкого друга.

Среди сослуживцев генерала есть хмурые товарищи, — по их мнению, личное всегда находится как бы в засаде против служебного. Слова «личные симпатии», «личное расположение», «дружеские отношения» звучат в их устах словно бранные. А почему? Разве в личном непрерывно прячется ошибочное, дурное? Да, есть немало чиновников, которые девизом своим сделали недоверие, недоверие ко всем.

Нет, надо доверять людям! А Каращенко располагает к себе. Какой-то весь он цельный, ясный, крепкий. Очень верит в себя.

Наверно, потому и веришь ему, что он так уверен в себе, в

своих силах, так спокойно смотрит вперед.

Ему и случай благоволит. Ведь судьба его необычайна, другой бы, с меньшей выдержкой, сто раз бы провалился. Хмурым, недоверчивым товарищам и удачливость Каращенко кажется подозрительной. Дескать, больно уж гладко получается. Захотел обмануть немцев— обманул…

Нет. Никто не осмелится оспаривать приказ генерала. Но сомнения высказывались вслух, и он не стал избегать прямого разговора. Да, не всякий уцелел бы! Говорят, любой может стать героем. Чепуха! Красное словцо, пущенное газетчиками! Нужны данные. И еще больше нужно данных, чтобы геройски победить, принести пользу. Так вот, у Каращенко есть качества, необходимые в тайной войне. Его история, написанная им в отчете, и он сам, сидевший в кресле напротив, удивительным образом сходятся.

Каращенко, живой Каращенко, каждым движением своим, словом, взглядом подтверждает истинность замечательного приключения, зафиксированного в отчете…

Удалось ли убедить скептиков? Неизвестно. Они — упорная порода. Но вот шифровка. Между строк она сообщает, что немцы приняли легенду Пограничника всерьез. Пограничник работает.

Первый удар по скептикам…

Стакан пуст, — генерал выпил чай машинально, не заметив. Теперь он стоит перед картой. Вся ли обстановка на пути лазутчика ясна? Нет, кое-что надо уточнить. Контрразведка Приморской группы войск, разумеется, на ногах, но этого мало, надо послать офицеров и отсюда. Кого послать? Генерал садится, берет карандаш. Он привык думать с карандашом в руке. В это время приносят новую шифровку.

«Агент противника в тринадцать двадцать явился с повинной, назвал себя Алпатовым Дмитрием Захаровичем, уроженцем…»

Эх, черт!.. Вот он, легок на помине, случай. А впрочем — нет, не случай. Алпатов — фамилия знакомая, Каращенко писал о нем в отчете. Добрый случай или дурной? Конечно, было бы лучше, если бы Алпатов ушел восвояси и поддержал версию Пограничника. Но раз он явился с повинной…

«Агент имел задание проверить информацию, доставленную другим агентом, которого он не знает».

Отлично! Надо познакомиться с этим гостем. Потом видно будет, как поступать. Оставить или перебросить обратно?..

«Направляем Алпатова к вам».

Правильно! Ждем!

* * *

Фиш ликовал. Не зря он ставил на Давыдова. Давыдов принес ему выигрыш. В конце концов жизнь тот же тотализатор. Главное в том, чтобы удачно поставить. Давыдов — находка! Генерал буквально ворковал вчера по телефону. А сегодня состоялась личная аудиенция. Генерал превозносит Сиверский разведпункт до небес. Как обычно, кидается в крайность. То Фиш у него на последнем счету, то может купаться в лучах славы.

— Господин генерал, я сразу заметил его, отличил среди других, — сказал Фиш, потупив взор. — Зная национальные черты русских…

Генерал не морщится, Фиш может свободно воздать должное самому себе.

— Он истинный русский мужик, господин генерал. Доброго старого закала, почитающий традиции… Из тех, которые просят фюрера дать им царя-батюшку.

Черта с два нужен русским царь-батюшка! Но генералу именно это и важно услышать. Пускай слушает!

— Недаром я, господин генерал, служил много лет в Москве в посольстве Германии. Некоторые мне ставят это чуть ли не в вину, называют трофейным немцем. Вы скажете, несерьезные нападки, господин генерал? Но, к сожалению, это мне так мешает двигаться по службе…

Нельзя упускать благоприятный момент. Когда же, если не сейчас, выложить свои обиды!

Но генерал прервал его. Ему не угодно беседовать о службе Фиша.

— Давыдов отдыхает?

— Да.

— Пускай отдыхает. Обеспечьте его табаком, водкой… Проследите лично. Съездите к нему, навестите, — визит германского офицера ему польстит. Как вы думаете?

— Несомненно, господин генерал.

Вряд ли польстит. Что-то не похоже! Давыдов — мужик себе на уме. Перед немцами на колени не падает. Такому свое поле — ближе всего…

— Мы обдумаем для него новое задание. Как вы считаете, — согласится?!

— Надо будет выяснить.

— Убедите его, гауптман! Настраивайте его, нарисуйте ему карьеру!

Вряд ли Давыдов мечтает о карьере разведчика. Теперь ему бы дождаться конца заварухи да получить добрый кусок земли. Его тянет к земле — он сам признавался. Он долго жил в городе и все-таки — нет, но натуре не горожанин. Мужик, типичный

русский мужик! Родные его были раскулачены и умерли где-то в Сибири. Он полагает, что ему достанется земля по праву наследования.

Все это Фиш объясняет генералу. Обстоятельно, не спеша. Фиш демонстрирует при этом свое блестящее знание России.

— У него аппетит, однако… Вам же известно, гауптман, землей прежде всего будут обеспечены наши солдаты-победители…

— Давыдову это тоже известно. Но он надеется. Он считает, что его заслуги дадут ему право…

— Ах, гауптман! — генерал качает головой, — Ведь у вас есть ключ к вашему мужику.

— Вы находите?

Фиш изображает наивность. Иногда это уместно. Генерал любит поучать, растолковывать элементарные вещи. От времени до времени надо давать ему такую возможность.

Другой его конек — стратегия. Он на все лады повторяет изречение, вероятно где-то вычитанное, что разведка оправдывает себя лишь тогда, когда она в итоге двигает войска и выигрывает сражение.

— Неужели, гаутпман, ваш Давыдов — стреляный патрон? Он так блестяще начал… Строго между нами — приняты важные решения…

Фиш слушает вежливо, склонив голову набок. Когда генерал произносит имя фюрера, Фиш меняет позу, он выпрямляется, благоговейно поднимает свой круглый, пухлый подбородок и устремляет глаза вверх.

— Понимаете, Фиш, предвидения фюрера и на этот раз подтвердились. Большевики сжимают кулак для удара именно там, на плацдарме Ораниенбаума. По-этому-то и цепляются за него, как бешеные. А в связи с этим, вы понимаете, Фиш, мы можем произвести перегруппировку, высвободить кое-какие силы, скажем, на участке Пулкова…

Да, повезло с Давыдовым! Разведка, в конечном итоге, двигает дивизии. После многих провалов, после долгого ожидания — наконец-то ощутимый результат! А главное — правота фюрера лишний раз доказана. Хотя, собственно, все это не лишнее. Особенно теперь, после Сталинграда, после Курска, когда веру в фюрера важно поддержать…

— Я понимаю, господин генерал, — говорит Фиш.

— Хорошо. Можете передать Давыдову, как о нем отзываются здесь. Я думаю, мужику будет лестно. Что?

— Безусловно, — ответил Фиш и наклонил голову, пряча улыбку.

* * *

Петля недолго болталась зря. Однажды утром Каращенко, проснувшись, увидел повешенного. На нем не было дощечки с надписью «партизан» или «комиссар», сквозь листву белела майка, обтягивающая тело. Гимнастерку с него предусмотрительно сняли — пригодится другому. Спасов сказал, что это агент, не оправдавший доверия.

Казненный висел несколько дней, от него тянуло тошнотворным духом, который проникал во все щели. Спасов отплевывался.

— Тьфу! И любят же фрицы мертвечину!

Только когда повешенного сняли и закопали где-то в лесу, уразумел Каращенко окончательно, что проверка закончилась. Эта уверенность вошла в него вместе с глотком свежего воздуха, вновь напитанного запахами печного дыма и высокой, перезрелой травы в запущенном саду.

Сотни других признаков означали конец проверки. И Спасов разговаривал как-то иначе, и Алевтина перестала звать на вечеринки.

Остается услышать от Фиша…

Круглая физиономия гауптмана сияла. Он подробно рассказал о беседе с генералом и не удержался от вольного замечания:

— Если фюрер все угадывает наперед, зачем тогда вообще разведка? А? Меня так и подмывало ответить генералу в таком смысле. Воображаю, как он взорвался бы!

Несомненно, гауптман Фиш оказал агенту Давыдову высокую честь: поделился сокровенными мыслями и этим как бы возвысил до своего круга.

— Начальству виднее, — уклончиво ответил Давыдов.

— Словом, генерал в восторге. Он приказал выдать вам две тысячи марок и бутылку водки. Кроме того, я представляю вас к медали.

— Много благодарен, только… Не заслужил я таких похвал, господин гауптман. Удача просто…

— Нет, Давыдов, нет. Все считают, что вы исключительно способный человек.

Давыдов пожал плечами.

— Кому гореть, тот не утонет.

— О, вы философ!

Да, мужицкий философ. Спокойный фаталист, подобный Платону Каратаеву из «Войны и мира».

— Вы читали Толстого, Давыдов?

— Графа Толстого? — Давыдов наморщил лоб, будто силился вспомнить. — Приходилось. Здорово у него насчет первого винокура… Спиртное ведь от сатаны происходит, а мы пьем, разума себя лишаем.

— Ничего, Давыдов, вы еще не пропили свой разум. Он у вас крепкий. Все считают: ваша карьера только начинается.

— Где мне, господин гауптман! Кабы ноги были целые, не раненые…

— Мы еще вернемся к этому вопросу, Давыдов. Получайте деньги и отдыхайте.

— Слушаюсь, господин гауптман!

Проверка кончилась, и вот новые заботы. Да, хотят снова забросить через линию фронта. Поменьше бы похвал!.. Фиш, конечно, будет настаивать. По всему видно…

Инструкция Пограничнику, которую он там, у своих, в Ленинграде, прочел несколько раз и запомнил, гласит: всеми возможными способами постараться избежать новой заброски, остаться в тылу у гитлеровцев, в системе абвера. Остаться, чтобы брать на учет предателей и лазутчиков, засылаемых к нам, чтобы склонять лазутчиков к явке с повинной.

Фиш дает время для размышлений. Все равно — ответ ясен. Надо отказываться.

Отдыхает Каращенко в дачном домике, в лесу, на окраине крохотного городка Изборска. Собирает ягоды, грибы, подолгу сидит на обрывистом берегу извилистой, заросшей речки, глядит на кувшинки, на стрекоз. Кажется, никакой войны нет. Единственное реальное в мире — кувшинки на остановившейся, невозмутимой реке, столетние липы, которые не спеша переговариваются о чем-то. Хочется хоть на час забыть Фиша, Спасова, повешенного в белой майке…

Каращенко сознает — вернуться к своим вполне в его власти. Стоит только согласиться с предложением Фиша, уйти к своим и доложить — так, мол, и так, отказаться было немыслимо. Угрожало разоблачение. Поди проверь!

Другой человек, не столь щепетильный, так бы и поступил. Каращенко на миг даже позавидовал тому, другому. Нет, обманывать можно только врагов. Ценой обмана вернуться к своим? Нет, нет! Пусть никогда не раскроется обман, пусть никто и не заподозрит, все равно…

Быть может, путь к своим, открытый сейчас, последний. Второго, может, и не будет. Как знать! Все равно, надо отказываться. Честность внушена Каращенко с детства, честность вошла в плоть и кровь, она сильнее его самого. Инструкция говорит ясно: отступать вместе с гитлеровцами, находиться с

ними до конца войны. Отступать хоть до Берлина…

И при этом не ждать сложа руки, а воевать, склонять к явке с повинной. Значит, постоянно рисковать головой. Правда, некоторый опыт есть. Каращенко уже обрабатывал некоторых соклассников по шпионской школе. Разумеется, выбирать надо людей не враждебных нам, а запутавшихся, таких, которые не против Советской власти, а только боятся открыть себя. Гитлеровцы изо дня в день твердили в школе: попадетесь комиссарам— расстреляют. Повинился или нет, разницы никакой — уничтожат как предателя.

Важно переубедить…

Война идет, нигде не отдохнешь от нее, пока она, проклятая, грохочет и терзает, пьет кровь… Следя за полетом стрекоз, Каращенко вспоминает своих подопечных. Взять Алпатова…

В памяти тотчас возникает справка, — одна из десятков затверженных справок. Алпатов Дмитрий Захарович, работал до войны в Москве токарем, был комсомольцем, собирался перед войной поступать в институт, стать геологом. Против Советской власти ничего не имеет.

Легко написать эти несколько слов в отчете, но не так-то просто было завести разговор с этим молчаливым парнем. Видно было, его донимает какая-то неотвязная мысль. Какая? Мало-помалу выяснил Каращенко биографию Алпатова, его настроения. Оказалось, что только страх мешает явиться с повинной.

«Поступай, как хочешь, — сказал тогда Каращенко. — Имей в виду только, если поймают, худо будет. А повинную голову помилуют».

Не лишено вероятности, что агент, которого пустили по его следам, и есть Алпатов. Сдался он или вернулся? Алпатов исчез из виду. Те, кто возвращается с задания, вообще редко встречаются с товарищами, которые на старте. Стало быть, ты не узнаешь, явился твой подопечный с повинной или нет. После войны, может, и узнаешь. Если тебя не выдадут. Если увидишь его — конец войне…

В инструкции сказано: вести беседы осторожно, без антисоветчины, но и без антигерманских высказываний, отнюдь не запугивая неизбежным разгромом Гитлера. Расценивать обстановку объективно, без всяких симпатий к той или другой стороне, рисовать перспективу безопасного выхода из войны.

Каращенко мысленно сравнивает инструкцию и свой собственный опыт, В сущности, расхождений нет.

Инструкция формулирует то, что подсказывала ему собственная смекалка.

Деревья шумят, в речное ложе врывается ветер, чуть колеблет

кувшинки, сбрасывает в воду первые, очень ранние желтые листья. Уже нет-нет да запахнет осенью, особенно по вечерам. Скорее бы двигалось время!

Нет, и на час нельзя забыть войну. Даже здесь, над заросшей, сонной речкой.

Скажу Фишу, что пошел бы на ту сторону, если бы не ноги. Сильно болят ноги и вообще здоровье не позволяет. Взяться и не выполнить — это уж последнее дело.

Каращенко так и сказал Фишу три недели спустя, когда покончил с отдыхом.

— Очень жаль, — вздохнул тот, — вы много теряете.

Глаза его стали холодными. Рука, протянувшая было Давыдову пачку сигарет, застыла в воздухе. Гауптман Фиш раздраженно сунул сигареты обратно в ящик стола.

* * *

Противник повел себя странно.

В последнее время его артиллерия на приморском фланге фронта подавала голос редко и по давно установленной программе обстреливала наш передний край, участок за участком, с чисто немецкой последовательностью. По вражеским пушкам можно было проверять часы.

И вдруг вражеские батареи взбесились. Огонь обрушился главной своей силой не на передний край, а в глубину Ораниенбаумского «пятачка». Мало того, туда же понесли свой груз эскадрильи бомбардировщиков. День за днем сыпались на «пятачок» снаряды и бомбы разных калибров. Донесения, поступавшие с «пятачка» в штаб фронта, не скрывали недоумения: вся эта лавина стали и взрывчатки тратилась явно впустую, вспарывала землю, на которой не было ни траншей, ни землянок, ни огневых позиций.

Под огнем оказался и Копорский залив — пустой залив, давно не принимавший военные суда в сколько-нибудь значительном количестве…

Лучше всего понимали смысл происходящего в штабе фронта и в большом доме на Литейном. Карты запестрели новыми пометками. Достаточно сопоставить поражаемые огнем лесные и болотные урочища и данные дезинформации, с которой ушел на ту сторону Пограничник, чтобы убедиться в успехе тайной операции. Да, немцы поверили! Они воображают, что громят наши бронированные подводные баржи.

Две недели грохотали разрывы на «пятачке», а затем к

свежим воронкам, к обломкам бутафорских штабных строений, бутафорских автомашин потянулись щупальца вражеской разведки. На «тропе Пограничника»— так чекисты прозвали этот маршрут через линию фронта — появились новые лазутчики. Немцы с упрямой настойчивостью бросали сюда своих агентов, хотя возвращались немногие.

Из этих немногих большинство отправлялось назад с информацией, полезной нашему командованию. Они увидели и узнали то, что для них было предназначено. И вот теперь, после огневых шквалов, надо продолжать дезинформацию. Уже пущен слух о потерях советских войск. Потери не маленькие, но и не очень большие. А подкрепления все прибывают…

Те лазутчики, которые были задержаны или явились с повинной, отвечали на допросах. Ни одно из имен Пограничника контрразведчиками не называлось, но они старались уловить хотя бы тень его судьбы наводящими вопросами.

Генерал не забывал откладывать в памяти все, касавшееся человека, ставшего на расстоянии его другом. Да, генерал не мог думать о Пограничнике без сердечного тепла. Как же приняли его там, на той стороне? Проверку он выдержал, что артиллерийскими орудиями и «юнкерсами» объявлено громогласно.

А дальше что?

— Болтают насчет одного агента ихнего, — говорил один из незваных визитеров, — болтают, будто он побывал тут и немцы его наградили. В дом отдыха, что ли, послали, под Псков.

— За что наградили? — спросил генерал.

— За важные сведения… Тропка, по которой мы шли, так это он ее проложил.

Прошел месяц, вести о Пограничнике прекратились, а потом задержанные опять заговорили о каком-то награжденном агенте. Он не угодил начальству и куда-то исчез. Что с ним стало? По одной версии, его казнили, по другой — перевели в лагерь с особым режимом.

Генерал чувствовал: покуда длится война, он всегда будет ждать вестей о Каращенко, всегда будет выискивать в протоколах допросов хотя бы туманные намеки. Судьба Каращенко может скоро потерять значение военное, но значение для него лично она не утратит. Хотя бы потому, что он сам поверил ему, сам послал обратно к фашистам.

Позвонил начальник штаба фронта и сообщил радостную весть — гитлеровцы сняли с Пулковского участка фронта две дивизии.

Нет сомнения — и в этом сказалась работа Пограничника.

Немцы убеждены теперь — Пулковский участок второстепенный, главная опасность угрожает со стороны Ораниенбаума. Это соответствует концепции фюрера и теперь сделалось каноном. Долгое время можно не опасаться, что противник узнает правду. Каноны живучи, агентурные данные разбиваются о них, не оставляя иногда даже царапины. Немцы намертво привязаны к своим канонам, начальники малые, средние и высокие, искренне или корыстно, будут до последней возможности оборонять концепцию фюрера.

Генерал испытывал желание поделиться успехом с самим героем событий. Рисовалась встреча после воины, когда Пограничника можно будет назвать громко подлинным его именем. Сентиментальность? Что ж, пускай так! Генерал не стыдится.

Мокий Демьянович… Звучит непривычно, угловато. Мокий! Теперь не дают таких имен. Однако к нему оно почему-то идет. Кряжистый, медвежеватый немного, шероховатый. Да, и шероховатый, потому что не приглаживает себя, не наряжает, краснобайства не терпит. Таким людям хочется сказать спасибо просто за то, что они существуют на свете. Помогают жить.

В глубине души генерал верил, что Мокий Демьянович Каращенко переживет Пограничника, сумеет дождаться конца войны, дойдет до Берлина.

— Жаль, Давыдов, очень жаль!

Голос у гауптмана Фиша недовольный, усталый. Нет, ничем не проймешь этого упрямого мужика, — не хочет он снова в тыл к большевикам. Хотя Фиш не очень-то надеялся выманить согласие, он все же раздосадован. Агент Давыдов, лошадь, на которую он так удачно поставил, отказывается принести новый выигрыш!

Фиш представил себе, как будет огорчен генерал, и досада перешла в злость.

— Если вы не понимаете своей пользы, — пухлые руки Фиша дрожали, комкали бумагу на столе, — ступайте! Я не хочу тратить время. Ступайте! Уходите!

Последнее восклицание вырвалось у Фиша визгливо, на минуту он перестал владеть собой. Когда дверь за Давыдовым закрылась, он провел рукой по вспотевшей лысине. Незачем было горячиться. Мужик вообразит еще, что абверу без него не обойтись!

Фиш больше не вызывал к себе Давыдова. Через несколько дней передал ему через Спасова приказ — собирать вещи.

— В путь-дорожку, майн пупхен!

Спасов кривлялся, фиглярничал.

— Что ж, счастливо оставаться, — ответил Каращенко

спокойно, — береги здоровье.

— Ты свое-то береги! Черт ты, а не человек, посмотрю я, — и Спасов выругался. — Словно две головы у тебя. Хоть бы спросил, куда угоняют?

— А тебе разве докладывали?

— Тьфу! За кудыкины горы!

Так они и простились. Каращенкр очутился не за горами, а на краю эстонского городка Вильянди. Снова открылись перед ним ворота лагеря для военнопленных. Снова унылые ряды бараков, плац, полицаи с дубинками, словно коршуны, высматривающие добычу…

Однако бараки остались позади, показался забор, в нем калитка. Конвойный позвонил, Каращенко шагнул через высокий порог.

Ему отвели койку в одном из трех домиков, зажатых в загородке. Кормежка здесь хуже, чем у Фиша, но лучше, чем за забором, в обычном лагере, постель тоже помягче. Как-никак зондерлагерь, то есть особый. В чем его особенность, Каращенко понял в первый же день: его окружали люди, как и он, причастные к абверу. Многие побывали на заданиях.

Стало быть, резерв, сказал себе Каращенко. И с первого же дня стал приглядываться к соседям. На койке рядом — тихий, темноволосый парень с мягким, вкрадчивым голосом. Длинные, проворные пальцы тасуют колоду карт.

— Хочешь, погадаю?

Гадальщик Николай — так мысленно записал его Каращенко на карточку в памяти. Странный тип! Начальство ругает его, грозит отобрать карты, тоску он наводит на всех мрачными предсказаниями.

Геннадий — слезливый, истеричный, профессиональный вор. И он оказал какие-то услуги немецкому начальству. Перед комендантом лагеря отчаянно лебезил, но в один прекрасный день не удержался и стащил часы. Отправили куда-то…

Мальков Константин — бывший учитель, хрупкий, измученный какой-то тревогой… Ходил в советский тыл, хотел повиниться, но в последнюю минуту испугался, передумал. Задание не выполнил, в объяснениях запутался. Доверившись Каращенко, досаждал ему жалобами.

— Что будет со мной! Что будет!

— Ты, главное, возьми себя в руки, — советовал Каращенко, — не скули, не болтай!

Среди озлобленных предателей, среди всякой продажной шушеры Каращенко различал людей, державшихся в стороне, погруженных в свои мысли. Такие не подхалимничали, не

подлаживались, не искали никаких выгод от оккупантов. Значит, есть шансы найти общий язык.

Каращенко вел себя с достоинством, и это обеспечило ему доверие. Знали, что он не ябедник, не сплетник и не из тех, что способны выдать товарища. Много выслушал Каращенко исповедей в укромном углу шепотом.

— Я отчего пошел к ним служить? От голодухи, от полицаев проклятых спастись хотел. В отчаянность впал, будь что будет, думаю… Немцы — сила, вот-вот всю Россию заберут, так не пропадать же зря… А теперь — вон оно как повернулось на фронте…

Боится за себя, это ясно. Но что еще у него в душе? Сохранилась ли любовь к Родине, советский человек он в основе своей или существо безликое, безвольное, покоряющееся обстоятельствам? Как определить?

— Немцы еще не выдохлись, — говорил он, — что у них здорово, так это порядок.

— Порядок есть… На бойке тоже порядок… Я на мясокомбинате работал. У нас тоже все использовалось, вплоть до поросячьего хрюка…

Вот так, похвалить что-то у немцев, воздать должное нашим, чересчур никого не хаять и не хвалить. Послушать, какова реакция. С выводами не спешить, лишь после обстоятельных бесед и размышлений записать на карточке памяти: «Мечтает загладить свою вину» или «Настроен антисоветски».

Состав обитателей зондерлагеря менялся, — одни таинственно исчезали, на их койки прибывали новички. Каращенко нередко добавлял к мысленной записи: «В случае переброски через линию фронта решил явиться с повинной».

Такому человеку Каращенко рассказывал о житье под началом у Фиша, о структуре гитлеровской разведки, в расчете на то, что все это будет там, на нашей стороне, попадет в протоколы допроса.

Абвер продолжал забрасывать агентуру, но куда осмотрительнее, со строгим отбором. Прежде гитлеровцы были нагло беспечны — пускай хоть один из сотни справится с поручением. Положение на фронтах изменилось, самоуверенности у «высшей расы» поубавилось, да и кадры, навербованные из советских военнопленных, стали куда менее надежными. Во всех звеньях разведки наступил режим осторожности. Ведь если лазутчик схвачен, он сам становится источником информации. Нельзя добыть чужие тайны, не поставив на карту свои. Большевики все сильнее, значит, рисковать своими тайнами опасно.

Каращенко отдавал себе в этом отчет. Картотека в его памяти росла…

В зондерлагере он пробыл до весны 1944 года. Советские войска освободили Нарву. Генерал Дитмар — «радиогенерал», как его прозвали немцы, — все еще сообщал своим бархатным, баюкающим басом об «успешных оборонительных боях», намекал на «нетронутые силы», способные остановить «выдыхающиеся дивизии врага». Однако тревога среди гитлеровцев росла, и в начале мая в зондерлагерь прикатил комендант Валговской шпионской школы гауптман Шнайдер. Вызвал пятнадцать человек, в том числе Давыдова, погрузил в поезд.

Из вагона вышли два дня спустя в Тильзите. Каращенко с любопытством оглядывался: небольшой, тихий городок, застройка не по-русски плотная, улицы узкие, тесные, держат тебя будто в каменных клещах. Только на окраине разжимается городской сплошняк, дает место подстриженным садикам, виллам, похожим на кубышки. Садики подстриженные, деревья точно в неволе.

В доме с вывеской «Хольцмессамт» встретила приезжих деловитая, энергичная немка фрау Лида. Велела ждать — скоро вернется из поездки директор фирмы, господин Шрамм, и все объяснит.

Длинное название на вывеске означало буквально: контора по таксации древесины. До войны Шрамм и его подчиненные ничем иным не занимались.

— Для вас наша вывеска только прикрытие, — откровенно сказал Шрамм, обмахивая свое жирное, раскрасневшееся лицо платком. — Сюда должны доставить еще человек сто. Вас будут обучать…

Потом Шрамм произнес несколько фраз о неизбежной победе Германии.

— Великая Германия нуждается в вас, — прибавил он. — Вы покажете себя в тылу у красных. Для вида вы служащие конторы, а подлинное назначение — диверсанты, которым предстоит… — Тут Шрамм сделал многозначительную паузу. — Командование не раскрывает свои планы, но все же в общих чертах известно: большевикам готовится сюрприз. О, великолепный сюрприз! Удар в самое сердце!

Каращенко чуял: не терпится Шрамму выболтать все до конца. Он знает больше, но не договаривает. Человек штатский, новичок в военном деле, он явно рисуется. Доверенная ему тайна распирает его…

Мало-помалу выяснилось: гитлеровцы намерены сбросить десант на Москву. Отряд головорезов, которым терять нечего.

Выходка сумасшедшая, бесспорно обреченная. Последние судороги фашизма. От хорошей жизни такое не придумаешь. Надо бы предупредить своих, дать знать на ту сторону!.. Но как?

Десант на Москву. Многие вполне пригодны для такого дела. Взять Черноярова, он с фашистами не на жизнь, а на смерть, с отчаяния на все готов.

Еще в молодые годы Чернояров был осужден за антисоветскую агитацию, добровольно сдался в плен немцам, был палачом в лагере военнопленных, замучил сотни людей. А ведь по виду и не скажешь… Важно запомнить приметы. Голос медовый, вкрадчивый, ко всем обращается с прйтворной нежностью: «сыночки», «миленькие мои», «голуби».

Такой же изверг — турок Хаким. Мальчишкой перебрался из Турции в Среднюю Азию, в чем, наверно, помогла разведка. Позднее пытался уйти обратно, был задержан на границе, отсидел восемь лет. У гитлеровцев служил в охране штаба, расстреливал советских партизан. Седой, сутулый, узкое морщинистое лицо. Все советское ему ненавистно.

Среди сброда, согнанного в Тильзит из зондерлагерей, из разных закоулков абвера, есть и бывший артист оперы, помышляющий теперь, кажется, лишь о том, чтобы ускользнуть подальше от фронта. Есть непроницаемо замкнутый, вечно хмурый старовер, шепчущий молитвы. Что у него на уме? Его Каращенко так и не раскусил…

А знать надо всех. Особенно, если придется лететь в Москву с этой компанией…

Затея, положим, фантастическая… Несколько недель прошло в ожидании. Занятия все откладывались. Наконец их совсем отменили. Преподаватель, слышно, угодил на передовую.

Наверное, и план десанта — порождение безрассудной ярости — потонул в архивах, как и программа учебы диверсантов. Однако еще не исключено, забросить в тыл могут… Гитлеровцы изо всех сил стремятся остановить наших, не впустить в Германию. Да, могут забросить с поручением взрывать мосты, железнодорожные пути, отравлять колодцы и прочее в таком роде.

Будущих диверсантов, чтобы не кормить даром, распределили по мастерским, по фермам в окрестностях. Каращенко до осени работал столяром, ремонтировал мебель. Потом был батраком у фермера, грузчиком на трехтонке, подручным у церковного старосты. Поливал клумбы у кирхи, ставил на место скамейки, сдвинутые во время богослужения.

Советские войска подошли к Восточной Пруссии. Каращенко и еще несколько человек получили приказ — эвакуироваться в

Кенигсберг. Но события на фронте опередили, зачеркнули приказ. На дороге, забитой беженцами, Каращенко застрял, оторвался от спутников. Ночевал на ферме, в пестрой, очень веселой разноязычной компании. Под одной кровлей оказались русские, два француза, поляк из Гданьска, а с ним тоненькая, большеглазая девушка — варшавянка. Они встретились в неволе, на этой ферме, вчера брошенной хозяином, вместе поедут в Польшу. Отныне они навсегда вместе! Война не сегодня-завтра кончится.

В подвале фермы нашли бутылку вина, выпили за здоровье молодых. А на другой день увидел Каращенко на шоссе советских мотоциклистов, замахал им, остановил, а голоса вдруг не стало, слов не стало…

* * *

— Так я и не дошел до Берлина, — говорит, улыбаясь, Мокий Демьянович.

Он сидит передо мной — плечистый, спокойный, в шапке густой, буйной седины. Он рассказал мне свою поразительную историю очень скромно, как бы прося не удивляться. Его добрые глаза говорили мне — история сложная и в то же время простая. Чему тут удивляться, если он попросту не мог поступать иначе!

Восклицательные знаки, которые читатель нашел в моем тексте, каюсь, почти все на моей совести. Герой повествования обходился без восклицаний.

Я смотрю на него и радуюсь тому, что он живой, невредимый, что он вышел победителем — Мокий Демьянович Каращенко, талантливый чекист.

Человек, отстоявший свое имя.

Григорий Репин. БУДНИ ОСОБОГО ОТДЕЛА

Июль тысяча девятьсот сорок второго года. Над военным аэродромом сплошная, непроглядная облачность. Нелетная погода! Что может быть досадней для людей, собравшихся лететь в тыл врага? Ждем день, два, три, ждем неделю. Мы — это группа ленинградских чекистов, сформированная в тылу; там мы обучались обращению с противотанковыми гранатами, минометами, автоматами, ориентировке на местности — всему, что нужно знать партизанам. Но была у нас и своя, особая задача: партизанское движение на Псковщине ширилось, а для оперативной работы в партизанских соединениях не хватало людей, знающих разведывательную и контрразведывательную службу.

Ради этой работы нас и направляли в Партизанский край.

Начальником группы был Игорь Авдзейко, всесторонне развитый, бывалый человек. Мы, молодые чекисты, многому у него учились, нам он казался стариком. Правда, мои товарищи — Володя Морозов, Василий Якушев, Николай Сергеев, Григорий Пяткин, Иван Подушкин— считали, что и у меня есть кое-какой опыт: я «нюхал» порох еще на финской войне. Но много ли значил тот опыт работы в новых условиях?

О первом таком условии мы неожиданно узнали от начальника валдайской опергруппы штаба партизан-, ского движения Алексея Тужикова.

Тужиков долго отмалчивался и наконец объявил, что ожидаемый полет в тыл врага пока отменяется. Вместо этого нас решено направить в село Заборовье для расследования некоего чрезвычайного и крайне неприятного дела: оказывается, вопреки указаниям штаба командование Второй партизанской бригады под натиском огромной карательной экспедиции немцев вывело свои подразделения в тыл. «Самовольство» это в условиях военного времени рассматривалось как недопустимое нарушение дисциплины. И вот нам, молодым чекистам, приказано разобраться во всех обстоятельствах. Тем более, что командир Третьей бригады А. Герман сумел выйти из боев организованно и, применив новую тактику рейдирования, продолжает бороться с врагом. Отчего же командир Второй бригады Васильев и комиссар Орлов предпочли вывести своих людей в тыл?

В Заборовье мы узнали, в каких невероятно трудных условиях воевала Вторая бригада: немцы разгромили базы снабжения,

загнали людей в болота; голодные, исхудавшие, плохо вооруженные партизаны отступали с тяжелыми боями, не успевая эвакуировать раненых.

И вот теперь эти оборванные, измученные люди, вышли к своим. И все идут и идут отдельные группы, одни с оружием, другие — без него. По дороге к ним примкнули отставшие из каких-то отрядов и бригад. Никто не знает их. Все устали, издерганы и вдобавок глубоко обижены начатой нами проверкой.

По поручению Авдзейко мы беседуем с командирами, политработниками, рядовыми бойцами. Отвечают нам с обидой, подчас с вызовом: «Что вы понимаете, тыловые крысы, сами-то в нашей шкуре не бывали!»

Все это надо выслушивать и в то же время делать свое дело тактично, спокойно, внимательно. Разговариваю с комиссаром Орловым. Он сердит на Авдзейко, раздражен, держится высокомерно. Нелегко говорить и с комбригом Васильевым: этот известный партизанский вожак, обаятельный, культурный человек, болезненно переживает обвинение в нарушении приказа.

Ни Васильев, ни Орлов, ни тем более в штабе партизанского движения не ждали, что мы, объективно разобравшись в деле, придем к выводу, оправдывающему командование Второй бригады. В той обстановке было принято единственно правильное решение: только так можно было сохранить бригаду. И мы честно доложили своему начальству: так, мол, и так, никакой крамолы не обнаружено. И начальство согласилось с нашими выводами. Впрочем, комиссар Орлов по-прежнему держался со мной холодно — не мог подавить в себе обиды.

Каково же было узнать, что волею обстоятельств мне придется бок о бок работать именно с этим человеком!

Неожиданно заболел Игорь Авдзейко, меня назначили начальником особого отдела Второй партизанской бригады, комиссаром которой и после переформирования был утвержден Орлов, а комбригом Васильев. Больше того, по новому распоряжению особый отдел уже не оставался в подчинении комиссара бригады, а, называясь оперативной группой, становился самостоятельным органом, имеющим свою радиосвязь с Центром. Это, понятно, добавило масла в огонь, — Орлов еще больше рассердился, хотя вместе с Васильевым дал согласие на мою кандидатуру. Долго еще потом он относился ко мне с оттенком превосходства, насмешливо называя «органы», пока работа не сдружила нас.

На первых порах приходилось частенько спорить. Когда я начал назначать чекистов в отряды, Орлов ворчал: «Ты хороших ребят не разбазаривай, они нам самим пригодятся». Мне же надо

было подбирать людей, учитывая, с кем им суждено работать: если командир отряда горячая голова, чекиста к нему нужно рассудительного, спокойного. Пришлось отдавать наших ребят и в другие бригады. С удовлетворением вспоминаю теперь, что в большинстве случаев подбор работников был сделан правильно, а за Григория Пяткина командир полка потом, при встрече в тылу у немцев, благодарил меня: «Ну и человека же ты дал мне прекрасного!»

Перед выходом к линии фронта Орлов сказал мне: «Слушай, «органы», наш комбриг очень болен, надо бы доложить в Валдай, что нельзя ему идти в немецкий тыл». Я уже успел привязаться душой к нашему комбригу. Будучи тяжело больным, он ни на минуту не прекращал работы по комплектованию отрядов, заботился о вооружении и обмундировании бойцов, внимательно разговаривал с каждым человеком.

Конечно, о своей болезни сам он не сказал и к врачу не обратился. А когда я доложил об этом, мне ответили: «Если Васильев не хлопочет, нечего за него хлопотать другим». И Николай Георгиевич повел бригаду. Уже за линией фронта, идя рядом с ним, я заметил, что у него кровохарканье. В декабре мы отправили своего комбрига в тыл, а в 1944 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. К сожалению, посмертно.

Горько думать, что такого замечательного, беззаветно преданного человека и коммуниста не сумели мы спасти. А спасти его можно было только приказом, сам он не соглашался лететь в тыл, пока не слег окончательно…

…Люди нашей бригады были обмундированы в новые полушубки, валенки, ватные, брюки и фуфайки, вооружены автоматами, легкими пулеметами, частично винтовками, снабжены боекомплектом на два боя и продовольствием на десять суток. Весь этот груз надо было нести на себе.

Отряды и штаб бригады собрались в деревне Хлебоедово, в трех километрах от линии фронта. Армейские части перед тем разведали «дырку» в линии обороны немцев: участок, где почти шестьсот метров от одного дзота до другого. В эту «дырку» и должны были пройти все семьсот душ нашей бригады, пройти незаметно и неслышно. С наступлением темноты разведчики повели нас по тропинкам на минном поле к реке Редья, указали «дырку» и вернулись обратно. Свое дело они сделали. Теперь в случае чего нам нужно было рассчитывать только на себя. Отступать некуда: позади минные поля, а впереди — крутые берега реки. Видимости почти никакой, крупными хлопьями валит густой снег.

Половина людей неслышно перебралась и ушла за реку. Пора было двигаться и нам. Первым спускается Алеша Иванов, главный врач бригады, и вдруг, поскользнувшись, падает, и тут же гремит автоматная очередь! Это у Алеши автомат не был поставлен на предохранитель. Немцы тотчас открыли кинжальный огонь из обоих дзотов. Лежа в снегу и кляня Алешу на все корки, мы пережидали около часу. Когда стрельба наконец утихла, мы продолжали переправу. Скатываемся на лед кубарем, подымаясь охаем и кряхтим, и снова лезем на другой берег. А там в ста метрах от дороги видим развед-чика-партизана, он предупреждает: «Тише, гляди под ноги!»

Немцы, оказывается, протянули от дзота к дзоту проволоку и навешали на нее пустые консервные банки.

Переправа заняла четыре часа. Уже светало, когда мы, перейдя дорогу, вошли в лес. Там Орлов, Васильев и я пропустили всех вперед, выслушали доклады командиров отрядов, а затем пошли в конце колонны. А снег все продолжал валить, и где-то близко слышался гул моторов. Останавливаемся на дневку. Ни обсушиться, ни обогреться нельзя. Ложимся прямо в снег. Накрывшись палаткой, я сразу провалился в сон. И тут услышал голос ординарца: «Григорий Иванович, к комбригу». Вылезаю из какой-то ямы: оказывается, снег подо мной подтаял! Не сразу понимаю, почему собравшиеся у комбрига командиры отрядов хохочут: оказывается, раскисли новые полушубки, плохо выделанная овчина вытянулась от сырости и полы полушубков висят чуть ли не до пят…

Следующий наш марш был по тылам прифронтовой полосы, где много немецких войск. Шли осторожно всю ночь, а под утро вышли к какой-то деревне, обходя ее по опушке леса. Но что это? Видим, бегут из деревни немцы, кто в одном белье, кто в шинели нараспашку… Без единого выстрела мы заняли эту деревню, первую «нашу» деревню на оккупированной территории. Тут стоял какой-то хозяйственный взвод; часовой, увидя нас, крикнул, что Красная Армия идет в обход. Без боя нам достались трофеи — лошади, продукты, одежда. И дальше впереди нас самими немцами распространялся слух: «Фронт прорван, пятитысячное войско движется с пушками и пулеметами». Пользуясь паникой, мы за четверо суток добрались до территории бывшего Партизанского края.

Страшную картину представлял тогда этот Партизанский край. Стремясь покончить с непокорными советскими людьми, немцы выжгли все села четырех районов. Сотни людей были повешены, расстреляны, сожжены, угнаны в лагеря.

Наша бригада обосновалась в Серболовском лесу, а отряд

Объедкова был направлен на двадцать километров южнее, в Ухошинский лес. Настроили себе землянок, разместились, и сразу начались боевые будни: были посланы диверсионные группы на железные дороги и засады на шоссе — враг должен почувствовать, что Партизанский край живет, не побежден.

Собираю своих ребят из отрядов, советуемся. Сергей Старолатко, бывший пограничник, храбрый и горячий человек, работал раньше заместителем начальника особого отдела бригады. Уходя, он оставил связи, но теперь не было ни тех деревень, ни тех людей, которых знал Старолатко. Хороший совет дал Иван Петрович Подушишь По его словам, где-то поблизости должна быть группа милиционера М. С. Аникина, осенью ее оставили с заданием собирать разведывательные данные.

Проверяем, налаживаем связь. И сразу выясняется, что группа Аникина выжила, активно действует. Через связных Аникина, укрывшихся от немцев, мы занялись выяснением численности окружавших нас гарнизонов.

И тут произошел случай, взбудораживший весь личный состав. И опять нам, чекистам, а мне как начальнику оперативной группы в первую очередь, пришлось заняться судьбой человека, оценкой его поступка, разбираться в характере и мотивах, словом — заняться «человековедением». Это первое наше ЧП произошло с Иваном Петровичем Подушкиным. Пожилой, опытный чекист, уравновешенный человек, к тому же и веселого нрава, Иван Петрович попал в непривычную для себя ситуацию. В своем отряде он обнаружил предателя, тот подговаривал целую группу перейти на сторону врага. Опасность была большая: гарнизон немцев стоял всего в четырех километрах, если бы предатель ушел к ним, наша численность, вооружение, наше трудное положение в «пустыне» — все стало бы известно врагу. Следствием было установлено, что предатель этот — примазавшийся к партизанам полицейский.

Приговор партизанского суда был единодушным: расстрел. Приведение приговора в исполнение поручили Ивану Петровичу. Он пошел с предателем один, а тот вдруг помчался к лесу, в сторону немцев. Иван Петрович выстрелил ему вдогонку, но промахнулся. Пришлось поднять отряд в ружье, и только в полукилометре от немцев предателя настигли и уничтожили. Немцы, конечно, услышали стрельбу, открыли ураганный артиллерийский огонь. И нашим бойцам пришлось выходить из-под обстрела.

Над головой Ивана Петровича сгустились тучи. Некоторые даже требовали расстрелять его, но тут уж восстал я, сказав, что без санкции Ленинграда ничего предпринимать не стану. В конце

концов решили отправить Ивана Петровича в опасную разведку к деревне Заполье. Там стоял немецкий гарнизон. Надо отдать должное Ивану Петровичу — он принес нам ценные разведывательные данные об этом гарнизоне и сверх того подыскал там одну женщину-патриотку, согласившуюся работать с нами. И позднее, в многочисленных боях, Подушкин показывал себя с самой лучшей стороны.

Чекистам не раз приходилось участвовать в боях, так что никто не мог упрекнуть нас в трусости.

Расскажу, кстати, о подвиге Николая Семеновича Крупина. В районе Острова, среди болот (это было уже в 1943 году), немцы нас окружили и стали теснить отряд Ивана Герасимовича Светлова. Одна из рот этого отряда вела особенно тяжелый бой. Убит был командир, комиссар поднял роту и тут же упал, сраженный очередью из автомата. В критический момент остатки роты повел на врага чекист Крупин. Началась ожесточенная рукопашная схватка, немцев смяли, захватили пленных и оружие. Все были рады этой победе, а Коля Крупин пришел в штаб, хотел доложить, как было дело, и… упал без сознания: сквозная пулевая рана и потеря крови свалили его на землю. Николай Семенович Крупин долго еще потом воевал — смелый партизан, умный чекист, он все, что мог, дал Родине и сейчас продолжает трудиться на одном из заводов Ленинграда.

К началу 1943 года немцы уже почувствовали твер-дую руку обосновавшейся в Серболовском лесу партизанской бригады, ополчили против нас карателей. Тяжелые лесные бои шли ежедневно. В ночь под Новый год мы собрались в землянке санчасти: я, Орлов, начальник штаба Саша Юрцев и Алеша Иванов (он только что закончил ампутацию ноги у одного партизана, а медсестра Романова помогала ему; делали операцию без наркоза).

Мы прослушали выступление по радио Михаила Ивановича Калинина, выпили по чарке спирта, поздравили друг друга с Новым годом. «Что-то он нам готовит?» — думали мы.

А готовил нам новый год серьезные испытания.

Вечером Орлов дал команду сниматься с «зимних квартир». Убитых мы похоронили, раненых положили на сани и двинулись на юг, в Ухошинский лес, к отряду Объедкова. Это был лучший отряд бригады; его командир, лейтенант Красной Армии, пришел к партизанам из окружения. Талант Объедкова в прлной мере раскрылся в партизанской борьбе: быстрый, решительный, способный на дерзкие операции, лейтенант умел выходить из самых, казалось бы, безвыходных положений.

У Объедкова мы долго задерживаться не собирались, имея

задачу перебраться на запад, где действовала Третья бригада под командованием А. Германа. Главное было — выйти из «пустыни» и вести бои там, где есть населенные пункты, опираться на помощь местных жителей.

В дни, когда мы находились у Объедкова, он со своим отрядом решил выбить немцев из села Борки, где стоял довольно крупный гарнизон. Вот тогда-то и произошло событие, которое я назвал бы «первые ласточки». Во время боя, исход которого мы считали не особенно для нас удачным, вдруг станковый пулемет противника развернулся и открыл огонь по своим. При этом пулеметчик кричал нам: «Наступайте, товарищи, смелее, я вас поддержу!»

Объедков сперва даже не поверил, решил, что это провокация. Но бойцы с криком «ура» кинулись в атаку. Немцы побежали, оставляя оружие. Неизвестный нам пулеметчик оказался Василием Ефремовым, бывшим лейтенантом Красной Армии. В гарнизоне Борков было много русских, согласившихся или вынужденных служить немцам. Ефремов первым решился делом заслужить себе прощение за свою вину перед Родиной. Перешел он на нашу сторону не один, увлек с собой еще несколько человек.

Случай был для нас, чекистов Второй бригады, исключительный. Мы решили двоих из перешедших на нашу сторону людей направить обратно к немцам; там они должны были сказать, что чудом спаслись от партизан. Оба получили задания. В дальнейшем события сложились так, что встретились мы с ними не скоро. Лишь в марте 1943 года во время боев в районе озера Сево мне сообщили, что на нашу сторону перешла группа карателей. Я поехал туда, где их разместили, и вдруг слышу: «Товарищ командир, ваше задание выполнено!» Смотрю — а это один из тех двоих, бывший лейтенант Овчинников. Вернулся он к партизанам, привел с собой целую группу с оружием, боеприпасами и двумя ручными пулеметами и вдобавок принес ценные сведения.

Приятно было убедиться, что решение, принятое нами в Ухошинском лесу, принесло пользу. Разложение среди карателей, подготовка их к переходу на нашу сторону — это была очень для нас важная работа.

Но если мы старались направлять в немецкие подразделения своих людей, то и немцы неоднократно засылали к нам лазутчиков. Нужна была бдительность.

Однажды к нам пришла девушка, рассказала, что бежала из Риги, меняла вещи на продукты, а теперь надумала уйти к партизанам. Мы послали своих разведчиц, чтобы проверить ее

показания. Все как будто бы совпадало. Но вот пришел к нам Овчинников и сразу узнал эту девушку: она, оказывается, служила у немцев. Уличенная во лжи, девушка призналась, что немцы заслали ее к партизанам для разведки.

Наши люди были устойчивыми и принципиальными, героически сражались с врагом. Но в общую массу партизан проникли и отдельные нечестные люди, шкурники. Помню случай, когда три партизана, вернувшись с задания, доложили, что подорвали эшелон с танками. При проверке оказалось — «подорвали» они стог сена, к тому же украли обмундирование у своих. Мы выстроили отряд и поставили их перед строем. Спросили: что будем делать? Вышел вперед старик партизан и выразил единодушное мнение: расстрелять. Так мы и поступили с этими людьми, пытавшимися запятнать партизанскую честь.

Нашей бригаде поступил приказ — двигаться на север в район Псков — Гдов — Ляды — Плюсса. Позади нас должна была идти бригада Карицкого. У нас около двух с половиной тысяч бойцов, у Карицкого свыше тысячи — как пройти незамеченными? Этим занялось командование. А мы, чекисты, старались в каждом населенном пункте оставлять своих людей, с которыми можно поддерживать связь. Для этого требовалось наладить порядок связи, обусловить явки, пароли, тайники. Но как все это запомнить, не перепутать? Мы всегда на марше, документы могут храниться только в сумке, но и это опасно: был уже трагический случай, когда в одном из полков погиб чекист и сумка с документами досталась врагу. Стало быть, все наши связи, фамилии, названия деревень и пароли следовало зашифровать. А как? Кто нас этому учил? Никто.

Пришлось самим вырабатывать шифр. Что называется— и смех и горе… Использован был весь «опыт», почерпнутый когда-то, еще в детстве, при чтении приключенческой литературы. Теперь забавно вспоминать об этом, а тогда было не до шуток: в случае провала мы рисковали жизнью наших связных, патриотов, остающихся в тылу у врага для опасной и важной работы. К счастью, провала не произошло, наша «система» шифровки полностью себя оправдала.

При помощи наших связных мы получали сведения о предателях, активно действовавших на территории, оккупированной врагом. Не многим из них удалось уйти от возмездия. Помню, уже в 1945 году мы захватили в Ленинграде бывшего начальника порховской полиции Виктора Розова, известного своими зверствами над мирным населением. Сменив фамилию, Розов завербовался на работу в Петрозаводск. Затем приехал по делам в Ленинград и был нами обнаружен.

Агент абвера, начальник псковской полиции Герасимович тоже не избежал наказания. Сведения о нем были собраны нами еще во время партизанских действий. Эти сведения и помогли в дальнейшем разыскать предателя.

Как же собирались эти сведения? На марше, в постоянных перемещениях поддерживать связь было трудно. Помню, в районе деревни Шир был организован тайник, куда поступала информация о движении поездов на Ленинград. Бывало, отправишься к этому тайнику, а бригада в это время уходит в другое место. К тому времени бригада обосновалась в Сороковом Бору, в районе Гдова, тут был наш боевой район действий, тут нам предстояло создавать свое «хозяйство», наладить разведку. Очень осложняли нашу жизнь постоянные стычки с карателями, Лето 1943 года было тяжелым для нас, немцы не давали покоя, да и было из-за чего: бригада дважды за лето выводила из строя железную дорогу между Гдовом и станцией Ям.

Вот в это трудное лето в тайнике, куда прятала для нас сведения наша связная Зина, я нашел записку, в которой Зина сообщала, что никак не может пробраться к нам: кругом каратели, а важных сведений накопилось порядочно. Взяв трех бойцов, я пошел на связь к Зине. Идти надо было километров сорок. Поход был благополучным: Зина передала сведения о движении железнодорожных составов на Ленинград, о гарнизоне и списки служащих полиции. Правда, когда мы возвратились, нашей бригады на старом месте уже не было. Большого труда стоило ее найти.

В одной из волостей Лядского района помогал нам бывший учитель. Работая писарем в волостном управлении, он доставлял «аусвайсы». С этими немецкими документами мы послали двух связных во Псков, где они собрали ценные сведения.

Да, много было преданных, честных работников, незаметно, но с постоянным риском для жизни делавших свое дело. Особую роль сыграли в то время наши отважные девушки. О них хочется рассказать подробнее.

Разными, порой неожиданными путями приходили они к нам. Удивительна и трагична история Ани Григорьевой. В то время мы находились еще в отряде Объедкова. Однажды разведчики привели к нам в штаб молодую женщину с грудным ребенком. В деревне, где ее захватили, местные жители сказали: «Что вы с ней возитесь, ее на виселицу надо». А женщина требовала, чтобы ее привели к начальнику особого отдела. Разведчики доставили ее ко мне, а ребенка положили на стол. Захаров говорит: «Ну, Гриша, детей у тебя нет, вот бери да воспитывай». Я снял с себя полушубок, укутал ребенка— ведь был январь! — и стал

расспрашивать женщину. Что-то показалась она мне не похожей на немецкую разведчицу. Аня рассказала, что была радисткой в нашей разведгруппе, работавшей в районе Чихачева. Затем ей дали задание — внедриться в немецкие органы. Придумали «легенду» — бежала, дескать, от партизан к немцам. И Аня согласилась. Немцы приняли ее, тиснули в своей газетке «Рассказ партизанки», а затем увезли в Сольцы, где заставляли работать на станции радиоперехвата. Когда у нее родился сын, немцы послали ее к нам, чтобы устроилась радисткой и передавала им сведения о партизанских соединениях. И вот Аня у нас. Лагерь наш обстреливают, бомбят с самолета, нужно уходить. С помощью женщин-партизанок Аню с ребенком устроили в санях. По дороге был затяжной трудный бой. Утром развернули ребенка — а он мертв. Замерз…

Аня осталась у нас. Неоднократно ходила на задания, всегда с успехом. В одном из боев в августе 1943 года, когда мы были в окружении под Гдовом, получила тяжелое ранение. Товарищи понесли ее на носилках, но она подорвала себя гранатой, чтобы никому не быть в тягость…

Нам часто приходилось рисковать, поручая важные задания малознакомым лидам. Как правило, мы не ошибались. Помню, приехал как-то в штаб Коля Захаров и просит дать ему толу: в село Сорокино прибыл немецкий батальон, снятый с фронта на отдых. Батальону дано задание по борьбе с партизанами. «Надо им устроить отдых», — сказал Коля. Наша разведчица сообщила ему, что в соседней деревне проживает родственница хозяйки дома, в котором разместился штаб батальона. Захаров пробрался к этой женщине, долго с ней говорил, и она согласилась выполнить наше поручение. Съездила в Сорокино, отвезла немцам две корзины, полные битых гусей. На дне одной из корзин лежала еще и взрывчатка. Одну корзину она отдала немецким штабистам, а вторую поставила в чулан, затем ушла в партизанскую бригаду вместе с хозяйкой дома, своей родственницей. Кислотный взрыватель маломагнитной мины сработал в полночь, от немецкого штаба осталось одно пепелище.

Во второй бригаде, постоянно менявшей свое место, разведчиц мы подбирали от случая к случаю. Позднее, в восьмой партизанской бригаде, мы занялись этим делом «по науке»: всем своим ребятам я поручил присмотреть в отрядах грамотных и боевых девушек, имеющих родственные связи в Пскове, Острове и Порхове.

И вот в особый отдел стали приходить девушки — одна красивее другой, молодые, задорные, бесстрашные. Беседуя с одной из них, узнаю, что она раз уже сослужила нам службу: это к

ней, к Жене Шпаликовой, работавшей тогда кассиром банка в Пскове, ходили наши разведчицы с «аусвайсами», добытыми лядским учителем. Потом Женя убежала из Пскова, но там у нее мать, сестра, множество знакомых. Выросла она в Пскове, город знает как свои пять пальцев.

— А что, Женя, если поручим сходить в Псков?

Немного подумав, она дает согласие. Соглашается работать разведчицей и Тамара Бударина, смешливая, веселая девочка, только перед войной окончившая семь классов. В Пскове у нее мать и брат. К тому же Тамара немного говорит по-немецки. Но ребячества в ней хоть отбавляй. И хотя она заверяет: «Пойду, куда только пошлете», посылать ее нужно с кем-то более опытным.

Девушки эти совсем не подготовлены, что называется «сырой материал». В наличии у них лишь горячий патриотизм, а одного этого маловато.

Договорились, что будем их обучать, создали две группы. В одной готовили вербовщиков, в другой — маршрутниц, связисток. В этой лесной партизанской школе наши девушки прошли в короткое время соответствующую подготовку. Но главное, конечно, было в отваге, смелости и находчивости, которые обнаружили девушки. Как много сделали они, эти вчерашние школьницы! И в каких трудных условиях!

Женя Шпаликова (ныне Евгения Тимофеевна Крутикова) оказалась человеком исключительного мужества. Много раз ходила она в Псков, установила там нужные связи. Женя раздобыла карту зенитной обороны Пскова, которой потом с успехом воспользовалась наша авиация. Через Женю Шпаликову, Тамару Бударину, Ольгу Хромичеву и Ольгу Воробьеву мы поддерживали связь с подпольными группами на псковском аэродроме, на бирже и в других городских учреждениях. Из данных, собранных бесстрашными разведчицами, нам стало известно о большом скоплении вражеской авиации под Псковом. Эти данные мы передали в Ленинград, а в ночь на 17 февраля 1944 года наша авиация разгромила это скопище вражеской техники.

В холод, в дождь, в слякоть ходили наши девушки на задания. Бывало, отправишь их — и не находишь покоя: сумеют ли? не попадутся ли? Зато сколько радости было, когда разведчицы возвращались! Тут уж и обед для них готовится специальный, и лучшее помещение. Были они всегда одеты и обуты, партизаны относились к ним с особым уважением. В редкие часы отдыха девушки устраивали танцы.

Самое светлое воспоминание осталось у меня об этих скромных труженицах войны.

…Это было еще в сентябре 1943 года. По приказу штаба партизанского движения из нашей Второй бригады были созданы четыре самостоятельные бригады. Мне приказали отправляться в бригаду, которой присвоен номер восемь. Находилась она где-то под Островом, в районе Пушкинских Гор, километров за триста от нашего местопребывания.

Простившись с товарищами, я тронулся к месту новой службы. Шли мы лесами и глухими проселками. По дороге, конечно, «работали». Наткнулись на многожильный кабель — вырезали пятьсот метров; увидели полевой провод — перерезали… И так везде, где только могли, вредили немцам.

У деревни Заходы Порховского района мы наткнулись на засаду власовцев. В перестрелке я был ранен, истекал кровью и пролежал в лесу двенадцать суток. Тут нам помогли старые наши связи: староста деревни Заледенье каждый день выносил к колодцу ведро вареной картошки, ночью мои товарищи забирали его, а к утру оно, уже пустое, опять стояло у колодца. Когда рана моя немного затянулась, мы опять пошли на юг.

Подходя к деревне Лужки Карамышевского района, слышим звуки боя. Кто с кем воюет — неизвестно. Осторожно вошли в деревню. Видим — у избы часовой, совсем молоденький парнишка. Занялся починкой своих сапог, а винтовка в стороне. Миша Зеленкин, мой товарищ, подскочил — и хвать винтовку! Допрашиваем парнишку: кто такой, из какого отряда? А он улыбается:

— Отдай винтовку по-хорошему. Мы — воробьевцы.

Я впервые услыхал о Воробьеве. Кто такой — не знаю. Говорю: «Веди нас к нему в штаб».

Идем по деревне. Никто на нас не обращает ни малейшего внимания, ходят из дома в дом, о чем-то переругиваются. Затем видим группу бойцов, как видно только что вышедших из боя. И эти тоже не смотрят в нашу сторону. Привел нас парнишка в штаб. У стола, развалившись, сидит парень, одет хорошо, весь увешан оружием.

— Кто такие?

— Да мы вот…

— Ладно, идите во вторую роту, там вас зачислят. Оружие есть?

— Есть, говорим. — Вы хотя бы спросили, откуда мы. Может быть, не хотим у вас оставаться?

— А не хотите, так проваливайте откуда пришли! — хладнокровно отвечает парень. Как мы узнали вскоре, это и был командир отряда Воробьев.

Его помощник, зайдя в эту минуту в избу, увидев меня, сразу

стал оправдываться:

— Товарищ начальник, я не дезертир, я ни в чем не виноват…

Я узнал его: это был Володя Ковалев, наш партизан. Как-то еще весной он был послан в разведку и не вернулся. Теперь выяснилось, что он отстал и, не найдя нас на прежнем привале, вступил в отряд Воробьева.

Воробьев, заметив смущение своего помощника, недовольно проворчал:

— Что ты перед ним оправдываешься? Ты же — воробьевец!

— Дурак ты! — сказал ему Ковалев в сердцах. — Ведь это же начальник особого отдела Второй бригады!

Это известие заставило Воробьева измениться. Теперь уже я стал выяснять, кто он такой и кому подчинен. В ответ услышал нечто удивительное:

— Никому мы не подчинены.

Вот это — новость! Отряд в пятьдесят два бойца среди бела дня действует в восемнадцати километрах от Пскова, и никто о нем не знает.

Воробьев рассказал нам свою историю. Родом он был из соседней деревни и, чтобы избежать отправки в Германию, поступил служить в волостную полицию. Но через полгода забрал у полицейских оружие и вместе со своей женой Шурой ушел в лес. Действовал на свой страх и риск: разгромил два волостных управления, уничтожил немецкие документы — и все это вдвоем с женой! Местные жители прятали его от немцев; за его голову была назначена крупная награда. Весной 1943 года к нему присоединились еще три человека, бежавшие из немецкого плена, а за лето вырос отряд. Примкнули к нему и трое партизан из нашей бригады, отставшие вместе с Ковалевым.

Еще не зная, где находится Восьмая бригада, куда я шел с назначением, я объявил Воробьеву, что. отныне он будет подчиняться штабу этой бригады. Воробьев согласился. Тут же предложил нам участвовать в бою:

— Вблизи Черехи (пригород Пскова) стоит взвод немецких прожектористов. Мы думаем их пощипать. Пойдете с нами?

— А ты разведал обстановку? — спросил я.

— Чего там еще разведывать! Мне верные люди дали информацию.

— Ладно, пойдем, — согласился я, а сам наблюдаю: выстраивается отряд, дисциплины никакой, сплошная махновщина. Ребята рослые, сильные, вооружены трофейными автоматами, есть и пулеметы, но гранат почти нет.

К Черехе подходим ночью. Воробьев смело идет впереди, с ним несколько бойцов, отлично знающих местность. Немцев-

прожектористов мы застаем врасплох, спящими, в одном белье. Поднимается шум, перестрелка. Прожектора Воробьев приказал уничтожить. Захватили в плен фельдфебеля, нескольких солдат, забрали оружие. По-мальчишески, хвастливо Воробьев оставляет на месте разгрома записку: «Был, приду еще! Воробьев».

И в тот же вечер снимает свой отряд из Лужков, уходит в деревню Горушка. А деревня эта всего в трех километрах от Назимова, где стоит гарнизон власовцев: в бинокль видно, как движутся немецкие машины. Так что после дерзкого своего налета Воробьев прячется под самым носом врага. «Ну и Воробьев, ну и лихой парень», — думаю я.

Я решил на время остаться в этом «диком» отряде. Дело в том, что из бесед с бойцами, перебежавшими к Воробьеву из назимовского гарнизона, я узнал, что настроение в этом гарнизоне неустойчивое. «Дайте только знак, все перебегут, — сказали мне бойцы. — Никто с партизанами воевать не хочет». И тут возникла мысль: а нельзя ли разложить этот гарнизон, «взорвать» его изнутри? Ведь там около двухсот человек!

Узнаю, что в Стремутке, под Псковом, находится штаб первой ударной бригады власовской армии. Командир ее — белогвардеец, генерал Иванов, начальник штаба — полковник Кримияди. В селе Шванибахово — штаб батальона под командованием какого-то графа Ламсдорфа. Половина батальона в селе Назимове, командиром там некий Жданов.

Вот когда для исполнения задуманного плана пригодились старые мои чекистские связи! В мелеховской волости были наши люди: писарь Иван Иванович и учительница Тина. Через нашу разведчицу я вызвал Тину на свидание. Учительница обрадовалась, заплакала — ведь давным-давно не видела своих. Рассказала, что солдаты из Мелехова часто приходят на танцы в Назимово, что в гарнизоне есть у нее знакомый лейтенант Валентин Зуевич, который с радостью ушел бы от немцев, да боится. В селе Шванибахове капитан Иван Касьянов также настроен против немцев.

По моему заданию Тина пошла к Касьянову и принесла от него письмо, в котором содержались сведения о вооружении батальона. Писарь Иван Иванович сообщал мне, что делается в Назимове. Затем Тина уговорила лейтенанта Зуевича встретиться со мной. В условленное время мы с ним увиделись. Это был молодой, крепкого сложения человек, общительный, веселый. Рассказал, что ищет случая, чтобы уйти и увести свой взвод. Солдаты ушли бы давно, но побаиваются неизвестности. Офицеры настроены по-разному.

Я поручил Зуевичу постепенно подготовлять солдат к

переходу на нашу сторону, действуя осторожно, но настойчиво. На этом мы с ним расстались. Начало было неплохое.

Затем мы решили написать письма графу Ламсдорфу и Жданову, начальнику гарнизона в Назимове. Мы писали им о бессмысленности войны между русскими людьми: наша общая задача — прогнать с русской земли немцев. В заключение пригласили для переговоров. Письмо подписал я, назвавшись комиссаром партизанской бригады: напишешь «чекист» — еще отпугнешь.

Первым на встречу с нами явился Жданов. Бывший лейтенант Красной Армии, он попал в плен под Таллином еще в 1941 году. Разговаривая со мной, смущается, чувствует свою вину. Я убеждаю его перевести к нам гарнизон и вместе воевать против немцев. Жданов вроде бы и согласен, но чего-то боится.

Ночью после этой встречи к нам пришел Зуевич и рассказал, что Жданов собирал своих офицеров, сообщил им о встрече со мной. Офицеры приняли это сообщение сдержанно. Зуевич, памятуя наш инструктаж, промолчал, чтобы ничем пока не выделяться и не выдать себя.

В ту же ночь к нам перебежали из Назимова девять солдат. Большого труда стоило нам с Воробьевым убедить их возвратиться в гарнизон и подготовить там других солдат. Не очень охотно, но все же перебежчики отправились обратно.

На следующий день ординарец Жданова принес письмо. Теперь между нами и власовцами завязалась официальная «дипломатическая» переписка. Вот что писал нам командир гарнизона:

«С вами я говорил насчет дальнейших действий. Мы будем вместе бороться на благо нашей Родины, но я не решаюсь прийти к вам один, я приду с ротой, дайте срок. Если вы пожелаете прийти к нам, то пожалуйста, не бойтесь, будьте уверены, мы люди свои, стрелять я в вас не разрешаю, так же как и вы.

С приветом к вам, Жданов. 7.X 1943 г.»

Ну, думаю, лед тронулся! Еще бы, ведь неделю назад они еще воевали с нами. Теперь не зевай, лови жар-птицу за хвост! Вместе с Воробьевым мы уже потираем руки, сидим ночью и разрабатываем план перевода власовцев. А рано утром Воробьев меня будит.:

— Вставай, Григорий Иванович, еще пакет от Жданова.

Вскрываю пакет.

«Комиссару бригады. Товарищ комиссар, ваше предложение находится сейчас в стадии обсуждения. Окончательного решения самостоятельно по вашему предложению я принять не в состоянии. Я жду моего непосредственного начальника, с

которым мы вместе прибудем к Вам, в Ваш штаб для детального обсуждения…»

Вот тебе и жар-птица! Поторопились мы с Воробьевым радоваться: Жданов-то испугался, тянет… Далее он писал, что согласен явиться со своим начальником к пяти часам вечера.

«Мы обязательно постараемся прибыть… Но возможно и опоздаем. Убедительно прошу Вас, товарищ комиссар, не рассматривать это как нежелание, как бы ни было поздно, но сегодня мы обязательно будем. Прошу Вас быть уверенным в нашем благородстве.

Н. Жданов».

Итак, Жданов оказался тряпкой и болтуном. Что ж, посмотрим, каков его начальник граф Ламсдорф. Вряд ли от него можно ждать хорошего… Но мы посылаем ответ, назначаем место встречи и, не очень-то надеясь на «благородство» представителей власовцев, отправляем группу автоматчиков в засаду.

И что же? Опять является на свидание только Жданов, опять начинается длительная беседа, уговоры, агитация. И опять он как будто соглашается, но просит подождать: на днях к ним. должны прибыть танкетки, тогда он приведет их с собой. Я его слушаю, а сам думаю: «Хитришь, стервец! Получите танки, тогда пойдете нас давить. Нет, так дело не пойдет!»

Спрашиваю Жданова, почему на встречу не пришел граф Ламсдорф. Объясняет не очень убедительно: будто бы граф не прибыл в Назимово.

Следующее письмо было написано явно под диктовку графа Ламсдорфа. Нигде этот граф не «задержался», и Жданов, как видно, обо всем с ним советуется. Обширное послание заканчивалось предложением «еще раз встретиться», при этом на встречу эту требовали обязательно нашего комбрига! Желали, так сказать, провести встречу на самом высшем уровне.

А где нам было взять комбрига, если я и сам еще не знал, где находится моя бригада. Пишем в ответ, что комбрига нет, на встречу явятся «известный вам комиссар и командир штабного отряда».

Отбираем десять автоматчиков, приказываем побриться и почиститься. «Прихорашиваемся» и сами: начищаем ремни, одежду; жена Воробьева подшивает нам чистые подворотнички. Нас с Воробьевым разбирает любопытство: живых графов мы никогда еще не видали.

Идем на условленное место. День солнечный, погожий. Навстречу нам идут несколько офицеров и солдат, одеты во все новое, пуговицы, погоны, бляхи на ремнях так и блестят — ну просто картинка. В свите, окружающей графа, вижу Жданова. Он

представляет мне своего шефа, представляюсь и я:

— Комиссар партизанской бригады Репин.

— О, не родственник ли великого художника? — любезно осведомляется граф. Отвечаю для солидности, что родственник, но дальний. На самом деле я из уральских крестьян.

Двое из наших товарищей принесли хлеб, сало., бутылку самогона; где-то даже раздобыли красивые чашки. «Стол» накрыли прямо на траве. Уселись, выпили по случаю встречи. После первых «бокалов» напряжение чуть разрядилось. Граф пьет мало, абсолютно трезв.

— О предложениях ваших я знаю, мне говорил Жданов. Мы охотно перешли бы на сторону Красной Армии, а к партизанам… нет! У вас дикие законы, наши солдаты боятся партизан. Вот мы и решили: переходить к вам не согласны, но трогать вас не будем.

— Что ж, — говорю, — спасибо и на том. Но вы же знаете, граф, что ваши солдаты воевать не хотят. Они разбегутся по первому нашему сигналу.

— Я к своим солдатам отношусь, как отец к детям, — отвечает граф. — Они меня уважают, слушаются…

Так мы и беседуем, а автоматчики наши глаз не сводят с господ офицеров. Бутылка самогона допита, беседа стала и вовсе непринужденной. Ламсдорф интересуется жизнью нашей страны, расспрашивает о Москве и Ленинграде. Я спрашиваю прямо:

— Неужели не ясно, что немцы уже теперь терпят поражение?

И расходимся мы мирно, оставшись каждый при своем, но в умах господ офицеров наша встреча оставила свой след.

Дома Воробьев мне говорит:

— Врет он все, этот граф. Давайте я съезжу к ним в гарнизон, узнаю истинное настроение солдат. Ведь нас же приглашали.

Рискованное, конечно, предприятие, но мы решаем испробовать. И, взяв с собой двух человек, Воробьев отправляется к власовцам.

Территория гарнизона ограждена колючей проволокой. Часовой, стоявший у ворот, сперва не хотел впускать нашу «делегацию», затем раздвинул опутанные проволокой козлы.

Вернулся Воробьев целый и невредимый, с ходу начал рассказывать:

— Я там попросил выстроить солдат и такую речугу им толкнул! Думаю, солдаты пойдут к нам!

Вместе с Воробьевым мы разработали план действий, сообщили его Зуевичу. Назавтра Зуевич — дежурный офицер по гарнизону.

Наступает 11 октября 1943 года. Осенняя темная ночь. Воробьев с группой тщательно отобранных бойцов подходит к

гарнизону. По условленному паролю часовой открывает ему ворота. Зуевич сам встречает наших, докладывает, что все готово. После этого Зуевич объявляет тревогу. Через две-три минуты солдаты уже на плацу, строятся и, как по команде, захватили с собой все личное «хозяйство», даже одеяла и подушки. Бегут на плац и офицеры. Зуевич и им приказывает становиться в строй. Подчиняются. Затем из темноты выходит Воробьев со своими бойцами, командует:

— Все строем и к партизанам, марш!

Солдаты-власовцы закричали «ура». Командир одной из рот кинулся было бежать, но тут же его скосила автоматная очередь.

И вот колонна в сто пятьдесят человек походным маршем выходит из ворот. Власовцы все в немецкой форме, с погонами, идут в новую, неизвестную им жизнь. Дисциплина — идеальная.

А навстречу им движется подготовленный нами обоз в двадцать повозок. Грузим на повозки боеприпасы, медикаменты, продукты, минометы, пулеметы. Сколько добра! И все взято без боя, без единой капли крови.

Остаток ночи мы с Воробьевым совещаемся. Решаем, что командиром лучше всего назначить Жданова: этим мы дадим понять бывшим власовцам, что доверяем им полностью. Собрали офицеров, спросили, кого бы они хотели иметь командиром. Офицеры молчат, мнутся. Тогда я прошу построить колонну. Выходим вместе с Воробьевым, видим, все построены в два ряда, как по линейке.

— Дорогие товарищи, солдаты и офицеры! — говорю я и вижу, что многие плачут. Спрашиваю, почему слезы? Отвечают:

— Мы давно не слышали слова «товарищ»…

Я им разъяснил положение на фронтах, рассказал о наших задачах, ответил на вопросы. Беспокоились главным образом о своих семьях, спрашивали, можно ли написать домой. Когда я объявил, что перешедшие на нашу сторону вольются в отдельный отряд, лица у всех повеселели. Затем я сказал, что командиром отряда будет Жданов. Обязанности комиссара этого вновь созданного отряда я взял на себя; Жданову поручил подобрать командиров взводов и начальника штаба. Около сорока человек из бывших власовцев, в том числе и лейтенант Зуевич, остались в отряде Воробьева.

Вновь созданному отряду я объявил, что двигаться будем на соединение с Восьмой партизанской бригадой, что выступаем на следующий день. А где она, моя бригада, в которую я добираюсь с такими приключениями, мне еще неизвестно.

Сердечно прощаюсь с Воробьевым. Район действия его отряда остается прежним. Ему еще много работы по разложению других

гарнизонов власовского воинства.

На шоссе Порхов — Остров наш отряд заметил три немецкие крытые машины. «Ну, теперь самое время испытать бывших власовцев, — подумал я. — Как-то они поведут себя в бою?» Быстро установили пулеметы, приготовили гранаты. Человек десять открыто выходят на дорогу — все они в немецкой форме! Шофер первой машины остановился и не сразу разобрал, кто перед ним, а когда понял, было уже поздно. Нам удалось захватить машины, забрать пленных и опять немалое количество разного добра. Боеприпасы, продукты, офицерские чемоданы. Все, что нам было нужно, мы взяли, а машины сожгли. Затем быстро уходим. Один из бывших власовцев говорит:

— Ну вот, счет мы свой открыли…

Через несколько суток похода нам удалось наладить связь с бригадой. И вот под вечер часовой доложил: «Едет большая группа верховых в мохнатых шапках». Это были наши товарищи, среди них и Леонид Васильевич Цынченко, командир бригады.

Рассказываю обо всем, в том числе и об отважном командире «дикого отряда» — Воробьеве. Цынченко не верит: «Как так? Дикий, и никому не подчинен? Не может этого быть». Позже Воробьева вызвали в штаб бригады, утвердили командиром отряда, приобщили к общей партизанской жизни, словом — вывели иа «дикого состояния».

В своих заметках я не упоминал о десятках мелких боев и стычек с противником, в которых чекисты участвовали с оружием в руках. Таких боев было множество. Случались и крупные операции. В январе 1944 года штаб бригады решил нанести массированные удары по коммуникациям врага. Мне с командиром второго полка Солодухой было поручено руководить операцией на станции Дуловка. Провели разведку. С наступлением темноты семьсот человек, в том числе и отряд из бывших власовцев, ворвались на станцию. Завязался жаркий бой. Одна группа поджигает эшелоны с кипами сена, другая взрывает паровозы, третья — железнодорожные стрелки; а отряд под командованием Жданова окружает немецкие казармы и забрасывает их гранатами. Пытаемся взорвать водокачку. Шум, грохот, стрельба, дым и пламя поднимаются над эшелонами, обгорает сено, и… вот здорово! — под сеном на четырнадцати платформах оказались танки. Больше уж этим танкам не ходить в атаку на нашу пехоту!

Под утро по станции начинает бить немецкая артиллерия. Пусть бьет! Тут уже нами все сделано: магистраль Псков — Ленинград выведена из строя. В это же время идет бой на станции Черская, на разъезде Орлы дерется с немцами отряд Воробьева,

на станцию Бренчаниново напал капитан Раздуев, и везде с автоматом или пулеметом в руках бьются с врагом и наши товарищи чекисты.

И вот, наконец, великая радость: пришла разведка частей Красной Армии. Ликованию нашему нет предела, и мы, чекисты партизанских соединений, встретившись с людьми Большой земли, счастливы тем, что не зря нас посылали за линию фронта — мы работали и воевали честно.

Иван Петраков. ПЕРЕПРАВА

Писать о Сталинградской битве нелегко. Слишком еще волнует все пережитое на Волге. Ведь город погибал на моих глазах. Рушились дома, горели заводы, горела нефть на воде. И главное — гибли люди. Замечательные наши люди. Гибли, уничтожая врага.

Затрудняет мою задачу и еще одно обстоятельство. Про битву на берегах великой русской реки говорилось много, приложили свои силы к этой теме и прозаики, и поэты, и кинематографисты.

Придает мне смелости лишь то, что рассказывать я собираюсь о сравнительно малоизвестных вещах.

Итак, перенесемся мысленно на берега Волги. Только рассказ свой я хочу начать с событий, которые предшествовали великой битве за Сталинград. Дело в том, что для нас, чекистов, битва эта разгорелась значительно раньше. Воевать мы начали еще в тишине.

Весной 1942 года Сталинград был глубоким тылом. Мирно катила свои воды красавица Волга, дымили заводы, в скверах играли дети. Еще ни одна бомба не упала на город, и раненые, которых привозили в госпитали, были не здешние, не сталинградцы.

Я возглавлял тогда один из отделов областного управления НКВД. Чувствовалось по многим приметам: немцы целятся на Сталинград. Они усиленно прощупывали этот тыловой город, засылали к нам свою агентуру. Но мы, по мере своего умения, старались обрезать щупальца врагу.

В эту весеннюю пору к нам явился молодой человек в форме лейтенанта. Назвался Озолиным. Сказал, что незадолго до войны окончил военное училище связи в Сталинграде и в первых же боях попал в плен. Там его завербовали для разведывательной работы, направив в специальную школу. Затем на самолете перебросили к нам.

Озолин явился с повинной добровольно.

— Хочу служить Родине! — заявил лейтенант.

Важные сведения, сообщенные Озолиным, при проверке подтвердились. Выходило, что человеку можно верить.

Мы начали радиоигру против немцев. Они требовали донесений о передвижении воинских эшелонов, поездов с боеприпасами и вооружением, о ходе оборонительных работ, о моральном состоянии населения. Озолин регулярно их передавал. Сведения эти, разумеется, составлялись нашим командованием. Кстати, они не были сплошной «липой» — иначе

бы немцы раскусили нашу контригру. Нет, сообщали мы полуправду. И выходило это довольно удачно. Скажем, немцы начинают бомбить какую-нибудь станцию, а нужный им эшелон или только что ушел или еще не пришел на эту станцию.

Хорошо помогал нам лейтенант в раскрытии шпионской сети противника. Помню такой случай. Мы дали Озолину указание затребовать у немцев помощника. Из-за линии фронта ответили, что помощника он должен встретить на станции Гумрак, сообщили приметы.

С группой чекистов я выехал на станцию Гумрак. Расположились в кустах. Кругом было полно народу: невдалеке шли крупные оборонительные работы. Как в этой сутолоке угадать врага? Озолин, видим, тоже волнуется.

И вдруг наш лейтенант шагнул навстречу другому лейтенанту. Остановились, стали о чем-то говорить. Это и был, оказывается, новый вражеский агент. При задержании он пытался выхватить револьвер, но не успел. Воротник гимнастерки, где была ампула с ядом, мы сразу оборвали.

Глядел на нас «лейтенант» волком. Был он, как потом выяснилось, выходцем с Западной Украины. Ярый буржуазный националист, люто ненавидевший все советское. Такой тип, конечно, не явился бы с повинной к нам.

Немцы тем временем прорвались к Сталинграду, вышли в районе Латашинки на берег Волги. Город напоминал в те дни кромешный ад. День смешался с ночью, трупы людей — с трупами животных. Все сталинградцы, способные держать оружие в руках, встали на защиту родного города.

Мне было поручено возглавить сводную роту. В нее вошли чекисты, милиционеры, пожарники — всего немногим более шестидесяти человек. Задачу перед нами поставили трудную — удержать центральную переправу через Волгу любой ценой. Достаточно было лишить нас сообщения через Волгу, и тогда в город не смогли бы прибыть резервы. Я уж не говорю об эвакуации населения и ценного имущества.

Немцы прекрасно это понимали и бешено рвались к переправе. Они превосходили нас численно, были хорошо вооружены. А мы имели лишь винтовки, несколько автоматов, три пулемета на всю роту да с десяток гранат. Но, как поется в известной песне о матросе Железняке: «И десять гранат — не пустяк».

Не пустяк, если прибавить к ним мужество и стальную волю людей, решивших стоять насмерть.

Немцы прижали нас к берегу Волги. До них было всего метров полтораста, они кричали нам с верхних этажей

прибрежных зданий:

— Рус, сдавайся. Вольга буль-буль!

Но сдаваться мы не собирались. Наоборот, время от времени переходили в контратаки. Удалось даже отбить у врага две пушки со снарядами. Правда, артиллеристов среди нас не было, но мы нашли выход из положения: открывали замок и, глядя через ствол, крутили ручку наводки до тех пор, пока не показывалась цель.

С каждым часом наше положение становилось все труднее. Выручал крутой волжский откос: немцы никак не могли нас «достать». Сковывало их действия и то, что они не имели представления о нашей численности. Правда, ими была предпринята неудачная попытка «прощупать» этот вопрос.

Дело было так. Однажды в лощине, которая шла от домов специалистов к нашему КП, появился мальчик лет двенадцати.

— Мне нужен ваш главный начальник! — заявил он бойцу-милиционеру.

Боец пытался узнать, в чем дело, но мальчишка упорно твердил одно:

— Скажу главному начальнику!

Привели его ко мне. Мальчишка как мальчишка, только очень худой и грязный.

— Как тебя зовут?

— Коля.

— Зачем я тебе понадобился?

И вот что довелось услышать в ответ. Отец и мать Коли при бомбежке погибли, а сам он скрывался в подвале какого-то дома. Потом туда ворвались немцы, и одна старуха заговорила с ними на их языке. Видимо, она была немка. Гитлеровцы что-то ей приказали, и старуха ушла. Однако вскоре вернулась испуганная, в чем-то оправдывалась. Тогда офицер при помощи старухи заговорил с Колей. Ему было велено пробраться в наше расположение и узнать силы защитников переправы.

Пока что Коля сообщил нам кое-какие сведения о немцах.

Затем сказал, что не хочет возвращаться обратно.

— Или вы научите меня, как им получше соврать! — попросил храбрый мальчуган.

Что было делать? Мальчика могли расстрелять немцы, он мог погибнуть от случайной пули. Имели ли мы право рисковать жизнью юного патриота?

Посоветовавшись, мы все-таки решили послать Колю к немцам. Он ненавидел врага, хотел быть полезным Родине в грозный для нее час. Что же касается опасности, то в этом городе она была всюду.

И вот Коля, тщательно проинструктированный, ушел назад — ушел один, маленький, беззащитный — может быть, навстречу смерти. Однако она пощадила храброго мальчугана. Добравшись до знакомого офицера, он рассказал ему все, что «увидел» у нас. А «увидел» он многое: и хорошо вооруженных бойцов, которых видимо-невидимо, и танки, и пушки.

И что самое примечательное — Коля снова сумел к нам пробраться. На этот раз мы отправили маленького храбреца в другую сторону — на попутном катере за Волгу. Сделали это, несмотря на энергичные его протесты: мальчуган просил оставить его в Сталинграде.

Сталинградская битва — это ожесточенная схватка двух могущественных армий. Участвовали в ней сотни тысяч людей, огромное количество танков, пушек, самолетов. Такой она вошла в историю, и это правильно. Но случалось, особенно поначалу, и по-другому. Нередко натиск врага сдерживала горстка людей, и счет велся не на полки и дивизии.

На моих глазах гибли многие мои товарищи, сам я был тяжело контужен. Но переправа оставалась в наших руках. И это было самым важным: ведь из-за Волги вот-вот должны были появиться наши резервы.

В один из критических моментов, когда казалось, что враг опрокинет нас в реку, я решился на контратаку. При этом, чтобы ошеломить противника, наметили ударить с двух сторон. Своему помощнику Ромашкову я дал пятнадцать бойцов, себе взял «из резерва» десятерых. Вот такими «силами» мы и должны были потеснить немцев.

И что же? Потеснили.

Реальная угроза захвата Сталинграда вызвала необходимость эвакуации мирного населения. Большую группу женщин и детей решено было отправить пароходом. Но к тому времени, когда он отчалил от пристани, немцы уже вышли на берег Волги. И, конечно, тихоходное речное судно представило для них прекрасную мишень. Пароход загорелся и стал тонуть. Обезумевшие пассажиры бросались в воду, надеясь спастись вплавь. Немцы их хладнокровно расстреливали, хотя и видели, что за люди плыли на этом пароходе.

Недалеко от правого берега, занятого немцами, была песчаная отмель. Вот туда-то и выбрались те, что плавали получше. Были спасены и многие дети. Ну, а что дальше? В ста метрах — немцы. А до «своего», левого, берега — широкое водное пространство.

Узнали об этом несчастье в городском штабе обороны, стали прикидывать: как помочь людям?

И вот я получаю задание: выехать на место, принять все необходимые меры. Мне дают моторку, и я с выделенным в помощь нашим сотрудником Грошевым двинулся вверх по Волге.

Разбитый, исковерканный город дымился. На тракторном заводе, среди его обрушенных пролетов, кипел бой.

Заметив нас, немцы открыли пулеметный огонь. Впереди вспарывали воду. Но мы, ловко маневрируя, избежали фашистских пуль. Потом заехали на косу, что отделяет Ахтубу от Волги. Когда же коса кончилась, решили пристать к левому берегу и дальше идти пешком: иначе было не добраться.

На прибрежном участке, который был напротив песчаной отмели, мы встретили бойцов железнодорожного батальона. Я посмотрел на отмель в бинокль, и сердце мое сжалось. На плоской песчаной низине ни деревца, ни кустика. Виднеются лишь маленькие бугорки. Это люди, спасшиеся от смерти, вырыли себе руками окопы.

В городском штабе я слышал разговор об использовании бронекатеров Волжской флотилии. И только здесь понял, что этот вариант совершенно не годится: уж очень заманчивую цель представили бы для немцев бронекатера. И на лодках плыть к этим людям было невозможно, ночи как назло стояли лунные.

Оставалось лишь одно: успеть вывезти их за короткий срок с девяти до десяти часов вечера, пока не взошла луна. Главное при этом — сохранить тишину. Если при подходе наших лодок к отмели кто-нибудь подаст голос, — немцы немедленно откроют огонь.

Мы договорились с командиром расположившейся неподалеку зенитной батареи, чтобы они заранее пристрелялись по засеченным огневым точкам врага. Это на тот случай, если немцы откроют огонь во время спасания женщин и детей.

Для спасательных работ были выделены семь лодок. Одна за другой они ушли в темноту. Расположив бойцов на полотне железной дороги, я внимательно наблюдал за ходом операции. Время тянулось медленно — каждая минута казалась чуть ли не часом. Несколько успокаивала тишина в расположении немцев и на отмели. Наконец, когда, казалось, прошли все сроки, подошла первая лодка, за ней вторая, третья. Солдаты бережно выносят на руках детей, раненых, женщин. Кажется, все? Нет, идет еще одна, последняя лодка. И вдруг в ней пронзительно вскрикнул раненый ребенок:

— Мама, мне больно!

Только эти слова! Но немцы их услышали, и сразу заговорили пулеметы, автоматы, в небо взлетели ракеты.

К счастью, все кончилось благополучно. Всех спасенных— а

их было семьдесят два человека — мы отвели в укрытие. Их покормили, напоили чаем, раненым оказали помощь.

Дальше все шло по плану. Утром подошли машины, и всех спасенных увезли в тыл. А я вернулся в сражающийся, непокоренный Сталинград, где дорог был каждый человек, который мог держать оружие.

Враг наседал все яростнее. Мы потеряли счет дням и ночам. Днем багровый дым заслонял солнце, ночи были светлыми от пожаров.

Нас оставалось все меньше, но отступать мы не собирались. Да, собственно говоря, и некуда было отступать.

И вот однажды, в самый разгар боя, боец Мрыхин крикнул, показывая на Волгу:

— Смотрите, смотрите!

Я оглянулся и не поверил глазам: по широкой реке, вскипающей от разрывов и пулеметных очередей, к нашему берегу мчался катер с бойцами. Вражеские снаряды ложились спереди, сзади, справа, слева. А катер бесстрашно летел вперед. Это придало нам силы. Мы кинулись в атаку, и немцы, не выдержав нашего удара, отошли.

Между тем катер пересек реку, и на берег сошел бравый полковник. Потом я узнал, что это был командир 42-го полка 13-й гвардейской дивизии Елин.

Так я впервые увидел гвардейцев, увидел и подумал:, «Вот это армия! С такой мы разобьем врага».

Потом в Сталинград переправился со своим штабом генерал Родимцев. Начался новый, победоносный этап великой битвы на Волге.

Среди памятников, воздвигнутых в легендарном волжском городе, есть и памятник чекистам. Он очень прост: бронзовый воин застыл на пьедестале с мечом в руке. И я думаю, что чекисты вправе гордиться этим памятником: их участие в сталинградском сражении по достоинству оценено народом.

Михаил Николаев. СОКОЛ ВЫЗЫВАЕТ ЛЕНИНГРАД

Март на исходе, а зима не сдается. Ночами крепко подмораживает, и снег лежит почти нетронутый, чуть ноздреватый. «Ну что ж, и на том спасибо, — подумал Савельев. — На лыжах идти легче».

А «путь у него был неблизкий. И все лесами, в обход натоптанных дорог.

Хорошо еще, что местность была знакома. Вот открылась в лесу заснеженная поляна. Савельев ее помнит: сколько раз бывал здесь, отдыхал под той сосной. Залитая голубым лунным светом, она казалась теперь чужой и таинственной. А это что? Мелькнуло у поваленного дерева, снова мелькнуло. Никак зайчишка? Точно, он самый. Жирует косой, лакомится осиной.

Почуяв неладное, зверек встал на задние лапы, прислушался. Савельев тихонько кашлянул. Зайчишку как ветром сдуло. Николай Иванович невесело усмехнулся: «Ишь ты, кашля боится, а к стрельбе привык! Да и как не привыкнуть? Днем и ночью немцы обстреливают Ленинград. Бьют с побережья, с Вороньей горы. А она вот, рядышком…»

Война бушевала уже восьмой месяц. Ворвалась она и сюда, в тихий этот лесной край. Ворвалась, перед каждым поставив вопрос: «А что ты сделал для защиты Родины?»

Николай Иванович Савельев ответил На Этот вопрос без колебаний: он стал разведчиком.

Долго, да и вряд ли необходимо рассказывать, как это случилось. Никогда он до этого не бывал на подобной работе, но раз она нужна для победы, раз в ней лучше всего могут проявиться его способности, принял ее охотно.

И вот — позади учеба, тренировки. По заданию чекистов перешел он Финский залив и углубился в тыл врага. Благо ему, как уроженцу здешних мест, не нужно было ни карт, ни проводников. И немцев он не боялся. Шел смело. Пусть они его боятся, а он у себя дома, на своей земле.

Задание Николай Иванович получил от старшего лейтенанта Завьялова.

— Вы должны выяснить силы фашистов на южном берегу Финского залива, и главным образом на Сойкинском полуострове. Этот участок особенно интересует командование. Разведайте удобные переходы через линию фронта: они нам пригодятся в будущем. Завяжите полезные знакомства с местным

населением…

Людей он здешних знал. И его в этих краях знали все. Иное дело — его попутчики. Сейчас они в лесу, в землянке, вырытой кем-то еще осенью. Сидят, наверно, тревожно прислушиваются к каждому шороху, ждут. Ребята совсем еще молодые, в этих местах ни разу не бывали. Впрочем, и сам он не был здесь полгода. И поэтому не стал терять времени. За три ночи обошел окрестные деревни, встретился с нужными людьми.

На Сойкинском полуострове немцев было напихано изрядно. Оборону побережья возглавлял капитан морской службы Хоншильдт. Штаб его в Ловколове, в средней школе. Вокруг — колючая проволока, рядом вырыты бункера. По углам — пулеметные дзоты. Гарнизон — человек семьдесят.

Перебирая в уме добытые сведения, Николай Иванович шел на лыжах, торопясь к оставленным в лесу товарищам.

Идти ему было трудно: сказывались блокадные лишения. Вот и знакомый овражек, две поваленные осины, лежащие крест-накрест.

Савельев прислушался. Кругом тихо. Подал условный сигнал, подождал. Ответа не было. Еще раз посигналил. Опять молчание. Неужто спят? Нет, не должны вроде. Во всяком случае, один обязан дежурить.

Осторожно обойдя овражек, он двинулся к землянке. И сразу понял, что случилась беда: дверь землянки была настежь распахнута. Товарищей не было. Где же они? Что с ними случилось? Николай Иванович искал их целые сутки — напрасно. А потом вьюжной ночью ушел в Ленинград.

— Погибли твои товарищи, — сказал Завьялов. — Выследили их каратели. А сведения твои мы немедленно доложим в Смольный. Значит, немцы реконструируют аэродром? Это хорошо, авиация его накроет. В Руди-лове склад боеприпасов? Отлично! А с земляками удалось встретиться?

— Как же! Через них все и узнал. Истосковался народ по правдивой весточке из Ленинграда, очень интересуются, как мы тут живем. Был я, между прочим, у дяди своего, у Василия Трофимовича Нестерова. Мужик умный, головастый, говорит мало, а примечает много. Рассказал ему про блокаду, про бомбежки и голод — даже всплакнул дядя от жалости. И прямо сказал: «Можешь на меня рассчитывать. Что смогу — сделаю!» В деревне Мишино заглянул к Николаю Осипову. Молодой, толковый парень, думаю, пригодится. И еще встреча была с Анной Сергеевной Конт. Чем хорошо — на хуторе живет она, вокруг никого. Условился, будет принимать наших людей…

Разведчики проговорили почти до утра.

После первого похода в тыл врага Николая Ивановича отправили в Ораниенбаум на коротенький отдых. Но уже на другой день к нему приехал Завьялов, привез незнакомую молоденькую девушку.

— Знакомься, это Люба.

— Колмакова, — добавила девушка.

Савельев взглянул на Любу. Лицо у нее было курносое, вьющиеся волосы не умещались под ушанкой. Из-под ватника выглядывала матросская тельняшка.

— Люба служит в морской пехоте, — пояснил Завьялов. — Раньше специализировалась по библиотечному делу, а теперь… Впрочем, она сама все расскажет. Вы теперь вместе пойдете.

В тыл? С этой вот хрупкой девочкой? Да ведь там и мужчинам бывает несладко.

Люба посмотрела на него, словно догадалась о его мыслях.

— Знаю, Николай Иванович. И тяжело бывает и страшновато. Но кому-то ведь надо идти, не так ли?

— Надо, — согласился Савельев.

Вот и пойдем вместе. Вдвоем все же легче…

Ах, молодость, молодость! «Вдвоем легче»… Какое тамі Двое — значит, и задание на двоих. А ночные переходы по болотам? А многочасовые наблюдения за врагом? Лежишь в снегу, ни кашлянуть, ни встать, ни размяться.

Впрочем, хорошо, что он не сказал об этом Любе, такая она оказалась выносливая девчонка.

Фронт они пересекли благополучно. Лесом вышли к деревне Красная Горка. В ней жил Василий Трофимович, дядя Савельева. Залегли в кустах, а когда стемнело, огородами подкрались к дому. Хозяин открыл им дверь, молча провел в избу, задернул занавески на окнах. Хозяйка полезла в печку. И вот уже на столе чугунок с картошкой.

Любе тогда показалось, что вкуснее этой картошки ничего она в жизни не едала. Довоенное эскимо и то не, так быстро таяло во рту, как это дымящееся чудо. Одно было плохо — сразу потянуло ко сну.

— Э-э, дочка! — улыбнулся хозяин. — Залезай-ка на печку!

Второго приглашения не потребовалось.

Вскоре улеглась и хозяйка. Мужчины закурили. Николай Иванович чувствовал, что дядя хочет ему сказать нечто важное, да все не соберется.

— Вот что, племянник, — начал он наконец, — ты, брат, того… Поаккуратнее будь. Лютуют нынче немцы, с обысками наезжают.

— Спасибо, учту.

— А это что за девочка с тобой?

— Напарница моя…

— Молода больно…

— В прошлом году десятилетку окончила. В Петергофе жила. Ну, а как немцы его захватили — в разведку попросилась.

— Эдакая-то птаха!

— Она в тыл к немцам ходила. Одна…

— Ну и дела! — покрутил головой старик. — Неужто не страшно ей по тылам-то ходить?

— Говорит — не страшно! Да я и сам замечал; ничего не боится.

Под утро Савельев разбудил девушку.

— Пора, Любаша! Пошли.

И вот они шагают через лес, чавкая по грязи, проваливаясь в ямы с холодной, ледяной водой. Ничего не попишешь — весна.

— Немцы-то не хозяева тут, — негромко говорит Люба. — Вот мы и ходим у них под носом, добрые люди нас картошкой угощают, и ничего!

Следующую ночь они провели в лесной землянке. Моросил мелкий дождик, ветер раскачивал сосны, и они гудели протяжно и глухо.

Утром Люба отправилась в разведку. Вернулась поздно и с обильным материалом.

— Пишите, Николай Иванович. В деревне Пейпия — комендатура. Сорок солдат и четыре офицера. Охрана пристани — двадцать человек. В двухстах метрах на запад— тяжелая батарея «Бисмарк». Четыре орудия, сто немцев. На северной окраине деревни Вистино — такая же батарея. Бьют по Ленинграду.

Николай Иванович удивился удачливости своей напарницы:

— Подожди, не успеваю записывать. И как тебе удалось все это разузнать?

— Удалось! — подмигнула Люба. — Я же вам говорила: никакие здесь немцы не хозяева…

В другой раз они отправились новым путем. Балтийские моряки доставили их к мелководью на катере, а до берега они шли вброд. Знакомая землянка пообветшала, заросла травой. Быстро привели ее в порядок. В уголке Люба примостила небольшое зеркальце.

— Чтобы как дома было…

Она всегда и во всем была домовитой, уверенной в своем превосходстве над врагом.

Лишь однажды она удивилась. Вернулся Николай Иванович в землянку поздно. Принес ей картошки, хлеба. Был чем-то

радостно возбужден.

— Знаешь, с кем я нынче встретился? С самим старшиной Мишинской волости!

Люба чуть не подавилась.

— С самим старшиной? Так это же главный здешний гад!

— Вот именно — главный. Только не гад, а хороший человек.

— Но он же немецкий прихвостень. Разве немцы хорошего человека поставят старшиной?

— Это ты зря, Любаша. Не все те люди плохи, что работают у немцев. Многие потому работают, что так надо.

— А что он делал до войны?

— Ветеринарным врачом работал. Там же, в Мишине. Народ очень его уважает. Ну, а мне он сообщил немало интересного.

Вечером разведчики снова тронулись в путь. На этот раз вдвоем. Сперва зашли к Василию Трофимовичу. Тот встретил их с неизменным радушием, накормил. Правда, чем-то был встревожен, чего-то недоговаривал.

— Говори уж, что случилось? — спросил Николай Иванович.

— Да видишь ли, какое дело… — старик помолчал, подбирая слова. — Нашелся прохвост, донес немцам про тебя. ну, а они нагрянули к твоей матери. Перевернули весь дом. Татьяну, мамашу твою, избили. Чуть было не расстреляли.

Николай Иванович скрипнул зубами. Сволочи! За что же бить старуху?

— Надо навестить вашу маму, — решительно сказала Люба.

— На засаду нарветесь, — предостерег старый рыбак.

— А мы осторожно. Как вы считаете, Николай Иванович?

Савельев колебался. Конечно, надо было навестить мать, успокоить, приласкать. Ну, а если и впрямь засада?

И все же они пошли в Слободку, в родную деревню Савельева. Пока не стемнело, вели наблюдение из леса. Затем Николай Иванович невидимыми тропками вывел Любу к своему огороду. Пролезли сквозь тын, подошли к дому, и разведчик тихо стукнул в окно. Молчание.

Постучал снова. В окне мелькнула тень, и женский голос что-то спросил. Что именно, Люба не поняла. Между тем Николай Иванович ответил тоже на непонятном языке, и девушка вдруг вспомнила: Савельев по национальности ижор, говорит с матерью на родном языке.

В сенях громыхнуло пустое ведро, стукнула щеколда. Николай Иванович крепко взял Любу за локоть, и они шагнули в еле видимый проем двери. Вошли в избу, и там Николай Иванович молча обнял мать.

А старушка, припав к груди сына, тихо заплакала.

— А где Петька?

— Спит на печке, не буди, — зашептала мать.

— Ну пусть спит, — согласился Николай Иванович. — Как живете-то? Сильно тебя били?

— Ну, уж и били… Так, постращали… Да что ты все обо мне? Дай-ка я покормлю вас прежде. Садитесь за стол.

Татьяна Трофимовна сунула большой ухват в печку, что-то поддела там и вдруг, охнув, присела. Потом, держась обеими руками за бок, проковыляла к табуретке, тяжело опустилась.

— Вижу, как они тебя стращали! — сдавленно прошептал Николай Иванович. — Ну, погоди, ответят за все!

Всю обратную дорогу Савельев молчал. И Люба понимала, что ему не до разговоров.

А через несколько дней наступил условленный срок возвращения в Ленинград. К вечеру разведчики подошли к берегу залива и залегли в кустах. Солнце медленно опускалось к горизонту, заливая все вокруг теплым, ласковым светом. Картина была удивительно мирной. Не хватало только лодок с рыбаками да парусных яхт. Правда, на ленинградской стороне все время ухало, но этот голос войны вполне можно было принять за дальние раскаты грома. Волны с легким плеском набегали на песок.

Люба, как зачарованная, любовалась закатом.

— После войны привезу сюда в воскресенье своих подружек, скажу им: вот, девочки, красотища какая! Любуйтесь! И главное — войны не будет, все будет, как всегда было. — Она помолчала. — А вы приедете сюда, Николай Иванович?

— А мне и ехать не надо. Пешком приду. Вместе со своей Евдокией Андреевной и всем выводком. Младшую-то у меня тоже Любашей зовут. Шестой ей пошел.

— А где они?

— В Вологодской области. Конечно, в эвакуации тоже не сладко. Ну, да всё не под бомбами…

Между тем стемнело. В воздухе резко похолодало, и с моря надвинулся туман.

Вскоре Люба уловила легкое постукивание мотора.

Николай Иванович вышел из кустов, неторопливо достал фонарик и три раза махнул. В ответ послышался приглушенный свист. Пройдя немного по воде, разведчики увидели три силуэта, двигавшиеся к ним со стороны моря. То были встречавшие их моряки.

В Ленинграде Николая Ивановича ожидало тяжелое известие. Умер Завьялов. Умер прямо на работе в своем кабинете. Врачи сказали, что это результат зимней голодовки.

Через день ему сообщили, что Люба Колмакова в составе отряда спецназначения отправляется на Псковщину. Жаль было Николаю Ивановичу расставаться со своей верной спутницей. Но что поделаешь! Надо — значит надо!

— Береги себя, Любаша! — сказал он на прощание. — Помни, что ты обещала привезти своих подружек к нам на побережье…

— Привезу, Николай Иванович. Непременно привезу!

Но не приехала на побережье Люба Колмакова, не довелось. В одной из схваток отряда с карателями бесстрашная девушка раненой попала в плен. Озверевшие враги бросили ее, еще живую, в горящую избу.

В конце 1942 года войска Ленинграда готовились к прорыву блокады. Командованию фронта нужны были исчерпывающие данные о противнике, о его резервах.

Получил задание и Савельев. На этот раз он отправлялся во вражеский тыл, чтобы создать партизанский отряд.

— Ваш отряд не должен вести боевых действий, — сказали ему в Ленинграде. — Главная ваша задача — разведка.

До деревни Красная Горка разведчик добрался глухой ночью и сразу пошел к дяде. Василий Трофимович приходу племянника обрадовался. Они обнялись, поцеловались.

— А я уж думал, нет тебя в живых, — сказал старый рыбак.

— Жив, как видишь. А как вы тут?

— Про нас лучше не говорить. Под окнами смерть ходит. Ты ко мне первому зашел?

— Нигде еще не был. А что?

— Беда, племяш, большая беда…

— Что случилось? — встревожился Савельев.

— Немцы твою мать сгубили. Нет больше в живых Татьяны. И Петьку застрелили…

В глазах у Николая Ивановича потемнело. И все же нашел в себе силы, выслушал до конца.

Каратели расправились с его близкими в отместку за неуловимость советского разведчика. Сперва мучили, потом увезли в Нарву и расстреляли.

Долго горевать он не мог. Нужно было выполнить задание, подобрать надежных людей.

— Я теперь не уйду отсюда до прихода наших, — сказал Николай Иванович. — Так что посчитаемся с фашистами за все. Главное сейчас — найти подходящий народ. Нужны люди смелые, самоотверженные — работа предстоит нелегкая…

Вскоре такие люди нашлись, и отряд начал действовать. В назначенные дни Сокол вызывал Ленинград, чтобы передать разведывательную информацию.

Пришли проситься в отряд и односельчане Николая Ивановича — Виктор Александров и Владимир Михайлов. Молодые парни, они служили у немцев в полицаях. Оба сказали, что не могут больше служить врагу, что самое их заветное желание — сражаться против немцев с оружием в руках.

— Придется послужить немцам, — огорошил их Николай Иванович. — Там вы больше принесете пользы, чем в отряде.

«Полицаи» ушли с заданием.

Сообщения Сокола были короткими:

«Убили на дороге майора и двух обер-лейтенантов. Документы высылаем».

«Между Усть-Лугой и Валговицами курсирует бронепоезд. Обстреливает остров Лавансаари. Шлите подрывников».

Почувствовав возрастающую силу отряда, немцы взялись за усиленные поиски партизанской базы. Еще сильнее они разъярились, когда на железной дороге раз за разом стали рушиться под откос воинские эшелоны. Кое-что им удалось пронюхать. Потом они запеленговали рацию Сокола и обрушили на лагерь отряда артиллерийский удар. Пришлось срочно перебазироваться.

Тем временем разведчики продолжали свою работу. Они проникали в самые дальние деревни, беседовали с людьми, приободряли их, собирали сведения о немцах.

Много зла причиняли советским людям предатели. И тут пригодились Николаю Ивановичу его «полицаи», смело выполнившие первое задание командира отряда.

Ночью они подошли в Котлах к дому начальника района предателя Баранова, постучали. Хозяин выглянул, узнал полицейских.

— Двух неизвестных заметили, — сказал Александров. — Больно на партизан похожи. Надо бы задержать…

— Я мигом, — обрадовался Баранов. — Вот только оденусь и оружие прихвачу…

На улице Баранова обезоружили. Той же ночью незадачливый начальник района оказался на партизанской базе.

Кончался декабрь, а с ним — еще один год тяжкой, кровавой войны. 30 декабря разведчики доложили — из Кингисеппа прибыло около двухсот карателей. Завтра будут наступать на партизанскую базу.

И действительно — утром со стороны Хабаловского озера началась атака. Пришлось принять бой. Длился он весь день, до темноты.

Сокол сообщил об этом в Ленинград. Оттуда ответили: активных действий не вести, сохранить отряд для разведки.

Через несколько дней отряд получил задание: захватить «языка».

— Ну, ребята, — обрадовался Николай Иванович. — Если дело дошло до «языка» — значит, наши скоро начнут наступать! Надо постараться!

Двое суток ходили разведчики по лесам, часами лежали в засаде у дорог. И им повезло: наскочил на них немецкий мотоциклист.

Обер-ефрейтор оказался весьма осведомленным человеком. В этом Савельев убедился, допросив его на партизанской базе. Ленинград предложил Соколу немедленно переправить пленного на Большую землю. На другой день партизаны передали «языка» с рук на руки морским разведчикам.

А вскоре настал долгожданный миг: загрохотала ленинградская артиллерия. Советские войска перешли в решительное наступление. Немцы дрогнули, стали поспешно откатываться. Чтобы не дать уйти им, партизаны провели тылами врага морской батальон прямо в Усть-Лугу.

После снятия блокады Николай Иванович в последний раз собрал свой отряд.

— Что ж, товарищи! — сказал он. — Дело свое мы сделали. Спасибо вам за нелегкую вашу службу. Теперь кто помоложе, пойдет в армию, а остальные — по домам. Пора и рыбу ловить!

Так Сокол снова стал Николаем Ивановичем Савельевым, тружеником рыболовного промысла.

Василий Горбушин. В МАЕ 1945 ГОДА

Я — ленинградец. Работал на Кировском заводе, был мастером второго механического цеха, а незадолго до Великой Отечественной войны горком партии направил меня в органы государственной безопасности. В блокадные дни занимался оперативно-следственной работой. Затем вместе с нашими войсками проделал весь нелегкий путь от Ленинграда до Берлина.

События, о которых я хочу рассказать, происходили в мае 1945 года.

I

Захватить Гитлера, живого или мертвого, — такая была поставлена задача перед нами.

Вытекала эта задача из военно-оперативной обстановки: в полосе действий нашей 3-й ударной армии находились здания рейхстага и имперской рейхсканцелярии.

К ночи с 1 на 2 мая 1945 года эти здания были уже взяты и над ними развевались красные знамена Победы. В Берлине установилась относительная тишина. Смолк орудийный грохот, затихли минометы и автоматы. Из подземелий и подвалов, из полуразрушенных домов выходили немецкие солдаты и офицеры, строясь в длинные колонны военнопленных. На улицах немецкой столицы, на ее площадях высились кучи оружия, брошенного гитлеровцами. Воздух был пропитан запахом дыма и гари — от не остывших еще пепелищ и от последних не погашенных еще пожаров. Из окон многих домов свисали белые флаги капитуляции.

2 мая группа наших товарищей, в которую входили подполковник Клименко, майоры Быстров, Аксенов, Хазин и другие, начала действовать в здании рейхсканцелярии. Здесь ими были задержаны техник правительственного гаража Карл Шнейдер и шеф-повар рейхсканцелярии Вильгельм Ланге. И это оказалось очень кстати. И Шнейдер, и Ланге были использованы как опознаватели и проводники в лабиринтах фашистского подземелья.

Около запасного выхода из фюрербункера — последнего убежища Адольфа Гитлера, — в воронке от разорвавшегося снаряда были в тот же день обнаружены едва прикрытые землей полуобгоревшие трупы мужчины и женщины.

Лицо мужчины сильно обуглилось. Однако нацистский костюм, весь в клочьях, в черных пятнах подпалин, желтый галстук, золотой партийный значок со свастикой, да и вся тщедушная фигурка со скрюченной ступней правой ноги на металлическом протезе, — все это заставляло думать, что перед нами имперский министр пропаганды Геббельс — один из главарей разбойничьей гитлеровской империи.

Тщательно осмотрев оба трупа, Шнейдер и Ланге опознали в них Геббельса и его жену Магду. Опознать супругу Геббельса помогли найденные возле ее трупа номерной нацистский значок и золотой портсигар — подарок Гитлера с его личным факсимиле.

Об этой находке нами был составлен акт.

Несколько позже, в тот же день, трупы Геббельса и его жены были опознаны взятым в плен вице-адмиралом Фоссом, представителем военно-морских сил в ставке Гитлера. Вечером оба трупа были доставлены на грузовой машине во двор Плетцензейской тюрьмы.

Но где же Гитлер? О судьбе бесноватого фюрера носились по Берлину самые фантастические и самые противоречивые слухи.

Мы продолжали поиск.

Рано утром 3 мая майор Аксенов и лейтенант Ильин в одном из помещений фюрербункера обнаружили шесть детских трупов — пятерых девочек и мальчика. Все шестеро лежали на койках, словно живые. Трупы детей были укрыты одеялами й одеты в одинаковые ночные сорочки из белой в синюю полоску фланели.

Как засвидетельствовали опознаватели, это были дети Геббельса. Их трупы также были отвезены во двор Плетцензейской тюрьмы. Туда же был доставлен и обнаруженный во дворе рейхсканцелярии труп генерала Кребса, начальника штаба сухопутных войск фашистской Германии.

В тот же день удалось задержать врача госпиталя рейхсканцелярии Гельмута Кунца, который, как выяснилось, был причастен к умерщвлению детей Геббельса.

На допросе Гельмут Кунц показал, что 1 мая, в 20 часов 40 минут, по просьбе Магды Геббельс он сделал ее детям укол морфия. Потом, когда дети уснули, обезумевшая фанатичка потребовала дать им яд.

Лютой ненавистью ненавидели Гитлер и его подручные всех нас, пришедших в их логово, чтобы уничтожить фашизм. Они знали, что будут в ответе за моря человеческой крови и слез. Ведь их чудовищные экзекуции не щадили и малых детей. И вот теперь, в последнюю минуту, в ужасе перед возмездием, они, видимо, думали, что мы отплатим им той же мерою и в гневе своем не пощадим даже детей. Ведь у людоедов свои собственные представления о гуманизме, мерят они на свой аршин.

Словом, Магда Геббельс настойчиво требовала убить ее детей. Но даже привыкший к беспрекословному повиновению Гельмут Кунц отказался выполнить этот приказ фанатички. Тогда Магда Геббельс вызвала Штумпфеггера, личного врача фюрера, и они вдвоем разжимали рты спящим детям, совали в них ампулы с цианистым калием и сжимали детские челюсти, чтобы раздавить стекло. Геббельс в это время метался по своему кабинету. Убедившись, что дети мертвы, Магда спустилась к нему в кабинет с Гельмутом Кунцем и сказала: «С детьми все кончено, теперь нам нужно подумать о себе». Тот засуетился, забегал по кабинету, как затравленный волк. «Скорее же, у нас мало времени», — торопила

жена.

Времени у них действительно оставалось в обрез: в ворота рейхсканцелярии требовательно и грозно стучался советский воин-победитель.

Супруги Геббельс приняли цианистый калий.

Кто вынес их трупы из подземелья и кто пытался сжечь, Гельмут Кунц не знал.

На вопрос о местонахождении Гитлера Гельмут Кунц ответил, что труп фюрера сожжен в саду рейхсканцелярии. Об этом ему якобы стало известно от Раттенхубера, начальника личной охраны Гитлера.

К исходу дня 3 мая более достоверных сведений о Гитлере мы не имели. Где он? В самом ли деле мертв? Не удалось ли матерому зверюге улизнуть из своей берлоги?

На фоне различных слухов и диких вымыслов свидетельство Гельмута Кунца выглядело правдоподобным. Поэтому мы решили продолжать самые энергичные розыски во дворе и в саду рейхсканцелярии. Должен сказать, что это занятие оказалось не из легких. Весь двор и весь сад были насквозь перепаханы бомбами, снарядами и минами. На сравнительно небольшом клочке земли буквально живого места не оставалось.

4 мая поисковая группа, возглавляемая старшим лейтенантом Алексеем Александровичем Панасовым, вела тщательное исследование сада рейхсканцелярии. Внимательно просматривался и чуть ли не прощупывался каждый квадратный метр изрытой взрывами земли, не оставались без внимания ни одна воронка, ни один бугорок, ни один самый, казалось бы, незначительный предмет.

Солдат Иван Дмитриевич Чураков вскоре заметил, что в одной из воронок, неподалеку от запасного выхода из фюрербункера, торчит из земли кусок серого одеяла. Чураков подозвал к себе товарищей — Евгения Степановича Олейника и Илью Ефремовича Сероуха. Подошел к ним и старший лейтенант Панасов. Воронку раскопали и в ней обнаружили два сильно обгоревших трупа — мужской и женский. В той же воронке были найдены и два собачьих трупа — крупной овчарки и щенка.

На следующий день трупы, обнаруженные в воронке, были вывезены из сада рейхсканцелярии на грузовой автомашине в сопровождении капитана Дерябина, старшего лейтенанта Панасова и пятерых солдат. Мы старались сделать это скрытно, дождавшись темноты, чтобы не привлекать внимания любопытных.

Собаки были опознаны сразу. Сука темно-серой шерсти с ошейником из мелкокольцевой цепи оказалась овчаркой Гитлера

по кличке Блонди. Небольшой черношерстный самец с окровавленной мордой был ее щенком. Как стало позднее известно, Адольф Гитлер, прежде чем отравиться, пробовал яд на собаках.

Мужской и женский трупы сильно обгорели. Опознать их путем обычного осмотра было невозможно.

Все трупы, включая и собачьи, были доставлены в местечко Берлин-Бух, где подверглись судебно-медицинской экспертизе. Исследование проводила специально созданная комиссия под председательством подполковника медицинской службы Ф. И. Шкаравского.

Эксперты установили, что на мужском и женском трупах, а также на собаках нет никаких признаков повреждений, которые могли вызвать смерть. И у людей, и у собак смерть наступила в результате отравления цианистыми соединениями. Во рту у трупов были найдены кусочки тонкого стекла. Лишь у обгорелого женского трупа позднее было обнаружено огнестрельное ранение в области груди, произведенное уже после отравления. Кроме того, было констатировано огнестрельное ранение у щенка, которого сперва отравили, а затем пристрелили.

Анатомируя трупы, врачи изъяли челюсти со множеством искусственных зубов, мостиков, коронок и пломб. Эти «анатомические находки» эксперты считали решающим средством для опознания трупов. Их-то и решили мы использовать в целях бесспорного установления смерти Гитлера и Евы Браун.

Я выехал на розыски дантистов Гитлера. В одной из берлинских клиник я встретился с ее руководителем профессором Айкеном. В беседе с ним удалось выяснить, что личным зубным врачом Гитлера был профессор Блашке. Тут же мы направились в клинику этого профессора. По поручению профессора Айкена нас туда Сопровождал его сотрудник, молодой болгарин, учив-іпийся в Берлине и застрявший там в связи с войной.

В клинике профессора Блашке нас встретил доктор Брук. Узнав, что прибыли мы для встречи с его шефом по важному для советского командования делу, Брук сказал, что самого профессора в клинике нет, и спросил, не может ли его заменить аспирантка профессора Кете Хойзерман. Я попросил пригласить ее на беседу. За ней был послан студент-болгарин, и вскоре она явилась.

— Где находится история болезни Адольфа Гитлера? — спросил я Кете Хойзерман.

— Здесь, в картотеке, — ответила она.

Быстро перебрав картотеку, Хойзерман извлекла из ящика

один из листков, оказавшийся историей болезни Адольфа Гитлера. Записи свидетельствовали, что у фюрера были изрядно порченые, чиненые-перечиненые зубы.

Нужны были еще и рентгеновские снимки зубов Гитлера, но их в клинике не оказалось. На мой вопрос, где их отыскать, Кете Хойзерман ответила, что ©ни, вероятно, хранятся в кабинете профессора Блашке в здании рейхсканцелярии.

Не задерживаясь в клинике и забрав с собой Кете Хойзерман, мы поехали в рейхсканцелярию. Здесь мы спустились в подземелье, разыскали зубоврачебный кабинет профессора Блашке и с помощью Кете Хойзерман вскоре обнаружили рентгеновские снимки зубов фюрера и несколько готовых золотых коронок, которые дантист не успел ему поставить.

Кете Хойзерман сообщила мне, что протезистом, изготовлявшим коронки и мосты для Гитлера и Евы Браун, был зубной техник Фриц Эхтман, адрес которого ей известен. Мы поехали к Эхтману и застали его дома. Объяснив, для чего мы прибыли, я пригласил его поехать с нами. Он охотно согласился.

Хойзерман и Эхтмана я допрашивал раздельно. В допросе участвовал и майор Быстров.

Отвечая на мои вопросы, Кете Хойзерман и Фриц Эхтман подробно описали зубы Гитлера по памяти. Их описания мостиков, коронок и зубных пломб точно совпали с записями в истории болезни и с рентгеновскими снимками, имевшимися в нашем распоряжении. Затем мы предъявили им для опознания челюсти, взятые у мужского трупа. Хойзерман и Эхтман опознали их: это были челюсти Адольфа Гитлера.

После этого в таком же порядке мы попросили дантистов описать зубы Евы Браун, и когда оба подробно ответили на наш вопрос, предъявили им золотой мостик, снятый при анатомировании с зубов женского трупа.

Кете Хойзерман и Фриц Эхтман сразу сказали, что этот зубной протез принадлежит Еве Браун. При этом Фриц Эхтман добавил, что своеобразная конструкция мостика, сделанного для Евы Браун, — его собственное изобретение и что подобного способа крепления никто из протезистов еще не применял.

После всего этого вновь собрались наши эксперты-медики. Исследовав историю болезни, рентгеновские снимки и челюсти мужского трупа, эксперты пришли к окончательному выводу, что зубы эти принадлежат Адольфу Гитлеру.

Таким образом, нами были добыты неопровержимые доказательства смерти бесноватого фюрера.

В старину говорили, что труп врага хорошо пахнет. Это, разумеется, фигуральное выражение. Мне и моим товарищам,

которым по долгу службы довелось немало повозиться со смердящими полуобгоревшими трупами фашистских главарей, так не показалось.

В ходе дальнейшего расследования нами были добыты более подробные сведения об обстоятельствах смерти Адольфа Гитлера.

12 мая был задержан эсэсовец из охраны фюрера — некий Гарри Менгесгаузен. Он рассказал, что 30 апреля, между 15 и 17 часами, он нес охрану фюрербункера и сам видел, как из запасного выхода личный адъютант Гитлера штурмбанфюрер Гюнше и личный его слуга штурмбанфюрер Линге вытащили труп своего хозяина. Положив труп Гитлера около воронки от бомбы, они вернулись в бункер и через несколько минут притащили труп Евы Браун. Затем оба трупа были облиты бензином из автомобильных канистр и подожжены.

В саду рейхсканцелярии рвались снаряды и мины, над головами адъютанта и слуги, пытавшихся сжечь своего главаря и его сожительницу, свистели осколки, трупы плохо горели. Так и не закончив своей работы до конца, Гюнше и Линге столкнули трупы в воронку и наспех засыпали землей.

13 мая подполковник Клименко с группой солдат повез Гарри Менгесгаузена в рейхсканцелярию. Здесь, в саду, неподалеку от выхода из фюрербункера, охранник тотчас же указал воронку, в которой на его глазах были закопаны Гитлер и Ева Браун. Он, конечно, не знал, что трупы из этой воронки уже извлечены.

Место это было нами соответственно заактировано и сфотографировано.

Свидетельство Гарри Менгесгаузена позднее было подтверждено начальником личной охраны фюрера — обергруппенфюрером СС и генерал-лейтенантом полиции Гансом Раттенхубером.

Ганс Раттенхубер сам руководил сожжением Гитлера и Евы Браун. Он же показал, что по личному приказанию Гитлера, опасавшегося, что яд может не подействовать, Линге должен был выстрелить в фюрера после того, как тот отравится. Г1о-видимому, рука у слуги сильно дрожала, и вместо Гитлера пуля попала в грудь мертвой Евы Браун.

В подземелье фюрербункера нами были изъяты личные бумаги Гитлера, дневники Геббельса и записи Бормана.

Весьма характерен был дневник Геббельса. Записи фашистского министра пропаганды свидетельствовали о том, какими коварными методами провокаций и авантюр готовили Гитлер и его подручные вероломное нападение на нашу страну.

II

16 мая 1945 года я получил от руководства новое задание и на следующий день в составе нашей Контрольной комиссии прибыл в город Фленсбург. Контрольную комиссию возглавлял генерал-майор Н. М. Трусов.

В задачу Контрольной комиссии Главного командования Советской Армии входило совместно с Контрольной комиссией штабов экспедиционных сил США и Англии осуществлять действенный контроль за ходом капитуляции войск фашистской Германии.

Передо мной, кроме того, была поставлена задача обеспечить изъятие материалов о деятельности немецкой разведки на Восточном фронте. Необходимо было также решить ряд других вопросов оперативного характера. В помощь мне был придан подполковник Ивлев, в совершенстве владевший немецким языком.

Разместились мы на борту комфортабельного пассажирского дизель-электрохода «Патрия».

К нашему прибытию во Фленсбурге уже действовала Контрольная комиссия союзников, состоявшая из американцев и англичан. Возглавлял комиссию генерал-майор американской армии Руке, а заместителем у него был английский генерал Форд. Эта комиссия также размещалась на борту «Патрии».

Во Фленсбурге ни английских, ни американских войск еще не было. В городе, несмотря на капитуляцию Германии, всюду виднелись флаги с фашистской свастикой. По улицам маршировали немецкие солдаты, передвигались танки, артиллерия. В Датском заливе стояли многочисленные военные корабли и подводные лодки Германии.

Как ни в чем не бывало, продолжали функционировать фашистское правительство во главе с гросс-адмиралом Деницем и генеральный штаб немецкой армии — ОКВ во главе с фельдмаршалом Йодлем. Немецкие штабы охранялись вооруженными постами.

Глава нашей Контрольной комиссии на первой же встрече с руководством Контрольной комиссии союзников потребовал, в соответствии с актом о безоговорочной капитуляции, немедленно ликвидировать фашистский государственный аппарат и генеральный штаб — ОКВ, арестовать его руководителей как военных преступников, разоружить и интернировать в лагерях весь личный состав армии и военно-морского флота.

Генералы Руке и Форд ответили, что сделать этого не могут,

так как в районе Фленсбурга нет сил, которые могли бы осуществить такую большую операцию. Они заверяли, что проведут ее, как только подтянутся к Фленсбургу английские войска.

Комиссия наша продолжала настаивать на своих требованиях. Нам было ясно, что союзники ведут какую-то закулисную игру, предоставляя фашистскому правительству и штабу организованно перебрасывать на запад ценное имущество, вооружение и личный состав армии.

Офицеры нашей Контрольной комиссии занимались выявлением экономических и военных ресурсов гитлеровской Германии. Мы опрашивали ответственных лиц из правительства Деница и из генерального штаба, возглавляемого Йодлем. Мне и подполковнику Ивлеву удалось установить, что все немецкие документы разведывательного характера о Советской Армии англичане успели вывезти из Фленсбурга в бельгийский город Динст. Я доложил об этом генералу Трусову и просил вступить в переговоры о передаче этих документов нам. Англичане согласились с нашими доводами и поручили одному из своих офицеров сопровождать меня и подполковника Ивлева в Динст.

Вечером 22 мая союзники объявили всем офицерам нашей Контрольной комиссии, что на следующий день будет проводиться операция по аресту военных преступников из фашистского правительства и генерального штаба германской армии. Во избежание возможных инцидентов нам в этот день запрещалось сходить на берег.

Но инцидентов мы не боялись и, несмотря на запрет, вместе с подполковником Ивлевым сошли по запасному трапу с «Натрии», сели в машину и поехали в город. Проезжая мимо городского стадиона, мы увидели около пяти тысяч обезоруженных солдат, матросов и офицеров фашистской армии, находящихся под охраной англичан. На всех перекрестках Фленсбурга дежурили пулеметные расчеты, а дороги из города были перекрыты английскими патрулями. Фашистские флаги повсеместно исчезли. На многих учреждениях и жилых домах в знак капитуляции были вывешены белые флаги.

Беспрепятственно прошли мы в штаб ОКВ и в резиденцию Деница. В одном из кабинетов резиденции я обнаружил личный портфель Деница, туго набитый разными бумагами. В нем, в частности, оказалось политическое завещание Гитлера.

Во второй половине дня союзники доставили на борт «Натрии» группу немецких генералов и адмиралов специально для того, чтобы мы убедились в их аресте. И тут произошел случай, свидетельствующий об отсутствии должного порядка в

охране военных преступников.

Командующий военно-морскими силами Германии (после адмирала Деница) гросс-адмирал Фридебург схватился вдруг за живот. Его отвели в туалет. Фридебург закрыл за собой дверь и на требования выйти долго не отвечал. Когда дверь взломали, гросс-адмирал был уже мертв — успел раздавить ампулу с цианистым калием.

Вскоре после этого англичане информировали генерала Трусова, что в городе Люнебурге примерно при таких же обстоятельствах покончил жизнь самоубийством глава гестапо Генрих Гиммлер. Англичане просили направить наших офицеров, чтобы они могли убедиться в достоверности его смерти. В связи с этим было решено совместить мою поездку в Динст с заездом в Люнебург.

Рано утром 24 мая я и подполковник Ивлев в сопровождении майора английской армии выехали из Фленсбурга.

У шлагбаума на окраине Люнебурга нас ожидал офицер английской армии, указавший дорогу к зданию, где находился труп Гиммлера. Войдя в это здание, мы увидели лежащий на полу труп. На лбу краснело пятнышко— характерный след действия цианистого калия.

Из бесед с английскими офицерами выяснилась следующая картина самоубийства Гиммлера, этой зловещей фигуры третьего рейха.

В один из майских дней английский патруль задержал на улице в Люнебурге трех неизвестных нарушителей комендантского часа и направил их в лагерь для гражданских лиц, размещенный на окраине города.

Никто не счел необходимым допросить задержанных. Вскоре один из них сам явился к начальнику лагеря и доверительно заявил, что он Генрих Гиммлер и желал бы встретиться с высокими чинами английской администрации. Начальник лагеря не поверил ему, назвал сумасшедшим. Однако об этом узнал майор английской службы безопасности, который и пригласил Гиммлера на допрос. Допросив Гиммлера, он установил его биографические данные — они совпадали с данными розыскной карточки. Номера партийного и эсэсовского билетов также совпали. Затем офицер сличил приметы — и они соответствовали данным розыска. Офицер больше не сомневался — перед ним был Генрих Гиммлер. Об этом он немедленно доложил своему начальнику, полковнику английской армии.

По прибытии полковника инициатива допроса перешла к нему.

— Вы Генрих Гиммлер? — спросил полковник.

Гиммлер ответил утвердительно.

— Раздевайтесь!

— Зачем? — спросил Гиммлер.

— Мы вам сменим белье, — сказал полковник, намереваясь тщательно обыскать задержанного.

— Прежде я хотел бы видеть кого-либо из высших чинов английской армии.

— Это невозможно.

Доставив Гиммлера в штаб английских войск в Люнебурге, полковник все же распорядился его обыскать. Гиммлера раздели, предложили ему открыть рот. Увидев во рту стеклянную ампулу, врач, производивший обыск, попытался ее выхватить, но Гиммлер раздавил ампулу.

Таков был рассказ английских офицеров.

Я попросил полковника сделать для нашей Контрольной комиссии снимки трупа Гиммлера и письменно изложить обстоятельства его смерти. Полковник просьбу мою выполнил и вечером через офицера связи передал две фотопленки, а также письменное объяснение своих сотрудников и одну из трех ампул цианистого калия, обнаруженных в одежде Гиммлера.

В беседе с полковником я пытался выяснить, кем были двое других задержанных. «Сами не знаем», — ответил полковник.

26 мая мы поехали дальше. В районе Рура переночевали и спустя день прибыли в Динст — в лагерь военных преступников. Комендант лагеря был заранее предупрежден о цели нашего приезда и сразу же велел принести немецкие, как он выразился, «документы о русских». Нам доставили три больших ящика с бумагами. Документы были составлены на русском и немецком языках и содержали материалы разведывательной деятельности различных ведомств и служб гитлеровского рейха.

Не задерживаясь в этом лагере, мы с Ивлевым выехали в Брюссель, где остановились в отеле «Палас». Там же размещалось и советское посольство. Я сразу пошел к нашему послу и доложил ему о нашей миссии. Через сутки мы выехали обратно во Фленсбург, где и сдали все изъятые документы генералу Трусову.

Так закончился для меня май 1945 года.

Дмитрий Таевере. ОПЕРАЦИЯ „ОКОШКО" И ДРУГИЕ

Вскоре после войны в банкетном зале одного из ресторанов Стокгольма собралась довольно странная компания. Вездесущие репортеры узнали, что состоит она из бывших эстонских помещиков. Это были озлобленные националисты, люто ненавидевшие народную власть. Вчера еще они прислуживали гитлеровцам, а теперь разыгрывали роль патриотов своей родины. В ресторане произносились тосты за «благополучный заплыв», несколько раз было помянуто имя какого-то Рихарда.

Тогда же чекистам Эстонии стало известно, что группа буржуазных националистов во главе с резидентом американской разведки Рихардом Салисте доставлена на подводной лодке к побережью республики и сумела проскочить в лесные ее районы.

Рассказывая об этом, генерал Борис Гансович Кум с усмешкой заметил:

— Лично я знаю эту публику недурно. Как-никак тринадцать лет просидел у них за решеткой. Истязатели по натуре, профессиональные палачи…

И, словно желая отогнать неприятные воспоминания, подвел меня к занимавшей полстены карте:

— Обратите внимание на окрестности Пярну. Именно здесь участились налеты Страшного Антса, Черного Капитана и Черной Перчатки. Заморские визитеры, несомненно, захотят связаться с этими бандами, объединить их для своих целей.

Я только что прибыл в Эстонию с новым назначением. Позади были нелегкие годы ленинградской блокады. Теперь мне предстояло возглавить отдел по ликвидации контрреволюционных националистических банд, еще действующих на территории Эстонии. Банды эти возглавлялись махровыми врагами трудящихся. И Черный Капитан, и Страшный Анте, и Черная Перчатка в годы войны принимали участие в массовых убийствах мирных жителей.

После войны их пристанищем стали леса. Поджоги, убийства, налеты на автоколонны — вот их излюбленный образ действий. Впрочем, в последнее время дела у «лесных братьев» шли все хуже и хуже. Обманутые ими рядовые участники банд добровольно складывали оружие, являлись с повинной. Тем опаснее, естественно, становились главари. Эти-то с повинной не придут, этих надо уничтожать, как бешеных псов.

Известно было, что человек, прозванный Страшным Антсом, в

недавнем прошлом являлся офицером гитлеровской армии. У него довольно обширные связи на хуторах, и снискал он себе известность целой серией хитро продуманных террористических актов. Еще опаснее был Генриксон-Янсон, капитан СД, к слову говоря, жгучий брюнет, прозванный Черным Капитаном. Это — жестокий и беспощадный вожак немногочисленной шайки, действующей особенно зверскими методами. На счету у Черного Капитана несколько убийств видных эстонских коммунистов. Но самым, пожалуй, опасным следовало считать офицера СС Редлиха. Кличка Черная Перчатка пристала к нему после ожога руки, с которой он никогда, как говорили знавшие его люди, не снимает длинной перчатки.

Заканчивая нашу беседу, генерал уточнил:

— Редлих ищет связи с Антсом и через него с американским резидентом. Надеюсь, что мы окажемся проворнее. Желаю успеха!

Знакомлюсь с новыми товарищами, с обстановкой. Оперативные сводки, кстати, тревожные: поджог нефтесклада, ограбление кооператива, зверское убийство. И все случаи на шоссе Таллин — Пярну.

Советуемся с руководством, принимаем кое-какие меры. В частности, оперативный пункт переношу поближе к Пярну.

Из головы не выходит предупреждение генерала: Редлих ищет связи с Антсом. Значит, надо помешать этим связям. Но как? Вернее всего поссорив двух бандитских главарей. Ссора не позволит им действовать сообща.

Разрабатываем соответствующий план. Помогли нам возникшие на окрестных хуторах слухи. Согласно этим слухам, в банде Антса Страшного будто бы появился некий Адъютант, который превзошел по жестокости самого начальника. И еще будто бы Адъютант весьма нелестно отзывается о Редлихе. Как раз последнее нас особенно устраивало. Через Яана Мадиса, в прошлом чиновника буржуазной Эстонии, порвавшего с бандитами, мы постарались довести эти слухи до сведения Редлиха. По нашему поручению Мадис особенно напирал на то, что Адъютант, дескать, плохо отзывается о прошлом Редлиха, называет его предателем.

Результат, как говорят, не замедлил сказаться. Взбешенный Редлих подослал к Антсу своих людей, и Адъютант был убит.

Антса это самоуправство Редлиха возмутило, и от свидания с ним он уклонился. Таким образом, нежелательные для нас контакты двух бандитских главарей оказались сорванными.

Но это, разумеется, было лишь эпизодом. Главное заключалось в том, чтобы быстрее и эффективнее ликвидировать бандитские гнезда.

Подробнее остановлюсь на нашем поединке с бандой Черной Перчатки.

Прежде всего мы внимательно изучили все материалы на ее участников.

Вожак банды, как свидетельствовали эти материалы, был смел, хладнокровен и главное — готов на любое преступление. Путей назад у него нет: слишком много крови пролил, будучи в эсэсовских частях. Тип этот опасный, терять такому нечего.

Выделялся в его шайке и некто Румянцев, в прошлом также эсэсовец, лично расстрелявший сотни советских военнопленных. У Черной Перчатки он в ближайших помощниках. Остальные члены шайки также с запятнанным прошлым, но в банде они на положении исполнителей приказов.

Обращало на себя внимание довольно любопытное обстоятельство. В районе, где действует Черная Перчатка, налеты чаще всего совершались на грузовые машины. Их, как правило, не сжигали и вообще старались не попортить, ограничиваясь стрельбой по шоферам.

Из этого мы сделали вывод, что бандитам нужна машина. Побывали в автохозяйствах, побеседовали с коммунистами и комсомольцами. Обо всех подозрительных случаях поиска транспорта попросили сообщать своевременно.

Неделю спустя к нам обратился комсомолец Юган. У него ночью побывали «лесные братья». Да, он уверен, что пришли они из леса: из-под курток у них торчали стволы автоматов. Завели разговор о том, как достать машину, попросили приготовить выпивку.

— Готовь, — сказали мы Югану. — А если опять попросят машину, сошлись на строгие порядки в гараже. Предложи взамен лошадь с телегой.

Дальше все пошло как по-писаному. Бандиты согласились на лошадь. Явились в назначенный час, притащили с собой награбленные в ближайшем магазине промтовары.

Ночью на одном из поворотов лесной дороги их встретили наши оперативные работники. Бандиты были быстро обезоружены и связаны. Позднее они признались на допросе, что все было сделано «тип-топ», то есть весьма искусно.

Попали в наши руки, конечно, не главные персоны. Но важнее было другое — захваченные бандиты входили в группу Редлиха. Не дав им опомниться, мы потребовали вести нас к бункерам, где устраивался на зиму Черная Перчатка.

На следующий день с утра началась решающая операция. Лесной район, показанный нам на карте, окружили солдаты. Штурмовой группе были приданы опытные проводники с

собаками. И все же допустили мы промах. Вернее, не учли молодости комбата, который перекрыл четыре лесные дороги, а пятую почему-то оставил без прикрытия.

И надо же! Именно ее, эту пятую дорогу, избрала для отступления банда Редлиха. Мы ворвались в густой ельник, когда не успели еще остыть котелки с картошкой, разбросанные вокруг бункера. Однако банда успела уйти. Правда, через несколько минут собаки напали на ее след. Кляня себя за допущенный промах, мы кинулись в погоню.

Отступали бандиты перекатами. На поворотах лесной дороги Редлих оставлял заслоны, и пока мы преодолевали их сопротивление, остальные отходили. Наши товарищи были накалены, каждому хотелось как можно скорее обезвредить этих убийц, но я как командир штурмовой группы не имел права подвергать людей неоправданному риску. Решено было окружать шайку Редлиха Методично и неуклонно, но тут нас поджидал еще один Неприятный сюрприз. На берегу реки бандиты заранее приготовили лодки и, воспользовавшись быстро наступившими сумерками, ускользнули от погони.

— Виноват я, товарищ полковник, — обратился ко мне молоденький комбат. — По моей оплошке они ушли.

Но дело было не в поисках виновных. Оплошку следовало исправлять сообща.

Новый план ликвидации банды мы назвали операцией «Окошко». В связи с этим не могу не вспомнить двух советских патриотов, которые нам очень помогли.

Первым был хуторянин Михкель. Всю жизнь трудился он на земле, обрабатывал свой надел личным трудом, батраков не нанимал. А когда гитлеровцы бежали из Эстонии, кто-то сказал Михкелю, что с коммунистами ему не по пути, и он ушел в лес. Правда, получив первое задание — убить сельского активиста, — сразу понял, что это занятие не по его характеру. Жена Михкеля пришла к нам, все рассказала. Михкелю была предоставлена возможность жить мирно и без опаски.

Выслушав нас, он надолго задумался, потом сказал:

— Очень может быть, я живым не вернусь. Тогда скажите детям, что их отец сложил голову за правду.

— Вы имеете право отказаться.

— Один откажется, другой откажется, — сказал Михкель, — опять война придет к нам на порог. Уж лучше скажите детям, как я прошу…

Михкель должен был войти в доверие Черной Перчатки. Мы снабдили его умело составленными «шпионскими» материалами для передачи бандитам. Пришлось пожертвовать и небольшим

складом спиртного, на которое бандиты были падки. Через некоторое время жена Михкеля сообщила, что муж ее «принят в лес».

После этого начался второй этап операции. Михкель должен был сообщить Редлиху, что встретил в городе приятеля, якобы связанного с эстонскими националистами в Швеции. Мы знали, что именно такого человека давно ищет Редлих. Обладать «окошком за рубеж» былб его заветным желанием.

Как и следовало ожидать, Редлих не торопился с решением, а продолжал «прощупывать» Михкеля. К тому же связь с хуторянином у нас прервалась.

И вот однажды вертушка-автомат, скрытно установленная в лесу, продолжительным попискиванием подала знак, что Михкель вызывает на явку. Встреча с ним происходила в густом ельнике после полуночи. В распоряжении Михкеля были считанные минуты.

— Черная Перчатка согласен, — быстро сказал Михкель. — Найдется у вас такой человек, чтобы сразу было видно — связан с заграницей?

— Найдется. Звать будете его Эвальдом ЛаксОхМ. Все пока идет хорошо. Соблюдайте осторожность, товарищ Михкель!

Через несколько дней молодой и очень инициативный чекист, временно ставший Эвальдом Лаксом, встретился с искушенными в провокациях главарями бандитского подполья.

Представьте молодого безоружного парня, окруженного стаей волков. Михкель впоследствии рассказывал, что после нескольких вопросов, которые могли поставить в тупик и более опытного контрразведчика, он счел Эвальда погибшим. Выручили чекиста находчивость и природное обаяние. «А с красными вы сами расправлялись?»— спросил его помощник Черной Перчатки Румянцев. Эвальд не задумываясь назвал имя видного работника Совета Министров республики, трагически погибшего в автомобильной катастрофе. Подробностей этой катастрофы бандиты не знали. «Что вам до нашей борьбы? — грубо спросил другой бандит. — Отец ваш кто?» Вопросом своим он попал в самую уязвимую точку «проработанной» нами биографии Эвальда. Дело было в том, что «лесные братья» неплохо знали родословные виднейших врагов народной Эстонии. После долгих обсуждений нам пришлось пойти на риск и «привязать» нашего товарища к некоему помещику Лаксу, жестокому карателю, захваченному и уничтоженному партизанами.

А чтобы не возникло сомнений, что после Лакса остался сын, в одной из местных газет мы поместили объявление о розыске Эвальда Лакса, террориста и шпиона, с указанием всех его

примет. Газеты передали Редлиху, и именно он сердито оборвал своего подручного, сказав, что тот задает неуместные вопросы.

Сперва Редлих собирался сам ехать в Стокгольм, но затем передумал и вместо себя послал одного из помощников. Нас, впрочем, устраивал и такой вариант. Эвальд ехал в кабине с шофером, человек Редлиха сидел в кузове. В условленном месте машина остановилась. Эвальд выскочил и быстро сказал: «Видите тропу слева? Идите по ней до хутора. Там вас встретят».

Подав руку, чтобы помочь бандиту спрыгнуть с кузова, он резким движением рванул его на себя, а подбежавший шофер в мгновение обезоружил бандитского курьера.

Заполучив помощника Редлиха, мы вытянули из него не только точные координаты банды, но и возможные маршруты ее передвижений. Бункер в лесу, в котором бандиты засели на зиму, был окружен. Сопротивлялись они бешено, пытались уползти в лесную чащу, отстреливались. Но все щели были надежно перекрыты, бандитам пришел конец.

Среди убитых мы опознали эсэсовца Румянцева. Однако Черной Перчатке снова посчастливилось ускользнуть.

Считать операцию законченной без ликвидации этого махрового эсэсовца мы не могли. К розыскам Черной Перчатки были подключены местные жители.

Огромную помощь оказал нам лесной объездчик, веселый и смелый парень, которому было доверено несколько лесных вертушек-раций. Однажды он вызвал нас и сообщил, что довольно странным кажется ему поведение одного из хуторян. В доме этом по вечерам не зажигают света, чего-то боятся, от кого-то прячутся.

Тотчас мы сели в машины и помчались к подозрительному хутору. Все дальнейшее происходило молниеносно. Из двери, обращенной в сторону леса, выскочил человек. Полуодетый, босой, с черной перчаткой на левой руке. Я кинулся наперерез, не стреляя, стремясь взять бандита живьем. Заметив меня, он круто повернулся и выстрелил из парабеллума. И сгоряча, быть может впервые, промахнулся. Раздался ответный выстрел. Бандит прыгнул через ручей и, будто подрезанный сноп, свалился в воду.

Когда мы подбежали, Черная Перчатка был мертв.

Таким образом завершилась ликвидация одной из опаснейших банд в послевоенной Эстонии. Примерно к тому же сроку удалось уничтожить Страшного Антса и Черного Капитана.

Приказ об изоляции группы Рихарда Салисте был выполнен. И все же мысль о том, что американский резидент творит свои черные дела на эстонской земле, не давала нам покоя.

Что мы знали о Салисте? Почти ничего. Зато мы имели кое-какие приметы его связного. Чиновник Мадис, тот самый, что

навлек гнев Редлиха на Адъютанта, рассказал, со слов бандита, как незнакомый им человек приходил однажды к Страшному Антсу. Бандитский вожак разговаривал с ним с глазу на глаз и этим даже обидел своих людей, не понимавших, почему им не представили «парня со шрамом». Итак, парень со шрамом! Посторонних в свой бункер Страшный Анте не пускал. Значит, можно было предположить, что исключение он сделал для связного американского резидента. Еще одну примету связного сообщил хуторянин Юри. В свое время он порвал с бандитами и был амнистирован. К хозяйке, у которой Юри снимал комнату, явился неизвестный и попросил ночлега. Заметив во время чаепития корнет, на котором играл покойный владелец дома, гость расчувствовался и сказал, что ничего так не любит, как игру на корнете. Еще он сказал — Юри это запомнил хорошо, — что доводилось ему слушать всех стокгольмских корнетистов. Не заметил ли Юри у него шрама? Да, шрам у этого человека во всю щеку.

Война оставила шрамы на многих лицах, но упоминание о Стокгольме настораживало: ведь группа Салисте была переброшена из Швеции.

— Где же искать любителя корнета?

— Выпишем лучших корнетистов Стокгольма, — шутили товарищи. — Глядишь, связной и явится на приманку.

А шутка, между прочим, помогла.

Встретил я в Таллине давнего своего приятеля Эльмара. В двадцатых годах, во время учебы в коммунистическом университете, мы вместе с Эльмаром участвовали в художественной самодеятельности.

Было, конечно, о чем поговорить при встрече. Посмеялись, вспомнили, как бдительный секретарь нашей партячейки все допытывался у Эльмара, кто и за что привинтил к его трубе золотую монограмму. Секрет же ее был прост. В 1915 году Эльмар играл на корнете в гвардейском полку и за сольный концерт, который дал для товарищей под шрапнелью, получил от них на память монограмму.

— Эльмар, ты не забыл свой корнет?

Приятель мой улыбнулся:

— Заходи в субботу, послушаешь. Приглашают меня в оркестр, но я играю только для друзей.

— А если я попрошу, сыграешь публично?

Эльмар покачал головой.

— А если этого потребуют интересы дела?

Эльмар стал серьезным.

— Говори, что надо.

Так случилось, что в одном из приморских ресторанов появился новый корнетист-виртуоз, слава о котором довольно быстро разнеслась среди горожан. Неделя прошла без событий, а потом Эльмар позвонил нам и сообщил, что видел в зале человека, очень уж остро реагировавшего на его игру. Человека этого уродовал шрам.

Похоже было, что мы напали на след. Теперь можно было вводить в игру Верочку. Точнее сказать — младшего лейтенанта госбезопасности Веру Федоровну Обер.

Верочка была изящной миловидной девушкой. В свои двадцать лет она уже успела принять участие в серьезных операциях, завоевав всеобщее уважение находчивостью и смелостью.

— Не испугаетесь? — спросил я, рассказав, что от нее требуется. — Конечно, он вооружен и ни перед чем не остановится.

— Не испугаюсь, — просто сказала Верочка.

Вере требовалась достоверная легенда, объясняющая, в частности, каким образом очутилась она в приморском городишке. Решили, что назовется она студенткой из Таллина, гостящей у тетки на хуторе.

Человек со шрамом, как мы и надеялись, подошел к Вере в ресторане. Знакомство завязалось.

Вера была остроумной собеседницей. Легко вскружив голову новому знакомому, она дала понять, что не очень-то расположена к народной власти, что отца ее, видного офицера, убили коммунисты. Человек со шрамом выслушал ее с одобрением, но о себе предпочел молчать. Узнав, где остановилась Вера, удовлетворенно почмокал губами и пообещал как-нибудь навестить.

Визит этот вскоре состоялся. Вера и мы готовились к нему одновременно, но по-разному. Вера запаслась выпивкой, у нас же стояла наготове замаскированная в лесу машина.

Только в час ночи наши товарищи увидели условный сигнал, замелькавший в окне дома.

— Думаю, что это связной, — доложила Вера. — Следует быстрее привести его в чувство. Он проговорился, что на рассвете его ждут друзья…

Очнувшись в кабинете следователя, связной Рихарда Салисте пытался вначале прикинуться почтовым служащим, затем туристом из Скандинавии и, только увидев «студентку из Таллина» с лейтенантскими погонами, сообразил, что игра проиграна.

На рассвете оперативная группа оцепила лесной участок, где

скрывался Салисте. В морозном воздухе раздался усиленный рупором приказ:

— Резидент Салисте, вы окружены! Предлагаем сдаться!

Мучительные секунды тишины. Затем распахнулась дверь землянки и ударила автоматная очередь. Залегший рядом со мной старший сержант швырнул в ответ гранату. Швырнул легонько, почти подкатил — мы хотели взять резидента живым. Взрыв сорвал дверь с петель, ранил Салисте и загнал его обратно в землянку.

Через полчаса схватка в лесу закончилась. Сорвана была еще одна провокация американской разведки.

Ордена Красного Знамени, которыми правительство наградило чекистов — участников этих операций, — напоминают нам о тяжелых послевоенных боях за мирный труд на эстонской земле. Теперь эти бои в далеком прошлом. Но мы помним простых людей, помогавших нам в борьбе с врагом, и от всего сердца хотим пожелать им большого счастья.

Евгения Васютина. В ПРОСЬБЕ О ПОМИЛОВАНИИ ОТКАЗАТЬ

1

Июньским вечером в деревне, находящейся часах в двух езды от Ленинграда, на веранде дачного домика собрались гости. Хозяйке помогала старушка, Татьяна Дмитриевна. За столом сидели все свои, только двое было приезжих из города: молодая скромная женщина да мужчина среднего роста, лет за пятьдесят, с темными, зачесанными назад от широкого лба волосами; в вырезе рубашки была видна его крепкая смуглая грудь с синими линиями татуировки.

Татьяна Дмитриевна, незаметно присматриваясь к женщине, размышляла: «Вообще об этой новой его жене Милке плохого не скажешь. А все же мурманская кралюшка, Тонечка, получше: румяная, веселая, да и умница… Милка проще и худющая; наверное, иссушила ее жизнь с первым мужем, пьяницей. Теперь вот к Федору прибилась…

Что и говорить, женщины его примечают. Отчего у него с Тонечкой разладилось? Сам он с ней захотел познакомиться заочно, когда гостил у сестры, Тонечкиной подруги, и Тоня ответила ему, а в прошлом году даже приезжала… Как они веселились тогда здесь же, на даче!.

А Тоня так жалела его за трудную судьбу, за муки, перенесенные в концлагере Дахау! Да и за те беды, что свалились на него уже на своей, на русской земле. Если бы не новые времена настали, то и теперь сидеть бы ему за проволокой на Колыме. Освободился, и вот на тебе: в Ленинграде прописки не дали, спасибо Дорониным, что согласились прописать его здесь, у себя. Все равно он постоянно в городе, там же и Милку эту нашел… Ну, что ж, ему виднее…» — и Татьяна Дмитриевна пошла накрывать на стол.

Между делом спросила Федора, как живет. Ответил неохотно:

— Живу. Жить-то надо…

От Милки Татьяна Дмитриевна узнала, что Федору трудно найти подходящую работу: побаливает нога после ранения.

Разлили по стаканам водку, кто-то поторопился произнести: «Дай бог не последняя…», но Федор выпрямился, поднял свой стакан, рука у него была твердая, водка не плескалась, как будто застыла куском прозрачного льда.

— А ну, потише! Забыли, какой сегодня день? Двадцать второе июня, большой праздник. Я его всегда отмечаю. И всем предлагаю отметить…

— Да уж кто такой день забудет, — вздохнула Татьяна Дмитриевна.

Федор выпил, небрежно отодвинул подсунутую ему Милкой тарелочку с селедкой. Выпили и остальные: только хозяин, Андрей Доронин, отстал. Поглаживая пальцами грани стакана, сказал задумчиво:

— Странно ты говоришь, Федор: «большой праздник». Разве же это — праздник? День траура, я так считаю. А праздник — Девятое мая, День Победы! Уж если пить сегодня, то в память тех, кто сложил свою голову на войне.

— А за живых? — Федор придвинулся к хозяину. — Эх, Андрюха, и теленок же ты! Да я только в войну и узнал, какая она должна быть, настоящая жизнь!

— Как тебя понимать!? — Андрей насупился. — И ты вообще, того… не обзывай. Если ты много испытал, то и другие не сидели сложа руки.

— Да, бросьте вы, мужики! — вмешалась Татьяна Дмитриевна. — Наливай, Андрюша, по второй, пирожком закусите…

Гости выпили и зашумели, но Андрей был задумчив, и веселье не клеилось. Федор с Милкой вскоре распрощались.

В сумерках они шли по деревенской улице. Из низины полз туман, белые и серые пятна цветущей сирени принимали странные очертания: то казалось, женщина в белом высоко заломила руки, то кто-то поник седой головой… Из окон одного дома донеслась песня, там крутили старую пластинку: низкий сильный женский голос, выговаривая раздельно и четко слова, пел о том, как «на старой смоленской дороге повстречали незваных гостей…»

— Э-э-эй! — лихо подхватил хор, а женщина продолжала грозно и страстно:

Повстречали, огнем угощали,
Навсегда уложили в лесу…
За великие наши печали…

Федор остановился, обратил к Милке серое в сумерках лицо:

. — Ну?! Тащишься, как некормленая! Давай быстрей! — И сам прибавил шагу, заметно прихрамывая на левую ногу.

В поезде ему освободила место женщина, забрав своего маленького сына на колени. Мальчик закапризничал, мать уговаривала:

— Ну что ты, разве не видишь — у дядечки ножка болит? На-ка вот, утешься…

Она дала ребенку леденец, красного аляповатого петушка на палочке. Мальчик облизнул липкий гребень, но, взглянув на

«дядечку», вдруг прижался лицом к матери.

Федор отвернулся к окну: за ним плыл туман, цепляясь за редкие темные кусты.

К Дорониным Федор приезжал раз в месяц — заплатить по договоренности за прописку. Остальное время проводил в городе, хлопотал о назначении пенсии. Еще в прошлом, 1957 году, в поликлинике осмотрели его ногу, записали про «отсутствие активных движений в голеностопном суставе» после двух пулевых ранений, полученных в 1943 году, да еще про какой-то ахиллесов рефлекс; а к чему все это, если в комиссии засели мудрецы: инвалидность признали, а пенсию не дают, пока не найдется двух свидетелей ранения! Прав Федя, кругом бюрократы!

Все это рассказала Милка своей бывшей школьной подруге Наде Волошиной. Та с мужем жила в собственном домике, в Стрельне. Надежда удивлялась: чего ради

Милка лезет из огня да в полымя? От одного пьяницы избавилась, к другому липнет? Милка со слезами созналась, что судьба связала ее с Федей много лет назад: он был у нее первым, и хотя потом бросил, теперь она, встретив его уже немолодым, сильно потрепанным жизнью, снова потянулась к нему душой: так хочется создать семью! А жить негде…

И подруга, пожалев Милку, уговорила своего мужа Всеволода сдать этим двоим бездомным времянку в саду. Так Федор перебрался поближе к городу, в Стрельну. Пока Милка была на работе, он иногда до обеда лежал, почитывая газеты. Потом тоже отправлялся в город, возвращался поздно; иной раз уезжал и сутра. Милка убирала во времянке, готовила еду, чинила одежду, стирала. К Федору часто стал захаживать сосед, медицинский оптик Кожемякин. Заглядывал иной раз и Всеволод, хозяин времянки. Сидели, пили водку, рассуждали о политике. Федор нервничал, ругался, однажды договорился до того, что кругом одни продажные души и была бы его воля — всех бы перестрелял из автомата. Сосед Кожемякин обиделся: «Выходит, и меня бы застрелил?»

Милка не вмешивалась в мужские разговоры — куда ей! Федя столько читает, обо всем имеет свое мнение. А недавно вздумал изучать английский язык. Всеволод Волошин, увидя учебник, удивился, спросил, зачем Федору это нужно? «Для общего развития, — насмешливо отозвался Федор. — Ферштеен зи? Один иностранный язык мне здорово пригодился, не помешает и второй». Немецкому он научился еще до войны, в бытность свою на одном строительстве, где работали специалисты из Германии, а пригодился ему этот язык, когда очутился в лагере перемещенных лиц.

Из города Федор привозил деньги, устраивал пир горой. Милка знала, что промышляет он каким-то барахлом на рынке. Но случалось — в доме ни копейки. «Погоди, — говорил ей Федор. — Получу инвалидные, права, займусь каким-нибудь кустарным производством, заживем тогда с тобой. А в общем-то, разве это жизнь?» Часто на него нападала злобная тоска: ляжет, глаза в потолок, либо начнет строчить письма. Милка догадывалась, что письма эти Антонине Петровне в Мурманск, но помалкивала: ответов оттуда не приходило.

«Скука, пошлость и обман в большом масштабе, — жаловался Федор Тонечке. — Чувствуешь себя букашкой или хрюкалкой, которую заставляют делать то, чего она не хочет. И ко всему этому штамп от ГОСТа: работай, жри, спи… Ну да это тебе неинтересно…»

Антонина Петровна задумывалась. Непонятным образом привязалась она к Федору. Было время — даже в отпуск к нему ездила, и он гостил у нее четыре дня, посылала деньги, урывая от своей учительской зарплаты и залезая в долги. Думала: устроится на работу, пройдет у него пессимистическое настроение. Ее огорчали злобные нападки Федора на все, о чем бы он ни узнавал, будь то запуск спутника или реформа обучения. Однажды сказал: «С тобой обо всем не поговоришь, ты ведь коммунистка». Да, она была коммунисткой и не чувствовала себя ни «букашкой», ни «хрюкалкой», любила свою работу, жила отнюдь не «штампованной» жизнью.

«Что же ты за человек, Федор, чего ты хочешь?» — думала Антонина Петровна. И сама искала объяснение в том, что человек больной, изломанный жизнью, поэтому и видит все в черном свете. Должно это у него пройти. При личном свидании она ему все выскажет. А пока складывала, вздыхая, письма. Не отвечала, но никому о них и не рассказывала.

2

«…Люди, теплый, живые, шли на дно, на дно, на дно…»

Наступила осень. Милка приезжала из города продрогшая до костей: ну-ка, постой со своим лотком целый день на ветру, выкрикивай: «Пирожки горячие!» да еще и улыбайся…

Во времянке за день настыло. Федор лежал, укрывшись с головой, сказал, что зубы болят и пусть Милка катится ко всем чертям. Она затопила печурку, подала горячего чаю. Проворчал, что не чаем бы его поить, а чем покрепче… Милка виновато промолчала, разделась, потушила свет и легла с краешку. Федор начал всхрапывать. Милка боялась его храпа, казалось, будто кто петлю ему на шее стягивает, вот-вот захлебнется, но разбудить Федора Милка не смела.

За стенами времянки шумел ветер, по крыше скреблись ветки, нудно капало в лужицу за дверью. «Как тут зимовать? — думала Милка. — Скоро снег, холода, лед на окнах…» Наверное, засыпая, она что-то пробормотала, потому что Федор вдруг спросил:

— Где лед? Какой лед? — И снова захрапел, откинув тяжелую руку Милке на грудь. Во сне застонал, невнятно выругался.

Милке стало страшно и тоскливо: что-то нехорошее **ему снилось…**

* * *

Крепкий, толстый лед на реке, очертания берегов скрывает снег, дует ветер, пронзительный, студеный. На льду — толпа полуодетых людей, жмутся друг к другу, матери укрывают детей. Все с ужасом смотрят на берег— там догорают соломенные крыши изб, рушатся стены, искры и хлопья сажи несутся в воздухе, густой дым, свиваясь в одну темную тучу, стелется в небе, подсвеченный снизу багровым заревом. На высоком берегу выстраиваются каратели в белых маскировочных балахонах. Два часа тому назад они выгнали из домов женщин, стариков, детей; кто хотел спрятаться — уложили на месте. Живых, подталкивая прикладами, гнали к мельнице, заставили идти на лед. Тут уже стояли перепуганные, озябшие на ветру жители соседней деревни, превращенной в пепелище. И вот — засвистели с берега пули, затрещали автоматные очереди… С криками, стонами падают на лед люди, приподнимаются, снова падают, корчась в

предсмертных муках. Ревет, грохочет танк, выходя на обрыв; снизу не слышно команды, виден только блеск, вспышка… С воем летят снаряды, люди на льду шарахаются, закрывая голову руками. Но снаряды нацелены не в толпу: методически, один за другим пробивают они толстый речной лед. В пробоинах— темная вода, белые зигзаги трещин разбегаются в стороны от полыньи, люди падают в воду, кто ещё в силах — отползает в сторону. Тогда с берега сходят каратели в белых балахонах, сбрасывают, пиная ногами, еще живых людей в темную подледную воду…

«Мамынька, родная! Ма…» — крик обрывается, посиневшие пальцы хватаются за кромку льда.

«Да что же вы, изверги, дайте хоть молодым пожить!»

Прямо в лицо матери — выстрел из пистолета… Опускается зимний вечер, спадает зарево пожара. По льду, окрашенному кровью, деловито ходят убийцы, ищут тех, кто еще дышит, и сталкивают в полынью.

Было это в декабре тысяча девятьсот сорок второго года. Стоит и теперь на псковской земле невысокий обелиск в память жителей деревень Починки и Бычково, расстрелянных на льду реки Полисти. Загублено там двести пятьдесят три человека. Мало кому удалось спастись…

Федор всхрапнул, затих и вдруг спросил осипшим голосом:

— Кто там? Кто? — И вскочил бесшумно, быстро.

— Никого нету, Федя, успокойся! Что с тобой?

Он закурил, присев на край топчана. Милка спросила, был ли он в городе, что на комиссии сказали. Федор непонятно за что выругал Милку и быстро стал одеваться. Сказал, что есть у него дело в городе и до десяти часов он еще успеет. Прислушался, потом распахнул дверь рывком и ушел, подняв воротник плаща, в темноту, под дождь и ветер.

Для любителей потолковать в теплом углу за кружкой пива, да еще с добавкой водочки, десять часов вечера — время не позднее. Вот отошел от стойки немолодой мужчина, ищет, где бы примоститься. И вдруг от одного из столиков, мокрых от пива, ему кричат:

— Эй, дядя, двигай к нам! Стоп, стоп, да ты не Пе-труха ли? Не Скородумов? Вот черт, живой! Не признал? Да я же — Митька!

И усаживаются Петруха с Митькой, ошеломленные нежданной встречей, и не одну кружку выпивают фронтовые друзья… Вспоминают, как здорово контузило Петруху, он даже и не почуял, что товарищи на руках внесли его в вагон; вспоминают старшину и какие-то сапоги, смеются… Наверное, обманули они тогда старшину в истории с сапогами. Петруха рассказывает, что

женился на Маше, «помнишь, письма мне все писала?» И предлагает Митьке обязательно пойти к нему, посмотреть на сына: «Я ведь тут рядом, на улице Пестеля живу…» Митька в городе проездом, но соглашается пойти. Решают еще выпить по кружечке, покурить и спохватываются: «Э, друг, а спички-то все у нас?» — «Да вон у того мужика спроси…»

За пустым столиком, уткнувшись головой в клеенку, дремлет какой-то человек в плаще; но растолкать его невозможно, до того «набравшись…» Буфетчица дала спички, но тут же и выпроводила друзей: время закрывать, а ну — пошевеливайтесь!

Идут друзья в обнимку, ворчат: «Вот, довоевались!. Не дадут и поговорить по душам…» — «Ну, это ты брось: порядок есть порядок…» И Митька провожает Петруху домой на улицу Пестеля…

А через день-два к Петрухе является гость, чисто выбритый, при галстуке и с порога обнимает хозяина: «Гора с горой не сходится, а человек с человеком… Встретил на вокзале Митьку, от него и узнал, что жив фронтовой друг Петруха…» И достает гость торжественно бутылку из кармана: надо же выпить за встречу… Хозяин несколько смущен: не может вспомнить, кто этот черный невысокий человек с острыми, прищуренными глазами. Но гость напоминает, «как мы с Митькой тебя в вагон втаскивали», и старшину, и сапоги… После третьей или четвертой стопки Петрухе начинает казаться, что и в самом деле был в роте у них такой вот Федор Гришаев, конечно, много лет с тех пор прошло, сразу и не вспомнишь. Федор рассказывает о себе, жалуется, между прочим, что не дают ему пенсии за ранения, свидетелей требуют, а где их теперь искать?

— Чего? Свидетелей им надо? — вскидывается Петруха. — Да я какое хочешь тебе свидетельство подпишу, ведь вместе воевали, неужели не выручу друга?!

Второго «очевидца» Федор нашел еще проще: встретил шофера, который призывался в сорок первом году, в одном военкомате на лавочке сидели. И опять же за поллитрой не отказался тот шофер подтвердить факт ранения, хотя судьба развела их с Федором на долгие годы по разным дорогам… Но странное дело: в комиссии и этих свидетельств оказалось мало: все чего-то копаются, копаются…

3

— Товарищ майор, на наш запрос и этот архив отвечает: «Интересующими вас сведениями не располагаем». Что делать?

— Искать. Посылать в девятый, в **десятый раз… Минуточку… Алло? Да, я. Что, что?! Здесь, в Ленинграде? Сейчас я к вам зайду.**

(Из служебного разговора)

На вокзале у ларька скопилась очередь за пивом. Кто-то сунул деньги поверх голов, и сразу поднялся шум: «Порядка не знаешь? Тебе скорей всех надо?», «Да он слов не понимает, ему на кулаках разъяснять требуется…»

Федор, сдувая с кружки пену, пробормотал:

— Такому на кулаках не разъяснишь. Буржуй советский. Его бы ножичком…

— Перегибаешь, дядя, — сказал Федору молодой парень. — За нож. знаешь, что дают?

— Тебе лучше знать, — огрызнулся Федор. — Видать сову по полету. Стиляга…

За парня вступились, но и Федору неожиданно выискался защитник — худощавый, светлоглазый человек, лет тридцати. Тихим вежливым голосом сказал, что зря к человеку прицепились, мало ли кто чего сболтнет сгоряча?

Федор мельком взглянул на него и отошел, сел на скамью. «Защитник» уселся рядом, закурил, предложил закурить и Федору. Плохонькие папироски, «гвоздики». Федор спросил:

— Ты что ж, никуда не торопишься?

— Некуда. Жена не ждет, и дети не плачут. На работе выходной.

Федор быстро выведал о нем все, хотя тот и не особенно охотно отвечал на вопросы, рассеянно поглядывая на прохожих, щурясь на вышедшее из-за облаков солнышко. Звали его Павлом, работал слесарем на заводе, семью не завел, потому что и сам жил в общежитии. Одет неважно: синяя застиранная спецовка, рваненькая майка, помятая кепка. Федор усмехнулся; усмешка у него была особая: вспухнет, у одного угла рта бугорок, потянет тонкие губы… Язвительная усмешка. Сказал:

— Рабочий класс, а в чем ходишь? Так вот на дураках и ездят. А тот, что без очереди лез, небось и квартиру имеет, да и дачу себе отгрохал.

— Бывает, — нехотя отозвался Павел. — И я бы заработал, да,

знаешь, нормы здорово режут…

Федору чем-то приглянулся этот парень, но на всякий случай он постарался от него отвязаться. А встретились они снова вечером, в пивной. Павел с жадностью уминал сардельки с холодными макаронами и подсчитывал копейки на выпивку. Федор посмеялся: что же за мужик, который на вино себе добыть не умеет? И похвастался: я, мол, живу по такому закону: есть у меня двадцать пять рублей — обязан я из них сделать двести пятьдесят…

Чаще всего Федор добывал деньги, «опекая» кого-нибудь из приезжих: посоветует сдать чемодан в камеру хранения и до отхода поезда угощает в ресторане, не жалея своих двадцати пяти рублей. Потом своего нового «дружка» сунет в вагон любого поезда, и едет «дружок», свеся хмельную головушку, сам не ведая куда. А Федор тем временем получит по квитанции из камеры хранения его чемодан…

Павлу Федор намекнул, что пока ротозеи на свете не перевелись, умным людям жить можно.

— И не боишься? — с интересом спросил Павел.

— Надо жить так, чтобы тебя боялись, — наставительно сказал Федор. Потом поднял на Павла жесткие, недобрые глаза:

— А ты, собственно, чего ко мне прилип? А ну, катись…

Другой бы обиделся. Павел же поглядел как-то сонно, поднялся. В дверях еще помахал на прощание рукой, как машут в итальянских фильмах, как будто рассеивая дым перед лицом. Федор подумал: «А не зря ли я его шуганул? Парень сдержанный, на скандал не лезет».

Федору хотелось выпить еще, но один он пить не любил. Взял водки, приехал к себе в Стрельну, зазвал хозяина, Всеволода Волошина. Только расположились, как явилась Надежда и давай пилить:

— Сам пьяница пропащий, еще и моего мужа спаиваешь? Мало вас милиция учит! Вон сегодня у нас в клубе забрали парней, тоже с пьяных глаз в драку полезли, хулиганье. И мне пришлось в отделение идти, свидетельницей.

Федор сказал загадочно:

— Ты бы, Надежда, поменьше ходила в такие места.

— Какие? — удивилась она. — В клуб? Так я же там работаю.

— Не в клуб, а в милицию. Кому помогаешь?

— Но если с хулиганами не бороться, они же совсем распустятся!

— Вот-вот… А о том ты не подумала, что когда придет время, с милицией будет расчет? И не только с милицией, но и с теми, кто с нею связан.

— Да ты про что несешь-то? — опешив, спросила Надежда.

— А вот про что… — И Федор, замахнувшись, резко опустил руку вниз, как будто всаживал в кого-то нож.

Страшным показалось Надежде его серое, с опухшими веками, лицо. Она быстро увела мужа домой.

4

Капканы ставят зимой на волчьих тропах с такими предосторожностями, чтобы зверь не мог заподозрить присутствия ловушки. Добывают волков и другими способами, основанными на глубоком знании жизни и привычек описываемого хищника.

(Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. 7)

У моего собеседника простое русское лицо, с крупными чертами, светло-карие спокойные глаза, по виду не скажешь, что ему уже за пятьдесят, особенно когда смеется, — открыто, свободно, искренне. Нет в нем и того, чем любят наделять подобных героев в детективных романах: ни «пронзительного» взгляда, ни следов «бессонных ночей», ни даже «волевого подбородка». Не окутывают его и шерлок-холмсовские облака табачного дыма: в светлой, просторной комнате воздух чист и свеж. За большими окнами видны крыши и шпили Ленинграда — города, дорогого нам обоим. Скажите ленинградцу «дорога жизни», — и эти два слова сразу разрушат преграду некоторой связанности между малознакомыми людьми. Когда к этой дороге подходили эшелоны с хлебом для нас, живших в осаде, и с вооружением для тех, кто нас защищал, Иван Сергеевич служил на Ладоге, следил, чтобы все это попадало по назначению, ведь враг и бомбил «дорогу жизни», и засылал своих лазутчиков. Участок работы у Ивана Сергеевича был решающий.

Давно кончилась война, мы возвратились к мирным занятиям, а работа у него по-прежнему трудная и опасная, опять оберегает он ленинградцев, но уже от других бед.

— Главное — обдумать все основательно, вот… — тянет Иван Сергеевич неторопливым своим баском, по привычке подпирая щеку кулаком.

— Учесть характер преступника, предвидеть, как он себя поведет в тех или иных обстоятельствах, какие загадки нам задаст. В данном случае трудность заключалась в том, что человек этот ничем не был связан: ни работой, ни семьей. В любой момент мог сесть в поезд, уехать в любом направлении. Ищи тогда ветра в поле… Вы спрашиваете, почему мы его не взяли сразу? Э, не так-то просто это. Нам было известно, что существует такой матерый волк, но требовалось прежде всего установить — тот ли это, которого мы ищем? Ведь совпадений имен, фамилий, отдельных эпизодов в биографиях разных людей бывает неисчислимое множество…

Пока Иван Сергеевич с кем-то говорит по телефону, я вспоминаю, что рассказал мне другой чекист: искали они одного преступника и вышли на след человека, у которого с этим преступником совпало тринадцать так называемых установочных данных: имя, отчество, фамилия, профессия, место жительства. Даже имена любовниц одинаковые — у одного была Дуся, и у другого Дуся. Только одна маленькая, толстенькая, а другая — ростом под потолок, «верста». Естественно, длинной Дусе ее сожитель представлялся маленького росточка, другая же Дуся утверждала, что он высокий. В одни и те же годы служил один в карательном отряде, второй после ранения не явился в часть, спрятался. И когда его вызвали, решил, что пришло время отвечать за дезертирство — явился с котомкой за плечами, распрощавшись с семьей. И длинная Дуся с изумлением воззрилась на представленного ей на очной ставке человека… Да, совпадения бывают удивительные.

— Так вот, — продолжал Иван Сергеевич, — во-первых, следовало убедиться, тот ли это человек. Во-вторых, каков он теперь, по прошествии многих лет? Является ли он и теперь опасным для общества, какие у него связи, чем дышит?

Наконец, не было еще полной ясности о его «деятельности» в прошлом. Вы помните, сколько людей было в свое время реабилитировано? Но в этом потоке иной раз проскальзывали такие личности, которых рядом с невинно пострадавшими и называть-то грешно. Эти типы пользовались сложившейся ситуацией, маскировались. Нам, например, было известно, что уже в лагере Федору Гришаеву предъявлялись и политические обвинения, а срок свой он отбывал за организацию грабежей репатриированных лиц при возвращении на родину. Отсидел сколько-то лет и был освобожден «ввиду нецелесообразности дальнейшего содержания» — жаловался на боли в ноге, оброс бородой, словом — немощный старик. Тот ли это. человек, которого мы ищем? Надо было присмотреться к нему, разузнать… А просто взять и арестовать — да на это ни один прокурор санкции не даст. Вот так вот…

Хозяин времянки, Всеволод Волошин, заметив, что у его жильца несколько странные часы «работы», стал поглядывать косо; Федору надо было заняться для отвода глаз каким-нибудь ремеслом. Он отправился на «барахолку» за сапожным инструментом. Присмотрел себе рашпиль, попробовал пальцем шершавую насечку, стал торговаться. И тут к рашпилю потянулась другая рука… Федор взглянул и сразу узнал: хрящеватый нос, толстая верхняя губа, покрывающая нижнюю… Человек этот сказал Федору:

— Могу предложить почти новый сапожный инструмент. Сам по этому делу работаю. Поговорим?

Федор, не отвечая, рванул рашпиль к себе, сунул продавцу деньги и двинулся в толпу. Зашел в парадную одного из домов, завел сапожника под лестницу. Тот сказал:

— Эх, Федя, Федя… Не таким я тебя помню. Постарел ты…

— Каким я был, таким остался… — насмешливо сказал Федор. — Но что было, того не было. Понял? — И чтобы стало понятнее, потянул тяжелый рашпиль из кармана. Впрочем, поговорить не отказался.

Они пошли по набережной Обводного канала. Сапожник рассказал о себе: отсидел «десятку», вышел на волю и в самом деле занимается сапожным ремеслом. Вспомнил, как лежали они с Федором в лазарете, на чистых простынях, и ухаживали за ними смазливенькие сестрички; помнится, один фельдфебель еще статью в газету написал, благодарил за уход и лечение, интересная была статейка…

— Не помню никаких газет, — сказал Федор. — И лазарета не помню. Тебе тоже помнить не советую. Тот Федя канул в воду, и кругов не осталось. Ясно? Встретились мы с тобой, поговорили и хватит. Будь здоров и больше мне не попадайся.

И Федор, чуть прихрамывая, поспешил к уходящему трамваю, с неожиданной ловкостью впрыгнув на ходу. Через две остановки пересел в автобус, затем на электричке уехал за город, там прошел пешком через лес на шоссе и, попросившись на попутную машину, приехал в Стрельну. Несколько дней сидел в своей времянке, никуда не показывался. Но, видно, беспокоился напрасно: никто из старых знакомых ему больше не попадался.

Зато новый знакомый, Павел, встретился ему в скором времени: продавал на «барахолке» свое поношенное пальто. Пожаловался, что с работы уволили якобы по сокращению штатов, на самом же деле просто «подобрали ключи». Из общежития надо уходить, хорошо бы подыскать комнатуху. Федор промолчал, хотя и сам подумывал о каком-нибудь пристанище в городе: надоело мотать каждый вечер в Стрельну. В другой раз Федор встретил Павла, когда тот сбывал шерстяной отрез; о происхождении этого отреза намекнул, что знакомая, мол, девушка, работает в универмаге. Федору он нравился тем, что, несмотря на поношенную одежду и не очень-то бравый вид, умел выглядеть вполне порядочным, не внушающим подозрений человеком. Нравилось Федору и то, что хотя Павел во всем признавал его старшинство, однако позволял себе иной раз вежливо вступать в спор; умел и слушать не перебивая. Словом, Павел был интересным собеседником, не то что сосед Кожемякин:

тот только уныло поддакивал, когда Федор критиковал всех и вся, либо вдруг обижался, «лез в бутылку». Если Федор несколько дней не видел Павла, начинал скучать. Были у него в отношении этого человека и другие планы.

Зимой Павел подыскал комнату в городе у одной старухи; Федор согласился взять на себя половину расходов. Теперь не было необходимости таскаться по пивным, где всегда могли оказаться лишние уши. Долгими вечерами Федор рассказывал, как жилось ему в Германии после войны: неплохо жилось, даже женился на одной немочке, держал магазин по обмену вещей, вроде нашего комиссионного, имел немалые барыши — было на что погулять в ресторанах. Попался из-за своего горячего нрава: полиция накрыла в гостинице с контрабандным товаром, Федор пырнул одного полицейского ножом. Судили там же, в Мюнхене, дали восемь лет. Потом уже, не отсидев срока, сумел он перекочевать в лагерь перемещенных лиц. Два года не спешил на родину, а на третий попался: прибыл домой, а его — раз! — и на Колыму… Главное, ни за что!

— Как же ни за что? Ты говорил, кажется, что кого-то в вагоне почистил?

— Говорил? — Федор нахмурился. — Черт его знает, может, и сболтнул по пьянке. Вообще-то предъявили мне такое обвинение. Пристали, ну я и подписал обви-ниловку. Знаешь, как в те годы поступали?

— Сдрейфил, значит, сдался?

— Меня заставить сдаться непросто. Были у меня свои соображения. А на Колыме меня даже побаивались. Я там однажды целое восстание поднял, часовых с вышек поснимали…

— Вре-ешь, — усомнился Павел. — Где же оружие взяли?

— Я вру?! Да ты знаешь… — И Федор пустился рассказывать истории уж совсем фантастические, но по некоторым подробностям можно было понять, что есть в этих историях доля истины. Павел восхищался вслух отчаянной смелостью Федора; он и сам был не робкого десятка, но, конечно, «куда ему до Феди»… Федор интересовался и прошлым своего нового знакомого, но биография у Павла, судя по его ответам, была, в общем-то, довольно заурядная. Все же Федор иной раз, как бы забывая, что уже задавал какой-либо вопрос, спрашивал об одном и том же снова. Очень хотелось ему поглубже «прощупать» Павла. Однажды спросил: «А что ты свою девицу прячешь? Боишься, что отобью? Или не очень она тебе нужна? Странный ты человек: я постарше тебя, и то ко мне Милка ходит. Давай приводи свою кралю».

Павел задумался, — пойдет ли? Девушка стеснительная,

скромная… Федор захохотал: ничего себе скромница, отрезы из магазина тянет!..

В назначенный вечер собрались вчетвером. Милка выпила, расшумелась, голосисто пела блатные песни. Павлова «краля» пила с оглядкой, хлеб брала двумя пальчиками, несколько раз говорила Павлу «вы». Федор сказал: «И чего ты ломаешься? Ведь мы тут все свои. А ну, пей!» Девушка храбро выпила водку до дна из стакана, поданного Федором, стала вести себя свободнее, смеялась, подпевала Милке, но потом сказала, что чувствует себя плохо, и Павел увел ее на улицу, на свежий воздух.

Вскоре после этого Федор спросил у Милки, понравилась ли ей эта девушка. Милка ответила, что девушка хорошая, и, как видно, привязана к Павлу, а вот он к ней равнодушен. «Вот так раз! — удивился Федор. — Как раз он к ней лип, а она ломалась». Но Милка стояла на своем: девушка любит Павла, переживает за него, видать по глазам… «А чего переживать-то?» — спросил Федор. «Да ведь как же, Федя…» — Милка не захотела лишний раз напоминать, что и сама тревожится за него, своего Федю, и желает ему лучшей жизни. Федор понял, сказал, что все это ерунда, но потом долго сидел задумавшись, посвистывая сквозь зубы.

Незадолго до Нового года Павел, как обычно, пришел под вечер в квартиру: его встретила старуха хозяйка и сразу заговорила о том, что надо бы за комнату заплатить вперед: «А то уедешь вдруг, как этот твой товарищ, ищи тогда вас…»

Павел кинулся в комнату: койка Федора была пуста, под оголенной ржавой сеткой валялись обрывки газет. Старуха сказала, что Федор часа полтора тому назад прибежал «как настеганный», схватил свои вещи и ушел. Будто кто-то помер у него, куда-то ехать ему надо…

5

— Вот так он и «сорвался», ушел от нас. Что побудило его к этому? Новые, внезапно открывшиеся обстоятельства? Или брак в нашей работе? Нам надо было знать причину. И, главное, найти его, возобновить с ним контакт. Конечно, наш сотрудник при этом шел на большой риск.

(Из рассказа Ивана Сергеевича)

Чтобы как-то объяснить свое бегство, Федор бросил хозяйке на ходу несколько слов о чьих-то похоронах. А вскоре ему пришлось и в самом деле присутствовать на таком печальном обряде: скончалась дальняя его родственница, добрая старушка Татьяна Дмитриевна. Доронины устроили поминки. Федор, сидя за столом, угрюмо философствовал: «Беспросветна короткая человеческая жизнь…»

Ксения Доронина к слову вспомнила о своем братишке: не успел парнишка жизнь начать, как за хулиганство угодил в тюрьму.

— Не горюй, — сказал ей Федор, — скоро вернется твой Колька.

— И откуда тебе все известно? — спросил Андрей Доронин.

— Есть у меня кое-где друзья, — туманно ответил Федор. А сам подумал: «Где они, друзья? Ни на кого положиться нельзя. Был один неглупый человек, Павел, да и от того я сбежал. Может быть, зря?» Несмотря на такие сомнения, Федор не искал встречи с Павлом.

И все же, когда эта встреча произошла, опять же на рынке, в толчее, Федор обрадовался. Но еще больше обрадовался Павел… Он угостил Федора и рассказал, что с той девушкой больше не встречается, потому что ее с подругами накрыл ОБХСС. Федор спросил, не боится ли Павел, что девка его выдаст.

— Она? — весело переспросил Павел. — Да нет, никогда она меня не выдаст. А ты что же смылся так, не предупредил?

Федору очень кстати пришлись похороны Татьяны Дмитриевны, а предупреждать, мол, времени не было. Вообще же показалась ему та квартира подозрительной, слишком много парней шатаются к дочери старухи. Павел сказал, что тоже там не живет: одному дорого платить за комнату. Теперь вот нашел другую, за городом, в Песочной: хозяйка пустила на зиму, а весной придется выметаться, потому что приедут дачники. Кстати, у хозяйки нынче мальчишка именинник, так вот купил парню книгу в подарок… Федор засмеялся — до чего Пашка

обходительный! И согласился поддержать компанию — съездить к Павлу в Песочную. Для приличия тоже повез подарок: шарф, «изъятый» из очередного чемодана. «Друзья» зашли в парикмахерскую у вокзала, побрились, наодеколонились — честь по чести, едут люди в гости…

В пустом вагоне электрички они оказались одни. Вагон покачивался, в окна била метель, то и дело сами собой откатывались на роликах двери в полутемный тамбур. Федор, привалившись в угол, постукивал твердыми ногтями по спинке скамьи и внимательно смотрел на Павла. Тот что-то весело рассказывал. В захмелевшем мозгу Федора мысли ворочались медленно, но поверх всех других вдруг всплыла одна: пусто под лавками и темно. Там вполне мог бы поместиться человек среднего роста, такой, скажем, как Павел. Можно просто положить его на скамейку лицом к спинке. Если кто и пойдет по вагону, подумает, что озяб человек и заснул. Могут до самого Рощина не побеспокоить. Положить, а самому сойти в Белоострове, пересесть на круговой — и обратно в город. И тревоге конец. Откуда она берется, тревога?

— Я уж думал — замели тебя…

Федор спохватился: прослушал, что говорил Павел. Сообразив, ответил:

— Нет, меня замести непросто. Я как из дому выскочил— бух в такси! До Невского доехали, говорю: стой, передумал. И в другую машину. Таким порядком шесть такси переменил.

— Зачем? — наивно удивился Павел.

— А если первая машина нарочно у дома дежурила?

Павел усомнился: кто это будет нарочно караулить? Уж не такая Федор крупная птица, чтобы за ним так гоняться.

— Гоняться за мной стоит, — обиделся Федор. — Думаешь, я всю жизнь на «барахолке» мыкался? Бывали и другие дела.

— Что было, то прошло. Теперь уж тебе по крупной не играть, Федя.

— Э, много ты знаешь! Сказал бы я тебе…

— Скажи. — Павел отогнул воротник так, что стало видно все его лицо с крупным лбом и светлыми глазами. — А то, хочешь, я тебе скажу? Начистоту? Ведь я понял, что сбежал ты не зря. Даже думал — уж не от меня ли сбежал? Может быть, тебе и влетела в голову такая блажь? А я, если хочешь знать, с самого начала догадывался, что ты не барахольщик, другой человек и замыслы у тебя другие. Это меня к тебе и привлекло.

Федор нагнул голову, морщины, усиленные тенью, точно клещами охватили его рот с тонкими сжатыми губами. Сказал тихо:

— Вон ты каков, мальчик. Отчаянный, а?

Электричка замедлила ход, встала. Вошли какие-то трое мужиков, по виду и снаряжению — охотники. Федор прикрыл глаза, будто задремал. Не открывал их, пока не приехали в Песочную и Павел легонько толкнул его: «Пойдем…»

…Уже давно заснула хозяйка, спал и виновник торжества, ее сынишка, прижимая во сне подарки «дядечек»— книгу и шарф, а «дядечки» все еще сидели за столом. У Павла глаза слипались, он прилег головой на локоть.

— Ты не спи, — теребил его Федор. — Разговор еще не кончен. Слушай, пока я говорю. В другой раз таких слов не услышишь. Если заваруха начнется, пойми: таким, как мы с тобой, дела хватит. Знаешь, как я одному пареньку говорил? «Будем мы с тобой или стоять очень высоко или лежать очень глубоко». Понял? Как начнется, мы…

— Э, дожидайся той заварухи, — Павел лениво потыкал вилкой в квашеную капусту, налил водки себе и

Федору. — Выпей-ка лучше, Федя. Кто решится начинать заваруху, ну кто?

— Найдутся люди. Не веришь? Я готов начать.

— Что ты готов — верю. Но, Федя, что можешь сделать ты один? Или даже два человека? Ерунда это все. Умный мужик, а плетешь ерунду.

Федор, перегнувшись через стол, зашептал, обнажая испорченные зубы:

— Не я дурак, а ты. Я не один, я жду, понимаешь? С той стороны жду человека. Недаром же там был.

— Был да сплыл. Там давно забыли про тебя.

— Нет, не забыли! Там спят и во сне видят, как бы коммунистам шею свернуть. Ненавистью захлебываются…

Павел поднял глаза, смотрел почти трезво.

— Во мне ненависти тоже хватит, — произнес он медленно. — Но насчет твоих планов, извини, — сомневаюсь.

Но Федор уже с упоением загибал пальцы:

— В первую очередь — коммунистов, потом тех, кто работает в Советах, всю милицию, энкаведешников, с семьями ихними, со щенками — всех в расход!

— Ребятишек-то зачем? — морщась, спросил Павел.

— Так они же с пеленок этим воздухом дышат, воспитываются в ихнем «социялистическом» духе, — Федор с издевкой, коверкая, произнес это слово. — Их за ноги и об стену! Тут, Пашка, надо твердым быть, ничего не бояться.

Угомонились они поздно. Ночью Федору послышались чьи-то шаги во дворе. Павел бесшумно открыл дверь, вышел. Федор

схватил со стола большой кухонный нож, лег, спрятав нож под одеялом. Павел возвратился так же тихо, темная его фигура была хорошо видна Федору на фоне промерзшего голубоватого окна. Павел наклонился над стулом, где лежали штаны и куртка Федора, тихо там закопошился. Федор, очутившись у него за спиной, прошипел:

— Что ищешь, падла?

Павел обернулся, секунду молчал, потом сказал:

— Рехнулся, Федя? Опусти ножик-то… Спички ищу, балда. — Он пошарил по полу, поднял коробок, закурил. Со вкусом причмокнул, протянул пачку сигарет: — На вот, дыми. Эх и нервы у тебя!

— С кем во дворе говорил? — помолчав, спросил Федор.

— Не во дворе. По улице пьяные шатаются, дом потеряли.

— Это давешние, что в электричке ехали?

— Стану я их спросонок разглядывать. Послал подальше… А ты что — опять дрожишь?

Федор сердито засопел, лег. Напряжение спало, в голове слегка мутилось от водки. Засыпая, подумал, что у Павла ведь есть зажигалка… Что же он искал? Деньги?

Утром Федор успокоился: Павел, полуодетый, сидя на койке, заправлял свою зажигалку бензином.

6

“Тип он, в общем-то, полуграмотный, вряд ли мог стать резидентом. Впрочем, «та сторона» ничем не брезгует. А так как будучи в Германии, он «отдыхал» у знакомого офицера на загородной вилле, где помещалась шпионская школа, то намеки его следовало проверить. Для этого случайных встреч было недостаточно; поэтому и комната в Песочной была нами подобрана для Павла Николаевича как временное жилье…

(Из рассказа Ивана Сергеевича)

Ближе к весне хозяйка сдала комнату дачникам. Павел «опять остался без крыши над головой». И Федор, наконец-то, показал ему свою времянку, даже пустил — к себе жить. Надежда Волошина сказала мужу: «Еще какой-то оборванец появился. Сева, давай прогоним их, ей-богу, душа у меня неспокойная. Мне только Милку жаль». Всеволод ответил: «Жалеешь, а предлагаешь гнать. Пускай уж живут, не обращай внимания».

Как и прежде, к Федору частенько захаживал сосед Кожемякин. Павел, присмотревшись к нему, заметил: «Где ты, Федя, уж чересчур осторожен, а где — хлопаешь. Зачем он к тебе вяжется, этот Кожемякин? Трус, шипит себе потихоньку, только мешает нам свободно поговорить. Гнал бы ты его». Федор сказал, что ему и самому надоел Кожемякин, а что трус — это верно; не так давно ему здорово хвост накрутили; в своем институте кого-то продвинул помимо конкурсных экзаменов, что взятку брал — не доказано, однако из института поперли. Устроился по старой специальности и боится, чтобы на новой работе эта история не стала известна.

По совету Павла Федор теперь меньше откровенничал с Кожемякиным. Хотя уже многое, очень многое знал Кожемякин. Знал, но помалкивал. Теперь Кожемякин чаще разговаривал. с Милкой. А она всеми путями старалась изыскать средства на жизнь да на вино своему Феде: достала вязальную машину, мастерила на ней кофточки. Федор сказал, что можно заняться другим, более выгодным делом.

По его просьбе Милка раздобыла ему форму для отливки детской карамели «петушки». Заказали еще девять форм, оборудовали во времянке котел, достали краски, закупили сахару — и работа закипела: по ночам варили и разливали по формам тягучую сладкую массу. Сначала Федор поставлял «петушков» только Милке. Получит она из буфета сто штук на продажу, а

Федор подбросит ей еще полтораста своих, кустарных — денежки в карман. «Петушковый трест» разрастался: нашлись и другие точки сбыта, кроме Милкиного лотка.

Павел ночевал во времянке не каждую ночь: опять у него завелась какая-то зазноба в городе. Но однажды и он был посвящен в тайну легкой добычи денег. Удивился: «И голова же у Феди! Все что-нибудь да придумает…» Федор сунул в котел деревянную мешалку, поднял, с мешалки потянулись красные тягучие капли. Федор поймал одну из них пальцем, попробовал и выплюнул обратно в котел, а палец ьытер об штаны: не готово еще варево…

— Ну и санитария у тебя, — передернув плечами, сказал Павел.

— А что? Сами, что ли, эти леденцы сосем? Пионерчики съедят, не сдохнут. Подсыпать бы чего покрепче сюда, да пока еще рано.

— Когда же не рано будет? — помолчав, спросил Павел. — Что-то ты мне тогда наговорил, а выходит — все брехня? Никто к тебе не едет, никаких знаков не подает. Мне уж и ждать надоело. Так всю жизнь и будешь петушками заниматься?

Федор отер ладонями помрачневшее лицо; приторносладкий пар оседал на нем, будто выступил пот. Сказал сердито:

— Не придут — сам буду действовать. Черт с ними. Неси щепок, а то прогорает…

Ранним утром возле ларька на набережной Обводного канала столпились дети: продавщица пришла заспанная, долго раскладывала товар. Нетерпеливые пальчики стучали в стекло: «Тетенька, а петушки скоро будут?» Подходили первые покупатели: кому спички, кому пачку чаю… Солидный мужчина, обмахиваясь газетой, попросил газировки. Продавщица подала ему стакан. Он посмотрел его на свет и вдруг спросил сердито: «Как вы стаканы моете? Почему грязные?» Ларечница ответила грубо, мужчина повысил голос. Возле ларька собралась толпа…

С корзиной, полной петушков, Федор только что приехал из Стрельны. Увидел толпу возле ларька и, никого ни о чем не спрашивая, пересел в другой трамвай. На «барахолке» он потолкался немного и купил себе старый, но чистый морской китель. Кто там будет приглядываться— китель это или белая куртка продавца? Через некоторое время уже торговал своей карамелью на платформе Дачное. То-то радости было ребятишкам!

Девочка лет десяти протянула дяденьке зажатые в кулачке деньги, но он сказал, что денег мало: «Скажи, детка, своей мамочке, что в моих петушках карамельки на двадцать граммов

больше, потому они и стоят дороже. Поняла?»

Мамочка сидела в тени под деревом и читала. Выслушав дочку, задумчиво свернула газету и встала. Поискав кого-то глазами, вышла на площадь. Через несколько минут вернулась с милиционером.

В тот раз Федор отделался еще дешево: забрали у него товар, заплатил штраф. Обозленный до крайности, вернулся к себе. Накинулся на Павла: спит средь бела дня, дядя его кормить будет, что ли? Павел тер глаза, тряс головой; нашел в Милкиных запасах овсяную крупу, сварил кашу, подсластив ее сахаром. Федор ел, плевался и матерился. Сказал, что надоела вся эта мура до чертиков, уехать бы куда, закатиться года на три-четыре…

— А если все же придут оттуда? — спросил Павел.

— Черт их знает, когда они придут.

— Я же говорил тебе, что напрасно ты дожидаешься. Федор промолчал. А Павел собрался в город: хоть у своей зазнобы пятерку схватить взаймы…

7

— Объясните, что происходит: вы его забираете в Дачном, а я узнаю об этом от него самого? Кто такая «мамочка»?

— Обыкновенная мама, умная женщина. Позвала милиционера, тот его и забрал. Мы тут ни при чем. На Обводном — это мы, надо же было спасать ребятишек от его стряпни. Теперь, поскольку выяснилось, что ждать больше незачем, будем действовать, как намечено. Туда отправится другой сотрудник. А вы, Павел Николаевич, возвращайтесь к семье, отдохните дня три и принимайтесь за свою основную работу.

(Из служебного разговора)

Медицинский оптик Кожемякин привык к тому, что никто из заказчиков особенно им не интересовался. Но однажды, выписывая квитанции, почувствовал на себе пристальный взгляд; смотрел на Кожемякина молодой человек спортивного вида, такие в оптических магазинах обычно спрашивают защитные солнечные очки. Не поднимая головы, Кожемякин взял рецепт и удивился: плюс шесть диоптрий! Это только для старика… Ответил, что таких стекол нет. Молодой человек сказал, что очки ему нужны для бабушки, никак не может достать. При этом он назвал Кожемякина по имени и отчеству. Кожемякин струхнул: «Откуда этот хлюст меня знает?»— и буркнул, чтобы тот зашел перед обедом. Когда молодой человек явился снова, Кожемякин выяснил, что это один из его бывших студентов.

— Я слышал, при каких обстоятельствах вы ушли из института, но никак не рассчитывал встретить вас здесь. — «Студент» будто и не замечал, как ерзает Кожемякин от этих слов.

— Здесь никто ничего не знает, — сказал Кожемякин. — И вас я очень прошу… А очки для вас, то бишь для вашей бабушки, я обязательно найду.

Молодой человек заходил потом раза два или три, но как назло Кожемякину никак не удавалось достать редко употребляемые стекла; поговорив немного о том о сем, «студент» уходил. Наконец Кожемякин нашел стекла для бабушкиных очков, но теперь молодой человек куда-то провалился. А пришел снова в очень неприятный для Кожемякина день…

Ранним утром этого дня Кожемякина разбудил милиционер и пригласил участвовать в качестве понятого при обыске у гражданина Федора Гришаева, проживающего во временной постройке, принадлежащей владельцу соседнего участка

Волошину. Кожемякин часто задышал, натянул на себя пиджак, чуть было не отправился в пижамных штанах, но вовремя спохватился.

Во времянке двое милиционеров осматривали все углы, пустые чемоданы, одежду. Третий милиционер писал протокол, еще один, стоя в дверях, посматривал, что делают остальные. Очень долго искали формы: Федор, сидя на топчане, зло издевался над «начальничками», что-то уж очень долго роются и вряд ли что найдут. Милиционеры пропускали его слова мимо ушей, все так же дотошно продолжался обыск. Потом ушли во двор. Во времянке с Федором остался только один, тот, что стоял у дверей. Скучая, принялся листать газеты, журналы, рыться в бумагах, разглядывать картинки. Федор проворчал:

— Одного человека брать — и сколько же вас, гавриков, нагнали! Тебе-то уж совсем, парень, делать нечего?

Милиционер застенчиво улыбнулся:

— Ты не сердись, дядя. Я ведь в милиции недавно, вот они берут меня с собой, чтобы приглядывался. Вроде как практиканта.

— Чудила, — сказал Федор. — Зачем в милицию сунулся?

— Да, а форма? — простодушно сказал практикант. — Глянь, какая баская… И сапоги дают.

— Деревня ты темная! — рассердился Федор. — На заводе тебе тоже спецовку дадут.

Так они мирно продолжали беседу о преимуществах разных профессий. Федор ругал милицию, а вообще держался спокойно — не первый раз его «брали»: еще до войны за ним числилось не то восемь, не то двенадцать судимостей за мелкие кражи и мошенничества. «Практикант» перелистал все бумаги, потом вышел во двор. Через несколько минут девять форм для отливки карамели были найдены в дровах. Вскоре Федора увезли.

Кожемякин явился на работу только после обеда и хотя привез справку, что был задержан, заведующий ругался: заказы лежали невыполненными. В самый разгар неприятного разговора пришел к Кожемякину его бывший студент. Дождался, когда магазин пора было закрывать, и, получив очки для бабушки, пошел вместе с Кожемякиным. Тот пожаловался: ну и денек выдался! Не дай бог никому…

Студент участливо спросил, что случилось. А узнав, в чем дело, заметил, что, пожалуй, не стоит так сильно волноваться; да и этому соседу, Федору, ничего страшного не грозит: подумаешь, «петушки»! Ну, оштрафуют или принудработы дадут…

— Боюсь, что это только цветочки, — сказал Кожемякин. — Ягодки впереди. Это же не простой жулик. Не человек, а пороховая бочка.

— Как вы сказали? Пороховая бочка? Как вы объясните такие слова?

— Не собираюсь никому ничего объяснять, — быстро сказал Кожемякин.

— Но, очевидно, у вас есть что объяснить и рассказать, — проговорил молодой человек, строго и серьезно глядя Кожемякину в лицо. — Если вы сравниваете его с пороховой бочкой, стало быть, он представляет большую опасность, так? Почему же вы до сих пор молчали? Если вы сами честный человек, можете ли вы допустить, чтобы эта «бочка» когда-либо взорвалась? Наблюдать сложа руки — это позиция отнюдь не из лучших…

* * *

— Теперь вы знаете, как мы решали поставленную задачу, — сказал Иван Сергеевич, заканчивая свой рассказ. — Вам может показаться, что мы затратили на это слишком много времени. Но хотя операция была продумана до мелочей, подозрительность Федора, его поистине волчье чутье не раз заставляли нас придумывать новые варианты, так сказать, на ходу. Помните, как он сбежал с квартиры? Он также избегал людей, знавших его раньше. Сапожник, один из тех, кто в свое время пришел с повинной и в самом деле стал честным человеком, заявил нам о встрече с Федором. Но больше он его не видел. Своего прошлого Федор Гришаев очень опасался.

Вы спросите, почему же он, так боясь, разоблачения, все же много выбалтывал нашему сотруднику, Павлу Николаевичу? Федор — человек очень самовлюбленный, тщеславный. Это прекрасно учел в своей работе Павел Николаевич. Федор, как говорится, заводился с первого оборота. Впрочем, о прошлом он уж не так много и рассказал. Главное, нам стало ясно, каков он теперь, мы увидели, чем он живет, — ненавистью, желчной ненавистью ко всему, что нам дорого и свято. А между тем сколько хороших, вполне порядочных людей не придавали этому значения! Прекрасная честная женщина, Антонина Петровна чуть не вышла за него замуж. Людмила связала по легкомыслию с ним свою судьбу. Добрая старушка Татьяна Дмитриевна помогла ему прописаться у Дорониных; родная его сестра не догадывалась, какой он человек. Да и мужчины оказались не прозорливее женщин…

Итак, Федор был осужден народным судом одного из районов Ленинграда за незаконное изготовление карамели. Теперь мы

могли не опасаться, что он скроется, уйдет от нас или натворит злых дел. Но и будучи в тюрьме, он продолжал маскироваться под обыкновенного мелкого жулика. А мы уже знали, что перед нами государственный преступник куда большего масштаба. Но ведь это надо было доказать! Гришаевым занялась другая группа наших товарищей…

* * *

Седой высокий человек, старый коммунист, чекист школы Феликса Дзержинского, говорит мне со вздохом:

— О, у этого типа, Гришаева, руки были по локоть в крови… Вот вам Алексей Михайлович расскажет, каков был этот враг и как он боролся с нами.

Алексей Михайлович стал работать следователем после Великой Отечественной войны. До тех пор воевал на многих фронтах, прошел много трудных дорог, окончил войну на Востоке. Человек он энергичный, живого ума, увлекающийся делом, большой работоспособности и настойчивости; он много месяцев распутывал дело Гришаева. Я спросила Алексея Михайловича:

— Наверное, он вас жестоко ненавидел, зная, что судьба его зависит от вас, как от следователя?

Алексей Михайлович ответил быстро, наверное, давно пришел к такому выводу:

— Нет, он ненавидел во мне больше всего коммуниста… Как вам и говорили, когда я начал следствие о прошлом Гришаева, в общем-то было известно многое, но кое-что требовало выяснения, и он надеялся, что сумеет обмануть нас, избежать возмездия. А прошлое его было страшным…

8

В осенние месяцы 1941 года по лесам северо-западных областей нашей страны брели отдельные группы бойцов, отставших от своих частей; одним удавалось с боем пробиться к своим, другие оказывались в фашистском плену.

Пленных заставляли восстанавливать взорванные мосты, подвозить снаряды, копать землянки — труд был непосильным, еда — впроголодь. Ночью в бараках шли тихие разговоры: «Что делается? Где наши? Говорят, немцы скоро будут в Москве. Говорят — войне через месяц конец. Говорят…» Говорили многое. Не все понимали, что слухи эти распространяются среди военнопленных намеренно. Приходили к ним немецкие офицеры, вербовали в разведывательные школы.

В школах жизнь была размерена по часам и минутам: побудка, гимнастика, еда, занятия, сон… Думать некогда. День за днем, день за днем. «А Москву-то, ребята, немец не взял? Может, того, зря мы сюда сунулись? Может, попробовать домой?» — «Давай двигай, храбрый какой… Нет, такая уж у нас судьба. Сами полезли».

Среди этих смятенных душ, прозябавших в вечном предчувствии возмездия, заметно выделялся один. Ходил он с поднятой головой, смело глядел всем в глаза, усмехался своей однобокой дьявольской усмешечкой:

«Чего трясетесь? Эх вы, серятинка, скотинка…» Сам себя он не считал ни серятинкой, ни скотинкой. Немецкое начальство почуяло в нем нужного человека. Его не утруждали черной работой, не назначали в караул. Вскоре перевели из тихой школы в латвийском местечке Вяцати в другую, где готовили группы для заброски в советский тыл. Там нужны были люди, обладающие инициативой, находчивостью. Он обладал этими качествами. Но ни одно из них не было использовано им для того, чтобы бежать из школы или из Риги, по которой разгуливал он свободно, без охраны. Он сам потребовал, чтобы его отправили поскорей в разведку немецкой армии в Псков. Ему не терпелось «заняться дедом»…

И вот спустя семнадцать лет после этих событий ему, Федору Гришаеву, задают вопрос:

— Расскажите о вашей службе в немецкой армии.

Узнали! Не удалось скрыться под личиной «кустаря-одиночки», не поверили, что он, якобы плененный в Смоленске, всю войну проработал в лагерях и только после этого «освободился от рабского труда». Знают, что сам сдался в плен.

Что ж, отрицать этого он не станет. Он расскажет, пожалуйста… Часть, в которой он «обстоятельствами вынужден был служить», была пехотная, стрелковая. Держала оборону против советских войск. Он был «лишь солдатом». Охотно и подробно он называет район действий этой части: Старая Русса, Холм… Но одно слово ни разу не срывается с губ его, и когда ему произносят это слово в упор, он задумывается, как бы припоминая: партизаны?

— Да, партизаны, — терпеливо повторяет Алексей Михайлович. — Принимали вы участие в действиях против партизан?

— Наверное, принимал, — говорит он осторожно.

— Почему наверное?

Тут он принимается рассуждать вслух: поскольку это был глубокий тыл, то, наверное, небольшие группы вооруженных лиц — это и были партизаны. Поэтому он полагает…

Алексея Михайловича подмывает крикнуть ему в лицо, что «полагать» тут нечего, незачем ломать комедию. Но советский процессуальный кодекс не разрешает следователю ни кричать, ни возмущаться. А подследственный пытается уверить его, «что… никто из окончивших разведывательную школу не знал, что из себя представляют партизаны. Когда мы ехали в этот край, никто не объяснил нам, что мы можем подвергнуться опасности нападения и будем обстреляны. И все мы были в недоумении».

Скажите, какая наивность! Ведь Алексею Михайловичу уже известно, что Гришаев, поехал в Партизанский край по специальному заданию в составе карательной экспедиции численностью около двухсот человек. И везли они с собой боеприпасы, оружие, радиостанцию, рулоны карт… Гришаев не отрицает: да, ехали. Он даже ссылается на литературный источник — книгу «Тюриковская операция». Но цель экспедиции якобы была ему неизвестна. На очной ставке со своим ближайшим помощником он говорит: «Не знаю. Никогда не видел этого человека. Свидетель рассказывает какой-то роман». «Роман» он пытается сочинить сам в своих собственноручных показаниях.

Партизаны ушли из «клещей», в которые попробовали их захватить, и под вечер в деревне Яски. встретили карателей пулеметным огнем. А когда каратели вынуждены были возвратиться в деревню Тюриково, партизаны нагрянули ночью, уничтожили около ста человек, захватили обоз, радиостанцию…

Повествуя в минорных тонах об этом разгроме карательного отряда, Федор Гришаев, этот прожженный бандит, отмеченный за особые заслуги еще в разведывательной школе, не может удержаться: «Вошли партизаны и стали выбивать высокомерие и дурь из тех, кто так глупо подставил людей под уничтожение».

Это — уже в адрес немцев, в адрес предателя Спицкого, начальника отряда.

Что это? Через семнадцать лет Гришаев переоценивает события? Ничего подобного. Он сожалеет, что не сам был начальником, уж он-то не подставил бы «людей» под партизанские пули! А партизан он попутно старается очернить как только может: «Были убиты виновные и невиновные… Один солдат выскочил из дома в одном белье и обратился к партизанам с вопросом: что такое, что случилось? — и получил в ответ пулю».

Ах, бедненький, наивный каратель!

Но сам Гришаев был не из тех, кого застают врасплох. Притаившись за углом дома, он подслушал партизанский пароль и отзыв, а затем под прикрытием стелющегося дыма прополз канавами и кустарниками в другую деревню, где расположилась на ночлег часть отряда Спицкого. «Уже занималась утренняя заря…» — повествует он меланхолично, видимо удовлетворенный просмотром только что написанных страниц: нигде в них не сказано, что сам он убивал партизан.

Своими «операциями», только некоторыми, «бескровными», Гришаев не прочь и похвалиться: он проехал по деревне, где находился штаб партизанского отряда, у всех на виду: «Каждый думал, что мы партизаны». Он ловко обманул партизан, спасая жизнь немцу из своей группы: «Мы сказали, что это наш пленный и он нам нужен». По пути, когда их обстреляли, «мы быстро заехали за гору», опять-таки без единого выстрела, заметьте!

Алексей Михайлович прослеживает по карте извилистый путь этой спугнутой стаи волков. Вот деревня, в которой трое коммунистов провели митинг, а крестьянки собрали продукты для детей осажденного Ленинграда. Сюда ворвалась группа Гришаева, открыла по женщинам стрельбу; был убит коммунист Воробьев, а его товарища, истекающего кровью, перевернули на спину, заглянули в лицо и выстрелили еще раз… Чудом человек этот остался жив. И вот перед Алексеем Михайловичем лежат его показания… Что скажет Гришаев?

«Служба наша заключалась только в разведывательных функциях, — пишет Гришаев. — Нигде ни одна моя разведка не нанесла поражения партизанам. Я давал им возможность уйти без боя, не занимая их пути отхода, руководствуясь принципом: «не трогай меня, я не трону тебя». Кроме двух случаев, когда волей необходимости пришлось открыть по партизанам огонь».

Только два случая! Два — за шестнадцать месяцев службы в карательном батальоне! Ну, не сама ли гуманность говорит устами этого человека? Ведь он продолжает утверждать, что вынужден был служить немцам «волею обстоятельств».

— За что вы имели звание фельдфебеля? За что вас наградили немцы железным крестом второй степени?

Гришаев молчит. Алексей Михайлович ждет ответа. Перед ним — фотографии полученных Гришаевым медалей: шесть наград — и все со свастикой.

И тут Гришаев заявляет: оказывается, наградили за то, что он за все время сумел не потерять ни одного человека из своей группы. Потрясающе трогательна забота гитлеровцев о драгоценных жизнях переметнувшихся к ним трусов и предателей!

Алексей Михайлович закрывает ладонями лицо, растирает щеки. Бывает, что и следователю становится мерзко. Но надо работать. Надо доказывать каждый факт…

9

«…Сестра рассказывала мне, как вы проживали у прекрасной русской женщины Ефросиньи. Слеза умиления навертывается на глаза от сознания, что Советская Россия имеет таких русских женщин с душой кристальной… нашей любимой Родины»…

(Из письма Гришаева к женщине)

Жила-была на свете русская девушка Таня. Ее подруга, Вера, работала продавщицей в сельпо. Война разлучила Веру с родителями — немцы сожгли деревню, девушек угнали в «цивильный» лагерь, где они проработали всю зиму сорок второго — сорок третьего года. Ближе к весне гитлеровцы лагерь распустили — изменилась обстановка. Вера кинулась искать родителей. И нашла уже в другой деревне, уцелевшей от огня. Там же встретилась снова со своей подружкой Таней. Дней десять отдыхала от своих скитаний. Жить там надо было осторожно, на улицу не выходить, кроме двух-трех часов днем — таков был приказ мирному населению. Кругом были немцы, неподалеку стоял штаб карательного батальона.

Как-то под вечер поднялась стрельба: налетели на карателей партизаны. Родители Веры вместе с ней выбежали из дома: это было уже не впервой — во время боев и стычек мирные жители прятались, чтобы не погибнуть в перестрелке. Отбежав километра полтора от деревни, скатились в овраг по набухшей талым снегом земле. Сидели там всю ночь, прислушивались: не выбьют ли наши окаянных? Под утро шустрый мальчишка разузнал: тихо в деревне, но немцы там.

Жители вернулись в свои дома. Озябшая и продрогшая Вера забралась на печь. Мать стала готовить обед и сообщила дочери новость, услышанную от соседки: пришла в деревню новая группа карателей: потребовали еды, выпили и теперь о чем-то сговариваются.

А через полчаса они вызвали Веру и Таню.

Старшим у них был черноволосый, лет сорока; глаза упрятаны под широким лбом, рот будто прорезая одной чертой. Второй, молоденький скуластый парнишка, так старшему в рот и смотрит, каждое движение ловит. Третий— белобрысый, толстогубый, рослый. Старший оглядел девушек, сказал снисходительно парнишке, потрепав его по волосам: «Нох кляйне…» Белобрысый захохотал, парнишка обиженно насупился и вышел. Тогда старший спросил у девушек:

— Где есть партизаны?

— Откуда нам знать, — ответила Таня. — Всю ночь мы в овраге просидели. Партизан — это уж вы сами ищите. Пока они вас не нашли.

Ее ответ не понравился, старший скомандовал:

— Шнель, шнель… Где есть овраг?

Девушки переглянулись: что делать? Надо идти, иначе заколют ножом либо пристрелят. У них это просто.

На улице старший пошел рядом с Верой, а белобрысый— с Таней. Позади шагал парнишка, а с ним— молодуха Потапова, одета в полушубок, лицо опустила.

Вышли за деревню. Придерживая у горла свой белый вязаный платок, Вера смотрела под ноги: идти было скользко. А ветер резкий, наверное, и Танюшку продувает, жакетик на ней плюшевый, черненький, легкий. Вместе покупали еще до войны, одинаковые обновки были у подружек. Ох, скорей бы дойти до оврага, да и обратно, домой. А зачем им тот овраг? Или думают, что и сейчас там кто-то прячется? Как же, ждите… Правильно Таня отрезала: партизан, мол, и след простыл.

Белобрысый свернул в- сторону, по снегу. Таня шла немного впереди, указывая путь к оврагу, извилистому и темному. Потаповой с парнишкой не видать. Впереди, над пустынными, пестрыми от проталин полями, взвилась ракета и погасла. Быстро, ох как быстро темнело! И ни души рядом! Вера сделала шаг в сторону, чтобы быть поближе к Тане. Но ее вдруг резко дернули за руку, заставив остановиться.

— Ну, рассказывай, падла, где партизанский штаб? Ты ведь оттуда прибежала? Говори!

Вера отшатнулась: даже не смысл слов поразил ее, а то, что этот смуглый страшный немец заговорил с ней по-русски! Значит, он русский? Предатель, сволочь…

— Я не знаю, — пятясь сказала Вера. — Овраг покажу, а больше я ничего не знаю!

Звук выстрела оглушил ее: дуло пистолета было рядом со щекой. Где-то невдалеке послышался тоже выстрел, потом другой. Вера рванулась, но каратель схватил ее за полы жакета, встряхнул, дыша самогоном в лицо. Он толкал девушку, пытаясь свалить под куст. Вера, напрягаясь изо всех сил, почти уже вырвалась, и тогда внезапная резкая боль в виске заставила ее покачнуться; в глазах у нее поплыло зеленое пламя, дыхание перехватило. Вера ощутила еще удар, и еще… Он бил чем-то твердым, раз за разом, и все по голове, и все по одному месту. Вера поняла — пистолетом. Это была ее последняя мысль, что бьет пистолетом. Ничего уже больше не чувствуя, она свалилась в

снег, судорожно пытаясь защитить руками голову.

Через полчаса каратели собрались на дороге. По направлению к деревне быстрым шагом уходила женщина в полушубке. Старший спросил у парнишки:

— Ну как?

— В порядочке, — ответил тот.

Белобрысый ругался, осматривая царапины на руках, разминая пальцами кадык на жилистой шее.

— Моя не давалась, падла. Душить еще лезла, пока была живая.

— Пока? Правильно, — одобрил старший. — Моя тоже рыпалась. Теперь уж не шелохнется. — Он засмеялся коротко, отрывисто и, взглянув на парнишку, сказал: — Пошли, жрать охота. Да не вредно еще добыть первачу.

Но он ошибся: ночью Вера очнулась. К горлу подступала тошнота, руки и ноги окоченели, белый платок, пропитанный кровью, смерзся. Несколько раз теряя сознание, Вера все же добралась домой. Мать ахнула, дрожащими руками промыла рану, разлепив волосы дочки, отогревала ее ноги. От тихого стука в окно обе они обмерли. Но это пришла соседка, мать Тани.

— Не знаю ничего, — плача сказала ей Вера. — Если она сопротивлялась, ее, наверное, убили.

Молодуха Потапова тоже ничего не знала о Тане, сидела, укачивая ребенка, и горько плакала.

Таня не пришла ни утром, ни на следующий день. На третьи сутки командир карательного батальона немец Рисе дал матери Тани разрешение искать дочь. На поиски вышли почти все жители деревни. Нашли Таню в кустах, на краю оврага. Черный ее жакетик был прострелен в четырех местах, в правом боку — глубокая ножевая рана, холодные руки — в темных синяках и ссадинах… Несли Таню через всю деревню. Несли молча. Рисе, «глубоко сокрушаясь», дал разрешение на похороны девушки. Хоронили тоже молча. Плакали женщины, плакала мать Тани; горячие слёзы, срываясь, падали в снег.

«…С июля 1941 года по февраль 1944 года в Ашевском районе Псковской области было сожжено живыми 198 человек, расстреляно 502, угнано в рабство—181, повешено — 46, зверски замучено — 32 человека».

Это из официального документа. За каждой единичкой в этих цифрах — человек, у него были отец и мать, сестры, братья, дети… И были другие, те, кто стрелял, кто бросал живых в огонь, затягивал петлю, ломал руки, насиловал. Где же они теперь? Неужели ходят и сейчас по нашей земле? Пьют, едят, веселятся, фотографируют? И пишут письма, где рассказывают, как «слеза

умиления» прошибает их при мысли о прекрасных русских женщинах?

Кто знает, кто помнит этих извергов, кто укажет на них?

За тысячи километров от того заросшего кустарником оврага, где нашли Таню, очень далеко — в одном из сибирских городов — живет уже немолодая скромная женщина. Днем сотни людей видят ее за барьером в сберкассе, сотням говорит она с улыбкой: «Купите лотерейный билетик на счастье».

Ее собственное счастье — в тихой трудовой жизни, в семье. Бывают и огорчения, но обычные, домашние, человеческие: то дочка капризничает, то сын подрался с мальчишками…

И вдруг… Нет, конечно, не вдруг. Событие это готовилось годами. Но для нее, для Веры Николаевны, — оно внезапное, потрясающее, из ряда вон выходящее. И, возможно, что первым естественным побуждением Веры Николаевны, первой мыслью было: «Оставьте, не трогайте меня! Не подымайте того, что уже забыто, чему в моей жизни нет места!» Она вспомнила, каі$ лежала Таня на земле, раскинув похолодевшие руки, услышала горестный крик Таниной матери… И заплакала. «Таня, Танюша, ты погибла, но смерть освятила па-, мять о тебе. Но если бы ты осталась жива, если бы у тебя, как у меня сейчас, были бы дети, муж, знакомые— легко ли было бы тебе рассказать, как когда-то, пусть очень давно, где-то, пусть очень далеко — на тебя нападал, валил тебя на землю озверелый предатель? Пусть бы он только избил тебя и оставил, решив, что ты мертва, все равно, легко ли было бы тебе во всем этом признаваться?»

Сколько же деликатности, сколько душевного внимания к чужой старой ране должен проявить человек, которому нужно знать именно «все», потому что это «все» уже перестало быть только личным горем Веры Николаевны; оно стало одним звеном в цепи преступлений, частью общего народного горя, требующего справедливого возмездия!

В том далеком сибирском городе Веру Николаевну спросили:

— Вы хорошо помните, что из деревни карателя взяли только вас и Таню?

— Да, я это помню хорошо. При этом меня избили, а Таню — убили.

«Зачем, — думала Вера Николаевна, — говорить еще и о той, в полушубке? Осталась она жива — и слава богу». Вера Николаевна отнюдь не хотела запутать следствие. Но при этом она решила сама, что для следствия важно, а что нет.

Алексей Михайлович вскрывает очередную почту: ага, вот и протокол допроса из сибирского городка. Но что это? Выходит, что сведения не совпадают? Две женщины или три? Или это

другой, похожий случай? Участвовал ли в нем Гришаев?

Гришаев не отрицает: участвовал. Но Вера Николаевна своими неполными показаниями дает ему возможность представить весь эпизод совсем в другом, выгодном для него свете. В его изложении все выглядит как выполнение… «боевого задания».

Он со своими людьми взял двух или трех («он не помнит точно») девушек как «проводников», чтобы они показали овраг, где, как он предполагал, могут скрываться партизаны.

— Партизан мы там не нашли, и я свою проводницу отпустил домой.

Да, да! Просто отпустил и все. Совсем невинно, не правда ли?

Он еще не знает, что есть показания участника этого преступления: «Гришаев предложил каждому из нас подобрать себе женщину в деревне, чтобы потом изнасиловать».

Он продолжает спокойно: о том, что вторая девушка была убита, он, Гришаев, узнал только вечером в штабе. Он сам пошел к Риссу с требованием устроить суд над виновниками в назидание другим солдатам!

Уголовный кодекс им изучен от корки до корки. Одно дело — выполнение боевого задания, другое — умышленное насилие, издевательство, зверское убийство. Можно пятьдесят раз задавать ему один и тот же вопрос, и пятьдесят раз он будет отвечать одно и то же: «Боевое задание». Чтобы его уличить, надо выйти из ставшего привычным круга вопросов. Надо посмотреть на все это под каким-то новым, неожиданным углом зрения. «Попробуем допустить, — размышляет Алексей Михайлович, — что он говорит правду. Конечно, врет, но все же — попробуем».

— Вы утверждаете, что узнали об убийстве девушки только вечером? А к оврагу ходили после обеда?

— Да, мы возвращались оттуда вразброд, — быстро говорит Гришаев, сообразив, что если возвращались вместе, то ему сказали бы об убийстве; ведь так оно и было в действительности.

— Боевое задание… Почему же вы, командир группы, не дождались ваших людей с выполнения этого задания?

Вот он, этот совсем простой вопрос! Но как трудно на него ответить! Недаром сказано: «Хитрейшего человека именно на простейшем надо сбивать». Впрочем, никто его не сбивает: просто «поверили» в его собственную версию и кое-что уточняют…

— Мы собирались, — говорит Федор. — Там же на месте была мною собрана вся группа. Девушки ушли. А вразброд мы возвращались уже после этого. Возможно, что девушка была убита именно в это время.

— Вы слышали выстрел? — с живейшим интересом в глазах

быстро спрашивает Алексей Михайлович.

Сказать «не слышал» — нельзя: известно время, известно расстояние до оврага от деревни и дороги. Стало быть, не слышать — не мог.

— Кругом шла стрельба, шли бои с партизанами, поэтому на выстрелы я не обращал внимания.

— Если кругом шли бои, почему же вы с членами вашей группы возвращались «вразброд»? Вы же, как командир, отвечали за группу?

Что отвечать? Ведь у этого следователя плечи привычные к погонам, он тоже воевал, и немало, и хотя воевал против немцев, но требования устава ему известны. «Какой же ты командир и разведчик, — читает Федор насмешливый вопрос в его темных глазах, — если мог допустить, что в боевой обстановке, при выполнении «боевого задания», твои люди разбрелись кто куда? Не хватит ли лгать?»

Рушится, разлетается в дым версия о «боевом задании». Но все же остается лазейка: девушку убил один из его группы, но сам он никого не убивал, не избивал и не насиловал. Попробуйте-ка, докажите, что не так!

Теперь, успокоившись, он может обдумывать наедине, как отмести обвинение в других своих преступлениях. Их у него немало.

А в это время в Сибирь идут письма, телеграммы… И получаются ответы: «Не могу приехать, не могу оставить больную мать». И все же она приезжает. Взволнованная, сердитая. Она извелась от воспоминаний, лежа на вагонной полке. Дома остались дети, муж нервничает, спрашивает, в чем дело.

Тиская в руках сумочку, она слушает, что говорит ей незнакомый, но так много знающий о ней человек. Он вежлив, деликатен, ей становится легче; он объясняет ей, зачем необходимо это такое тяжкое для нее свидание с прошлым. Она порывисто встает:

— Хорошо, пойдемте. Я готова.

Через несколько минут она открывает дверь. В комнате, на стульях, сидят четыре человека. Все примерно одного возраста, одного роста, в чем-то схожие друг с другом. Она оглядывается и тут же без запинки указывает на одного из них:

— Вот он!

— Вы уверены? Взгляните еще.

Нет, она не хочет больше смотреть. Он постарел и обрюзг, но он — тот самый, это он семнадцать лет назад кричал ей страшные ругательства, толкал в снег, бил пистолетом по голове! Такого не забудешь. Отвращение и гнев охватили Веру Николаевну…

Потом, в соседней комнате, она плакала от жалости к себе, молоденькой, двадцатилетней; от жалости к зверски убитой Тане, к ее матери, сохранившей до сих пор черный плюшевый жакетик, простреленный, проколотый ножом, с побуревшими пятнами крови. Вера плакала, но это были и слезы облегчения: свой трудный, гражданский, человеческий долг она выполнила.

10

Бремя доказывания — процессуальный термин, обозначающий, кто из сторон в процессе должен доказать свои утверждения. По советскому законодательству бремя доказывания вины обвиняемого лежит на обязанности следователя.

Всякое сомнение по делу толкуется в пользу обвиняемого, если это сомнение не будет рассеяно следствием.

(Из объяснения юридических терминов)

Бремя — это, конечно, очень старинное слово. Но сущность его остается неизменной: это тяжесть, возложенная на человека. Следователю предоставлены большие права, но, пожалуй, не меньше связывают его и ограничения, основанные на гуманности самой природы нашего советского закона. Бывает, что в частном случае, как это ни парадоксально, сам закон утяжеляет это бремя. Не всегда следователю, как говорится, везет…

Короткевичу шел двадцать пятый год, когда он очутился в окружении, а затем в фашистском плену. Лагерь, побег, опять плен, голод, страх — и Короткевич попадает в группу Гришаева. С тех пор прошло семнадцать лет. Короткевич понес заслуженное наказание, был освобожден и после этого давно уже работает шофёром в одной из южных областей нашей страны. Женился, имеет детей. Работает и живет честно. Серьезный, спокойный человек. А в душе у него вот что: «Я решил не таить в себе то, что камнем лежало на моей душе и терзало мою совесть».

Кое-кто, прочтя эти строки, возможно, и усмехнется: дескать, мелодрамой попахивает, словечки такие: «терзало», «лежало камнем…» А дело не в словах. Дело в том, что за истекшие семнадцать лет Короткевич впитывал в себя то лучшее, что наблюдал в окружающих его людях, и постепенно, год за годом, тайна, хранимая им, все больше и больше приходила в противоречие всему хорошему, что накапливалось в его душе. И наконец стало невмоготу молчать. Короткевич решился быть откровенным до конца, без пощады к себе. Только так мог он восстановить перед самим собой человеческое достоинство. И вот он рассказывает…

Как-то летом, возвращаясь в свой штаб в деревню Алексино, вышла из леса группа Гришаева. На берегу озера увидели восемь женщин. Старой сетью женщины ловили рыбу, складывали ее в ведро. Одна из них тут же кормила грудью ребенка. Никто из

карателей не удивился, когда Гришаев приказал женщинам следовать в штаб: местным жителям не разрешалось свободно ходить по своим полям и лесам. Но, отойдя километра полтора от озера, Гришаев крикнул женщинам: «Эй, вы! Чего разбредаетесь, как коровы? Давайте в кучу!» Женщины покорно собрались возле какого-то сгоревшего строения. И тогда Гришаев сказал своим: «Сейчас мы их пустим в расход».

Бессмысленная жестокость ошеломила даже видавших виды карателей. «Мы остолбенели, — рассказывает Короткевич. — За что? Кому нужно убивать этих женщин?»— «Делайте, что вам говорят!» — в бешенстве крикнул Гришаев и первым открыл огонь. Убиты были все женщины. И грудной ребенок. Гришаев приказал своим оттащить и сбросить их в воронку, полную воды.

Стреляли не все каратели. Кое-кто не поднял руку на беззащитных женщин, но не посмел противоречить Гришаеву. Короткевич помнит (семнадцать лет помнит!), как оттаскивал и сталкивал в воронку еще теплые окровавленные тела!

И вот Короткевич входит в комнату, где сидит Гришаев. Постаревший, изменившийся, но Короткевичу ли не узнать его!

Холодно и внимательно взглянув на свидетеля, Гришаев заявляет, что этого человека никогда не видел раньше. Забыл! Неужели мог забыть? Короткевич, волнуясь, подсказывает факты, годы, называет места… Гришаев стоит на своем: не знаю…

Но ведь есть еще и третья пара глаз, внимательно следящая за Гришаевым: и не только за ним, но и за свидетелем Короткевичем. И Короткевич вспыхивает: ведь так могут не поверить и ему! Он роется в своей памяти, ищет… Ага, нашел! Пустяк, но невероятно, чтобы Гришаев его не запомнил!

— Вспомни, Федя, как мы варили потом уху из рыбы, наловленной этими женщинами, — говорит Короткевич, в волнении сам не замечая, насколько циничен этот факт. — Вспомни: было много комаров, и ты еще смеялся (!), что мы едим уху с комарами!

Третий человек в комнате — Алексей Михайлович. Он ведет очную ставку. Ему предоставлено законом право и обязанность «оценить доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела, в их совокупности, руководствуясь законом и социалистическим правосознанием».

Трудно честному человеку быть объективным, выслушав рассказ о чудовищном убийстве ни в чем не повинных беззащитных женщин! Но именно потому, что человек честен, что он руководствуется социалистическим правосознанием, он обязан быть объективным. И в то же время — действовать по своему

внутреннему убеждению.

«Комары, — отмечает он про себя. — Стало быть, это конец мая, начало июня. Комары — деталь, которую не придумаешь вот так, с ходу. Озеро, рыба, голодные женщины, собравшиеся артелью, старая сеть — все похоже на правду. И Гришаев мог смеяться потом, чтобы поднять дух своих подчиненных, показать им, что убийство — дело обычное, привыкайте, мол, — это тоже похоже на правду… Смеяться мог. Но смеялся ли? И вообще, участвовал ли в этом эпизоде? Похоже на правду — это еще не правда. В памяти Короткевича могло произойти смещение: событие имело место, а Гришаев в нем не участвовал. Женщин убивали, а уху варили в другом месте, у другого озера. Нет, не может быть — и озеро было, и Гришаев стрелял в женщин, и уху потом варили!»

Это — внутреннее убеждение. На него могут повлиять и такие факты, которые ни в какой протокол не укладываются. Это и характер Короткевича, и то, как вздрагивает у него голос, как блестят глаза, как отражается во всем поведении его, Короткевича, внутреннее убеждение в своей правоте. Но и тот, второй-он тоже не закрыт от глаз следователя ширмой: и взгляд у него холодный и злобный. Впрочем, такой же взгляд был бы у него, если бы ему предъявляли необоснованное обвинение… А с другой стороны, — Алексей Михайлович уже знает о нем из других показаний: «Он был жесток и беспощаден», «он имел вид бандита, и окружающие его недолюбливали» (это еще в разведшколе, где и так собрались люди отнюдь не первого сорта!). Свои же товарищи его боялись и при случае хотели убить за жестокость даже к своим. «Убийство доставляло ему какое-то особое удовлетворение». «Он убивал с удовольствием». Вот что рассказали о нем самые разные люди… Убивал он много: при конвоировании застрелил двух женщин и приказал добить раненого старика; с похвальбой рассказывал своим, как «геройствовал» на льду реки Полисти. Не без его участия убили в, лесу восьмидесятилетнюю старуху только за то, что она не в силах была идти. А девушка Таня?

Не довольно ли этого всего, чтобы сказать человеку: виновен! Нет. Закон требует всестороннего и полного рассмотрения всех обстоятельств… Одно внутреннее убеждение недостаточно для оценки обстоятельств. И вот начинается: очная ставка Короткевича с Гришаевым, Гришаева с Ивановым, Петрова с Короткевичем, Сидорова с Ивановым…

Одни свидетели говорят обдуманно, по принципу «семь раз отмерь, один — отрежь»; другие — бухнут, потом спохватываются. Люди волнуются: ведь приходится ворошить

страшное прошлое… Идут часы и дни, и вот уже опять подходит срок, установленный законом для сдедствия, и надо испрашивать у прокурора продления срока. А Гришаев знает прекрасно: время работает на обвиняемого. Он сбивает быстрыми вопросами свидетелей с толку, заявляет ходатайства, крутит, вертит, тянет…

В любой работе, где идет поиск истины, случается почти трагическое несоответствие энергии, затраченной на поиск, — достигнутым результатам; истина сама в руки не дается.

Пятнадцать раз выезжали следственные бригады, разыскивая место убийства женщин у озера. Были составлены планы местности; опрошены жители трех поселков и семнадцати деревень. Восемьдесят пять человек давали показания. Короткевич извелся. Озера, речки, воронки — сколько их на псковской земле! Если бы каратели в те годы не бродили с места на место, если, бы сам Короткевич в дальнейшем продолжал бы жить в той местности, — вряд ли мог бы он забыть, где находится та воронка, в которую по приказанию Гришаева он сталкивал трупы женщин. Но Короткевич семнадцать лет жил вдали от Псковщины, он вообще не был сельским жителем; да и места за эти годы изменили свой вид. И Короткевич не мог уверенно указать именно то из бесчисленных озер, которое искали, не нашел ту воронку, где были трупы убитых женщин.

Объективно истина не была доказана. Это была частная «победа» Гришаева в борьбе со следователем. Впрочем, «победа» временная…

11

«Нигде, ни одна моя разведка не нанесла поражения партизанам. Я давал им возможность уйти без боя, не занимая их пути отхода, руководствуясь принципом: «Не трогай меня, а я не трону тебя».

(Из собственноручных показаний Гришаева)

В конце лета 1943 года к начальнику штаба карательного батальона, изменнику Родины Александру Ивановичу Риссу, привели задержанного вблизи сторожевых постов человека. Он назвался Ивановым и заявил, что перешел к немцам по своей воле, из «идейных» соображений. Он был молод, тщедушен, обут в какие-то опорки. Рассказал, что после того как немецкие части, вооруженные танками, при поддержке авиации обрушились на Партизанский край, в этом выжженном, опустошенном краю бродят только отдельные, разрозненные группы партизан, они плохо вооружены, лишены баз снабжения и голодают, но не прекращают своих действий против немцев.

Голос перебежчика долго и одиноко звучал в комнате. Рисе слушал, изредка покашливая, прижимая к губам платок. Все, что рассказывал перебежчик, Рисе знал и сам. Наконец Рисе сказал:

— Пока было хорошо у партизан, ты к нам не бегал, а? Говоришь — идейно предан Великой Германии? Врешь все. Служить надо. Хорошо служить — водка, еда, хлеб. Плохо — расстрел.

Рисе послал перебежчика в группу Гришаева. Гришаев выспросил у него, где находятся партизанские группы, наметил по карте маршрут. Своим подчиненным велел переодеться, кое-кому приказал заменить хорошие сапоги на рваные, выкинул из карманов немецкие сигареты — вместо них запаслись махоркой, а для закрутки — советскими газетами. Даже спички взяли в советской упаковке.

Перебежчик всячески заискивал перед Гришаевым, клялся и божился, что наведет на след партизан и тогда их можно будет ликвидировать. «Кого ликвидируем— видно будет», — загадочно бросил ему Гришаев.

Несколько суток пробиралась группа лесами и болотами, пока не вышла к топким берегам озера Полисто.

Дня за три перед этим крестьянин из деревни Шипово старик Мохов вышел в поле: местные жители голодали и, не дожидаясь, пока поспеет рожь, обрывали колосья, растирали и ели полуспелое зерно. На дороге Мохов встретил вооруженных людей,

семь человек; сначала испугался, потом обрадовался — узнал их командира, бывшего инструктора Ашевского райкома партии, а теперь партизанского комиссара Комарова. «Жив, Отец?» — приветствовал Комаров. «Я-то жив, — ответил старик. — А вот вы как существуете? Слышно, гоняют-ся за вами?» — «Волков бояться — в лес не ходить», — ответил Комаров. Партизаны, отдохнув немного, тронулись в путь. Сказали, что идут на выполнение задания. Мохов пожелал им счастья и долго еще потом стоял и смотрел им вслед.

Полистские мхи тянутся на много километров. Вдоль озера прорыта дренажная канава; метрах в четырехстах от деревни Шипово через канаву устроен мостик. В те годы настил на мостике был частично разрушен, а толстые крепкие сваи сохранились и до наших дней. Неподалеку от мостика стояла черная, покосившаяся банька.

По направлению к этой баньке, по узкой тропинке вдоль канавы, вышла из леса группа Гришаева: двенадцать вооруженных людей в рваной, затасканной одежде шли цепочкой, друг за другом. Под ногами чавкало болото. Слева, за канавой, на узком островке твердой почвы торчали грядой серые валуны; справа в полукилометре поблескивало под августовским солнцем озеро. А впереди тропинка, минуя мостик, уходила в редкий лесок. И на эту тропинку, из того редкого леска, навстречу Гришаеву вышли люди — тоже цепочкой, семь человек. Наверное, заметив незнакомых людей, они остановились и затем повернули обратно. Гришаев быстро толкнул в спину идущего впереди Иванова:

— Беги, кричи им, останови! Это же партизаны!

Перебежчик оробел, но Гришаев пригрозил ему пистолетом. Комаров узнал Иванова, спросил, где тот пропадал последние дни. Иванов сказал, что во время последней операции отстал от своих, а теперь вот вошел в другую партизанскую группу и предложил Комарову познакомиться с новым командиром. Не дожидаясь, что ответит на это Комаров, крикнул:

— Давайте сюда, это свои!

Трудно, теперь сказать, были у Комарова подозрения в том, настоящие ли перед ним партизаны; но у Комарова вместе с ним было всего семь человек, у Гришаева же — двенадцать. Уходить по открытой местности было рискованно; встречаться — тоже; но в группе Гришаева был Иванов, которого партизаны знали как своего товарища…

Незнакомый Комарову командир встретил приветливо, угостил махоркой и Комарова, и его друзей.

Двадцатилетний комсомолец из деревни Ратча по фамилии Лененок с интересом присматривался к незнакомым людям.

Партизан Федор Сушин, расставив ноги в промокших сапогах, курил молча и, как видно, был рад отдохнуть. Черноглазый с крупным носом парень посматривал на гришаевцев подозрительно. Гришаев крикнул ему: «Эй, генацвале, а ты как сюда попал?» Грузин ответил что-то по-своему. Комаров пояснил: «Наш Лото говорит — все дороги ведут в Берлин. Однако, я смотрю, у вас еще и махорочка водится, и сами вы незаметно, чтобы оголодали. Подбросили вам чего?» — «Э, какое там! — Гришаев сплюнул. — Так же, как и вы, на подножном корму. Далеко ли направляетесь теперь?» Комаров ответил осторожно: дескать, идем с задания, а там видно будет. И, в свою очередь, спросил, чем занята группа Гришаева. Тот, не ответив, оглянулся и, как будто только теперь заметив, что его люди, окружив кольцом, прислушиваются к разговору, сердито крикнул:

— Чего уши поразвесили? Столпились, а вдруг подойдут немцы? За лесом следите, черти!

Каратели разошлись в разные стороны. С Гришаевым остался перебежчик Иванов и еще два человека. Комаров поднялся:

— Пора. Бывайте здоровы. Будем надеяться, не напрасно здесь мучаемся. Фашистам все же «даем прикурить». Да и дела у них стали невеселые теперь, слыхал? Ну, мы пошли.

Гришаев встал, протянул Комарову руку:

— Счастливо. В штабе встретимся.

Пока партизаны подходили к мостику, он стоял на берегу канавы, махал им рукой и улыбался. Как только все семь, осторожно ступая по шатким перекладинам, оказались на мостике, Гришаев дал очередь из автомата по ногам идущих… Перебежчик и двое карателей вместе с Гришаевым стреляли безостановочно в спины партизан, с расстояния шести-семи метров, почти в упор; пули попадали в сваи моста, вспарывали воду. С криком падали с мостика партизаны. Раненый Комаров спрыгнул в воду сам и, стоя в ней по пояс, прицелился в Гришаева, выстрелил — но тут же сам рухнул, расплескивая брызги. «Сволочь, сволочь! — кричал грузин Лото, цепляясь за кусты. — Все равно убьют тебя, все равно победа будет наша!» Он полз, сгорбившись, на берег, мокрый, страшный, хватая ветки смуглыми крепкими руками. Гришаев слегка наклонился, и пули прошили лицо грузинского парня, черноволосая голова откинулась назад, из горла хлынула кровь. Отчаянно бился застрявший в балках мостика Лененок; розовая пена выступила на губах, высокий юношеский голос далеко разнесся над болотом. Через несколько секунд затих и Лененок, привалившись щекой к серой доске настила; он еще висел над водой, в которую погружались тела его товарищей.

Стало очень тихо. Подбежавшие от бани каратели стояли молча. Тяжело дышал предатель Иванов, отводя глаза от канавы; по воде плыли сбитые пулями щепки от свай и оборванные узкие листья вербы, за которую пытался ухватиться грузин Лото.

Гришаев вытер потное лицо, приказал Кольке-ско-барю лезть в воду, снять оружие с убитых. Колька сел на траву, стал стягивать с себя сапоги. Резко скрипнули доски, всплеснула вода: рухнуло в нее и тело Лененка. Гришаев закурил, огляделся по сторонам: все так же пустынно было вокруг, все так же поблескивало невдалеке озеро и из ржавой болотной травы торчали вековые камни, серые валуны.

В тот день Гришаев еще не знал, что из-за этих серах валунов наблюдал за происходящим перепуганный выстрелами и спрятавшийся там колхозник Семенов; что крестьянин Мохов, видевший за три дня перед тем Комарова, будет потом со своими соседями из деревни Шипово доставать трупы убитых партизан из канавы и хоронить их; что в тот момент, когда Гришаев открыл огонь из своего автомата, две не замеченные им на берегу озера женщины кинулись в лес и оттуда видели все, что произошло у мостика в первые дни августа.1943 года…

— Вы — утверждаете, что старались нигде не ввязываться в бой с партизанами и не наносили им вреда. Как вы объясните предательское убийство группы комиссара Комарова у мостика в августе 1943 года?

Объяснить трудно. Следователь раскопал все, со всеми подробностями…

Гришаев напряженно думает. И вдруг заявляет: этот эпизод он не собирается объяснять никак. По той простой причине, что сам он в то время не мог быть там: после ранения его направили в госпиталь. В августе он уже был ранен. Свидетели? Что же, они, возможно, всё видели. Но кто из них может утверждать, что карателей вел к мостику именно он, Гришаев? Он же был в то время в госпитале! И все, что произошло у мостика, было без него. Что касается показаний одного-единственного («заметьте, гражданин следователь, — единственного!») свидетеля, который сам был в чцсле карателей, сам с расстояния не более двадцати метров видел и слышал, как были расстреляны партизаны, — что ж, этот свидетель, возможно, говорит правду. Кроме одного: участия Гришаева в этом эпизоде. Потому что ему, этому свидетелю, как бывшему карателю, выгодно оговорить Гришаева: может быть, гражданин следователь что-либо и обещал этому свидетелю?

Алексей Михайлович с трудом сдерживает себя. Он отлично понимает, что обвиняемый пытается своими грязными намеками

довести его, следователя, до той крайней степени раздражения, когда человек теряет власть над собой и своими поступками. Вот тогда Гришаев заявит протест прокурору, скажет, что «следствие ведется недозволенными методами», намекнет, что следователь, возможно, из тех, кто покрыл себя позором во времена бесчинств Берии, и, стало быть, такому следователю не место в системе государственной безопасности… До сих пор Гришаев уже немало потрудился, чтобы опорочить следствие, но пока что желаемого результата не достиг. Надеется, что может быть удастся на этот раз? Напрасно надеется…

Алексей Михайлович говорит спокойно:

— Хорошо. Оставим эпизод у мостика. Расскажите, Гришаев, когда и при каких обстоятельствах вы были ранены.

Гришаев рассказывает. Во всем, вплоть до мелочей, его показания сходятся с показаниями свидетелей. Во всем, кроме одного: времени ранения. Потому что, если время август или конец июля, стало быть, не он руководил расстрелом партизан у мостика. Нет, даже не расстрелом и не честным боем или самообороной, а предательским убийством, замышленным и обдуманным заранее.

12

«Как веревочка ни вьется…»

Зимой 1960 года на псковскую землю пал глубокий снег. В начале марта из деревни Скрипиловки вышли на дорогу несколько человек в полушубках и валенках. Задувала метель, путники поглубже нахлобучили шапки, подтянули ремни и встали на лыжи. Казалось бы, зачем в такую погоду отправляться в лес? Охотники? Так нет с ними ни ружей, ни собак. Никакой поклажи, идут налегке, но и не похоже, чтобы шли на прогулку, да и кому надо выбирать для прогулки такие места, где, как говорится, и черти ноги ломают?

Сначала шли открытым полем, потом — густым кустарником и снова полем, занесенным глубоким снегом; пересекли поляну с торчащими там и сям темными мохнатыми кустиками погребального дерева, можжевельника. Впереди размашистым шагом шел ладно сложенный, невысокий человек; временами останавливался, осматривался, поднимая красное от ветра скуластое лицо, сдвинув шапку-кубанку со лба. И, меняя направление, прокладывал новую лыжню, ныряя в ямы и канавы, ломая хрусткий кустарник. Так уверенно ходит по полям и лесам привычный к ним с детства человек.

Об этом и думал идущий за ним Алексей Михайлович. Думал о том, что хотя этот человек уже много лет работает в шахте, считается неплохим производственником, промышленным рабочим, а деревенские навыки как были, так и остались при нем. По таким же кустарникам и болотам пастушонком пас он скотину; у матери было еще полно ребят, надо было самому добывать кусок хлеба. Во время войны отстал парнишка от семьи, забрали его немцы, заставили подвозить на подводе снаряды. Кормили неплохо, но тянуло мальчишку к своим, русским. Задумал бежать, вместе с лошадью. И как же горько плакал, когда лошадь убило снарядом!

Обер-лейтенант Миллер, командир второй роты карательного батальона, забрал мальчишку к себе ординарцем. К Миллеру захаживал побеседовать командир особой группы карателей — Гришаев. О нем в батальоне ходили разные дразнящие воображение мальчишки слухи: будто бы выполняет группа Гришаева самые опасные задания; отчаянной смелости ребята у Гришаева и общему распорядку в батальоне не подчиняются: пьют и гуляют средь бела дня, а потом исчезают на несколько суток. От Гришаева и обер-лейтенанта парнишка слышал, что «скоро

коммунистам придет конец», а те из русских, кто теперь верно служит немцам, получат потом большие наделы земли. Парнишка спросил: «И я получу?» — немец засмеялся, а Гришаев сказал, что, конечно, получит.

Гришаев выпросил у Миллера смышленого, шустрого паренька, забрал в свою группу и стал воспитывать из него «разведчика». Когда паренек сам воочию увидел, чем занимается таинственная группа, страх и сомнения охватили его. И тогда Гришаев сказал ему: «Жизнь надо брать, Кирюха. Будем мы с тобой стоять очень высоко или лежать очень глубоко». Кирюха понемногу стал отведывать того, что называл Гришаев «стоять высоко»: от бесконтрольной власти над жизнью людей, от того, что «все дозволено сильным и смелым», от крови людской и самогонки — закружилась мальчишечья голова…

— По-моему, это здесь, — сказал идущий впереди на лыжах. — Налево надо, вон к тем соснам, что стоят на краю болота. — Он расстегнул полушубок, от груди его веяло теплом, на разгоряченном лице таяли снежинки.

— Чудак, Кирилл, — сказал Алексей Михайлович. — Разве можно помнить, что это — те самые сосны? За эти годы тут молодой лес вырос.

— А те сосны — старые, — упрямо повторил Кирилл. Он раздвинул кусты, перемахнул через канаву, еле заметную под валом снега, выехал на узкую заросшую просеку. — Вот она, старая дорога! Мы вышли на нее справа, а слева должна быть поляна, за нею — болото.

Слева действительно оказалась поляна, поросшая молодым березняком, ольхами и осиной. За нею высились старые сосны. Кое-где в чаще березняка были видны и поваленные стволы старых берез, вывороченные корневища, старые высокие почерневшие пни деревьев, снесенных артиллерийским огнем. Стояли они, присыпанные сверху снегом, как седые молчаливые свидетели прошлого…

— Нас было пять человек, все в немецкой форме, — рассказывал Кирилл. — Партизан мы здесь встретить не ожидали, но Гришаева что-то потянуло свернуть на эту поляну. Шли мы тихо, осторожно по палой листве, лес уже пожелтел, было начало сентября. Стояли тут еще две старые ели… На поляне мы обнаружили замаскированные шалаши. В первом было пусто. Никого не было и во втором. Я отправился осматривать еще один шалаш. Шагов двадцать отошел, слышу — позади стрельба, крик… Я — обратно, бегом. Вижу: Гришаев припал на одно колено, согнулся, рукой схватился за ногу, побледнел и ругается… А под густой елью в шалаше— трое убитых партизан.

Наверное, они до нашего прихода отдыхали: двое лежали головой к ели, третий— ногами, укрывшись одной плащ-палаткой. Увидя человека в немецкой форме, один из них дал очередь из автомата и ранил Гришаева. Но наши тут же их к земле и-пришили, всех троих. Двое даже и встать не успели, так сонных и убили. Гришаева мы перевязали полотенцем…

— Откуда полотенце взяли? — перебил Алексей Михайлович.

— А у партизан. Мы и автоматы сняли с них. Гришаева доставили в расположение третьей роты, в деревню. Там его перевязали как следует и отправили на подводе в батальон, а затем уже в госпиталь, в Порхов.

Алексей Михайлович со своими спутниками свернул на поляну. Остановились покурить, пока Кирилл ходил по поляне, нагибался, присматривался. Опять посыпался с неба мелкий снег; даль заволакивало снежным туманом. Алексей Михайлович нагнулся поднять уроненную перчатку и — присвистнул; на снегу был виден след — крупный зверь оставил вмятины такой величины, что в них свободно поместилась рука, только чуть-чуть подогнуть пальцы…

— Недавно прошли, — сказал понятой, бородатый пожилой колхозник. — Этой нечисти, волков, тут полно. По таким дебрям звери и хоронятся.

— Да, не из приятных была бы встреча, — заметил Алексей Михайлович, и только еще что-то хотел сказать, как все услышали голос Кирилла:

— Э-гей! Сюда идите, сюда…

Кирилл стоял возле густой раскидистой темной ели, утопившей могучие ветви в снегу. Протянув перед собой руки, побледневший, он сказал шепотом:

— Здесь. Здесь они лежали… Под этой елью.

Почти полутораметровый сугроб разрывали лыжами; палками долбили смерзшийся наст. Когда добрались до нижних ветвей, Алексей Михайлович крикнул:

— Стойте! — и встал на колени, разглядывая сучья.

Все сгрудились над ним, стало слышно, как посвистывает ветер в вершинах.

Нижние ветви старой ели были не поломаны, а обрублены; на них ясно был виден срез, теперь уже обросший вокруг валиком коры. Было несомненно: ветки не обломились сами собой от тяжести снега, нет, срез был сделан ножом или топором много лет назад. Кому-то́ понадобилось здесь, в этих дебрях, обрубать эти нижние ветки… Еще ниже, под смерзшейся коркой из листьев и травы, в сопревшем нижнем слое, были обнаружены остатки почерневших палок, бывших стоек в шалаше и полуистлевший,

заплесневелый обрезок толстой кожи. Осторожно, как величайшую драгоценность, Алексей Михайлович взял в руки этот обрезок кожи, рассмотрел, — это был задник русского сапога.

— А вы говорите — не помню! — сказал Кирилл. — Да еще семнадцать лет пройдет, я не забуду!

Алексей Михайлович промолчал. Подумал, что не ошибся тогда Гришаев, выпрашивая у немца Миллера смышленого парнишку Кирюху: отличная зрительная память, прекрасная ориентировка на местности у этого человека! Только в одном ошибся Гришаев: не пошел его «воспитанник» Кирюха по тому пути, на который толкал его Гришаев. Стал другим человеком Кирилл.

Он с азартом разгребал снег, отыскивал еще и еще остатки шалашей партизан. Но Алексей Михайлович сказал, что эти доказательства могут быть истолкованы по-разному.

— Чего ж тут толковать, — рассудительно заметид понятой. — Ель — дерево, кое растет медленно, стало быть, срезы эти сделаны как раз в те годы. А сапог? Кто сымет с себя сапоги по доброй воле да закинет их под елку? Третье — шалаши. Стоят на самых тех местах, где свидетель указывает.

Алексей Михайлович слушал этого бывалого умного мужика, а сам думал, сколько еще лазеек может найти Гришаев, чтобы отрицать даже эти вещественные доказательства. Но, видно, на этот раз следователю повезло. Кирилл углубился в лес и вдруг закричал:

— Смотрите, что здесь еще есть!

К нему подошли, и враз все замолчали. Перед ними был крест. Грубо сделанный из двух толстых досок, наколоченных на ствол ольхи. Поперечная доска уже частично выкрошилась желтой трухой; на выщербленных местах пристыл белый чистый снег. Под крестом в глубоком сугробе можно было нащупать и неровный осевший холмик. Алексей Михайлович достал фотоаппарат. Только к вечеру, залепленные снегом, почти выбившись из сил, вернулись участники следственной группы в деревню.

В избу набралось много народу. Алексей Михайлович спрашивал:

— Неужели никто не знает, почему в такой глуши поставлен крест? Ведь видел же кто-нибудь его, ходите вы в лес по грибы, по ягоды?

Молодые парни и девушки переглядывались: кто его знает, давно поставлен, надо у кого постарше спросить. Девочка-подросток сказала:

— А под этим крестом никого и нету. Мне бабуся говорила.

— А ну, зови сюда бабусю!

Бабуся оказалась женщиной не такой уж и старой; в сорок шестом году она возвратилась с односельчанами на старое пепелище. Случайно в глухом лесу наткнулись женщины на след страшного дела: под старой елью лежали полуистлевшие трупы трех мужчин — двое головами к ели, третий — к ее стволу ногами. Одежда и обувь сопрели от дождей, но женщины все же определили: свои, русские это были люди. Женщины выкопали в лесу под ольхой могилу, похоронили останки, срубили и поставили крест, уж какой сумели… А позже, когда в районном центре на видном месте был сооружен памятник партизанам, снесли туда и останки этих трех мужчин. Крест же, как был прибит на ольхе, так и остался.

Поздно вечером пришла из соседней деревни еще одна женщина. Заливаясь слезами, рассказала, что не-давно вернулась в родные места, а в сорок третьем году осенью жила еще здесь, в деревне, где стояла третья рота карательного батальона. Однажды принесли из лесу проклятые изменники своего фельдфебеля, раненого, а нога у него была перевязана полотенцем, и то полотенце, деревенское, тканое, признала женщина, потому что давала его своему мужу, партизану, когда последний раз его видела. Только не сказали каратели, где они взяли это полотенце… Сколько лет после войны она все еще ждала своего мужа!.. И не знала до сих пор, что погиб он недалеко от дома и лежал у подножия старой ели в глухом лесу…

— А карателя раненого принесли в сентябре, — рассказывала женщина. — Это я точно помню, потому что уже и хлеб убран был, это вы, товарищ следователь, можете и у других женщин спросить: сентябрь, а не август, вот когда это было…

13

«Он ненавидел во мне прежде всего — коммуниста…»
(Из рассказа следователя)

Откуда же взялась такая упорная, деятельная ненависть? Какими соками питалась, чем поддерживалась? Судьба вела Федора Гришаева по закоулкам, по задворкам, звериным тропам. Мрачным событием отмечено его раннее детство: отец — алкоголик, опустившийся человек, покончил жизнь самоубийством. Федор попал в дом сельского богатея, возможно, что именно там он впитал первые капли яда собственнической психологии; еще подростком, одаренным, энергичным, понимающим свое превосходство над сверстниками и обделенным судьбой, Федор решил, что только силой, обманом и нахальством можно добиться лучшей доли. Зависть к чужому богатству разъедала его душу, как ржавчина. Пожалуй, в тех обстоятельствах вышел бы из него матерый беспощадный кулак.

Революция согнала тринадцатилетнего подростка с места, а в детприемниках, колониях, приютах для беспризорных он долго не задерживался: привлекала его жизнь бродяги и вора. К великому его несчастью, не встретился ему на пути человек, подобный Макаренко, не нашел он и хороших друзей-ровесников… Из мест заключения Федор ухитрялся бежать. К работе, к честному труду он относился с отвращением — гордился тем, что прожил жизнь не работая.

Вот его идеал «хорошей» жизни: «В лагере (в американской зоне) были хорошие условия, даже публичные дома». «В Германии я жил неплохо, занимался спекуляцией». «В Мюнхене… имел большие барыши от контрабанды, было на что погулять». «Только в войну я понял, какая может быть настоящая жизнь…» Война дала ему власть над людьми — одно из самых сильных искушений для неустойчивых душ. Не случайно фашисты почувствовали в нем своего человека. Его похлопывали по плечу, когда он из леса приносил одежду и обувь убитых, его угощали коньяком за то, что он предательски убивал своих соотечественников. Ему вручали награды, его взяли с собой в Данию, когда пришла пора уносить ноги с советской земли. Он еще немало послужил своим хозяевам и в дальнейшем: врываясь на русском танке под видом советского командира в расположение наших частей, он давил гусеницами наших солдат, а затем хитростью и обманом возвращался к своим, за линию фронта. Но после войны фашисты попрятались, а ему пришлось

устраиваться самому. Он и о них говорит со злобой: «Они меня обманули…»

Он предпринимает новый ход: с букетом цветов является в советскую комендатуру в одном из австрийских городов и поздравляет с праздником Победы… Он продолжает лгать, скрывая свое прошлое и в фильтрационном лагере и позже, после освобождения. И вот он «скатился»: «букашка», «хрюкалка», как говорит он о себе с раздражением.

Кого же винить в своих неудачах, в бесславном существовании под конец «бурной» жизни? Кого же, как не коммунистов, считающих доблестью труд; кого, как не их, всегда утверждающих, что силы добра непобедимы, кто считает проявлением высшего человеческого долга отдать свою жизнь за равенство, братство и счастье всех людей? Кто, как не они, коммунисты, вместе со всем советским народом победили фашизм в Великой Отечественной войне? Как ни ругает Гришаев и фашистов, но все же помнит, что они его когда-то пригрели..

И вот он очутился лицом к лицу с одним из коммунистов, следователем Алексеем Михайловичем. Если бы тот был только слепым исполнителем закона, тогда Федор мог бы еще понять! Нет, это был противник, глубоко убежденный в том, что таким людям, как Федор, нет места на нашей земле!

Невозможно даже перечислить все уловки, все хитросплетения, которые придумывал Федор в своей борьбе со следователем. Он, ненавидевший Советскую власть, цинично пытался использовать советский закон, чтобы запутать следствие, опорочить и следователя и свидетелей. Читаешь многотомное дело, и вдруг начинает казаться, что ты уже бредишь: откуда-то вдруг всплывает вязальная машина… При чем тут она? Оказывается, Федор пытается опорочить свидетеля, якобы забравшего у Милки эту машину и потому заинтересованного в том, чтобы Федора осудили. То возникает переписка о каких-то трехстах рублях, взятых взаймы свидетелем у Федора, и человека начинают вызывать в партийное бюро, спрашивают, обсуждают… Он пишет жалобы прокурору, пишет в Военную коллегию Верховного Суда. Куда только он не пишет! И вот — последний его «заход», уже после суда: просьба о помиловании.

Передо мной большой лист с круглой красной печатью Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик:

«…В просьбе о помиловании отказать».

Федор Гришаев был приговорен к высшей мере наказания — суровой, справедливой каре, заслуженной убийцей и предателем.

И вот еще одно небольшое служебное письмо, адресованное в псковскую деревню: матери девушки Тани сообщается, что плюшевый черный жакет, взятый как вещественное доказательство, теперь может быть возвращен…

«Высшая мера, — перечитываю я. — Высшая мера». И сами собой рядом с этими словами возникают в памяти другие слова из партизанской грозной песни: «За великие наши печали, за горючую нашу слезу…»

Вадим Инфантьев. У САМОГО КРАЯ

Людям свойственно увлекаться. Одни целиком поглощены своей работой, из таких вырастают крупные ученые, художники, мастера; другие одержимы страстью к музыке, к рыбалке или коллекционированию, это счастливые люди — в них горит любовь, она не подвластна ни возрасту, ни обстоятельствам.

Но когда видишь на улице Бродского у Европейской гостиницы или на Исаакиевской площади у «Астории» молодых парней, заискивающе поглядывающих на иностранцев, мысль об увлеченности как-то не приходит в голову, испытываешь чувство стыда и брезгливости, хочется подойти и сказать: «Послушай, ты же человек, гражданин, а не бездомный пес, обнюхивающий чужие ноги».

Есть что-то ущербное в поведении и облике этих парней, будто отрыгнулись в них через полстолетия раболепство трактирного лакея и продажность мелкого фискала.

Их мало в нашем большом городе, и поэтому они еще резче бросаются в глаза.

Невольно задумываешься о судьбе такого парня. Как он будет жить дальше? Может, сам опомнится и станет трезво смотреть на окружающее? А если не опомнится? К каким последствиям приведет его собственное неуважение к себе?

Хорошо, если в последний момент его остановят у самого края и не дадут стать преступником, о чем рассказано в этой документальной повести. А если не успеют?..

1

Он ожидал всего, только не этого. Он вздрагивал при отрывистых звонках трамваев, доносившихся с улицы. Несмотря на запрещение звуковых сигналов, водители нет-нет да и грешили, отпугивая вышедших на рельсы зевак. Конечно, звонок должен быть не такой. Он явственно представлял, какой это будет звонок, — длинный, настойчивый, властный. Он раздастся обязательно ночью. Мать сбросит цепочку, откроет дверь, и сразу в квартиру войдут люди в шинелях, в штатском, за ними дворник и кто-либо из соседей с испуганно-заспанными лицами.

Однажды звонок раздался именно ночью. Сергей вскочил с постели. Звонок был продолжительный, долгий, он не прекращался. Он звенел и звенел. Сергей думал только об одном: «Пусть мама откроет дверь, она проснется, и это будет для нее какой-то подготовкой, хуже, если она с постели увидит ночных посетителей». Но мать не вставала, а звонок все звенел. В квартире было тихо, — шумело в ушах, колотилось сердце, и звенел звонок. Он доносился с улицы. Почему с улицы?

Сергей подошел к окну, распахнул, и сразу стало холодно. Блестели мокрые от росы трамвайные рельсы. На панели метались милиционер и несколько не совсем трезвых мужчин. Они размахивали руками и смотрели в одном направлении. Наверно, на дверь кафе «Улыбка» в соседнем доме. Сергей побоялся высунуться из окна. Он вспомнил, что над дверью кафе был укреплен большой электрический звонок.

Тело тряс озноб, воздух на улице был влажный. Звонок не унимался. На панели собиралась толпа.

Сергей до утра не заснул, ворочался с боку на бок, курил до тошноты, пил воду из горлышка графина.

Утром мать спрашивала, что с ним, почему не ест и вид утомленный. Сергей сослался на бессонницу, подождал до одиннадцати, когда откроется кафе, спустился на улицу, заказал стакан томатного сока и спросил знакомую буфетчицу о звонке. Та отмахнулась:

— Ерунда получилась, кто-то не закрыл на шпингалеты окно, ночью поднялся ветер, рама распахнулась, и сработала сигнализация.

Эта ночь почему-то запомнилась надолго. Звонок был похож на тот, которого Сергей ждал. Еще он предполагал, что где-нибудь на улице его крепко возьмут за локти и скажут: «Гражданин, пройдемте». Хотя так говорят милиционеры. Эти, наверное, действуют по-другому.

Сергей ожидал всего, что угодно, только не этого. Это было до нелепости невероятным и неожиданным.

— Сережа, газеты будешь смотреть? — спросила мать, войдя в комнату. — Да, вот еще письмо тебе от какой-то девицы.

Она протянула серый тонкий конверт с четырехкопеечной маркой, надписанный ровным круглым женским почерком.

Сергей подумал: «Неужели опять?» Разорвал, вынул вдвое сложенный листок, развернул и оторопел. На бланке Управления Комитета государственной безопасности было написано: «Гр-н Болдырев С. П., прошу Вас прибыть в Управление на Литейный, 4 (вход с ул. Каляева), в комнату № 430 на 4-м этаже 11 августа с. г., от 10 до 18 часов. Если Вы не сможете прибыть в указанное время, то сообщите по телефону, когда сможете это сделать. Капитан Половцев».

В горле Сергея задергалась какая-то жилка, захотелось расхохотаться, наверно, это чья-то «покупка», ну, например, Бориса Самарова. Он прозвал Сергея Янки и смеялся над его увлечением всем американским. Но такими вещами не шутят, и бланк вряд ли достанешь.

Одиннадцатого августа. Значит, в распоряжении полдня сегодня и весь завтрашний день. Неужели это просто случайность и вызывают по другому вопросу? Но вдруг они все знают? Нет, тогда не стали бы вызывать, тогда раздался бы длинный, настойчивый звонок у двери. Тут что-то не то, не то…

Когда прошло оцепенение, Сергей заметался по комнате, снимая с полок книги, потом, бросив их, стал рыться в столе, лихорадочно просматривая бумаги, которыми был набит весь ящик. Скрутил в жгут журнал «Лайф», попытался запихнуть его в пустую консервную банку с надписью «Кока-кола». Банку подарили ему супруги Старк, после того как он объехал с ними на машине весь город, показал буддийский храм, мечеть и баптистский молитвенный дом… Да, еще они подарили две душеспасительные брошюрки, изданные в Чикаго. А эту книжку тоже надо уничтожить: Жозеф Джастроу «Фрейд — его мечты и сексуальные теории». И еще… где же она? Сергей стал выбрасывать из шкафа книги, пока не нашел нужную: «Обеспокоенный воздух», ее подарил Митчелл…

Черт дернул их переехать в новую квартиру! Здесь нет даже печки, газовой колонки тоже нет — горячая вода поступает от теплоцентрали. Мать, как назло, звенит посудой на кухне. Письмо можно сжечь в уборной и спустить в унитаз, а книги? Они же толстые.

Сергей выглянул в коридор. С кухни доносился звон посуды.

Хотя бы мать вышла куда-нибудь. Она же спросит: «Что ты

так много спускаешь в уборной воды?» А книг сколько! И соседи обратят внимание на непрерывный шум сливного бачка.

Вынести в мусорную бочку на заднем дворе? А вдруг за Сергеем следят и сразу схватят с поличным? Остается одно — изорвать и выбросить в мусоропровод.

Часто оглядываясь на дверь, Сергей начал рвать страницу за страницей на мелкие клочки, бумага скользила под вспотевшими пальцами. Раздался звонок, второй, третий. Это не дверь, это телефон.

— Сережа, тебя! — крикнула мать.

Сергей не узнал голоса звонившего.

— Привет, Янки! Приходи сегодня в Эрмитаж к пяти часам, познакомлю с группой англичан. Ты что, оглох, что ли?

Эрмитаж? На что он намекает?

— Янки, ты понял меня или нет, чего сопишь в трубку?

Звонил Борис Самаров. Его голос. Но почему он говорит об Эрмитаже? А может, это не он…

— Я плохо себя чувствую, не могу.

— Жаль. Довольно интересные люди будут, а одна такая симпатяшка!

Впереди была ночь, день, еще ночь и…

Утром одиннадцатого августа в полупустой трамвай вошел парень с красными от бессонницы глазами, он долго и рассеянно искал в кармане монету, бросил ее в кассу, оторвал билет, сел к окну.

Мимо поплыла улица с витринами магазинов, с прохожими, с детскими колясками и газетными киосками. Номер трамвайного билета был несчастливым. Сергей смотрел в окно, ничего не видел и думал, думал, предполагал, рассчитывал…

2

В бюро пропусков Управления КГБ по Ленинградской области пришел мужчина, выложил паспорт на имя Макарова Василия Васильевича, потребовал свидания с начальником управления, показав два письма, полученные из Нью-Йорка. Дежурный просмотрел их, сказал, что из-за этого не обязательно идти к начальнику. Позвонил какому-то Григорию Павловичу.

В кабинете за столом сидел пожилой человек в коричневом в полоску костюме. Встал, поздоровался, предложил сесть и сказал:

— Слушаю.

Макаров выложил на стол паспорт. Григорий Павлович его не взял и еще раз сказал:

— Слушаю, слушаю.

Макаров стал шарить по карманам, ища письма, он их только что держал в руках и… на тебе. Наконец вытащил из бокового кармана пиджака два конверта и протянул их Григорию Павловичу. Тот взял, не глядя положил рядом и еще раз сказал:

— Я вас слушаю. В чем дело?

Макаров поерзал на стуле, хотел встать, потом неопределенно помахал руками и начал:

— Я родился и вырос в Ленинграде. Ни родственников, ни знакомых за границей у меня нет. Понимаете, нет. И вот получаю письмо из Нью-Йорка от какого-то Стоуна, в конверте еще конверт распечатанный и обратный адрес на нем указан мой, и фамилия моя. Понимаете?

— Понимаю.

— Английский я учил когда-то в школе. Сейчас немногое помню, но понял, что этот Стоун обращается ко мне не очень-то любезно: «Господин Макаров!» Понимаете, не «уважаемый господин», а просто «господин». И в конце письма подпись — Дж. Стоун. Если бы это было вежливое письмо, то он перед подписью поставил бы «с уважением» или что-то в этом духе. Я хотел взять словарь и перевести, но решил посмотреть второе письмо, в открытом конверте с нью-йоркским адресом. Оно оказалось написанным по-русски печатными буквами, и это такая дрянь, что я не стал переводить и поехал к вам. А обратный адрес указан мой, и фамилия моя…

Григорий Павлович посмотрел письмо, написанное по-английски, потом долго разглядывал конверт, на котором по-русски был указан обратный адрес ленинградца Макарова. Пробежав страницы этого письма, он усмехнулся, покачал головой и снял трубку:

— Ирина Васильевна, найдите Комарова, пусть зайдет.

Положив трубку на рычаг, обратился к Макарову:

— Автор этого письма, видимо, ошибся адресом, и оно попало другому человеку, который возвратил его…

— Но не мог же я…

Григорий Павлович согласился.

— Конечно, если человек скрывает почерк, пишет печатными буквами, то свой истинный адрес он не укажет.

Пока ждали, Макаров сидел и рассматривал кабинет. Откуда-то из-за стены донеслись приглушенные возбужденные голоса. Там играли в настольный теннис. Макаров взглянул на часы:

— Простите, у вас, наверно, обеденный перерыв…

— Да, обед, но мы скоро. Вот и Комаров.

Вошел невысокий смуглый молодой человек. Григорий Павлович сказал:

— Виктор Александрович, познакомьтесь. Это товарищ Макаров. Ему возвратили из Нью-Йорка якобы им отправленное письмо и препроводительная есть. Переведите ее.

Комаров пробежал глазами письмо, усмехнулся и посмотрел на Макарова.

— V Ясно, что адрес подставной. Ну ладно. — Он несколько минут молча читал письмо, еще раз усмехнулся. — В общем так: «Господин Макаров! Ваше письмо я прочитал по ошибке, поскольку адрес указан мой. Я вернулся из поездки, нашел в ящике много писем и торопливо вскрывал их. На Вашем письме я не обратил внимания, что фамилия указана не моя. Поскольку в тексте могло быть разъяснение по поводу истинного адресата, то я показал Ваше письмо моему товарищу, который перевел его со словарем, и я решил его возвратить Вам. Я человек деловой, и у меня нет времени искать истинного адресата. К тому же О. Кларков в Нью-Йорке не меньше, чем у Вас Ивановых. Постарайтесь внимательней надписывать адреса на Ваших посланиях. Поскольку я прочитал Ваше письмо, то хочу сообщить, что у нас и не такое пишут р Вашей странё. Но врать надо тоже уметь. Ни я, ни мой товарищ не поверили, что Ваши крестьяне жалеют об уходе немцев с советской территории. Да и вряд ли это кого-нибудь в мире убедит. Возвращаю Вам письмо. Прошу внимательно надписывать адреса и учесть, что мужчине не пристало жаловаться кому-либо на порядки в собственном доме. Дж. Стоун».

— Н-да, — сказал Макаров. — Отчитал. — Он вдруг вскочил: — Вы непременно найдите этого мерзавца! Ведь мое имя треплет! Надеюсь, быстро разберетесь?

— Не думаю. Во всяком случае, мы вас известим.

Макаров долго еще говорил, прежде чем уйти.

Григорий Павлович полистал письма и подал их Комарову:

— Заготовьте постановление о назначении экспертизы, возможно, письма содержат тайнопись.

— Вряд ли…

— Все может быть. За бездарным антисоветским текстом может быть скрыта более серьезная информация, хотя я тоже в это не верю…

Пока машинистка печатала текст постановления, Комаров еще раз прочитал письмо. «Н-да, значит кого-то в городе втягивает иностранная разведка. Еще не втянула как следует, но уже начинает. И этот кто-то, по всей вероятности, молодой парень. Грамотный и не очень умный. Неужели он не знает, что свойственный человеку почерк никак нельзя исказить? Даже в «Технике молодежи» рассказывалось, как привязывали карандаш к запястью, к локтю, писали левой, и все равно характер почерка сохранялся. Парень глуп еще потому, что неумело подделывается под малограмотного. Пишет: «…Наступает оттепель, просыпается природа и человек, усыпленный зимней стужей. Бодрость и веселье пробиваются сквозь усталость и безразличие к жизни… Холод я ненавижу. Я так страдаю от него зимой. И когда о нем думаешь, то даже в жару по телу бегут мураж-ки…» Он так хотел сделать ошибку, что букву «ж» вывел четче и старательнее, чем остальные. Парень глуп еще и потому, что действительно, как подметил этот Дж. Стоун, врет бездарно… «Крестьяне, которые жили в оккупации, делятся приятными впечатлениями о том времени. Они так страстно говорят, что жалели об уходе немцев и с нетерпением ждали прихода американцев. С этой надеждой они живут и поныне…» Да, развесистей клюквы не придумаешь… Интересно, далеко ли этот тип успеет зайти, пока его не обнаружат? И кто его обрабатывает? Ясно, что идет обработка, втягивание, и парня этого надо разыскать…

3

В кабинете Григория Павловича шло совещание. Решался вопрос, что делать с гражданином Болдыревым Сергеем Петровичем, 1942 года рождения, беспартийным, окончившим Электротехнический институт, работающим в лаборатории одного из ленинградских заводов.

На столе лежала тоненькая папка. Письмо, принесенное Макаровым, к делу подшито не было, оно лежало на столе рядом. Григорий Павлович листал дело.

— По-моему, его надо арестовать и судить, — сказал Комаров. — Есть за что. В конце концов нетрудно доказать, что письмо, принесенное Макаровым, написано Болдыревым. И еще, видимо, он отправлял письма такого содержания. Любой человек, собираясь зимой опустить в почтовый ящик письмо, обязательно снимет перчатку, потому что в перчатке просто неудобно достать конверт. Болдырев прихватывал письмо бумажкой, потом рвал ее и бросал в урну.

Половцев потушил в пепельнице окурок и, продолжая глядеть в окно, сказал:

— Хорошо. Допустим, мы выяснили, что он написал это письмо и еще несколько. Раз он искажает свой почерк, значит, опасается, что письмо может быть вскрыто. Но что он пишет? Нечто подобное этой ерунде. Более серьезную информацию он дать открытым текстом не рискнет, а тайнописи не знает. Средства для нее были ему оставлены в тайнике, он знал об этом, но к тайнику не прикоснулся. И даже в Эрмитаж перестал ходить. Не будем гадать, струсил или раскаялся, думаю, что скорее струсил. За что же будем его судить? За связь с американской разведкой, но он тайник не взял. Письмо он получил, наверняка проявил, обязательно уничтожил и будет отрицать, что в нем было скрыто сообщение о тайнике…

— За клевету на Советскую власть, на правительство, на нашу страну, — вставил Комаров.

Представитель прокуратуры думал иначе. Прокуратура не возражает против прекращения дела.

— Я согласен с вами, — вмешался Григорий Павлович, — Болдырева надо доставить к нам, поговорить, разъяснить и предупредить. А дело прекратим. — Григорий Павлович повернулся к Комарову: — Он, видимо, боится, что вот-вот засыплется?

Комаров встрепенулся. Он думал: сколько времени отнял этот жалкий клеветник, согласный работать на иностранную

разведку, и вот, пожалуйста, проводи-с ним профилактическую беседу. Нечего церемониться. За клевету так за клевету, виноват — отвечай по закону. Комаров попытался сосредоточиться, потер подбородок.

— Заметить наблюдение он не мог, мы действовали осторожно. Но за последние месяцы проявляет явное беспокойство, аж с лица спал. И все старается познакомиться с большим числом иностранцев. Прямо после работы едет на Невский или к «Астории», настойчиво ищет знакомств, причем не обязательно с американцами. И французы ему годятся, и финны, и итальянцы… Иногда по два знакомства в день заводит.,

Половцев заметил:

— Это значит, что тайнопись он проявил и догадался, что вступает в связь с американской разведкой. Вот и начал петлять, запутывать следы…

— Так как решим? — спросил Григорий Павлович, оглядывая присутствующих. Половцев заметил:

— Я свое мнение изложил…

Представитель прокуратуры добавил:

— Мы не возражаем…

Григорий Павлович повернулся к эксперту:

— Федор Иваныч, значит, ничего нового в присланных для Болдырева средствах тайнописи нет?

Высокий крупнолицый мужчина не спеша ответил басом:

— Обыкновенные средства. Для более серьезных агентов у них есть другие. А это так… — эксперт махнул рукой.

— Ну вот, значит, решим, — сказал Григорий Павлович. — Вы, Виктор Александрович, или вы, Игорь Семенович, берите завтра с утра машину, до начала работы езжайте к Болдыреву и привезите его сюда. Объясните, что для беседы…

Комаров не слушал Григория Павловича, торопливо что-то соображал.

— Понятно, товарищи?

— Нет! — сказал вдруг Комаров. — Я предлагаю не ездить за ним, а послать письмо с вызовом. Срок назначить с запасом. Я знаю этого типа. Он самолюбив, мнителен и труслив. Пускай сутки или двое помучается, пораскинет мозгами. Представляю, что с ним будет твориться.

— А если он повесится в уборной?

— Мы же госбезопасность, а не благотворительное общество. Раз напакостил — пусть переживает. Не волнуйтесь, он на себя руку не поднимет, а вот штаны раза два сменит.

— А если рванет куда-нибудь?

— Куда? За границу?.. Лично я хотел бы, чтоб он туда

драпанул. Ему бы там всыпали. Более двух месяцев не брал тайник. И это он прекрасно понимает…

Когда эксперт и представитель прокуратуры ушли, Комаров невесело рассмеялся.

— Припоминаю, как дежурил у тайника. Приходят люди, постоят, посмотрят в окно, отдохнут и дальше. Вдруг является молодая мама… И на кой черт ребенка тащить в Эрмитаж? Ему еще рано, устал он. Сначала и так изгибался и эдак, капризничал и чего только не вытворял, а потом стал запускать руки за батарею парового отопления. Дети же наблюдательные. Ну, думаю, сейчас все испортит: вытащит контейнер, мамаша поднимет шум, сбегутся люди, и полтора месяца работы пошли прахом, а мне еще холку намылят: куда, мол, смотрел. Ничего другого не оставалось, как подойти, за-вести разговор. Между прочим заметил, что один мой друг, санитарный врач, недавно обследовал с комиссией помещения, где бывает много народу: метро, кинотеатры, музеи, — и, представьте, в самых неожиданных местах они обнаруживали болезнетворные микробы… Мама хвать чадо за руку, шлепнула его и потащила в туалет…

Григорий Павлович заметил:

— Болдырев мог колебаться неделю, ну — две. Раз больше месяца не шел, значит, решил не брать. Он же понимал, что за это время контейнер могут случайно обнаружить, и он не знал точно, что в нем заложено. А может, что-нибудь такое, что поможет найти его след? Письмо он наверняка уничтожил и скажет, что не получал.

4

По пустынным улицам большого европейского города брела девушка. Вспыхивали и гасли огни реклам, свет их с трагической ритмичностью отражался в больших ее, полных горя глазах. Обманутая, оскорбленная, поруганная, она брела без цели и без надежды. Вокруг текла жизнь бездушного, неустроенного, злого мира. В ней было все — и блеск балов, и роскошь вилл, и взвинченная истома ресторанов, не было только места вот для этого одинокого существа. Ее старенькое платье свисало лохмотьями, она попрыгала на одной ноге, надевая свалившуюся туфлю с дырой на подошве.

…Публика из зала выходила долго и медленно, толкая плечами друг друга, потянуло холодком улицы, запахом только что закуренных папирос.

Контролерша с жетоном на груди резко и привычно покрикивала:

— Товарищи, прошу в зале не курить! Товарищи, прошу в зале не курить!

А Сергей шел и думал: «Да. У них там все красиво. Даже нищета и несчастье у них красивы».

Парень в пальто с поднятым воротником, идущий впереди Сергея, посмотрел на товарища и заметил:

— Актриса-то какова!

— Первый класс! — многозначительно ответил товарищ.

Сзади чей-то мужской голос произнес:

— Великолепно сделан фильм. Просто великолепно.

— Это-то верно, но полная безысходность, аж жить не хочется.

Сергей рассеянно ловил обрывки разговоров и думал, что много ли они понимают, эти люди. Образы, прошедшие на экране, вновь возникали перед глазами. «У них даже нищета красива!»

Несчастную героиню фильма играла молодая красивая актриса. Платье с чужого плеча не висело мешком, уродуя фигуру, а ладно облегало стройное тело, подчеркивая его юность. Оно проносилось и истрепалось, но не в тех местах, где быстрей всего изнашивается одежда, в прорехах сверкало молодое тело. Свалившаяся рваная туфля обнажила маленькую, словно высеченную из мрамора, ступню.

Одни увидели в фильме трагедию современного западного мира, другие — превосходную игру актеров, третьи — мастерство режиссера и оператора, четвертые — просто красивую женщину.

А Сергей Болдырев еще раз убедился, что там, за рубежом, даже несчастье и нищета — красивы.

Как он жалел, что не смог проникнуть на служебный просмотр новой кинокартины известного режиссера! У входа толпились парни и девушки, они заискивающе смотрели на деловито проходивших в здание.

«Вот она — новая каста, — со злобой подумал Сергей, — сами смотрят, другим не дают».

Двое опоздавших торопливо взбежали по ступеням, ища в кармане билеты, и дверь захлопнулась.

А Майкл (это Лешка Кувшинников) попал: у него связи. Потом он, захлебываясь, рассказывал, какая там изображена жизнь, любовь и прочее. Правда, опять показано, что они не видят в жизни выхода, цели, все надоело, что всем они пресыщены. Но ведь до пресыщения им было хорошо. По крайней мере, там, если ты имеешь способности и смог пробиться, — поживешь всласть, со всеми удовольствиями, и никто тебе ничего не скажет — были бы деньги. Ну, а если не сможешь? — пеняй на себя. Сам виноват: побеждает сильный…

Скоро Сергей закончит институт, и его пошлют по распределению черт знает куда — в тайгу, тундру или еще в какое-нибудь захолустье. Жить в палатке, в бараке, топать по грязи на работу…А где-то есть жизнь с роскошными «роллс-ройсами», виллами и свободной любовью, за которую ни перед кем не надо отвечать… Митчелл Кроуз рассказывал ему, что у них в США порядочный инженер может иметь и автомашину, и загородную виллу, и вообще многое себе разрешает…

Вместе с толпой Сергей брел по панели. Свет фонарей на улице ему казался тусклым, привычная надпись: «При пожаре звоните по телефону 01» раздражала.

Три девушки с высокими модными прическами о чем-то оживленно шептались. Увидев Сергея, они умолкли и с любопытством посмотрели на него. Он равнодушно прошел мимо, запустил руку в карман, нащупал мелочь. Как всегда, денег было мало, не больше рубля. Ну что ж, зайдет в кафе-мороженое, посидит, подумает. Вот оно — напротив.

На середине улицы Сергей вздрогнул от резкого милицейского свистка. Милиционер показал рукою на панель и не спеша направился к Сергею, стуча тяжелыми яловыми сапогами.

Вот и посидел в кафе. Милиционер выписал квитанцию и, подавая ее, сказал:

— В следующий раз постарайтесь соблюдать правила уличного движения.

— Штрафуют на каждом шагу, — раздраженно проворчал Сергей и побрел домой. С полтинником в кармане много не нагуляешь.

Поужинав, Сергей взглянул на часы, прошел в свою комнату и включил приемник. Долго настраивался на волну Би-Би-Си.

Часто о каких-нибудь готовящихся событиях они сообщают раньше наших радиостанций. Так создается впечатление оперативности и достоверности. Часто критикуют действия своих правительств, а потом начинают обсуждать порядки в нашей стране. Так создается впечатление объективности. Ну, а когда впечатление создано, можно сыпать в эфир что угодно.

Для того чтобы угробить статью, книгу или диссертацию, есть давно известный прием. Надо найти в ней явные ошибки, пускай самые мелкие, но бесспорные. Показать их ярко, убедительно, сосредоточить все внимание слушателей на них, потом мимоходом отметить положительные стороны и дать общее заключение — отрицательное. И люди поверят. А еще проще: надергать цитат. Фразу или абзац, вырванный из текста, можно истолковывать как угодно.

В прошлом году Майкл Кувшинников позвал Сергея на вечеринку к знакомому парню, окончившему институт. Он только что вернулся из Франции, был в Париже в командировке. Везет же людям!

Борис Самаров, так звали парня, оказался страстным поклонником джазовой музыки, привез много пластинок с новейшими песенками. Они непрерывно звучали в его комнате, парни и девушки танцевали, рассматривали пестрые журналы и рекламные проспекты автомобильных фирм. Борис был инженером по электрооборудованию автомобилей.

Сергею он не понравился. Высокий, плечистый, неуклюжий, он ходил по комнате в модном костюме с ярким галстуком и вместо серьезных вещей рассказывал смешные истории. Он, например, заявил, что прическа у битл-зов старомодна. В России это называлось «стричь под горшок». А публика бесится, подражает. Он прозвал Сергея Янки после первого же разговора, когда Сергей стал доказывать ему, как хороша жизнь в США. Но у Бориса было много интересных вещей, книг, журналов, и Сергей решил знакомства с ним не порывать.

Гремел и спотыкался джаз, вызывая в душе желание сделать что-нибудь особенное, из ряда вон выходящее. Борис, развалившись на стуле, качал в такт музыке ногой, потом вспомнил:

— Да, ребята, в поезде, когда возвращались в Москву, за завтраком в вагоне-ресторане ко мне подсел здоровенный

американец. Хорошо говорит по-русски. Мы полчаса беседовали, но мне он не понравился. В джазовой музыке разбирается плохо, говорит, что любит симфоническую, а как поговорили дальше, он в ней еще серее. Но сказал, что у него есть знакомый, который скоро приедет в СССР, — у того целая коллекция пластинок, и просил дать ему мой адрес. Он мне не понравился, и адреса я не дал. Американец заявил, что на днях приедет в Ленинград, хочет познакомиться с преподавателями и студентами университета. Его интересует методика преподавания языков.

Сергей даже задохнулся от возмущения. Американец, хорошо говорящий по-русски, с ним же интересно познакомиться! Сергей стал расспрашивать, как тот выглядел. Борис ответил, что зовут его, кажется, Митчелл, черный, здоровый, в ярком красном джемпере с какими-то черно-белыми пятнами.

Английский Сергей знал еще плохо, и поэтому объяснения с иностранцами чаще проходили на пальцах, а если разговор и получался, то о самых обыденных вещах. Но больше о Митчелле Борис ничего не рассказывал, и разговор пошел о выставке архитектуры США.

Сергей доказывал, насколько архитектура США лучше нашей. Борис не возражал и снисходительно посмеивался, а потом, взяв путеводитель по выставке, раскрыл последние страницы.

— Если смотреть, так надо все смотреть, а не только картинки. Читай, вот одноквартирный дом. Хорош, ничего не скажешь. А дальше что написано? Стоит тридцать тысяч долларов. Понимаешь, что это такое — тридцать тысяч? По официальному курсу — это около двадцати семи тысяч рубликов. Кто может приобрести такой дом?

— Так в рассрочку же у них…

— Рассрочка рассрочкой, а деньги остаются деньгами. Это приблизительно около шестидесяти месячных заработков квалифицированного рабочего. Шутка? Надо читать и думать, Янки. Этот путеводитель не только реклама, но и пропаганда.

Разговаривать с Борисом было неинтересно. Ортодокс какой-то.

В прошлом году Сергей познакомился с англичанином Уорреном. Он в Ленинграде второй раз, впервые был, когда служил на «Триумфе». До сих пор, рассказывал он, ему помнится наводнение в Ленинграде. Уоррен в то время гулял с товарищами по Каменному острову, там очень красивые коттеджи, много зелени. До этого они сфотографировались под дубом Петра Первого. Дул сильный ветер.

И вдруг этот большой незнакомый город начал погружаться, тонуть. На улице из канализационных колодцев шапками стала

вспучиваться вода. Уоррен с товарищами бежали сломя голову на корабль. Воды уже было по колено. А женщины сидели на крылечках домов, кто с вязаньем, кто с детьми и звали их к себе, уверяя, что скоро все кончится…

Вахтенные тоже опростоволосились. Вода прибывает, надо было потравливать швартовы, заведенные на бочки, а они этого не учли, и вот кормовой лопнул — стальной трос в руку толщиной. Корабль ветром понесло на мост. Авария была бы неминуема, на счастье крохотный буксирчик успел запустить машину и буквально с писком выбрался из-под кормы, подал на борт конец и изо всех сил молотил винтом воду, сдерживая громадину, пока на помощь с другого берега Невы не подошли мощные буксиры. Уоррен со смехом рассказывал, что у него дома не верят, что может существовать большой красивый город, который периодически погружается в воду.

Этот моряк был интересным собеседником, он сообщил Сергею массу английских жаргонных морских слов, тот их записал. Обменялись адресами, но почему-то через полгода Уоррен замолчал.

Потом Сергею удалось познакомиться сразу с тремя иностранцами: англичанкой Кэтрин, норвежцем Янсо-ном и американцем, который назвал себя как-то длинно и непонятно. Стремясь снискать расположение новых знакомых, Сергей рассказал им парочку довольно старых антисоветских анекдотов… Янсон сдержанно рассмеялся, американец не повел и ухом, видимо, не понял Сергея, а Кэтрин, посмеявшись, заметила, что такое говорить опасно. Три дня Сергей был для них добровольным гидом. Пришлось быстро изучить путеводитель по Ленинграду — надо же было показать свою эрудицию. Это обошлось «двойкой» по лабораторной работе. Сергей убегал с занятий. На четвертый день новые знакомые уехали, на прощание посидели в ресторане «Астория». Сергей предложил вести переписку. Кэтрин и Янсон охотно согласились, а американец отказался наотрез, заявив, что он работает в области атомной энергии и им запрещено переписываться с иностранцами, особенно с русскими.

На память остались два номера журнала «Лайф», мундштук Янсона и автоматический карандаш Кэтрин. С ней и Янсоном завязалась устойчивая переписка. Кэтрин ничего особенно интересного не писала. Янсон присылал вырезки из американских и английских газет, где сообщалось о жизни в Советском Союзе.

Несколько дней Сергей был гидом Джека. Тот сказал, что служит в экспедиционных войсках, приехал туристом. Анекдоты выслушивал с удовольствием и хохотал во все горло. Потом он

познакомил Сергея с супругами Старк. Худенькая чистенькая женщина с сединой на висках и такой же сухонький муж. Оки приехали на своей машине. Старк был одним из директоров компании жевательных резинок в Чикаго. Старков в основном интересовали церкви. Целых пять дней Сергей колесил с ними по городу, они фотографировали, миссис Старк что-то долго и тщательно записывала в маленькую книжечку мелким ровным почерком, кормили Сергея обедами в ресторанах и на прощание подарили коробку жевательной резинки, галстук, банку кока-колы и две миссионерские книжки о христианстве. Миссис Старк обещала прислать посылку, но слово свое не сдержала, и адреса они не оставили.

И вот теперь, услышав от Бориса, что в Ленинград приедет некий Митчелл, Сергей стал каждый вечер болтаться у «Астории» и «Европейской». Он встретил Митчелла в Русском музее, тот рассматривал «Гибель Помпеи». На нем был ярко-красный джемпер с причудливыми черно-белыми узорами. Разговорились, посидели на скамейке перед музеем. Митчелл интересовался всем: и ценами на продукты, и уборкой улиц, попросил познакомить с преподавателями и студентами. Сергей ответил, что сейчас все студенты и преподаватели отправлены на сельскохозяйственные работы.

— А вы почему здесь?

— Выпускные курсы не трогают.

Митчелл подумал, подумал и четко не то произнес, не то спросил:

— Барщина…

— Во-во, точно-точно. Вы правильно подметили, — встрепенулся Сергей и тотчас рассказал свои заезженные анекдоты.

Митчелл их выслушал внимательно, рассмеялся и протянул Сергею пачку сигарет.

Сергей начал говорить, что творится в колхозах, как плохо живут рабочие, что свободы слова фактически нет.

— Ну, это вы слишком… — заметил Митчелл и встал.

Они договорились встретиться на следующий день.

Митчелл записал телефон Сергея, а свой не дал, объяснив, что в номере живет не один, а с каким-то незнакомым ему американцем и тот не очень ему нравится.

На следующий день он позвонил Сергею домой из автомата и назначил свидание у церкви, которая называется «Спас на крови».

Около двух часов они сидели на Марсовом поле. Митчелл сначала долго смотрел по сторонам, спросил, что за здания окружают Марсово поле, и только потом присел.

Он опять подробно расспрашивал Сергея о том, как он живет. Сергей старался вовсю, он рассказал все сплетни, которые знал, Митчелл часто перебивал его вопросами:

— Это вы сами видели или только слышали? А как вы сами считаете?

И Сергей догадался, что Митчелла не так интересуют сведения о жизни в Советском Союзе, как отношение к ним Сергея. Потом они прошлись по Садовой до Гостиного двора, потолкались у прилавков, выпили по чашке кофе в буфете ресторана «Метрополь».

— А где еще у вас есть крупный магазин? — спросил Митчелл, когда они вышли на улицу.

— Прямо по Невскому и направо по Желябова — ДЛТ называется, Дом Ленинградской Торговли.

— А покороче дороги к нему нет? Например, через дворы?

— Кажется, есть, пойдемте. Вы спешите?

— Немного.

По дороге Митчелл расспрашивал Сергея, с кем из иностранцев он познакомился и кто они такие. Потом заметил, что если Сергея интересует американская литература, у Митчелла есть одна книжка, но он боится ее дать Сергею, чтобы не навлечь на него неприятности.

Сергей заверил, что примет меры.

Когда шли через двор, заваленный пустыми ящиками, Митчелл коротко бросил:

— Советские трущобы.

На улице Желябова он остановился и стал рассматривать расклеенные на щитах газеты, потом тихо заметил, кивнув на фотографию новых домов в Автове:

— Вы понимаете, что нас, иностранцев, очень интересует жизнь вашей страны. Это естественно, и мы хотим знать ее всесторонне. У вас, как и везде, есть свои достоинства и недостатки. Все хорошее мы видим из ваших газет и журналов, а вот такой двор, который мы прошли, не увидишь. Я был бы вам очень признателен, если бы получил несколько подобных снимков, только смотрите, чтобы не было осложнений. Ну, а потом мы как-нибудь рассчитаемся.

Здесь, у газеты, и расстались. Сергей направился домой, а Митчелл в ДЛТ. Он был там недолго, купил сотню почтовых конвертов, марок, две авторучки, бумагу и чернила. После этого вернулся в номер гостиницы. Принял душ, растерся полотенцем, накинул халат и позвонил по телефону:

— Зайди на минутку.

Вскоре в номер зашел невысокий человек в сером костюме.

— Когда улетаешь?

— Сегодня в семь вечера.

— Вот, передашь. Это все советское: и бумага, и конверты, и чернила, и ручки.

На следующий день с утра, прихватив фотоаппарат, Сергей направился на поиски интересных сюжетов. Сфотографировал очередь у мебельного магазина, несколько дворов, отцовские кальсоны, вывешенные матерью на балконе. В одном месте ему повезло: мимо церкви лошадь везла телегу с мусором, а сбоку топорщились самодельные гаражи, похожие на лачуги. «Надо не забыть приобрести в аптеке резиновые перчатки, иначе на фотографиях останутся следы пальцев». Конечно, большинство снимков будет неудачным, приходилось фотографировать, делая вид, что аппарат испортился, и Сергей, стуча по нему, вертел в руках…

В коридоре мать сказала отцу:

— Петя, сходи за хлебом. В пятом магазине к этому времени всегда горячий привозят, через пятнадцать минут откроют.

— Ну тебя, горячий хлеб вреден для желудка. Есть на сегодня. Не сухари же сушить.

Сергей вскочил и схватил фотоаппарат: <<Вот это будет действительно кадр! Ну что очередь у мебельного магазина, кого этим удивишь? А вот очередь в булочную! Сейчас наверняка собралось человек двадцать любителей горячего хлеба. Этот снимок там оценят».

Митчелл позвонил через три дня и назначил свидание у Казанского собора. Они прогуливались под массивными ребристыми колоннами. Митчелл, не глядя, сунул конверт с фотографиями в карман и подал Сергею книжки, завернутые в газету. Потом прошлись до Литейного. Митчелл рассказывал, что скоро приобретет уютный коттедж и еще останется возможность месяц отдохнуть в Майами, там такие пляжи, такие рестораны и дансинги! Когда-нибудь, он в этом уверен, они вместе с Сергеем неплохо проведут там время.

Он попросил не провожать его до гостиницы, поскольку милиция может принять Сергея за фарцовщика, которые крутятся возле иностранцев. Зачем лишние неприятности? Ведь Сергей заканчивает институт. Он попросил Сергея писать Митчеллу на имя его друга О. Кларка в Нью-Йорк, так как сам еще не знает, где будет жить, а когда приобретет коттедж, непременно сообщит адрес. Обменялись адресами и расстались. На прощание Митчелл сказал:

— Вы славный, серьезный парень, и я разделяю ваши взгляды. Пишите мне о ваших новостях, о всех событиях, известных вам, и,

знаете, у вас, наверно, свирепствует на почте цензура, так во избежание неприятностей указывайте вымышленный обратный адрес, только опускайте письма в том районе города, который указан в обратном адресе. Я пойму, от кого оно. Вы его подписывайте именем, ну, допустим, Петр…

— Нет, не надо Петр, — спохватился Сергей, — так папу зовут. Лучше Семен.

— Я из своей страны постараюсь письма вам не посылать. Через знакомых туристов они будут идти из какого-нибудь вашего города. Это опять-таки лучше для вас. Да, вы не будете возражать, если я кому-либо из друзей, едущих в Россию, дам ваш адрес?

— Ну конечно, — согласился Сергей.

Митчелл пошарил в карманах.

— Мне нужно вас как-то отблагодарить за фотографии.

— Что вы, не надо! Вы же мне подарили книги.

— Тогда что вам прислать в подарок?

— Знаете, я играю на кларнете в студенческом джазе. Если можно, пришлите мундштуки и трости, у нас выпускают такую дрянь.

— И это все?

Сергеи замялся. Митчелл сказал:

— Тогда я сам решу.

За год Сергей отправил несколько. писем в Нью-Йорк на имя О. Кларка. В одном письме, кажется, он ошибся в адресе. Писал дома, в комнату вошла мать, Сергей спрятал бумажку с адресом и написал его по памяти.

Митчелл еще посоветовал запоминать анекдоты и смешные истории — американцы очень ценят остроумие.

Прошел год. От Митчелла ни слуху ни духу, и письма больше не приходили. А тут настала пора государственных экзаменов и защиты дипломного проекта. Сергей много пропустил, и теперь времени не хватало даже на занятия.

Книжку, подаренную Митчеллом, он прочел, в ней доказывалось, что в Советском Союзе зародился новый эксплуататорский класс. Приводились ссылки на Карла Маркса и даже Ленина. Книжку Сергей показал Майклу Кувшинникову, тот посмотрел, послушал отрывки и перепугался, заявив, что лучше ее уничтожить. Так и поступили.

Как-то в разговоре за столом Сергей попытался рассказать отцу о своих якобы сомнениях. Отец рассмеялся, постучал пальцем по его лбу и обозвал догматиком. Сказал, что марксистско-ленинскую теорию надо изучать думая и соображая, а не хвататься за отдельные цитаты и не придумывать для слов другой смысл, кроме того, какой вкладывал в них автор. Спорить

с отцом было бесполезно, к тому же он мог что-нибудь заподозрить. Перед сном отец пришел в комнату Сергея и стал подробно объяснять, в чем он заблуждается и почему возникло заблуждение. Часы пробили полночь, а отец все говорил и говорил. Сергей слушал его рассеянно и во всем соглашался.

Однажды позвонил Майкл Кувшинников и пригласил к Борису Самарову, тот только что вернулся из командировки в Чехословакию, был в Польше и привез много интересных журналов, фотографий и новых патефонных пластинок.

Борис встретил Сергея радушно:

— А, Янки пришел. Ну как ты, не расстался со своими проамериканскими настроениями? Чего мотаешь головой? Ладно, идем, удовлетворю твою страсть, вот проспект будущих марок автомашин. Хороши, а? Только мощности у них дикие. На кой черт такие? Это сколько же бензину будет жрать мотор? Но машины хороши. Верно?

Пришли девчата, завели радиолу. Стало весело. Чужая музыка била в уши, волновала воображение, и Сергей думал о том, что настанет время и он услышит эту. музыку на веранде ресторана в Майами. Сергея уже наверняка там оценят.

Осенью позвонил по телефону некий Эрик Эриксон, передал привет от Митчелла, сообщил, что привез посылку и хочет увидеться. Встречу назначили в Александровском саду перед зданием Главного Адмиралтейства.

Эрик Эриксон был лет тридцати, лысый, с крупной продолговатой головой, сквозь модные очки на горбатом красивом носу поблескивали глаза. Говорил с легким акцентом, очень интересовался новыми жаргонными словечками в современном русском языке, записывал. Он аспирант Колумбийского университета и вот уже пять лет занимается изучением истории славянства. В Ленинграде задержится дня на три. С Митчеллом они вместе учились в колледже и потом довольно часто встречались. Собравшись в Советский Союз, Эрик обзвонил всех знакомых, кто бывал раньше в СССР, с просьбой указать, к кому обратиться, пока он не освоится в незнакомой стране. В Ленинграде Эрик впервые и будет очень благодарен Сергею, если он познакомит его с городом. Он передал от Митчелла небольшую посылку и сообщил, что Митчелл подыскивает для Сергея более солидный подарок. У него дела идут хорошо, и он скоро приобретет коттедж. Митчелл благодарит Сергея за присланные письма. Эрик их не читал, поскольку говорил с Митчеллом по междугородному телефону, но Митчелл сказал, что письма очень интересные и остроумные и что он не жалеет, что познакомился с таким парнем, как Сергей.

Далее Эрик спросил, как родители Сергея относятся к его знакомству с иностранцами. Сергей ответил, что они знают об этом. Сейчас многие, особенно те, кто изучает иностранные языки, встречаются с иностранцами, чтобы совершенствовать знания, и вообще хорошо, когда люди разных стран знакомятся друг с другом. Это позволяет лучше понимать обычаи и порядки в стране.

— А нам очень трудно вас понимать. Власти всячески препятствуют этому. Вот даже мне, изучающему историю славянства…

Продолжая смотреть прямо перед собой, словно невзначай, Эрик тихо спросил:

— Вы, пожалуйста, не оглядывайтесь, а ответьте мне, как вы думаете, не следят за нами?

— Не знаю… — пробормотал Сергей.

— Тогда переедем вон на ту скамейку.

На новом месте Эрик пояснил, что он беспокоится о благополучии Сергея. Потом стал подробно расспрашивать, с кем еще из иностранцев знаком Сергей, и, подумав, сказал:

— У вас есть надежные друзья — Митчелл и я. Мы не хотим вам зла, поэтому Митчелл просил вас прекратить всякие знакомства с иностранцами, особенно с норвежцем и англичанкой. Не следует вам также показываться в местах, где много бывает иностранцев, особенно у гостиниц. Для вашего благополучия мы можем сделать несравненно больше, чем ваши случайные знакомые. Кроме того, среди них могут попасться всякие. Это повлияет на вашу репутацию и затруднит наши отношения.

Сергей обещал прекратить знакомства, и ему казалось, что на затылке он чувствует чей-то взгляд. Поворачивая при разговоре голову, Сергей косился по сторонам, но ничего подозрительного не заметил.

— Фотографий нам присылать не надо, — вдруг заметил Эрик, — это смогут делать наши туристы и репортеры. А вот интересные истории, настроения ваших людей нас очень интересуют, но об этом мы поговорим в следующий раз. Я вам позвоню.

«Интересно, какой подарок подбирает для меня Митчелл?»— думал Сергей, возвращаясь домой. В комнате он развернул пакет, там были мундштуки и трости для кларнета, а также книга «Обеспокоенный воздух» с дарственной надписью, но без подписи.

«А может, Эрик разведчик? — вдруг подумал Сергей. — Но ведь шпионам нужны расположения воинских частей, заводов, а

этот интересуется только бытом людей, их настроениями, условиями жизни». Нет, Сергей не делает ничего предосудительного. Он лишь высказывает свое мнение и то, что слышал. Эрик кроме жаргонных словечек ничего не записывал, так что все в порядке. Конечно, как и Митчелл, он настроен недружелюбно к порядкам в нашей стране, но и сам Сергей уже давно не одобряет этих порядков.

…Лейтенант Виктор Комаров более недели просидел в Публичной библиотеке. Он перерыл все издания Колумбийского университета за последние десять лет и не нашел ни одной заметки, подписанной аспирантом Эриком Эриксоном. Когда он доложил об этом Григорию Павловичу, тот спросил:

— Нет статей этого автора или вы их не нашли?

Комаров пожал плечами:

— Утверждать, что нет, не могу, но в Публичке я не нашел.

— Поищите еще.

Дежурный библиограф, увидев Комарова, вздохнула:

— Я после вас еще раз пересмотрела все издания этого университета, вместе с подругой (она подбирала для Пушкинского дома литературу) перебрала все издания по истории славянства за последние десять лет! Нет такого автора. Откуда вы взяли эту фамилию?

— Товарищ из Москвы попросил меня ознакомиться со статьями Эриксона.

— А у себя, в библиотеке имени Ленина, он не нашел?

— Видимо.

— Раз у них нет, значит, и у нас нет. Ваш товарищ, наверное, неправильно записал фамилию.

— Возможно, спасибо, извините. До свидания.

— Вы чем-то расстроены? — спросил Эрик при следующей встрече. Они стояли на набережной, опершись локтями о гранит, и смотрели на Неву. — Дома неприятности? На работе?

Сергей фыркнул:

— Какая работа? Я безработный.

— Вот как? Странно.

— Ничего странного. По распределению не поехал. Нужен мне Ишим! Три месяца обивал пороги, хотел устроиться в оркестр кларнетистом. Нигде не берут. Нет мест и все. Познакомился с одним дирижером, он формировал оркестр, провел первые репетиции, потом собрал с нас деньги — положить кое-кому «на лапу» — и смылся. Мы все перегрызлись. Ходили в милицию. Там записали и обещали принять меры. А работы нет. Родители ворчат. Отец два раза находил мне работу, я отказался. Теперь он договорился с какой-то лабораторией…

— А почему вы не хотите быть инженером?

— Неинтересно, да и заработки маленькие. В оркестре хоть поездишь по стране, может, и за границу удастся попасть.

Эрик долго молчал, в его очках отражался шпиль Петропавловской крепости, потом промелькнула «ракета», оставляя за собой белый хвост водяной пыли.

— Думаю, что ваш отец прав. Я постарше вас и живу в стране деловых людей. Я вам советую поступить в эту самую лабораторию. Учтите, работая инженером, вы сможете совершенствовать свое музыкальное дарование. А играя в оркестре, вы растеряете свои инженерные знания и опыт. Поймите меня. Мы вам добра желаем.

Потом Эрик сказал, что завтра ему надо покидать Ленинград. Едет он в Киев к профессору-слависту, у него такая трудная фамилия, никак ее не запомнишь.

На прощание пожелал Сергею быть благоразумным и больше ни с кем из иностранцев не встречаться. Письма писать осторожные и самого обыкновенного бытового содержания. Адрес тот же — Другу Митчелла О. Кларку в Нью-Йорк.

— Если вы почувствуете какие-либо осложнения, то напишите письмо о чем угодно: о погоде, о вашем отпуске, ко нигде не ставьте запятых. Другие знаки препинания— пожалуйста. Мы поймем, что вы в беде.

Дальше Эрик, продолжая разглядывать Неву, негромко сказал, что для большей безопасности письма будут отправляться только из СССР и на Главный почт тамт до востребования. Они будут подписаны Игорем:

Если в подписи будет росчерк в виде хвостика, направленного вниз, то это значит, что имеется ценное сообщение, и тогда письмо нужно нагреть над газовой горелкой или над ватой, смоченной спиртом. Можно и одеколоном смочить. На бумаге появится другой текст…

Эрик покосился на Сергея и рассмеялся:

— Этим нехитрым приемом пользуются наши солдаты и студенты в переписке друг с другом. Можно смело рассказывать о своих похождениях, высмеивать начальство, и никто не узнает…

Эрик помолчал, поглядывая на Сергея, тот закусил губу и смотрел в воду. Солнечные блики играли на его осунувшемся лице.

— Митчелл собирается переслать вам очень интересный подарок, но у вас на некоторые наши товары огромные таможенные тарифы. Он постарается как-нибудь переслать с друзьями, едущими в Ленинград. Только надо как-то предупредить вас, чтобы вы в это время были в городе, и так,

чтобы никто не знал… И мало ли что нужно иногда сообщить, а письма у вас на почте, наверное, просматриваются цензурой…

«Что же, — подумал Сергей, — тут криминала нет. Подумаешь, получил письмо, прочитал, сжег и все. Докажи, о чем в нем писали».

С Невы потянуло холодком, Сергей поежился.

Они прошли в Летний сад и сели на скамейку. Разглядывая гуляющих, Эрик заметил:

— Возможно, что мы вам пришлем средства, чтоб вы могли также незаметно переписываться с нами. Мы это сделаем осторожно, и безопасность ваша будет гарантирована.

Холодок с Невы проникал и в аллеи Летнего сада, видимо, подул северный ветер, от него всегда в Ленинграде бывает холодно, даже летом.

Эрик продолжал:

— Те письма, что вы нам писали, могут кое-кого встревожить. А тут то же содержание, но только в самом невинном дружеском письме. В этом случае мы вам подберем настоящий обратный адрес, а подписывать вы их будете другим именем, не Семеном. — Эрик еще раз покосился на Сергея и тронул его за рукав: — Это я вам сказал предположительно. Возможно, и скорее всего, мы к этому не прибегнем.

Расставшись с Эриком, Сергей взял такси и доехал до Московского парка Победы. Там он спустился в метро, на станции Технологический институт пересел, вылез у Московского вокзала, вошел в трамвай и, как только он тронулся, выскочил, буркнув, что не на тот сел. Потом он ехал на автобусе, затем на троллейбусе. Последние два квартала до дома шел пешком, часто останавливался, разглядывая витрины магазинов и читая афиши на заборах. Он думал, думал и решил, что в конце концов его обвинить трудно. Разговор с Эриком не могли подслушать, а то, что Сергей получит письмо из другого города, никого не касается. К тому же ничего компрометирующего в нем не будет. Риск небольшой. Зато перспективы немалые. А без риска и улицу не перейдешь и в электричку на ходу не прыгнешь.

5

На набережной Невы стояла старая женщина, полная, невысокая, с короткими кудрявыми, совершенно седыми волосами. Она прикладывала ладони к разгоряченному лицу и непрерывно шептала:

— Господи, что творится!.. Господи, что творится!..

Когда ладони нагревались, она опускала их на гранит парапета и снова прижимала к щекам.

По Дворцовому мосту, громыхая, шли трамваи, мягко катились троллейбусы, двигались пешеходы. Плыл в небе золоченый кораблик Адмиралтейства. Группа экскурсантов фотографировалась на фоне Петропавловской крепости…

Муж уже давно вернулся с работы и сидит голодный, свирепея с каждой минутой. Когда он голоден, то очень злится и в сердцах наговорит всякое. Так идет уже тридцать лет. Спорить с ним бесполезно, нужно поставить на стол тарелку. Поев, муж заговорит о другом, словно ничего и не было. Надо было идти домой, но женщина прижимала ладони к лицу и не двигалась. Она не могла идти домой. Муж, увидев ее, спросит, что произошло. Сегодня обещала приехать за выкройками невестка, и та заметит состояние Полины Акимовны. И ничего им нельзя говорить… Да если и расскажешь — не поверят.

К концу дня шорохи и тихие разговоры в залах Эр-: митажа прекратились. Проходя мимо Полины Акимовны, Иван Спиридонович остановился и спросил:

— Вы можете задержаться на часок?

— Могу.

— Тогда пройдемте ко мне.

Полина Акимовна пошла, раздраженно думая, зачем это она потребовалась начальству, надо было сказать, что у нее срочные дела дома.

В комнате сидели трое мужчин, на кресле лежала большая кожаная сумка, в которой фотокорреспонденты носят свои аппараты.

Иван Спиридонович помялся, кашлянул и тихо произнес:

— Полина Акимовна, эти товарищи из органов…

— Из каких органов? — растерянно переспросила Полина Акимовна, и смуглый молодой человек, сидящий в кресле, рассмеялся. А мужчина постарше повернулся к ней и пояснил:

— Мы сотрудники Комитета госбезопасности и просим вас и Ивана Спиридоновича быть понятыми. — Он протянул Полине Акимовне маленькую книжечку с фотографией в углу. В ней что-

то было написано…

— Хорошо, хорошо, — согласилась Полина Акимовна, пытаясь сообразить, что она должна понимать. Потом вспомнила, что понятые — это люди, присутствующие при обыске, и подумала: «Неужели произошла кража?»

Дальнейшее никак не укладывалось в ее сознании. Капитан Половцев спокойным, обыденным голосом стал говорить о том, что в помещении музея агентами иностранной разведки заложен тайник и его нужно изъять, осмотреть, обезвредить.

Музей… Иностранная разведка… тайник… и это после дня, наполненного шарканьем ног бесчисленных посетителей.

Еще Половцев говорил, что все это должно сохраняться в тайне… Полина Акимовна в ответ кивала:

— Да… да… да…

Потом все встали и пошли, она побрела за ними, не веря тому, что происходит.

В залах музея никого не было, и звуки шагов глохли в их просторах. Половцев сухо бросил:

— Виктор Александрович, мы не на экскурсии.

Комаров невольно отстал, разглядывая картины и скульптуры. Он внезапно подумал, что вот бы прийти в Эрмитаж, когда никого в нем нет. Побродить одному по пустынным залам, побыть наедине со всем этим миром, смотрящим со стен. Ведь изо дня в день он находится под пристальными взглядами тысяч посетителей и чувствует себя не совсем удобно… А когда опустеют залы, прозвенит звонок, богини и купальщицы не будут стесняться своей наготы; Вольтер шевельнется в мраморном кресле, побарабанит пальцами жилистой руки по подлокотнику, вспомнит, о чем он думает все это время, и громко рассмеется; оплывший голый Вакх подмигнет и опрокинет в рот чашу, которую ему надоело держать в руках…

— Иду, иду, — ответил Виктор и прибавил шагу.

— Кам там сказано? — спросил Половцев.

— …Войдите в зал искусства Нидерландов пятнадцатого — шестнадцатого веков и направьтесь в залы искусства Фландрии семнадцатого века и искусства Голландии тоже семнадцатого века. Их соединяет короткий узкий коридор, над входом в который есть номер двести пятьдесят восемь, — процитировал по памяти Комаров. — В этом коридоре никаких экспонатов нет, и поэтому сотрудники музея за ним не наблюдают.

«…Все это правильно, все совершенно верно, — думала Полина Акимовна, — все это так знакомо, привычно…»

Половцев сказал:

— Вот и номер двести пятьдесят восемь, вот и коридорчик с

тремя окнами, выходящими на улицу Халтурина. Здесь можно остановиться, отдохнуть, полюбоваться на оригинальное здание напротив и даже облокотиться о подоконник. Место выбрано продуманно.

За окном по мостовой с монотонным гудением ползла уборочная машина. Какой-то нетерпеливый шофер дал короткий отрывистый сигнал. Скрестив на животе руки, Полина Акимовна привалилась плечом к стенке и сокрушенно смотрела на то, чем занимаются эти люди. Все это не укладывалось в ее сознании.

— Вот оно, третье по ходу окно, — сказал Половцев и пальцем стал считать ребра батареи парового отопления под подоконником: — Между пятым и шестым…—

Он присел, покачал головой, выпрямился, вынул из кармана электрический фонарик и снова присел: — Рука еле-еле войдет…

— Ее нужно вставлять ладонью кверху, — напомнил Комаров.

— Иначе и не достанешь, — подсвечивая фонариком, заметил Половцев. — Глубоко запрятано. Уборщица никак не заденет. Прошу удостовериться, товарищи.

Иван Спиридонович присел с натугой и сказал:

— Да, что-то есть.

Половцев поманил Полину Акимовну.

Она тоже присела и в глубине между батареей и подоконником увидела продолговатый, тускло поблескивающий предмет величиной с футляр для авторучки.

— Осинин, действуйте! — бросил Половцев.

Третий сотрудник присел, нацелившись фотоаппаратом, глаза резанула яркая вспышка.

Половцев запустил руку под подоконник.

— Тянуть нужно не на себя, а книзу, — напомнил Комаров.

— Помню, — ответил Половцев и извлек небольшой футляр, сделанный будто из кожи, с черной полосой посредине. Половцев приложил его к краю подоконника и сказал: — Прилипает неплохо…

Потом снова сидели за столом в комнате Ивана Спиридоновича. Половцев осторожно развертывал пакет и раскладывал на листе бумаги вынутые предметы. Фотограф что-то колдовал с объективом аппарата.

Комаров достал из кармана листки чистой бумаги и разгладил их на столе.

— Начнем составлять протокол?

— Минутку, — вдруг засуетился Иван Спиридонович. — У меня есть хорошая бумага, вот… — Он вынул из стола пачку листков.

Комаров взял, посмотрел один листок на свет и положил

рядом с собой:

— Спасибо. Бумага что надо. Я на ней письма девушке буду писать, а для протокола сойдет и эта.

— Так, пожалуйста, я дам еще. — Иван Спиридонович снова полез в ящик стола, а Комаров ответил:

— Спасибо, мне хватит. Она живет в Ленинграде, и я предпочитаю встречаться с ней лично.

Половцев вынул из пакетика свернутые в трубку листочки и стал диктовать Комарову:

— Из пакета были извлечены: сверток, в котором были один лист бумаги, похожий на простую, — он попросил у Ивана Спиридоновича линейку, обмерил лист и продолжал: — размером 147 на 54 миллиметра и два листка серовато-зеленоватого оттенка размером 146 на 21 миллиметр, обладающих слабым ароматическим запахом. Та-ак. Дальше. Листки фотобумаги, на которых снято мелким шрифтом письмо и инструкция. Первый листок начинается словами… сейчас прочитаем. Тут полный сервис, — Половцев развернул станиолевый пакетик и поставил на стол крохотную лупу: —…начинается словами: «Дорогой друг! С тех пор как я вернулся в мою страну, я много раз думал, как глубоко Вы сознаете ту серьезную проблему, перед которой находится сейчас весь Русский Народ и остальной мир…» И заканчивается: «…мы знаем по опыту, что другие, находясь в таком же положении, как и Вы, сумели оказать большую помощь в борьбе с Советским Деспотизмом».

Половцев усмехнулся:

— Ишь, оба слова написаны с заглавной буквы. Вежливые. Прошу удостовериться.

Иван Спиридонович склонился над лупой и сказал: «да-да». Полина Акимовна долго не могли найти свои очки. В крохотном стеклышке лупы расплывались и прыгали русские буквы, отпечатанные на машинке. Половцев продолжил:

— Следующий листок начинается словами: «Мы уверены, что Вы отдаете себе отчет в том, как опасно в такой работе вызвать подозрения со стороны Властей…»— И снова усмехнулся: — «Властей» написано тоже с заглавной буквы. Прошу удостовериться.

Так были занесены в протокол начальные и конечные фразы всех листков фотобумаги, в конце инструкции стояло: «…жму Вашу руку». Подписи не было.

Потом на столе появилось двенадцать таблеток бордового цвета, издающих неприятный запах, и еще листки фотобумаги с рисунками, на которых был изображен человек, пишущий письмо, и лампа, висящая слева от него.

Затем все пятеро поочередно подписались под текстом протокола. Половцев аккуратно укладывал содержимое обратно в пакетик. Комаров курил. Фотограф упаковывал свою аппаратуру в кожаную сумку, а Полина Акимовна сидела со сжатыми в нитку губами, с остановившимся взглядом, никак не веря тому, что происходит. Почему-то вспомнился Каин, стоящий на площадке Халтуринской лестницы. Он безмолвно кричит уже более ста лет, после того как сделал последний штрих резцом скульптор Дюпре. Полине Акимовне показалось, что Каин сейчас закричит по-настоящему и его вопль, отчаянный, безнадежный, прокатится по пустым залам, выплеснется наружу, останавливая прохожих. Почему он не кричит? И он закричал. Негромко, со всхлипом… Нет, это сама Полина Акимовна расплакалась, навалившись на стол. Расплакалась оттого, что здесь, в Эрмитаже, появилось такое. Расплакалась потому, что все эти люди так спокойно и обыденно рассматривают, диктуют протокол и обмениваются шутками. Разве так можно? Перед ее лицом колыхался стакан с водой, его протягивал Комаров. Половцев что-то говорил, а Полина Акимовна задыхалась, и слова застревали в горле:

— Я… я… всю блокаду провела здесь… Короли… президенты, космонавты… все первым делом приходят сюда… Да как они могли? Как можно… здесь… в Эрмитаже?..

Голос Половцева показался скрипучим и неприятным:

— А им все равно — здесь или в общественной уборной. Они сочли, что здесь безопасней. Вот и все.

Когда Полина Акимовна, всхлипывая и вздрагивая, вытирала платком глаза, Половцев сказал Ивану Спиридоновичу:

— И вы зря волнуетесь. Ради бога не думайте, что в этом есть вина кого-нибудь из вашего музея. Никто из работников и сотрудников тут ни при чем. Успокойтесь. — Затем Половцев повернулся к Полине Акимовне — Мы вас просим завтра прийти за два часа до открытия, и этот пакет мы положим туда, откуда взяли. Потом я вас прошу не ходить через этот коридор. Постарайтесь. Иначе, чисто по-человечески, вы невольно будете смотреть на это место и можете отпугнуть того, кто придет за пакетом. Поэтому мы и пригласили вас, как работающую совсем в других помещениях. Понимаете?

В разговор вмешался Комаров:

— Это все равно, что… Минуту вы можете сидеть совершенно неподвижно, но если фотограф скажет: «спокойно, снимаю» и откроет затвор аппарата, у вас невольно начнет дергаться голова… Бывает так?

— Бывает… все бывает… — безропотно согласилась Полина Акимовна.

Эксперт повертел в своих толстых пальцах авторучку, расписался в постановлении о назначении экспертизы, взял найденный в Эрмитаже пакет и ответил Половцеву на вопрос, сможет ли Болдырев заметить, что адресованное ему письмо кто-то читал:

— Нет. Он тайный текст проявит нагреванием. Других средств он не имеет, раз ему их только посылают. — Он показал пакетик — А это наверняка самые простые средства для тайнописи. Таким, как Болдырев, они особые не присылают, берегут для более важных случаев. Ну, проверим как положено.

Когда эксперт ушел, Половцев сказал Комарову:

— И вот еще. В инструкции по тайнописи указан новый адрес в Нью-Йорке, некоей Кизилцевой Т., и рекомендуется на конверте указывать обратный адрес отправителя Шарикова К. Письма должны быть обращены к Танюше и подписаны Кириллом. Надо проверить, что это за адреса.

Через полтора часа Виктор Комаров позвонил Половцеву и сообщил, что Шариков Кирилл Константинович действительно живет по тому адресу в Ленинграде, который в инструкции рекомендован как адрес отправителя. Шариков работает старшим конструктором, несколько раз выезжал за границу в командировки и туристом. В выездных анкетах он сообщал, что у него в Нью-Йорке как раз по тому адресу, который указан в инструкции, живет сестра с мужем — Кизилцева Татьяна Константиновна…

— По-моему, тут что-то не то, и надо поговорить с самим Шариковым, он сейчас, наверное, дома, — закончил Комаров.

…Шариков провел Виктора в свою комнату. На столе, поблескивая отделкой, стоял новенький японский транзистор. На стене висели фотографии Хельсинки, Парижа и Нью-Йорка. Кирилл Константинович подтвердил, что сестра у него и сейчас живет в Нью-Йорке, они с мужем работники Внешторга, адрес он сейчас найдет. Шариков стал рыться в столе, перебирая надорванные конверты, бормоча:

— Где же он… где же он? Ага, есть! Нет, это старый, они в начале года переехали на другую квартиру.

Старый адрес был тот, который указан в инструкции.

— Почему они переехали?

— Квартира не понравилась, сняли однокомнатную с «кондишен» и прочими удобствами, а плата-то: восемьдесят долларов в месяц! Ничего себе? А вот и новый адрес.

В нем указывался совсем другой район Нью-Йорка.

— Так и должно быть, — ответил Комарову по телефону Половцев и велел прийти в управление к шести утра. Эксперт

обещал к этому сроку закончить работу.

Вспыхивали уличные фонари, зажигались окна домов, и небо над городом становилось темнее. А на Дворцовой набережной у гранитного парапета все стояла полная старая женщина с короткими седыми волосами, она прижимала ладони к разгоряченному лицу и все шептала:

— Господи, что творится! Господи, что творится!

6

Иностранцам в нашей стране предоставляются лучшие гостиницы. Они оборудованы всем необходимым. Не выходя из номера, можно заказать любой телефонный разговор. В вестибюле есть почтовое отделение, откуда можно отправить любую корреспонденцию.

Не правда ли, покажется странным, если человек, имея в своем номере телефон, будет болтаться по улице и звонить из стеклянных будок телефонов-автоматов? Или, пройдя мимо почтового отделения гостиницы, отправится искать почтовый ящик где-нибудь за углом, в безлюдном месте.

Для любого человека это покажется странным, но он скорее всего не обратит на это внимания. Кому какая забота, кто и куда опускает письма?..

Другое дело, когда заведомо известно, что один из иностранцев по поручению американской разведки везет письмо, адресованное в Ленинград Болдыреву Сергею, и, прибыв в Москву, долго петляет по улицам, выискивая, где можно незаметно его опустить в почтовый ящик.

Письмо было в стандартном конверте, с четырехкопеечной маркой, адрес был написан крупным размашистым почерком, адрес отправителя на конверте не указывался.

Тем же почерком на двух листках нелинованной бумаги было написано письмо:

«Дорогой Сергей!

Я получил Ваше интересное письмо от 15 июня и, хотя я не виноват, что не ответил Вам ранее, но я хочу Вас уверить, что я, а также наши общие друзья были очень рады получить от Вас весточку. Мы были счастливы узнать, что Вы теперь имеете постоянную службу и что Вы работаете инженером по электрическим приборам. Но я надеюсь, что Вы все-таки будете в состоянии продолжать Вашу музыкальную деятельность, которая Вас так интересует…»

Читая письмо, Виктор Комаров сказал Половцеву:

— А ведь здорово заметно, что письмо написано иностранцем, превосходно знающим русский язык. Все фразы составлены безукоризненно грамотно. Так правильно в обиходе русские не говорят.

— Скорее всего это русский эмигрант, — ответил Половцев. — Мы сами не замечаем, как за последние десятилетия изменилась манера нашего разговора. Этот процесс идет незаметно, постепенно, и мы его не улавливаем. Допустим, я

пишу своему ровеснику, хотя и мало знакомому. Разве я буду закручивать такие фразы: «Я окончил мое учение, но пока я ещё не уверен, что я буду делать дальше…» И даже точки над ё стоят, чем у нас обычно пренебрегают.

— Вы текст постановления об экспертизе написали?

— Сейчас напишу, только дочитаю.

«На днях по счастливой случайности я приобрел новые пластинки. Из этой новой коллекции моя самая любимая пластинка «Kiss Me, Baby». Ну, пока все на сегодня. Шлю мой искренний привет Вам и вашей семье И желаю Вам всего самого лучшего, а главное здоровья **И** успехов. Жму Вашу руку. Ваш Игорь».

Комаров усмехнулся:

— Название пластинки латинскими буквами написано так же легко, как и русский текст письма, по-моему, это писал иностранец…

— Или эмигрант, хорошо владеющий английским. Времени мало, давайте отправлять на экспертизу.

На следующий день эксперт принес письмо с конвертом и акт экспертизы, в котором говорилось, что «при исследовании этого письма специальным методом в нем выявлена тайнопись, исполненная печатными буквами на первых страницах обоих листов. Тайнопись проявлена без порчи бумаги и сфотографирована. Фотокопии тайнописи к акту прилагаются.

Тайнописный текст был написан поперек строчек открытого текста и начинался так:

«41 лист. Начало. Начало. Сообщение. Важный для Вас пакетик спрятан в государственном музее Эрмитаж на Дворцовой набережной. Когда вы войдете в музей, поднимитесь по Иорданской лестнице на второй этаж и пройдите в залы искусства Нидерландов пятнадцатого тире шестнадцатого веков. Пройдя эти залы, направьтесь к залам искусства Фландрии семнадцатого века и Голландии семнадцатого века, на вашем пути будет короткий узкий коридор, над входом в который есть номер двести пятьдесят восемь. В коридоре имеется три окна, выходящих на улицу Халтурина. Остановитесь перед последним по ходу. В коридоре экспонатов нет, и дежурные по залам музея за ним не наблюдают. Стоя лицом к окну, отсчитайте слева пять ребер батареи парового отопления. Между пятым и шестым ребром в глубине под подоконником вы найдете маленький пакетик, прикрепленный липким не сохнущим составом к нижней части подоконника. Достаньте его; когда никто вас не видит. Руку вводите ладонью кверху и пакетик тяните не на себя, а книзу. Мы повторяем это сообщение на второй странице, чтобы быть

уверенными, что вы все поняли. Конец. Конец».

— Вот здесь «вы» они уже пишут с маленькой буквы, — заметил Половцев, беря другую фотографию, на которой был заснят текст второго листа. Он начинался так: «Повторение. Повторение. Начало. Сообщение (1). Важный для вас пакетик спрятан…» и так далее.

— Толково объяснено, любой дурак поймет, — сказал Комаров. — Вот так бы наши хозяйственники инструкции писали по обращению с бытовыми приборами. А то как-то приходит соседка и чуть не ревет. Купила какую-то соковыжималку, читает инструкцию и никак понять не может, как с ней обращаться. И я прочитал, тоже ничего не понял…

7

После отъезда Эрика Эриксона Сергей стал испытывать беспокойство. В конце концов до этого были разговоры с глазу на глаз, без свидетелей, и попробуй докажи, что говорил он так, а не иначе. А потом он высказывая собственное мнение, может в резкой форме, так это была критика существующих недостатков. И Эрик, и Митчелл в разговорах с ним ничего не записывали, а если и делали кое-какие пометки в записных книжках, то своей рукой, и Сергей всегда может заявить, что ничего подобного не говорил. Ведь только то, что написано пером, не вырубишь топором… Написано пером? Но он ведь посылал письма в США некоему О. Кларку, а что, если они перехвачены?

Размышляя, Сергей ходил по улицам, и ему казалось, что каждый встречный подозрительно на него смотрит.

Письма он писал в резиновых перчатках, купил пачку конвертов и вынимал только из середины, надев перед этим перчатки. Писал печатными буквами. Правда, теперь, говорят, как ни искажай почерк, все равно экспертиза найдет автора. Но как найти Сергея? Он отправлял письма с вымышленным обратным адресом, опускал письмо в ящик в том районе, где живет вымышленный отправитель. Значит, для того, чтобы найти, кто писал, придется исследовать почерки чуть не всех жителей города, а это невозможно.

На работе Сергей стал избегать всяких разговоров, носящих сколько-нибудь острый характер, и сотрудники начали над ним посмеиваться. Они выступали на собраниях и крыли начальство так, что председатель подпрыгивал на стуле, а Сергей молчал. Он думал о том, как объяснить в случае чего все, что писал в своих письмах.

А что? Ничего он особенного не писал. О положении в деревне. Так Сергей скажет, что, когда ехал в кузове грузовой машины из села Волкова в Долгую Запруду, разговорился с незнакомым колхозником. Допустим, он был бородат, лохмат и в ватнике, большего Сергей о нем не знает. В письме он написал то, что слышал.

В другом письме он написал, что население задушено штрафами, что штрафуют из-за каждого пустяка и на каждом шагу. Так ведь в этом есть правда. Ведь его штрафовали, когда он после кинофильма пересек улицу в неположенном месте…

Однажды Сергей написал о прошедших выборах; о том, что не знал, за кого голосовал. Но он на самом деле не знал. Он слышал, как пришел агитатор — молодой человек с сильно обветренным

лицом. Отец с матерью ему тогда сказали, что биографии кандидатов в депутаты они знают, вопросов у них нет, и пригласили агитатора выпить чаю. Тот отказался и сообщил, что листки с биографиями он передаст в соседнюю квартиру, так что, если понадобятся, можно их прочитать у соседей.

Еще он написал, что его с милицией вели голосовать. И тоже верно. Сергей вернулся домой поздно. Отец, ворчал, что все уже проголосовали, а он где-то болтается. В это время раздался звонок, и пришел тот самый агитатор — парень с обветренным лицом. Он был в форме младшего сержанта милиции. Оказывается, на участке работали агитаторы и из отделения милиции…

— Извините, — сказал агитатор, — я прямо с дежурства. Что случилось с избирателем Болдыревым Сергеем Петровичем? Все проголосовали, а его нет.

— Сейчас иду, — буркнул Сергей и снял с вешалки? плащ.

Значит, за ним приходил милиционер. Правильно?

Так он обдумывал оправдания своим письмам. Он уже ясно представлял, как сидит на стуле перед столом; а на нем лежат его письма, как спокойно и обстоятельно доказывает, что никакой вины его нет, он просто хотел, чтобы его знакомые в США имели о Советском Союзе всестороннее представление…

Другое дело упоминание Эрика о секретной переписке, о том, что Сергею, возможно, перешлют средства для тайнописи… Это уже опаснее. Что же для них писать скрытым текстом? Не об очередях же в магазинах, не о захламленных дворах. Об этом, кстати, недавно писал «Вечерний Ленинград»… И зачем Эрик так упорно настаивал, чтобы он прекратил всякие встречи с иностранцами?

Утром Сергей, идя в лабораторию, мучительно и долго заставлял себя отбросить все раздумья и заняться положенным делом. После звонка выходил на улицу, но эти мысли снова лезли в голову. Он даже как-то подумал, что хорошо бы пойти и все рассказать. А может, там ничего не знают? Может, все обойдется? Он встречался с иностранцами. Так их в Ленинграде полно. Особенно летом.

Сергей решил пренебречь советами Эрика и, наоборот, чаще, как можно чаще встречаться с иностранцами. Если кто спросит, он ответит:

— Да, со многими встречался, всех имен и не упомнишь. А разве нельзя?

После этого ежедневно, наспех поужинав, он ехал на Невский, к «Европейской», «Астории». С получки накупил разных значков, дешевых сувениров, достал дюжину деревянных расписных ложек,

десяток матрешек. Он был добровольным гидом по городу и в музеях, он старался встречаться с иностранцами в самых людных местах, чтоб все видели, что он из чувства вежливости, из желания изучить лучше язык рад поговорить с любым человеком из-за рубежа.

Иногда он заходил на почтамт и протягивал девушке паспорт, та перебирала пачку писем и отвечала, что ему ничего нет.

Сергей очень не хотел, чтобы пришло то письмо, о котором говорил Эрик, но если придет — его нужно взять. Иначе его отошлют обратно с пометкой, что адресат не является. А если обратный адрес на письме вымышленный, то его вернут обратно, и чем кончится этот пинг-понг — неизвестно.

— Пожалуйста, — сказала девушка за окошком и протянула Сергею серый конверт с розовой маркой в углу.

Обложка паспорта стала скользкой, и он долго не мог залезть во внутренний карман пиджака. На конверте наклонным размашистым почерком было написано: «Ленинград, Главпочтамт, до востребования. Болдыреву Сергею».

…Мать ходила по квартире и, подняв голову, нюхала воздух.

— Петя, Сережа, что-то горелым пахнет! В коридоре вроде как жженой бумагой, а возле Сережиной комнаты тряпкой…

До боли в ногах, до тяжести в пояснице ходил он по городу и не знал, что предпринять.

«Дорогой Сергей! Я получил Ваше интересное письмо от 15 июня…»

Почерк совершенно незнакомый, и никаких писем от 15 июня Сергей никому не писал… «Жму Вашу руку. Ваш Игорь», подпись с росчерком закорючкой вниз. Вниз! Значит в письме есть скрытый текст. А может, его нет?

Отец еще не вернулся с работы. Мать, как всегда, что-то делала на кухне. Сергей смочил вату одеколоном, чиркнул спичку, взвилось голубое с желтыми прожилками пламя, жар от него жег пальцы. Лист письма стал коробиться, и вдруг на нем появились строчки, они шли поперек строк, написанных чернилами. Сергей прочитал текст, но второй лист письма проявлять не стал. Забегал по комнате, понимая, что нужно сейчас же все уничтожить. Хлопнула дверь. Мать вышла в булочную. Она просила сходить Сергея, а он ответил, что занят.

Сверкающий чистотой унитаз с клекотом проглотил клочки жженой бумаги, и долго шумел, наполняясь водой, сливной бачок.

Вернулся с работы отец, буркнул, что поужинал, и велел не мешать, даже не звать к телефону. Показал толстые папки:

— Ишь сколько наворотили. Все надо проверить. Просчитать

самому. А откуда взять время?

Сергей накинул плащ и вышел в город. Он ходил и думал, что предпринять дальше. Письма нет. Унитазы умеют хранить молчание. Но на почте известно, что Сергей получил письмо. Правда, никто не докажет, читал он скрытый текст или нет. Может, на самом деле пойти в КГБ, рассказать о знакомстве с Митчеллом и Эриком, о своем запоздалом подозрении? И ничего не говорить о заложенном для него тайнике? А вдруг найдут случайно уборщицы и в пакете будет указано его имя? А если рассказать о тайнике, то это значит, что

Сергей проявил письмо, что он ведет тайную переписку. Что же тогда делать?

…Сергей остановился и оторопел. Стоял он перед Эрмитажем. Зачем пришел сюда? Ему захотелось бежать с набережной сломя голову, куда угодно, только поскорей. Сергей повернулся и пошел прочь.

«Но пакетик рано или поздно обнаружат. Будет ремонт, придут слесари проверять батареи парового отопления… Эрик говорил, что настоящего имени Сергея они не упомянут. А если упомянут?»

Торопились прохожие, шумели автомашины, сыпали троллейбусы зеленые искры. Вместе с людским потоком брел он по улицам и все думал, все думал… И снова вышел к Эрмитажу. После этого он взял такси и уехал в Новую Деревню. Прошел к гостинице «Выборгская», посидел в ресторане. Водка обожгла горло, но спокойствие не пришло.

На следующий день со всеми предосторожностями он написал последнее письмо О. Кларку. Он писал о погоде, о том, как хорошо и интересно провел лето… и нигде в письме не поставил запятых. Письмо отправил с вокзала Зеленогорска.

«А если пойти в Эрмитаж, взять пакетик и явиться с ним в КГБ? Или просто уничтожить его? Ведь пакетик обязательно когда-нибудь обнаружат. Но его могут задержать в тот момент, когда он будет брать пакетик. Чем он докажет, что хотел с ним прийти в КГБ? Просто он попадется с поличным».

Так и не решив ничего, Сергей продолжал усиленно знакомиться с иностранцами. Теперь он это делал через силу, и иностранцы не казались ему какими-то особенными людьми. Они охотно давали свои адреса, расспрашивали о городе, о жизни, интересовались ценами на продукты и вещи.

Один англичанин прямо заявил, что в Ленинграде его ничего не интересует, кроме анекдотов и пикантных историй из времен Екатерины Второй. Анекдотов таких Сергей не знал; вернее знал несколько, но постеснялся рассказать, уж больно они были

скабрезные. Англичанин сразу потерял к нему всякий интерес.

Проклиная все на свете, Сергей через силу тащился на почтамт и протягивал в окошечко паспорт, с тревогой ожидая, что девушка скажет «пожалуйста», но девушка говорила «нет», и от этого немного становилось легче.

Познакомился с молодой американкой по имени Анабелла. Она живет в Нью-Йорке и работает в конторе своего отца. Приехала на две недели в Советский Союз. С ней было очень мило разговаривать, и чисто женское любопытство порой затмевало у нее туристские интересы. Анабелла охотно согласилась приехать к Сергею. Мать всполошилась, в квартире было не прибрано. Анабелла выпила чаю, послушала пластинки и спросила, нет ли у него записи старинных цыганских романсов.

— Знаете, когда поют такими раскатистыми протяжными голосами, а у женщин вроде как перехватывает горло… Это так здорово!

Таких пластинок у Сергея не было, и он не мог вспомнить, у кого из товарищей можно их найти.

Потом сидели в летнем кафе. Анабелла говорила, что впечатлений у нее много, хватит рассказывать знакомым целых два года.

Неожиданно для себя Сергей попросил ее написать из Нью-Йорка письмо О. Кларку и попросить, чтобы он прекратил переписку с Сергеем.

— Понимаете, — признался он, — мне кажется, что меня втягивают в какое-то нехорошее дело. А я ничего общего не хочу иметь с ними…

Анабелла растерянно улыбнулась и обещала написать. Сергей дал ей адрес О. Кларка.

Через несколько дней он познакомился с американским туристом — пожилым солидным мужчиной, дал ему адрес и попросил сделать то же, о чем просил Ана-беллу. Американец сунул записку с адресом в карман.

Потом Сергей встретился с Ричардсом — восемнадцатилетним парнем. Он приехал вместе со своим отцом на собственной машине. Они побывали на Кавказе и теперь возвращались обратно.

Как сын солидного папаши, Ричардс держался надменно и слова произносил медленно, будто давал в долг.

Сергей и ему передал просьбу. Ричардс долго думал, потом медленно достал записную книжку, подробно занес в нее адрес и сказал, укладывая книжку в карман:

— Хорошо, отсюда мы едем в Хельсинки, там я зайду в наше посольство, узнаю адрес ФБР и сообщу туда. Так будет надежнее.

«Он сообщит в ФБР, — размышлял Сергей, возвращаясь домой. — Там поймут, что об этом конспиративном нью-йоркском адресе в Ленинграде не только знают, но и разбалтывают его всем приезжим. Ясно, что адрес надо закрыть и переписку со мной прекратить».

Ожидание ночного настойчивого звонка становилось все сильнее, все навязчивее…

8

Он ожидал всего, только не этого…

Сергей ехал в трамвае и успокаивал себя тем, что ничего там не знают, что вызывают для выяснения какого-нибудь маловажного вопроса. Иначе бы не стали вызывать.

Поездка на трамвае показалась длительной, как альпинистский поход через горы. Молоденький розоволицый солдат с пистолетной кобурой у пояса взял из рук Сергея паспорт, прочитал, выдвинул ящик письменного стола, порылся там в бумажках и вернул паспорт.

— Проходите. Вон гардероб, потом налево за дверью лифт.

На модных тонконогих металлических вешалках висели пальто, красная хозяйственная сумка, армейский плащ. У стены на столике лежали кипы свежих газет и стояла пластмассовая коробочка с медными монетами. Дубовая застекленная дверь не открывалась, и солдат сказал:

— На себя, на себя.

Руки скользили по стальной скобке решетчатой двери лифта, она с усилием поддалась.

— Минутку, возьмите нас, — послышались голоса и щелканье каблучков.

В кабину вошли две девушки с папками в руках, они нажали кнопку третьего этажа, лифт тронулся, девушки смотрелись в зеркало и говорили о каком-то новом материале для платьев.

Сергей вспомнил, что он только что слышал такой же разговор. Ну, конечно, в трамвае. Там ехали пожилые женщины с авоськами, у одной еще из бутылки капало на пол молоко. На третьем этаже девушки, продолжая разговаривать и еще раз посмотревшись в зеркало, вышли, и Сергей нажал кнопку четвертого этажа.

В комнате за конторкой сидела женщина, она взяла у Сергея бумажку и показала глазами на старый дубовый диван.

— Посидите, пожалуйста.

— Покурить можно?

— Лучше в коридоре.

Стоя возле урны, Сергей курил до тех пор, пока сигарета не обожгла пальцы. Вернулся в комнату.

— Сейчас придут, — сказала женщина и застучала на машинке.

Вскоре вошел высокий мужчина в штатском, пристально посмотрел на Сергея и спросил:

— Болдырев Сергей Петрович?

— Да, это я, — ответил Сергей, вставая.

— Ирина Васильевна, какая комната у нас свободна? — спросил мужчина, открывая дверцу плоского шкафчика на стене.

— Берите любой ключ, — ответила женщина, не отрываясь от машинки.

Мужчина снял с гвоздика ключ, закрыл дверцу и сказал Сергею:

— Пойдемте.

В комнате стояло несколько массивных столов. Окно выходило во двор, и в комнате было не очень светло. Виднелись крыши и антенны, освещенные солнцем.

— Я капитан Половцев, — сказал мужчина, когда Сергей уселся на стул. — Вы не догадываетесь, зачем мы вас пригласили?

— Н-нет, — неожиданно громко ответил Сергей.

— Сейчас выясним, — равнодушно ответил мужчина и, облокотившись обеими руками о стол, начал рассматривать Сергея, потом отвернулся и стал смотреть в окно. Сергей вытирал ладони о брюки и ждал, когда начнется разговор. Скрипнула дверь, в комнату вошел смуглый молодой человек с зеленой папкой в руках, он мельком глянул на Сергея и буркнул, подвигая к себе стул:

— Пришли, значит. Ну хорошо.

Протянул папку капитану Половцеву, тот взял ее, положил рядом с собой на стол и посмотрел на Сергея.

— Мы решили побеседовать с вами и выяснить ряд вопросов, касающихся вашего поведения и взаимоотношений с некоторыми иностранцами…

— Да-да, — перебил его Сергей, — я, кажется, излишне много с ними встречался. Но, понимаете, я изучаю английский и хотелось потренироваться в разговорном языке… И вообще получше узнать о жизни… там… Я вот встречался… — он начал сбивчиво рассказывать о своих встречах, о разговорах.

Половцев спокойно слушал. Виктор Комаров несколько раз нетерпеливо кашлянул и поерзал на стуле, неприязненно разглядывая Болдырева. Давно догадался и понял, зачем его вызвали. Ишь как осунулся, аж серый стал, не знает, как выкрутиться…

— Послушайте, Болдырев, — вставил Половцев, когда Сергей на миг умолк, — у нас в Ленинграде сейчас тысячи иностранцев, они знакомятся с тысячами наших людей, и не кажется ли вам странным, что мы будем вызывать каждого' гражданина на беседу. Вспомните, с кем вы близко были знакомы и о чем договаривались?

Сергей опять длинно и сбивчиво заговорил, называя фамилии, названия гостиниц.

Слова Половцева «и не кажется ли вам…» вызвали вдруг в памяти Комарова совсем другие воспоминания.

…Сдав первый государственный экзамен, Виктор болтался в коридоре, ожидая, когда ответит Костя Нестеров, Надя Боярская и еще другие ребята. Подошла секретарша деканата и сказала, что Виктора ждет какой-то человек. По дороге шепнула:

— По-моему, он ленинградец, а не приезжий.

Последнее время на факультете беседовали с выпускниками представители различных учреждений, подбирая для себя молодых специалистов. «Интересно, куда будет нанимать меня этот тип?» — думал Виктор, входя в кабинет.

Пожилой человек в очках стал расспрашивать его об отметках, о здоровье и где он собирается работать. Виктор ответил, что тянет его к редакционной работе…

Разговор шел свободно, перескакивал с одной темы на другую. Виктор ломал голову, откуда этот человек и почему он так хорошо его знает. Постепенно выяснилось, что он из отдела кадров Комитета госбезопасности.

— Позвольте, ведь я же филолог… Неужели у вас нет своих учебных заведений?

— Конечно есть. Но дело наше сложное, многогранное, и нам нужны специалисты различных областей знаний.

— Вы знаете, это так неожиданно…

— А вы подумайте. Райских кущ не обещаю, работа у нас тяжелая, нервная, беспокойная. А вообще легкой работы нигде не бывает.

Виктор потер обеими ладонями лоб и вдруг сказал:

— Я на первом курсе выговор имел за драку. Шел с девушкой, а какой-то тип ляпнул про нее неприличное, вот я и пустил в ход кулаки, а тут комсомольский патруль, потом собрание. Не кажется ли вам, что это не очень подходит для работника вашего учреждения?

Собеседник усмехнулся:

— А вам не кажется, что это было прощание с детством? Может, еще рогатку вспомните, чужие огороды и окно, разбитое мячом?

Собеседник не настаивал, не уговаривал, он рассказывал о важности работы и предлагал серьезно об этом подумать.

— Ребята! — воскликнула Надя. — Смотрите, наш Витька уже после первого экзамена свихнулся. Не ест, не пьет и смотрит в одну точку. Витенька, очнись!

— Ладно, Надька, бывает, — отмахнулся Виктор.

Теперь Надя преподает в Хабаровском пединституте.

Костя в аспирантуре… Ребята разъехались во все концы страны, а он, лейтенант Комаров, уйму времени провозился вот с этим Болдыревым С. П. Зато сейчас Болдырев крутится, как береста на огне.

Половцев уже показывал Болдыреву фотографии. Тот признался, что получил письмо из Москвы от некоего Игоря, прочитал и сразу уничтожил. Тайнописный текст он не проявлял, он даже не знал о нем и тем более ничего не знает о тайнике в Эрмитаже. В Эрике он почувствовал не того, за кого он себя выдает, решил сразу прекратить всякую связь.

— А как вы ему об этом сообщили?

— Письмом и через иностранных туристов.

— По какому адресу писали письмо?

— Я после вашего вызова его сжег и не помню…

— А имя помните?

— Кажется, О. Кларк.

— Виктор Александрович, у вас есть вопросы?

Комаров положил перед Сергеем конверт.

— Этот адрес?

Сергей целую минуту думал, разглядывая конверт Он узнал его и, вспомнив, что могут назначить графическую экспертизу, признался:

— Не совсем тот… я ошибся, не сто десятая стрит, а сто шестнадцатая.

— А в адресе отправителя не ошиблись?

— Он вымышленный.

— Нам это письмо принес гражданин Макаров, который действительно проживает по указанному вами адресу.

Сергей прижал ладони к груди:

— Товарищи… м-м… даю честное слово, это случайно, я заходил в подъезд и посмотрел, есть ли в доме такая квартира, а фамилию я надеялся, что выдумал… Это случайность.

— Это теперь не важно. Вы лучше послушайте, что пишет Стоун.

— Виктор Александрович! — оборвал Половцев.

— Что? А, да… Впрочем, читайте сами, вы же знаете английский. В этом письме только одна ошибка: вместо «господин Макаров» надо читать «господин Болдырев». Читайте, читайте до конца.

Когда Сергей прочитал отповедь Стоуна, Комаров спросил:

— Может, Макарова пригласить? Ему хотелось познакомиться с вами.

— Как хотите…

— Не хотим. Иначе придется удерживать Макарова за руки. И имя ваше не сообщим ему. Без вас хватает работы на травматологических пунктах.

— Сколько вы писем отправили этому О. Кларку? — спросил Половцев.

— Не помню, сколько.

Болдырев умолк, сказать ему было нечего. Тогда заговорил Половцев. Заговорил спокойно, без резкостей и угроз, называя вещи своими именами. И все заранее придуманные Болдыревым оправдания стали разваливаться. Он вдруг почувствовал себя страшно одиноким. А Половцев говорил о том, что только полшага оставалось ему до преступления. Даже сейчас можно найти формальный повод и отдать его под суд. Но это никому не нужно…

Мысли, мысли бились в голове Сергея, и он уже не чувствовал, сидит ли на стуле, стоит ли, или находится в состоянии невесомости… «Куда я шел? Куда я шел? — спрашивал он себя. — Куда я шел?»

А Половцев все говорил.

По рельсам, погромыхивая, катились трамваи. Грузно покачиваясь, проплывали троллейбусы, автомашины обгоняли друг друга. У ларька люди деловито сдували с кружек пену. На бульваре мальчишки играли в войну.

Сергей Болдырев возвращался к себе. Лицо его было очень серьезным и очень озабоченным. Он часто останавливался и пристально, словно заново, вглядывался в давно знакомые очертания зданий, в лица прохожих. Порой он улыбался чуть заметной горькой улыбкой много пережившего человека.

А трамваи катились, проплывали троллейбусы, и мальчишки кричали. Все было, как вчера и позавчера, как будет завтра.

Елена Серебровская. „БЕШЕНЫЙ ОГУРЕЦ"

Американская выставка технической книги была размещена во Дворце культуры имени Ленсовета, на Кировском проспекте. На стендах и на столах лежали старинные и новейшие издания, возле них крутились гиды. Словом, выставка была как выставка. Нормальное мероприятие по культурному обмену.

И вот однажды некий молодой посетитель подошел к одному из гидов, что-то начал говорить, стал совать в руки пачку каких-то машинописных листков. На заглавном листке была надпись: «Наша программа». И посвящалась эта программа президенту США…

Странный этот эпизод удивил посетителей выставки— он явно не имел касательства к технической книге. Мало кто знал тогда, что случай на выставке стал как бы кульминационным пунктом активной деятельности некоей антисоветской группы, в которой этому парню была отведена довольно-таки второстепенная роль.

Мало кто знал… Да и как вообще свяжешь воедино серию, казалось бы, разрозненных фактов? Появление, скажем, злобных надписей на полях газеты, опубликовавшей статью с едкой критикой фарцовщиков, или рассылку накануне выборов в адреса иных граждан гнусных подстрекательских листовок? Ведь эти факты могли быть и не связаны между собой.

Или вот еще факт. В то же примерно время милиционер задерживает гардеробщика артели «Трудпром», некоего гражданина Зайцева Устина Гавриловича, с десятком порнографических открыток в кармане. Задерживает вместе с ним и некоего юнца, покупателя «товара», — юнец оказывается молодым горьковчанином, приехавшим поступать в вуз. И парень, притащивший гиду листки «Программы», знаком с этим гардеробщиком.

Был среди фактов, накопившихся к моменту происшествия на выставке американской технической книги, еще один, весьма небезынтересный. Бывший сотрудник американского посольства в Москве А. Биллингс, приехав в Ленинград в качестве туриста, пытался заводить знакомства кое с кем из жителей нашего города, в том числе почему-то и с гардеробщиком Устином Гавриловичем Зайцевым.

А сравнив «почерк» пишущей машинки, на которой напечатана «Программа», с «почерком» антисоветских листовок,

не трудно было установить их сходство.

И еще важное обстоятельство. Все лица, причастные к названным и к некоторым другим эпизодам, были молодыми людьми. Все, за исключением любителя порнографической «клубнички» гардеробщика Зайцева. Создавалось, таким образом, впечатление, что кто-то пытается создать антисоветскую группу, подготовил «Программу» и, главное, стремится вовлечь в эту группочку молодежь. Что это — идеологическая диверсия? И кто он, этот «кто-то»? И при чем тут порнография?

Рабочим гипотезам место в начале следствия. Чтобы подтвердить их или отбросить, нужна, как правило, углубленная работа целого коллектива чекистов.

В биографиях людей, занимавшихся этим делом и очень непохожих друг на друга, есть и общее: все они нынешнюю свою профессию обрели в послевоенные годы. Все они, понятно, с высшим образованием, без которого сейчас на их рабочих местах обойтись невозможно.

Одного из этих товарищей назовем Андреем Сергеевичем… Когда грянула война, он только еще оканчивал десятилетку. Прямо из школы пошел на фронт. Сражался на Западном и Северо-Западном фронтах, дошагал до Кенигсберга и Тильзита. В годы войны погибли его родители. Войну начинал рядовым, а демобилизовался, выполняя обязанности комсорга полка.

Дальше была работа на заводе, выдвижение в мастера; двухгодичная юридическая школа. После окончания школы райком партии рекомендовал Андрея Сергеевича в органы безопасности. Юридический институт он окончил заочно.

Трудно постичь человеческий характер за несколько коротких встреч, но в сравнении познаешь все быстрее. Рядом со своими товарищами Андрей Сергеевич производит впечатление человека чрезвычайно спокойного и уравновешенного. Терпелив, никогда не спешит, чрезвычайно основателен во всех своих действиях и особенно выводах.

Анатолий Александрович на него не похож. Он и помоложе, добровольцем на фронт пойти не успел, был еще мальчишкой. Жизнерадостен, блещет юмором, отличный спортсмен-самбист. Внешняя легкость, подчас даже шутливость, с какой он рассказывает о своей работе, свидетельствует только о характере. Анатолий Александрович в полной мере понимает серьезность и сложность избранной им профессии, чувство ответственности для него весьма органично. Кстати, именно он дал мне представление, насколько изнурительно тяжела бывает подчас работа следователя.

Старшим оперативной группы был майор Юрий

Александрович. Война застала его учеником девятого класса. Перенес все испытания и муки голодной ленинградской блокады. Весной 1942 года умер от голода его отец. Семнадцати лет Юрий добровольцем пошел в армию. Командовал взводом минометчиков, не раз проявлял находчивость и отвагу. На марше под Оршей был принят в партию. Награжден двумя орденами Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени.

После войны Юрий Александрович мечтал продолжить учебу. И продолжил, но не там, где вначале думалось. Смелого лейтенанта заметили чекисты, пригласили на работу в органы госбезопасности. После специальной подготовки был он направлен в Эстонию, где служил несколько лет, участвовал в борьбе с бандами буржуазных националистов.

Этими вынужденно краткими характеристиками мы и ограничимся. Товарищи, о которых идет рёчь, в рабочем строю, многого о них, естественно, не расскажешь.

Итак, весной 1963 года прокурор дал санкцию на арест трех граждан: Зайцева Устина Гавриловича, 1913 года рождения, Николая Б., 1936 года рождения и Валерия Т., 1938 года рождения. Предварительное следствие было поручено уже известным нам товарищам, а также капитану, которого назовем Виктором Тихоновичем, чекисту с большим опытом.

Обыски принесли интересные результаты: были обнаружены экземпляры «Нашей программы» и другие рукописи антисоветского характера, немало печатных изданий, рекламирующих американский образ жизни, газетки, издававшиеся фашистскими оккупантами в Одессе и какими-то «деятелями» в Калифорнии, сборник «Православный собеседник», выпущенный в Таллине в тридцатые годы и содержащий антисоветские вопли, несколько чистых бланков пропусков на завод «Союз», а также около девятисот порнографических открыток. Обнаружена была и пишущая машинка, та самая…

Молодым человеком, который пытался всучить гиду американской выставки упомянутую «Программу», оказался Николай Б., слесарь одной из мастерских. Рабочий и родился в семье рабочего. Как же такое могло случиться?

Чтобы разобраться в природе человеческих поступков, надо разобраться во всей жизни этого человека, в индивидуальных особенностях его воспитания.

Николай и его сестра были двойняшками. Казалось бы, детство — пора радостей, но у этих ребят оно оказалось тяжелым. Отец буянил, дрался, пил, пока его не выслали, мать мало в чем уступала отцу. Потом разразилась война. В Ленинград вернулись, когда ребятам было по девяти лет. Комнату кто-то занял, взамен

предоставили другую, совсем плохую, — возникла обида. Жили трудно, еле сводили концы с концами, одевались плохо. Рослый Коля, отставший по развитию, стал объектом шуток своих сверстников в школе. Учился неважно, дома не было ни одной книги. Затем вернулся отец, и снова начался домашний ад. До уроков ли тут?

Давно уже призывает наша печать активно вмешиваться в жизнь неблагополучных семей. В данном случае вмешательства не было. Было равнодушие. 308-я школа Фрунзенского района, это у вас учился Николай Б.! Фрунзенский райком комсомола, это ваши работники не обратили внимания на то, как трудно растет парнишка!

Сестра Николая училась лучше, упорнее. Сейчас она уже с высшим образованием. А вот брат ее нуждался, должно быть, в ином подходе, не хватало ему доброжелательного и вместе с тем волевого, умного наставника.

Мать заметила в сыне способности к рисованию. Попыталась устроить в детскую школу при Академии художеств. Не приняли: переросток.

Подошел срок идти в армию. В развитии своем парень поотстал, и матери удалось убедить врачей, что сын болен, у него странности. «Выручив» сына от призыва, мать, по сути, способствовала его падению, Лишила армейского коллектива, где он бы выпрямился.

Теперь все шло иначе. Сумасшедший? Никто не хотел брать его на работу, и напрасно он уверял, что здоров, — выхлопотанная матерью справка говорила о другом. Четыре года он почти безвыходно просидел дома, в грязной, неприбранной комнате. Увлекся радиотехникой, завел себе радиоприемник, начал слушать передачи Би-Би-Си и «Голоса Америки». Не хотели воспитывать комсомольские организации, — пожалуйста, нашлись другие наставники.

Николай стал посылать в адрес Би-Би-Си клеветнические сообщения. Слал их и в «Лайф», и в «Нью-Йорк Таймс».

Поддавшись «бархатной руке» воспитателей с иностранных радиостанций, он копил злобу против всего окружающего. Не прочел ни одной советской книги, зато прослушал цикл лекций «Голос исторической правды», — умеют же эти господа назвать свой гнилой товарец!

В 1958 году выяснилось, наконец, что Николай здоров, и он стал работать, но держался особняком. Писал. на товарищей заявления, ругался, всех считал хуже себя. Взял у него кто-то денег в долг и задержал дольше обещанного срока, — Николай стал поносить его, нажимая на то, что это коммунист. Купил

лотерейный билет и не выиграл — опять виновата Советская власть.

Обида? В жизни бывает — встретишься и с незаслуженной обидой. Было такое и в жизни следователя Юрия Александровича. Когда он, семнадцатилетний, в блокадном Ленинграде, пришел в военкомат с желанием идти в армию, какой-то истеричный служака, не поняв его, накинулся с упреками: «А-а, знаем вас, от армии уклоняешься»… Плюнул, что называется, в душу. Но слишком серьезным было чувство, приведшее юношу в военкомат, он не дал обиде власти. Он уже выбрал линию своей жизни. А Николай Б. держался на ногах слабо, неуверенно…

Кто же заметил его? Кто обрадовался нежданной находке? Заметил и привлек его к преступным делам Устин Гаврилович Зайцев.

Огромная коллекция порнографии — картины, открытки и целые сочинения — была обнаружена в комнате, где находились жена и двое детишек Зайцева, в шкафу, рядом с иконой, висевшей в углу. Жене своей, уборщице одного из магазинов, Устин Гаврилович объяснял свой интерес к порнографии как исключительно научный, медицинский. Ведь Устин Гаврилович был врачом-психиатром. Но почему же тогда работал он гардеробщиком? Да нет, давно уже, оказывается, не работал. С тех пор успел побыть и грузчиком в магазине иностранной книги, и официантом, и разносчиком телеграмм, — пестрая у него была биография.

Зайцеву предъявили обвинение в изготовлении и распространении антисоветчины, в создании подпольной группы, участники которой имели условные клички, распространяли листовки и вели контрреволюционную пропаганду. Обвинялся он также в попытках передать представителям иностранного государства список промышленных и военных объектов с данными секретного свойства.

Анкета этого человека, заполненная в ходе предварительного следствия, была весьма противоречива. Родился в селе Поповке Тосненского района Ленинградской области. Учиться уехал почему-то в Одессу, в медицинский институт. Диплома не имеет. Был на оккупированной территории, затем на фронте. Имеет орден Красной Звезды. Одно время состоял в народной дружине, активно участвовал в дежурствах.

Рядом со сведениями лестными имелись и нелестные. В Ленинграде Зайцева уволили из психиатрического диспансера за грубое обращение с больными, приведшее даже к несчастному случаю. Перестали ему доверять врачебную работу, требовали представить диплом. Некоторое время он служил медицинским

братом, снова грубил больным и коллегам.

Зайцев заранее обдумал свое поведение на случай ареста. Отвертеться от авторства «Нашей программы», злобно-антисоветской и антисемитской, не удалось. Но рядом с «Программой» перед следователем лежали подобные же сочинения под названием «Критика программы соседом» и «Ответ соседу». Чья это критика? Что это за сосед? На эти вопросы Зайцев с готовностью назвал имя своего соседа по квартире, художника-оформителя Анатолия Т. По словам Устина Гавриловича, это и был главный распространитель порнографических открыток. И вообще очень плохой человек. А еще хуже его жена…

Работа следователя — это поиск истины, а не торопливый подбор причин для осуждения. Если Анатолий Т. действительно соучастник Зайцева в антисоветской деятельности, то не слишком ли торопится Устин Гаврилович объявить его виноватым?

Для непосвященного суть следствия состоит в вопросах следователя и ответах обвиняемого. Когда же листаешь девять толстенных томов этого дела, то кое-что начинаешь представлять более полно. Рядом с протоколами допросов — документы, справки, фотографии, листы опознания по фотографиям. Уйма справок! И нужны они зачастую лишь для того, чтобы документально установить: обвиняемый говорит неправду.

Перед следователем был человек, уверявший, что он — Устин Гаврилович Зайцев, что родился в селе Поповне Тосненского района. Естественно, что следователь поехал в Поповку, проверил церковные книги дореволюционных лет. Зайцева Устина Гавриловича в них не значилось.

Надо было искать стариков, которые могли бы припомнить живших тут Зайцевых. Старики, действительно, вспомнили одну такую семью. Да, был у них сын Алексей, кровельщик, примерно 1905 года рождения. Раз еще приехал из армии в отпуск, да загулял и по пьянке опоздал в свою часть. А Устина у них не было.

Тогда следователь едет в Одессу, в медицинский институт. Перерыты все списки, все документы, опрошены многие люди, но следов Зайцева обнаружить не удается. Не было такого студента в Одессе. Позвольте, как же не было, если в письмах Устина Гавриловича, посланных сюда с требованием выдать диплом, имеются доказательства того, что автор этих писем действительно учился в Одессе, помнит многих преподавателей, знает даже расположение помещений? В институте накопилась папка таких писем. Устин Гаврилович требовал, сотрудники института старались найти о нем сведения, но так и не нашли.

Теперь их просит следователь из Ленинграда, а сведений все равно нет. Их просто не существует.

Что же делал Зайцев в период оккупации? В розысках участвуют работники архивных учреждений Одессы. Удается установить, что гражданин Зайцев за кражу стекла был осужден оккупационными властями на полгода тюрьмы, о чем даже было напечатано в газете оккупантов. На следствии Зайцев подтверждает этот факт, добавив, что из-под стражи ему удалось бежать.

Трудно представить, какое количество справок подшито в этом деле. Справки различных загсов, Архива военно-медицинских документов, Центрального военномедицинского управления, Министерства обороны. Справки-проверки по дактилоскопическим картотекам. Справки о судимостях. Справки гороно, Управления профессионально-технического образования, отдела здравоохранения, справки по поводу номеров госпиталей, которые Зайцев почему-то путает. Справки-характеристики со всех мест его работы. Всюду он, к слову сказать, скандалил, конфликтовал, склочничал.

Вскоре после начала следствия Юрий Александрович стал сомневаться: действительно ли перед ним Зайцев Устин Гаврилович, не другое ли это лицо? Тем более, что близкие знакомые называли его Костей. Следователь настоял на розыске всех документов, когда-либо заполнявшихся на Зайцева, всех написанных им анкет. Внимательно изучив эти материалы, Юрий Александрович обнаружил разночтения.

Следователь повел наступление, требуя, чтобы обвиняемый назвал подлинное свое имя. Под давлением улик Зайцев сказал: «Хорошо, я сам все напишу». Ему предоставили такую возможность. Но, не написав и страницы, он спешно ее разорвал и стал глотать смятые клочки бумаги. Потом вроде бы опомнился, еще раз пообещал все написать и снова передумал.

Преступник отчаянно боялся правды. Поединок был не из легких. Но моральное наступление вел человек, убежденный в правоте своего дела, не привыкший отступать. И наконец пришел день, когда преступник заявил: «Я все вам скажу: я — Файнер Борис Григорьевич, родился в 1914 году».

Дальнейший ход дела несколько ускорился. Снова следователь поехал в Одессу, снова все проверял «по второму кругу». О Файнере был собран большой материал, из которого стало понятно, почему обвиняемый так боялся правды.

И вот перед нами жизнь человека, до отказа начиненная ненавистью, нездоровой эротикой и одновременно фанатической религиозностью. Ненавидит он свою родину, ненавидит

еврейский народ, а значит, и национальность своих родителей, заодно ненавидит и русский народ. Выражено это не только в составленных им документах, но и в его дневнике. Что же любит он? В дневнике этом, густом, пахучем наборе отвратительных фактов жизни, слухов и сплетен, есть все же и изъявление сочувствия, нечто вроде хорошего отзыва: в первом случае о Даллесе, американском государственном секретаре, а во втором — о герое одного голливудского фильма, летчике-фашисте, способном к непрерывным убийствам. Может, любил он хоть своих родителей? Любил первую жену или любит нынешнюю?

Писать о таком человеке стоит, чтобы найти объяснение возникновению подобных взглядов. Как дошел он до жизни такой?

Итак, в семье петербургского юриста Файнера, человека в какой-то степени прогрессивного, активного атеиста, родился сын Борис. Первенец вызывал всеобщее восхищение своими способностями. Дома был баловнем, ему отвели отдельную комнату для занятий, он много и не по возрасту читал, собирал книги. Младший его брат рос без особой опеки, считался ребенком неважного здоровья, и ставки на него родители не делали. К слову сказать, здравствует он и поныне, работает архитектором и, привлеченный в качестве свидетеля по делу какого-то Зайцева, впервые узнал, что родной его брат живет чуть ли не на одной с ним улице.

Семейство Файнеров вскоре переезжает в Одессу. Начав с увлечения книгами Мережковского и Бердяева, Борис заводит дружбу с церковниками. Пятнадцати лет от роду он… крестится, нарекшись Константином. Делает шаг назад от отца-атеиста.

Родители посылают его учиться в Ленинград. Поступает он в сельскохозяйственное училище, расположенное в селе Поповке Тосненского района. Однако здесь явно недооценивают его «исключительных» способностей, и Борис возвращается в Одессу. Спустя какое-то время поступает в Одесский медицинский институт. Ведет себя там развязно, вызывающе. В 1938 году его арестовывают за участие в антисоветской организации церковников, где он уже в ту пору пробовал силы в сочинении антисоветских «программ». Перепуганные родители хлопочут, сын помещен в больницу с диагнозом «шизофрения» (он уже слушал курс психиатрии, знает кое-какие симптомы этой болезни и довольно успешно симулирует). Это спасает его от суда, но отнимает немало времени, учебу приходится прервать. После долгого перерыва он возобновляет учение, но ведет себя по-прежнему, исповедуя свой излюбленный принцип: все кругом быдло, а я личность исключительная.

К началу Отечественной войны Борис Файнер успевает окончить четыре курса института. Он уже женат. Избранницей его становится несколько болезненная девушка, которая искренне его любит и прощает даже такие отталкивающие свойства его натуры, как стойкий антисемитизм.

Студентов-меди ков, окончивших четвертый курс, призывают повестками на работу в госпитали. Получают повестки и Файнер с женой, но от явки уклоняются. Обстановка в городе все напряженней. Родители Файнера намерены уехать из Одессы. Борис их отговаривает, доказывая, что все обойдется, что придут сюда люди Запада, люди высокой культуры. Младший его брат, не послушавшись, уезжает. Борис с родителями остается.

В первые же дни оккупации Файнер-отец был контужен. Ни ухода, ни лечения он не имел и вскоре погиб. Мать Бориса фашисты загнали в гетто, где жизнь ее вскоре оборвалась. Сынок услышал об этом от тестя. К удивлению тестя, досадливо пробормотал: «А, черт ее побери!» — и начал деловито объяснять, что намерен открыть частную медицинскую практику, подготовил даже вывеску. Правда, вскоре ее сорвали.

Не раз Бориса останавливали на улицах, проверяли документы, придирались к национальной принадлежности. Приходилось доказывать, что он выкрест, унижаться. За одно это можно было возненавидеть оккупантов. Нет, он не возненавидел. Прятался, менял места жительства, выжидал своего случая.

Через какого-то священника ему удалось достать метрическое свидетельство некоей монахини Устиньи Гавриловны Зайцевой. Файнер подчистил его и переделал на метрику Устина Гавриловича Зайцева. Местом рождения выбрал знакомое ему село Поповку.

В 1944 году Одессу освободила Советская Армия. Файнера, жившего теперь под фамилией Зайцев, мобилизовали, вскоре он был легко ранен. В госпитале выдал себя за военврача, быстро получил назначение, работал какое-то время на контрольном пункте станции Кишинев, затем махнул в Москву.

А жена, спасавшая его в дни фашистского бесправия, а семья? В оккупации у них родился и вскоре умер от дистрофии ребенок. Когда Файнер, уже в форме военврача, перед отъездом в Москву навестил жену, она снова была в декретном отпуске. Родила без него, и второй младенец прожил недолго. Муж ей не помогал, даже не писал. Надломленная пережитым, а больше всего черствостью Бориса, она заболела и умерла.

Файнер-Зайцев между тем делал карьеру. Поработал в Москве врачом-психиатром, но там слишком придирчиво проверяли, а у него не было диплома. Перебрался в Пярну. Здесь,

кстати, удалось и военное звание оформить.

Из Пярну Файнер-Зайцев был направлен в наши воинские части в ГДР. Правда, вернули его оттуда несколько ускоренным темпом. Слишком уж повышенный интерес проявлял к порнографической «клубничке». Приехал в Ленинград, устроился на. работу в психодиспансер. Снова женился — на малограмотной уборщице, чтобы не было «домашнего контроля» над бумагами. Получил жилье в новом доме.

Что же происходило в его душе все эти годы? Менялся ли он, научился ли хоть уважать людей?

Вот, натерпевшись в оккупации, вырвавшись оттуда благодаря Советской Армии и надев погоны военврача, едет в Москву. Что же записывает он в записную свою книжку? «Поезд полз, как вошь, по унылым российским пространствам, мимо городов, где ни собора, ни церкви, мимо грязных, задавленных людей»…

В руки следствия попал дневник Файнера-Зайцева. Дневник этот лучше всего характеризует личность его автора. Здесь можно встретить его конек — идею о «еврействе— язве западноевропейского общества». О Ленинграде— все дурное, что услышал и что пришло в голову. О пациентах, особенно еврейской национальности, всяческая пакость. Оплеваны сотрудники Публичной библиотеки. Записаны сплетни о жизни «верхов», слухи о какой-то проверке офицеров, смахивающей на мобилизацию.

Как Файнер-Зайцев относится к Родине? Вот запись от 8 октября 1957 года: «Я люблю Родину, когда она страдает. А когда она побеждает, я ее ненавижу и желаю ей поражения». В другом месте он рисует картину будущей атомной войны, после которой «на месте Москвы растет густой лес с преобладанием хвойных пород. Только волчий вой изредка нарушает могильную тишину этих мест… Все тут минировано, отравлено и разрушено на столетья. Каркают вороны: „Было… Было… Про-шло“».

Дневник этот подобен сточной яме. Случилась железнодорожная катастрофа — расписаны самые тяжелые ее подробности. Услышав о ликвидации Таганской тюрьмы, третьей из закрытых в Москве, Файнер-Зайцев комментирует: из-за финансовых, мол, затруднений.

Но дневником дело не ограничивалось. Однажды, слушая передачу «Голоса Америки», он записал рассказ-оправдание ренегата Говарда Фаста. Записал и стал распространять среди знакомых. Начал именно с того соседа, Анатолия Т., на которого позднее взвалил чужие грехи.

Накануне XXII партийного съезда, когда был опубликован

проект новой Программы партии, Файнер-Зайцев соорудил свою контрпрограмму, которая и фигурирует в деле под названием «Наша программа». Давал ее читать молодым людям, которых сумел сделать сообщниками. Просил давать прочесть другим. С помощью одного из них втерся в дружину при Московском вокзале, аккуратно дежурил и задерживал нарушителей, ради доброй, понятно, репутации.

Файнеру-Зайцеву удалось раздобыть список заказчиков иностранной литературы, в числе которых были закрытые учреждения и воинские части с адресами и телефонами. Он размножил этот список и стал искать способ передать его враждебно настроенным иностранцам. Для этой же цели изготовил экземпляр своей «Программы» с посвящением американскому президенту. «Программу» эту, кстати, приняли бы «на ура» и боннские реваншисты, поскольку требовала она восстановления довоенных границ Германии.

Кто ненавидит нашу партию и Советскую власть, тот ненавидит и народ. Действительно, из писаний Файне-ра-Зайцева видно, что особенно боится он… большинства, боится народа. Сама мысль о народовластии его раздражает. В своей «Вставке о социализме» он записывает: «Люди так же не могут быть равны, как пальцы на руке не могут быть одинаковы. Социализм — это власть толпы».

Без последователей, без соучастников Файнер-Зайцев чувствовал себя нулем. Он нуждался в молодежи. Научился казаться авторитетом в глазах горстки юношей. Знакомился с ними на вокзалах, у гостиниц, па выставках. Рассказывал о своих мнимых военных заслугах, блистал начитанностью. Пустил в ход и порнографию, и похабные сочинения. В итоге этой его деятельности двое молодых людей сели с ним рядом на скамью подсудимых.

Николай Б. познакомился с Файнером-Зайцевым возле гостиницы «Европейская». Прочитал составленные им антисоветские документы, одобрил, кое-что даже покритиковал. Встречались конспиративно: то на Московском вокзале, то в парке Победы, то на американской выставке.

Николай не хотел быть просто исполнителем. Предложил назвать группу Зайцева «Путь», нарисовал ее эмблему и флаг. Посоветовал связаться с радиостанцией «Свободная Европа», попросить материальной поддержки. Пока же рекомендовал пополнять кассу антисоветской организации продажей порнографических открыток…

Закончить рассказ о Николае Б. хочу отрывочком из его письма: «Семь месяцев я в заключении общаюсь с хорошими

людьми, хоть они и преступники, но советские люди, кроме того, разъяснительная работа следователя и регулярное чтение газет убедили меня в моем заблуждении»…

Вторым молодым подсудимым по этому делу стал техник одного из институтов, студент-заочник Валерий Т. Человек, о котором знавшие его люди говорили с уверенностью: неплохой парень.

Со смешанными чувствами рассматриваю я в деле фотографии, снятые в профиль и в фас. Во всем мире так снимают преступников. Передо мною такой же формы фотографии Файнера-Зайцева, ничтожного, презирающего свою родину человека. Это уродливый метастаз индивидуализма, «бешеный огурец». Явление, в общем, редкостное.

А вот фотография Валерия Т. Тоже в фас и в профиль. Он был виноват в действиях, которые справедливо караются. Комсомолец, активист, он прочел «Нашу программу» и не распознал, что это такое. Начал распространять «Программу». Вместе со своим соседом, гражданином Ш., написал «Критику программы соседом». Это он вырезал не понравившиеся ему статьи и, вместо того чтобы попытаться разобраться честно и поспорить, делал надписи, иной раз почти фашистского толка, и отправлял в редакции. Это он помог Файнеру-Зайцеву оформиться в дружине и получить соответствующее удостоверение. И кличку, придуманную Устином Гавриловичем, принял как нечто нормальное. Пока парень был холост, Зайцев влиял на него, используя свою порнографию и похабные сочинения, знакомил с развращенными девицами и очень рассердился, узнав, что Валерий надумал жениться.

Жена Валерия, даже не зная о его «подпольной» жизни, влияла на него, видимо, отрезвляюще. Валерий начал уклоняться от встреч с Файнером-Зайцевым. Врал, что имеет плохие отметки, что надо больше заниматься, а сам учился на «пятерки». После профилактической беседы, проведенной работниками органов госбезопасности, решил кончать с этой «деятельностью», но повел себя, к сожалению, не так, как следовало. Уничтожил «опасные» бумаги, скрыл от следователя, беседовавшего с ним, все, что мог скрыть.

В ходе следствия Валерий разобрался во многом. Добрая основа, заложенная в детстве и в юности, плюс влияние близких, любящих его людей помогли стряхнуть наваждение, оценить содеянное по-взрослому, всерьез и осудить мерзость, к которой прикоснулся.

Мужество люди ценят. Те самые следователи, которые настойчиво добивались и добились от него правды, стали

интересоваться его поведением в колонии, где он отбывал наказание. Стали ходатайствовать о сокращении срока наказания. Наверное, и у них эти фотографии в фас и в профиль возбуждали чувства, сходные с моими. Да, конечно, человек виноват. Не ребенок, пора и самому отвечать. А все же когда-то его прозевали, уступили врагу без боя.

Сейчас Валерий освобожден. Нагоняет упущенное, выравнивает линию своей жизни. К счастью, это еще не поздно…

Всенародной мобилизации сил требуют новые наши планы. Груз этих забот падет в значительной мере на могучую нашу молодежь. В ход должны пойти неисчислимые резервы ее энергии, ее настойчивости, ее ум и таланты.

Утечка душевных сил? Отвод их в сторону от общих задач? Да, именно этого и хотели бы враги. Они хотели бы и большего — заражать нашу молодежь ядом неверия и пессимизма, ядом гнилых буржуазных идей.

Не выйдет! Советская молодежь — достойное, великолепное продолжение ее отцов и матерей. На неверный путь вступают лишь единицы. Да и те могли бы не вступать.

Не должно быть ни одного молодого человека, уступленного врагу. Сделать это в наших силах. В этом наша обязанность перед Родиной.

Аскольд Шейкин. ПЕРСОНА НОН ГРАТА

1

Эти два пассажира вышли из вагона поезда не первыми, но и не последними. Одеты без каких-либо претензий: костюм, белая рубашка, галстук, мягкая шляпа, плащ (на одном светло-коричневый, на другом — синий), и с самым простым багажом (у одного — большой портфель светлой кожи, у другого — дорожная сумка с надписью «Аэрофлот»), они не привлекли ничьего внимания.

Первым ступил на перрон мужчина с портфелем. Он слегка улыбался, как бы спрашивая: «Это встречают нас? — и заранее благодарил: — О, спасибо! Спасибо!»

Впрочем, не более трех-четырех секунд смотрел он на встречавших. С прежней приветливой улыбкой перевел глаза влево, в хвост поезда, а затем повернулся к своему спутнику и слегка развел руки. «Увы, нас не встречают», — говорил этот жест. Спутник его, соглашаясь, кивнул.

Выйдя из вокзала, они застыли как зачарованные.

Слева и справа высились здания, а прямо — за круглым сквером — многоцветной рекой начинался Невский проспект. Фонари и неоновые вывески, как в зеркалах, отражались на мокром асфальте мостовой. Вздымая фонтанчики брызг, с легким шорохом проносились автомашины. Осенний Ленинград встречал гостей теплым, мелким дождем.

Минуту или две приезжие любовались площадью и лишь потом уверенно направились влево, на Литовский проспект, к стоянке такси.

В машине они продолжали рассматривать город. Войдя в номер гостиницы и сняв плащи, они несколько секунд постояли молча, будто к чему-то прислушиваясь. Наконец один из них шумно бросил на диван свой портфель.

— Хорошо, — сказал он. — Хорошо! — и повалился на диван рядом с портфелем.

Его спутник сел в кресло и закурил. Потом встал, подошел к окну, с минуту постоял, глядя в темноту, затем вернулся к столу, расстегнул дорожную сумку и стал вынимать из нее и рассовывать по карманам какие-то блокноты и плоские свертки.

В ресторане было людно. Однако им удалось отыскать незанятый столик. Он стоял очень удобно — в углу, у окна, так что виден был весь зал.

За ближайшим столиком слева расположилась веселая, видимо студенческая, компания: две девушки — черноглазые и смуглые от южного загара и два парня. За столиком справа были

только пожилые мужчины.

Подошел официант.

Они позволили себе слегка выпить — очень умеренно: на двоих сто пятьдесят граммов водки, поужинали. Между собой они почти не разговаривали и, казалось, просто наслаждались покоем, поглядывая в зал. Парни и девушки за столиком слева были хорошо одеты, красивы, веселы. Разговаривали негромко. И так же негромко смеялись.

Выйдя на несколько минут и возвращаясь на свое место, один из приезжих вдруг встретился глазами с девушкой, сидевшей ближе к нему. За столиком, кроме нее, никого не было, и взгляд ее откровенно приглашал начать знакомство. Он невольно улыбнулся в ответ. Но тотчас же потер лоб, словно у него вдруг заболела голова, и прошел к своему столику.

Вскоре они покинули ресторан.

Утром они вышли из гостиницы около девяти часов. Начинался воскресный день, и на улицах было еще пустынно. Дворники сметали в люки последние лужи, оставшиеся после ночного дождя. Косые тени домов угловатыми крыльями пересекали мостовые.

С видимым удовольствием вдыхая утренний воздух, приезжие шли неторопливо, доверчиво улыбаясь каждому встречному, останавливаясь у витрин, оборачиваясь, чтобы проводить долгим взглядом крвсивых женщин.

Такси они взяли лишь отойдя четыре или пять кварталов от гостиницы и не на стоянке, а возле какого-то дома. Машина только что подвезла старика с двумя мальчиками, видимо деда с внучатами. Приезжие задержали эту машину.

— На Васильевский остров, пожалуйста, — сказал шоферу мужчина в светлом плаще. — К набережной Макарова.

— Хоть на край света, — ответил шофер.

Из такси они вышли возле Тучкова моста. Постояли, пока машина не скрылась из виду, и деловитой походкой направились к дебаркадеру Морского вокзала. Ни о какой прогулке не было речи. Они очень спешили.

На дебаркадере они купили два билета до пристани Петродворец. И почти тотчас причалил теплоход.

На Неве было ветрено. Здесь, над холодной серой водой, солнце нисколько не грело.

Экскурсанты заторопились внутрь теплохода, занимая места у окон.

Приезжие остались на палубе. Засунув руки в карманы плащей, они стояли у левого борта. Кварталы жилых домов кончились. Берега Невы теперь занимали корпуса

судостроительных заводов. Портальные краны. Громады достраивающихся на стапелях и на плаву кораблей. Склады. Лесные баржи. Какие-то огромные баки и металлические конструкции, заслоненные от посторонних взглядов заборами. Ленинград классических архитектурных ансамблей остался позади.

С каждой минутой все сильней чувствовалась близость открытого моря. Ветер становился холоднее, резче. Он срывал брызги с гребешков волн и швырял в теплоход. С визгом убежали в салон последние стайки мальчишек.

Что-то говорил экскурсовод. Голос его, усиленный репродуктором, на ветру то слабел, то оглушающе гремел над пустой палубой.

Приезжие стояли у борта, задумчивые и даже как будто отрешенные от всего. Так ведут себя люди, решающие в уме трудную математическую задачу.

Лишь однажды оба они пришли в движение. Не отрывая глаз от проходящего встречным курсом судна и не меняя своих поз, они достали по сигарете и защелкали зажигалками, прикуривая. Облачка табачного дыма подхватил и развеял ветер. Но, видимо, сигареты были сырые. Приезжие раза по три щелкали зажигалками, снова и снова поднося их к сигаретам.

В Петродворце они сошли на пристань и десяток минут стояли у перил, глядя то на море, то в сторону дворцов и фонтанов.

Теплоход, который привез их, уплыл. К пристани причалил другой теплоход.

И тогда они вдруг повели себя, как чудаковатый тот путешественник, который будто бы приплыл некогда из Англии изучать архитектуру Петербурга. Корабельный бот высадил его в центре города, на причал возле Летнего сада. Англичанин поднялся на набережную, постоял у ограды этого сада (гранит колонн, шеренга стройных чугунных копий, строгая красота золотой орнаментовки), затем вернулся на бот, который еще не отошел от причала, и поплыл назад. Капитану он объяснил, что ничего более прекрасного, чем эта ограда, уже не увидит, потому что ничего прекрасней нет и не может быть, поэтому и возвращается в Англию.

Почти так же поступили и приезжие. Они вдруг купили два обратных билета, взошли на теплоход и опять всю дорогу простояли на открытой палубе, засунув руки в карманы плащей.

Вечером они уехали из Ленинграда.

2

Но позвольте! Зачем все это рассказано?

Затем лишь, что люди эти были дипломаты — сотрудники двух иностранных посольств, аккредитованные в Москве.

На самом деле все было так.

Когда человек с портфелем ступил на перрон и огляделся, он не надеялся отыскать у вагона знакомое лицо: он знал, что встречать их некому, да и был это не первый его визит в Ленинград. Он просто хотел определить: не начнется ли прямо от вокзала наблюдение? Было бы наивностью думать, что советская контрразведка не осведомлена об их поездке. Потому-то и была на его лице не просто приветливая, а слегка как бы скованная, настороженно вежливая улыбка. И потому-то оглядывал он толпу несколько медленнее и поворачивал голову несколько равномернее, чем это обычно делают, отыскивая в толпе знакомое лицо.

И потому-то посмотрел он только влево, в хвост поезда. Он знал: головную часть перрона осматривает его спутник, помощник военно-морского атташе другого посольства, в паре с которым они работали.

И в такси по дороге в гостиницу он оглядывался вовсе не для того, чтобы полюбоваться вечерним Невским проспектом. Он опять-таки проверял, не следят ли за ними.

Лишь в номере гостиницы он почувствовал себя спокойно: наконец-то можно отпустить все пружины!

Хотя — ну что за проклятье! — идя в ресторан, нужно обязательно захватить с собой все эти блокноты, схемы.

И когда ужинали в ресторане, он тоже вел наблюдение— за той частью зала, которая была перед глазами. Боковым зрением он, правда, видел и одну из девушек за соседним столиком. Его даже невольно тянуло еще и еще смотреть на нее — настолько была она красива.

И только когда заканчивали ужин и, неторопливо перебрав все события дня, пришли к выводу, что ни в поезде, ни на вокзале, ни в гостинице, ни здесь, в ресторане, не было и нет ничего подозрительного, тогда только он почувствовал себя настолько хорошо и уверенно, что впервые за весь день рассмеялся и словно тысячепудовая ноша свалилась с его плеч.

Потом… Потом он на несколько минут вышел из-за столика, а возвращаясь, встретился глазами с той самой девушкой, которая привлекла его внимание. Она была одна и улыбалась, выражая ему свое расположение. Невольно он улыбнулся в ответ.

И тут его как обухом ударило: стоп! Это неспроста! Ты теряешь контроль.

И потому-то они сразу ушли.

Не было никакой головной боли и никаких срочных дел. Был страх, и была вдруг вспыхнувшая с особой силой неприязнь к этому ресторану, музыке, Ленинграду, ко всему советскому, — острая неприязнь, срывавшая с тормозов.

А это самое опасное — сорваться с тормоза. Перестать контролировать каждый свой шаг и каждое слово. И не только каждый свой шаг и каждое слово, но и каждый шаг и каждое слово любого из людей вокруг себя.

Вот тот старик за столиком в углу… Не слишком ли часто он смотрит на них? Что ему, некуда больше смотреть? Смотрел бы на девушек!

Черт же возьми, как это трудно! Дипломат — что звезда кино: он всегда невольно привлекает внимание. А девиз разведки совсем другой: не привлекать внимания! Растаять в массе похожих на тебя, потеряться!

Ну, а если ты одновременно и дипломат, и, говоря грубо, шпион? Ты находишься тогда все время как бы в освещенном прожектором круге!

Утром они вышли из гостиницы. Настроения прогуливаться не было: легли поздно, спали плохо. На стоянке в двух шагах от гостиницы имелось несколько свободных такси. Но брать здесь машину не следовало.

Побрели по улице. Просто так, куда глаза глядят.

Шли долго, не замечая ни архитектуры домов, ни лиц и одежды встречных людей. Было не до того.

В конце концов вопрос, наблюдают или не наблюдают за ними на пути от вокзала до гостиницы, был более или менее теоретическим. Он представлял интерес лишь с точки зрения того, какое значение придавалось их визиту в Ленинград. Если угодно, это был вопрос самолюбия. Теперь же наличие или отсутствие наблюдения имело практическое значение.

Наконец убедились: все благополучно. Тогда взяли такси.

— На Васильевский остров, пожалуйста, — сказал шоферу один из приезжих.

Хотелось еще прибавить: «Черт возьми, какой трудный день!» — не по-английски, конечно, по-русски, — но спутник его, морщась, потер лоб. По уговору это значило: «Таксер подозрителен, не надо ничего говорить».

Он взглянул на шофера: молодой парень с простодушным лицом. Невероятно, чтобы такой мог оказаться опасен. Но спорить не стал. И даже вспомнил про себя подходящую русскую

пословицу: береженого бог бережет.

Но уж зато к Морскому вокзалу они подошли в полной уверенности, что за ними нет «хвоста», и шагали поэтому быстро, так, чтобы успеть на ближайший теплоход и зря не болтаться на пристани.

Ну и на палубе они стояли вовсе не для удовольствия— уж какое там удовольствие на таком ветру! Один из них поглядывал по сторонам, а другой в это время, засунув руки в карманы плаща, а на самом деле — в карманы брюк, потому что карманы плаща были прорезаны, крошечными карандашиками делал заметки на листочках небольших специальных блокнотов: писал он на листочках только цифры и буквы.

И-когда они закуривали, то на самом деле аппаратики, вмонтированные в зажигалки, фотографировали катер пограничной охраны…

Но вот и Петродворец.

Сошли с теплохода. Постояли у пристани. Было важно установить: все ли приехавшие на корабле уйдут осматривать дворцы.

Ушли все. Это было чудесно.

Теплоход отчалил.

Они все стояли у пристани.

Говорят, здесь прекрасные дворцы и лучшие в мире фонтаны. Гений зодчих и скульпторов создал неповторимое. Восстанавливая дворцы после войны, одно из зданий ошибочно (чертежи погибли) сделали на несколько сантиметров выше. И это привело к тому, что гармония была нарушена. Пришлось все переделывать, опускать гигантскую крышу!

Но к чему им осматривать дворцы и фонтаны? Разве это входит в их обязанности?

Еще до поездки в Ленинград они заучили специальную карту-схему невского берега. На ней все заводы, цеха, строящиеся суда были обозначены особыми номерами.

И тогда же они заучили числа, буквы и условные знаки, с помощью которых можно было наиболее кратко ответить на тот или иной вопрос, интересовавший специалистов военно-морской разведки.

И теперь, стоя на пристани Петродворца, они морщились не от ветра и не от бликов сентябрьского солнца, а потому, что в памяти их, забитой цифрами и буквами кода, просто не было места ни для чего другого.

Ну и еще морщились от того, конечно, что все-таки никак не могли решить: следят за ними или нет?

Знать это было особенно важно теперь, когда в карманах

лежали блокноты, исписанные втемную корявыми цифрами: 18–34; 21–14; 23–51; 41–37…

18, 21, 23, 41—это номера позиций на карте-схеме.

34, 14, 51, 37 — ответы: характеристики объектов.

34 — новый корпус ангарного типа с воротами во всю высоту громадной торцовой стены. Видимо, в. этом эллинге ведется строительство судов, которые необходимо укрыть от посторонних глаз, и значит за ним в будущем надо особо внимательно наблюдать, стараясь оказаться возле него по пути в Петродворец, но в такой момент, когда ворота будут открыты.

14 — строящийся корабль на стапеле, заслоненный щитами. По той части обводов, которые удалось разглядеть, — совершенно новой конструкции.

51—закрытая металлическим коробом конструкция на палубе ремонтирующегося на плаву катера. Странно— как может судно такого малого водоизмещения нести столь мощную конструкцию?

37 — участок берега, занятый дровяным складом. С него можно хорошо рассматривать и даже фотографировать территорию одного из заводов.

Цифры скупы. Глаз видит гораздо больше. Строящееся новое судно, мелькнувшее за щитами, такое необычное, что его невозможно описать с помощью заранее заготовленных цифр-ответов, он определил как судно новейшей конструкции. Но верно ли это? Да и «новейшее» — это уже собирательный термин. А для специалистов самое ценное — подробности. То, что Советский Союз строит корабли новых конструкций, известно и без того! Но разве можно сделать детальную запись? Даже крошечный блокнот, содержащий одни только цифры, и то — уличающий документ! Дипломаты ведь не имеют права заниматься разведывательной деятельностью!

И, конечно, опасно, что к тебе вдруг обратятся официальные лица — работники органов госбезопасности.

Но это еще полбеды.

Они сделают замечание, но они знают, что личность дипломата неприкосновенна.

Гораздо страшней, если станешь объектом внимания толпы — этих бдительных советских людей…

Обыскивать дипломата нельзя. Но разве толпу остановишь? От нее не заслонишься, синим картонным квадратиком дипломатической карточки — стихия! Что там ей объяснишь!

И насколько легче работать, скажем, в Греции или Италии, где просто не принято вмешиваться в поведение богатых людей. Мало ли какие причуды могут быть у господ? Хочет — пишет в открытую, хочет — засунув блокнот в карман брюк.

А в этом Советском Союзе привяжется землекоп или грузчик: «Покажи! Дай! Что ты там делал? Давай сюда фотоаппарат!» И от него не избавишься, не откупишься деньгами!

Милиция (советская милиция!) является тогда как спасение. Но и милиция может не все: толпа напирает, шум, крики, требования: «Пусть выложит! Пусть покажет, что там писал! Мы видели…»

И требуют не только мужчины, но и старухи, дети…

Ужасно!

Скорее, скорее из этого Петродворца! Дело сделано. Изменения позиций И, 18, 21, 24 зафиксированы. Наблюдения, сделанные в прошлый приезд другим дипломатом-разведчиком на позициях 49, 63, 78, подтверждены. Найдено удобное место для фотографирования (37). Если туда проникнуть, можно укрыться за штабелями дров и поработать. Сфотографирован катер пограничной охраны. Эксперты будут довольны!

Теперь нужно снова промчаться на теплоходе вдоль невского берега (может, и еще что-либо удастся заметить) — и назад, в Москву: писать рапорт об удачной поездке.

Конечно, визуальная разведка — это не похищение секретных документов или образцов вооружения. Но когда ее ведут по единому плану дипломаты сразу нескольких посольств, выводы неизменно оказываются важными. В разведывательной работе, в конце концов, самое главное — иметь некоторое количество точно установленных и пусть даже не выдающихся фактов. Анализ довершит остальное!

Итак, скорее, скорее назад — в Ленинград, в гостиницу, а потом и в Москву, под защиту посольских стен.

3

Несколько фактов из хроники.

Помощник военно-морского атташе Соединенных Штатов Америки Рэймонд Смит прибыл в нашу страну на теплоходе «Балтика». Это случилось 2 июля 1962 года.

Теплоход шел из Лондона в Ленинград. Смит ехал всерьез и надолго. С ним вместе плыли жена и трое детей — два мальчика и девочка. Старшему мальчику шел тринадцатый год, и дети были как дети: бегали по палубе, с завистью поглядывали на матросов и капитана. У жены Рэймонда Смита всю дорогу хватало забот.

Были заботы и у Смита.

Худощавый, лет сорока, с большим лбом, он чертами лица и манерами походил на научного работника. Держался спокойно и ровно. Так ровно, что лишь очень опытный психолог мог бы разгадать за этим постоянную настороженность.

До того как попасть в СССР, он несколько лет прослужил в аппарате Пентагона, а затем в Японии и Франции, удачно совмещая дипломатическую деятельность с разведкой. Он знал, что работать в СССР трудно, и заранее разработал ту линию поведения, которой следовало придерживаться. В советской стране он будет вести себя как дипломат-исследователь, собирающий материал для диссертации о военно-морском флоте. В советской контрразведке — умные люди. Их не обманешь, играя рубаху-парня.

Человек, который открыто интересуется определенным кругом вопросов, в конечном счете привлекает к себе меньше внимания: с начала и до конца он логичен в своих поступках.

Но, кроме того, Смит считал себя уже достаточно крупным разведчиком-дипломатом, чтобы иметь свой собственный метод работы. Главным в нем было — применение специального фотографирования и звукозаписи. Обычно дипломаты-разведчики стараются не прибегать к этим способам. Провалишься — слишком уж бесспорными будут улики. А кому хочется быть в два счета высланным из страны, куда ты прибыл как дипломат?

Но Смит ехал делать карьеру иного рода — карьеру разведчика. И ему надо было просто достичь именно разведывательных результатов. И, кроме того, он считал всех своих предшественников и коллег просто не слишком искусными и даже — недостаточно смелыми людьми.

Плывя на «Балтике», он фотографировал решительно все суда, которые встречались на пути: советские, финские, шведские,

польские, немецкие… Это не запрещалось законами. И должно было с самого начала создать ему, Смиту, репутацию человека, который интересуется флотами вообще всех государств.

Из Ленинграда семья Смитов выехала в Москву. И это был его первый психологический шаг: на корабле, то есть еще за пределами СССР, он, Смит, проявлял большую активность, а попав в Ленинград, вдруг повел себя как человек, которому этот город не интересен. А ведь было бы естественным: проездом дипломат знакомится с прославленным центром культуры.

Впрочем, уже 4 июля он снова оказался в Ленинграде. Он приехал из Москвы, и с ним был коллега — помощник военно-морского атташе одной из капиталистических стран. И этот коллега провел Смита по тем улицам и набережным Ленинграда, откуда можно было наблюдать портовые сооружения и цехи судостроительных заводов. Один разведчик передавал «хозяйство» другому.

Тогда же они совершили прогулку по Неве. Сквозь прорезанные карманы плаща, засунув руки в карманы брюк, Смит записывал номера и названия судов, находившихся на стапелях, стоявших у причальных и достроечных стенок, и всюду очень внимательно старался установить — следят за ним или не следят.

В этот приезд он не применял сложной техники. Плоский фотоаппарат «Минокс» да крошечные блокнотики и карандаши длиной в полпальца, чтобы писать ими в кармане, составляли все его снаряжение.

Это были старые методы. Смит еще только осваивался.

29 июля Смит снова появился в Ленинграде. Он прибыл на финском пароходе из Хельсинки и находился во всеоружии. На подходах к Ленинграду в специальный очень сильный бинокль он рассматривал маяки, локационные станции, встречные суда. Много фотографировал. То ли безнаказанность первых шагов настроила его на такой самоуверенный лад, то ли палуба финского корабля казалась ему надежной крепостью.

В Ленинграде он переночевал в гостинице. А на утро, 30 июля, на одной из улиц он, как бы случайно, встретил американских туристов. На собственной автомашине они только что приехали из Москвы.

До самого вечера Смит разъезжал с ними по городу, то и дело оказываясь в таких местах, где не было ни архитектурных памятников, ни мемориальных досок, но куда выходили фасады заводских корпусов и научно-исследовательских институтов.

Это был наглый, точно рассчитанный ход: вдруг оказаться в Ленинграде с собственным транспортом, в компании, осмотреть все объекты. Каждый заметит немногое. Но в целом картина

будет достаточно полной.

15 августа Смит вновь был в Ленинграде, — теперь уже проездом в Финляндию. Из Ленинграда он, конечно, должен был плыть морем.

Перед тем как взойти на борт корабля, он прогуливался по набережной в районе порта и судостроительных заводов. Как и всегда, был не один. Сопровождал его сотрудник посольства одной из стран. Важно другое: почти все это время Смит что-то негромко говорил своему спутнику. Когда же корабль отчалил, Смит, стоя на палубе, усиленно выискивал на берегах залива антенны радиостанций, чаши локаторов и был молчалив, задумчив, до скованности осторожен.

3 сентября на теплоходе «Эстония» он прибыл в Ленинград из Хельсинки и остался ночевать.

Утром вместе с двумя дипломатами он вышел из гостиницы. Он был в черном плаще, застегнутом на все пуговицы и несколько оттопыренном на груди. Всей компанией они проехали в такси к Горному институту. Отпустили машину. Постояли у гранитного парапета набережной. Напротив, за трехсотметровой ширью Невы, располагалась территория интересующего их завода.

Дипломаты стали тесной группкой, так что Смит был закрыт с боков. Смит расстегнул плащ — на груди был фотоаппарат с телескопическим объективом, — сделал несколько снимков.

Затем Смит решительно направился в Горный институт. Шли занятия. В вестибюле института было пустынно. Лишь у киоска «Союзпечати» толпились студенты.

Смит подошел к киоску и купил несколько почтовых марок. Студенты не обратили на него никакого внимания. Тогда, как бы рассматривая марки, Смит отошел к окну, выходящему на Неву. Огляделся. Вокруг не было ни души.

Смит повернулся к окну и минут десять стоял, глядя в него и негромко разговаривая сам с собой.

И когда потом они все трое опять расхаживали по набережным, Смит продолжал говорить.

Дул порывистый ветер. Смит произносил слова так негромко, что их временами неизбежно должно было относить в сторону, заглушать, но спутники ни разу его не переспросили. Да в этом и не было необходимости: Смит говорил не для них.

На груди у него, под пиджаком, в карманах специального жилета находился портативный минифон. На лямках жилета, у ключиц, были упрятаны микрофоны. Поглядывая на противоположный берег Невы, Смит подробно фиксировал все, что видит, — важное и не важное, — сосредоточившись на том лишь, чтобы ничего не пропустить.

Это был разведчик.

За все свои визиты в Ленинград (их было шесть) он ни разу не посетил ни одного музея, ни одного театра, не до того было. Очень редко заходил он в рестораны (начиненный аппаратурой, он боялся посещать их: там обязательно надо снимать верхнюю одежду).

Но он даже не подозревал, что уже давно, с первых же его попыток совмещать разведывательную и дипломатическую деятельность, за каждым его шагом наблюдают чекисты.

К сожалению, мы не можем назвать имен этих чекистов, приложить к нашему очерку их фотографии. Не можем мы говорить и о том, как и какими методами они действовали.

Смит после всего, что в конечном счете с ним произошло, «вышел из игры». Его карьера дипломата-разведчика оборвалась. А эти люди — в строю.

4

Утром 1 октября 1962 года Смит приехал в Ленинград в последний раз.

Сразу с вокзала вместе с сопровождавшим его в этой поездке другим дипломатом направился в гостиницу, оставил в номере чемодан, а затем совершил обычное свое турне на теплоходе: Морской вокзал — Петродворец и обратно.

Он был полностью экипирован: бинокль, фотоаппарат, минифон, планы портов и причалов, несколько блокнотов. Все это лежало в карманах матерчатого жилета, надетого под пиджаком. Там же хранились листы плотной бумаги, испещренные цифрами и буквами зашифрованного разведывательного задания. Смит считал, что уже освоился в Советском Союзе.

Несколько раз в этот день он включал минифон и «наговаривал» на его ленту — то номера и описания палубных построек военных кораблей, то сведения о возвышающихся над водой частях подводных лодок.

Он был уверен, что за ним не следят, но действовал очень осторожно и рассчитанно, с той спокойной уверенностью, которая всего больше способна отвести подозрения случайного наблюдателя.

Вернувшись в гостиницу, в ресторан не пошел — мешала аппаратура. Да и нервное напряжение сказалось. Разгружая чемодан, вел себя очень резко, вещи не клал, а швырял.

Начал разогревать на спиртовке консервы, отвлекся, задумавшись, таблетка сухого спирта выпала на паркет. Паркет загорелся. Было объяснение с дежурной по этажу. Пытался замять этот случай, уговаривал никуда не сообщать. Не удалось. Составили акт.

На следующий день, с утра, вдвоем они поехали к судостроительному заводу. Некоторое время побродили у его территории, постояли у проходной.

Но это было лишь маскировкой. Вскоре они отправились дальше. Ехали сначала в такси. Потом пересели на городской автобус. Целью было: выйти в давно намеченное место — на прибрежный пустырь, там, где Нева уже расширялась, вливаясь в Финский залив, и где напротив, за водной гладью, находился интересующий их завод. Территория его была, конечно, заграждена щитами, и обычный беглый осмотр ничего не давал. Но удачное фотографирование и детальное описание, как полагали эксперты, могло бы помочь решить одну из загадок советского метода строительства кораблей. К этому пустырю и

нужно было выйти в конце длинного и запутанного пути.

Вышли они к нему во второй половине дня. Ветер гнал седые волны. Октябрьское хмурое небо низко нависло над горизонтом.

На пустыре было безлюдно. Лишь в дальнем конце его, у изгиба берега, виднелось легкое одноэтажное строение с большими окнами. В этом строении, видимо, помещалась водно-спасательная станция. Едва ли находящиеся там люди следили за сушей. Да и было до них далеко.

Смит не терял времени — операцию нельзя было затягивать. У самой воды, очень близко от того места, где они вышли на пустырь, высился штабель бревен. Быстро зайдя за эти бревна и еще на ходу включив минифон, Смит достал из кармана плаща бинокль, навел его на противоположный берег и стал быстро говорить, описывая все, что там видит, и лихорадочно выискивая то главное, что требовалось сфотографировать.

Он действовал быстро. Левой рукой держа у глаз бинокль и продолжая диктовать, правой он расстегнул плащ и пиджак и вынул из карманчика на поясе брюк фотоаппарат. Поднес его к правому глазу, перехватил бинокль, чтобы освободить пальцы левой руки, глянул в видоискатель — в него попало именно то, что и следовало, и сделал несколько снимков. Все это заняло не более двух-трех минут. Пора было уходить.

Сунув бинокль в карман плаща, а фотоаппарат в карманчик на поясе брюк, он резко повернулся и зашагал прочь от берега, и в тот же момент увидел рядом с собой каких-то людей — сразу нескольких — в пиджаках, плащах, пальто, свитерах. И не только мужчин, но и женщин!

Один из мужчин, по одежде он был похож на заводского рабочего, преградил дорогу. «Плащ, — мелькнуло в голове Смита. — Расстегнут плащ и пиджак! Может быть обнаружен минифон!»

— Что вы тут делаете? — спросил рабочий.

— Мы? Ничего, — ответил Смит.

— А это? — спросил рабочий и рванул провода, которые вели от микрофонов.

Черный ящичек минифона вылетел из своего гнезда под рубашкой и повис на проводах. Невольно вскрикнув, Смит схватил его и прижал к животу. И почувствовал, как сильно дрожат руки.

— Это что у вас? — повторил рабочий. — И что вы здесь фотографируете?

Смит оглянулся: вокруг целая толпа. Откуда взялись эти люди? Только что был голый пустырь!

— У меня ничего нет! — с отчаяньем выкрикнул Смит.

И в ответ шквал негодующих голосов обрушился на него:
— А в руках-то что у него?
— Шпион это! Я сразу узнала…
— Иду, он за дровами стоит, фотоаппарат наставляет…
— Завод это я знаю какой, я там работаю…
— А ну, давай, давай, показывай, что там у тебя в руках…
— Шпион! Шпиона поймали!..

5

«Акт.

г. Ленинград, 2 октября 1962 года.

Мы, сотрудники милиции капитан Гольцев и старший лейтенант Сидоров, составили настоящий акт о нижеследующем. Во время нахождения на дежурстве в районе спасательной станции № 7 к нам обратились граждане, заявив, что около судостроительного завода ими обнаружены какие-то подозрительные лица. Прибыв к месту происшествия, нами было установлено следующее: советскими гражданами Никитиным Виктором Алексеевичем, Николаевым Михаилом Александровичем, Викторовым Александром Ивановичем в присутствии начальника спасательной станции Вальтера Анатолия Ивановича и водолаза Кравченко Леонида Михайловича были задержаны, как подозрительные по своему поведению, два гражданина…

Опросом граждан Никитина В. А., Николаева М. А. и Викторова А. И. выяснено, что лица, оказавшиеся иностранцами, проходя около завода, вели себя подозрительно. Иностранец, являющийся помощником военно-морского атташе США Р.-Д. Смитом, отворачивал лацкан пиджака и что-то говорил, одновременно он держал правую руку в кармане брюк. Видя такое поведение, Никитин В. А., Николаев М. А. и Викторов А. Й. задержали гражданина и под рубашкой в чехле обнаружили черный предмет, который, по заявлению Смита Р.-Д., является портативным магнитофоном. В маленьком кармане брюк был обнаружен фотоаппарат «Минокс». Наряду с этим у помощника военно-морского атташе США Р.-Д. Смита под рубашкой был обнаружен пояс из белого материала, в котором находились семь различных планов, записи на иностранном языке, карты. В кармане пальто находился портативный бинокль японского производства и наушники для магнитофона…»

5 октября, через трое суток с того момента, когда Смит был задержан и после составления акта и изъятия шпионского снаряжения отпущен, член коллегии Министерства иностранных дел СССР принял советника-посланника посольства США в Москве и сделал ему заявление. Рэймонд Смит признавался в нем персоной нон грата — дипломатом, которому предлагалось немедленно покинуть пределы страны за деятельность, несовместимую с его статусом аккредитованного дипломатического работника.

ФОТОМАТЕРИАЛЫ

Ф. Э. Дзержинский (редкая фотография, 1911 г.)

«Лед и пламень»

«Про него говорили: «Лед и пламень». Когда он спорил и даже сердился в среде своих, в той среде, где был до конца откровенен, — это был пламень. Но когда он имел дело с врагами Советского государства, — это был лед».

Ф. Э. Дзержинский (редкая фотография, 1914 г.)

«Лед и пламень»

«Его неизменно присуждали к каторге, ему создавали небывало суровый тюремный режим».

П. *Г. Щевьев.*

«Верные
революционному долгу»

«...Биография у меня обычная, каких много было за Невской заставой. Родился и вырос в рабочей семье, окончил три класса, а затем пошел по трудовым своим университетам».

А. Васильев

«Помощники Дзержинского»

«В **Петроградскую ЧК** меня **напра**вили летом 1918 года… За плечами было **подполье,** имелся кое-какой **опыт конспирации».**

Удостоверение, выданное А. Ф. Филиппову

«Секретное поручение»

«Феликс Эдмундович умел разбираться в людях. Не ошибся он и пригласив сотрудничать в Чрезвычайной Комиссии Алексея Фроловича Филиппова».

Н.С.Микулин
«Подвиг Николая Микулина»

«Таким он и вышел из дома на Гороховой — с улыбкой на лице. Похожим на свое изображение на единственной уцелевшей фотографии, которая осталась в память об этом бесстрашном чекисте».

Э. М. *Отто (Профессор)*

«Хроника одного заговора»

«Профессором Эдуарда Морицевича Отто прозвали еще в 1905 году. Заведовал он тогда динамитной мастерской в Риге, снабжал самодельными гранатами вооруженные рабочие дружины, а после того как военно-полевой суд вынес ему смертный приговор, умудрился подготовить и совершить неслыханно дерзкий побег из тюрьмы».

С. *И. Иванов*

«Хроника одного заговора»

«Биография Семена Иванова была похожа на биографии многих молодых чекистов, присланных на Гороховую партийными организациями».

Н. *П. Комаров*

«Хроника одного заговора»

«Гораздо меньше знал Семен Иванов начальника Особого отдела. Слышал от товарищей, что из той же он когорты профессиональных революционеров, что коренной питерский металлист с Выборгской стороны, что бывал в тюрьмах и ссылках, нажил там чахотку, а в дни Октября находился в Военно-революционном комитете».

Л. *Г. Куликов*

«Из прошлого»

«В начале 1919 года я был вызван в Москву, где мне предложили стать командиром отдельной роты при Петроградской ЧК».

С. **С.** *Воскова*

«Дочь своего отца»

«В семье, где она выросла, революция строго смотрела с больших настенных портретов. Но хвастаться революционными заслугами здесь не разрешалось, — такова была семейная традиция».

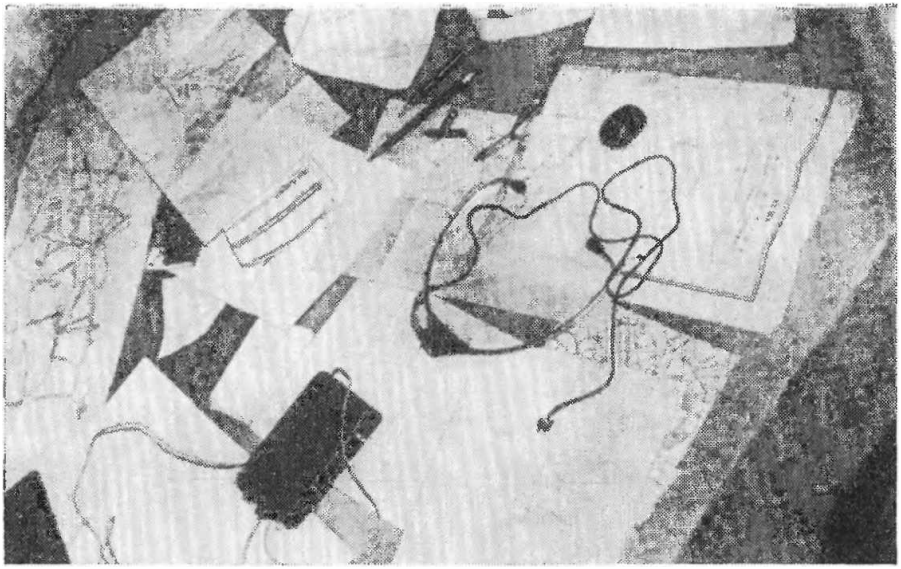
М. Д. Караценко

«Человек и его имя»

«Мокий Демьянович… Звучит непривычно, угловато. Мокий! Теперь не дают таких имен. Однако к нему оно почему-то идет. Кряжистый, медвежеватый немного, шероховатый… Таким людям хочется сказать спасибо просто за то, что они существуют на свете. Помогают жить».

«Персона нон грата»

«Черный ящичек минифона вылетел из своего гнезда под рубашкой и повис на проводах. Невольно вскрикнув, Смит схватил его и прижал к животу».



«Персона нон грата»

Шпионское снаряжение, изъятое у дипломата-разведчика. Вычерченные им схемы городских маршрутов, карандаши для невидимой записи.

Н.И.Савельев

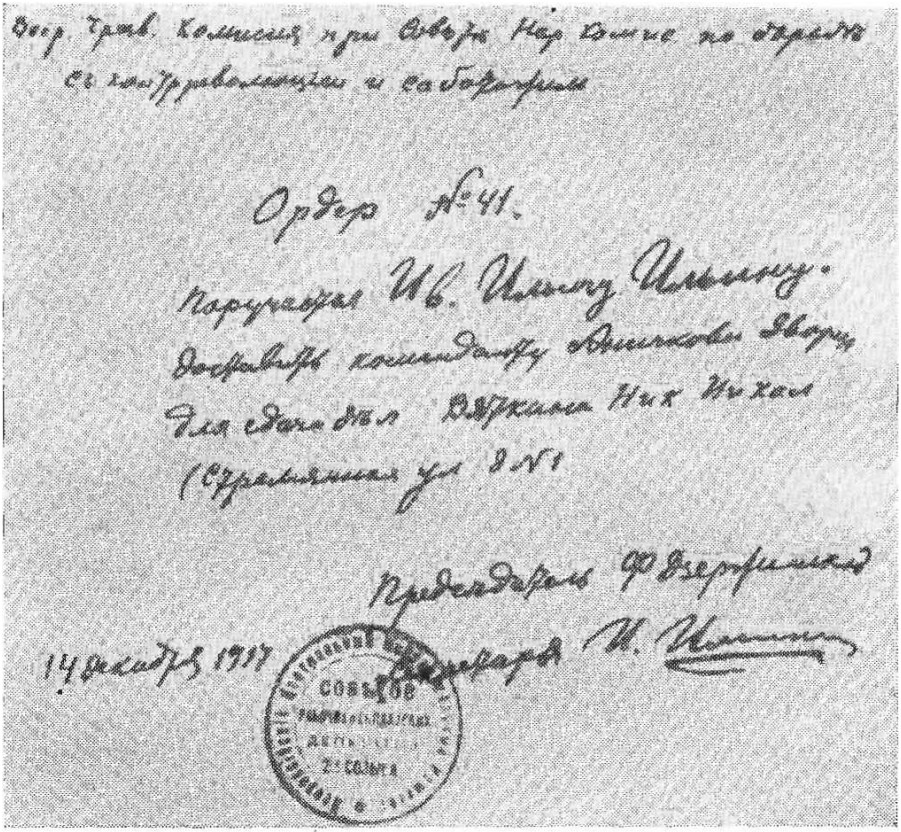
«Сокол вызывает Ленинград»

«Война бушевала уже восьмой месяц. Ворвалась она и сюда, в тихий этот лесной край. Ворвалась, перед каждым поставив вопрос: «А что ты сделал **для** защиты Родины?» Николай Иванович Савельев ответил на этот вопрос без колебаний: он стал разведчиком».

Л. С. *Каймакова*

«Сокол вызывает Ленинград»

«— После войны привезу сюда в воскресенье своих подружек, скажу им: вот, девочки, красотища какая! Любуйтесь!»



Всер. Чрезв. Комиссия при Совете Нар. Ком. по борьбе
с контрреволюцией и саботажем

Ордер №41.

Поручается Ив. Ивану Ивано-
вичу Иванову
Доставить комендантом Аничкова Дворца
для сдачи под стражу Иванова Ивана Ивано-
вича (Фамилия ум. в N)

Председатель Ф. Дзержинский

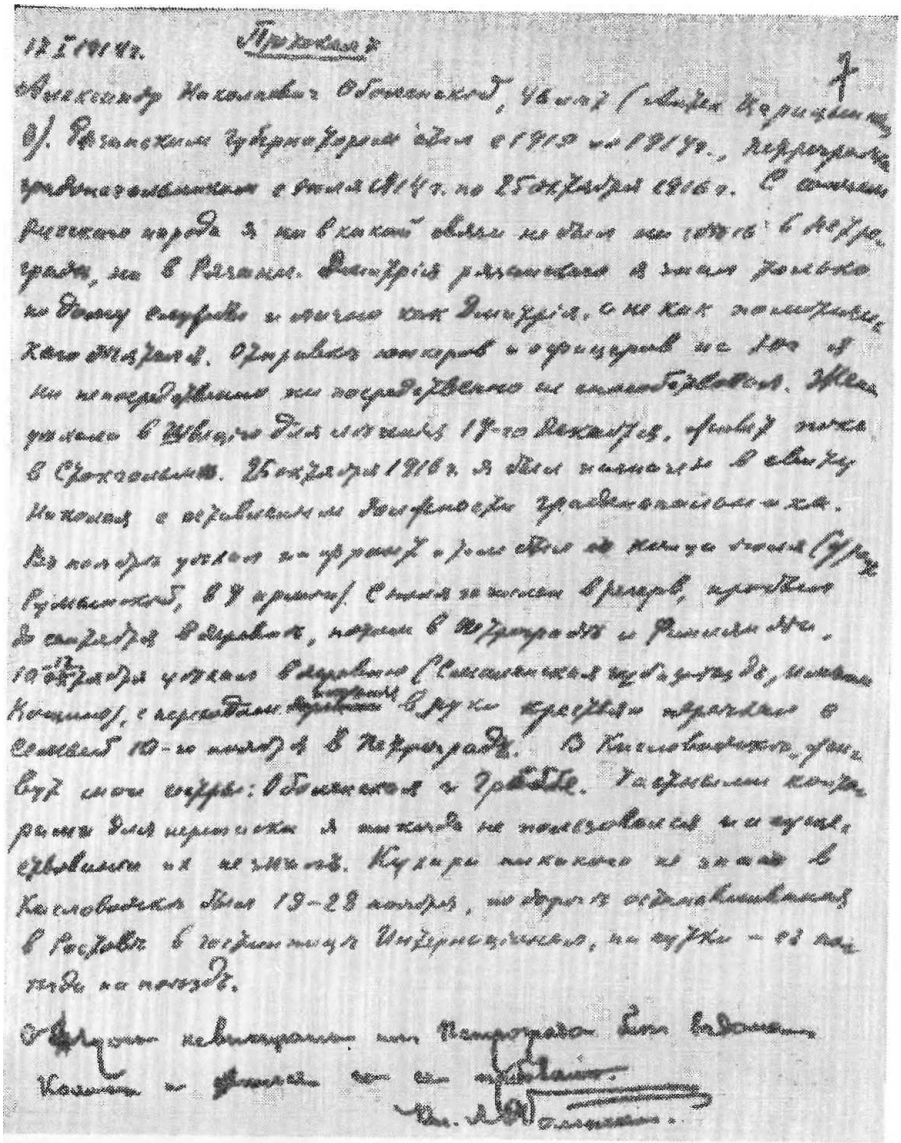
14 декабря 1917 г. Секретарь И. Иванов

Совет

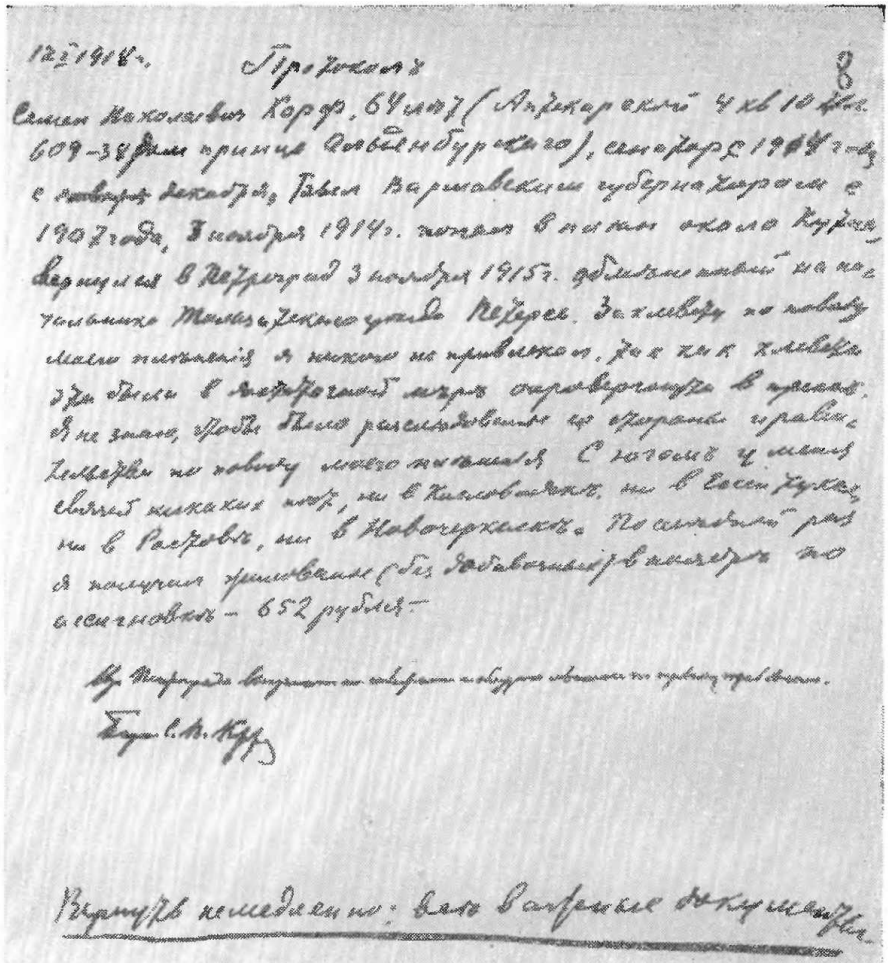
27 декабря 1917 года (14 декабря по старому стилю), на седьмой день существования Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, Народный комиссариат продовольствия обратился в ВЧК с просьбой доставить в Аничков дворец, где помещался Наркомпрод, некоторых чиновников бывшего министерства продовольствия, вставших на путь саботажа.

В тот же день Ф. Э. Дзержинский лично выписал ордера на задержание саботажников (бланков ордеров и своей печати ВЧК еще не имела).

Фотокопия ордера публикуется впервые

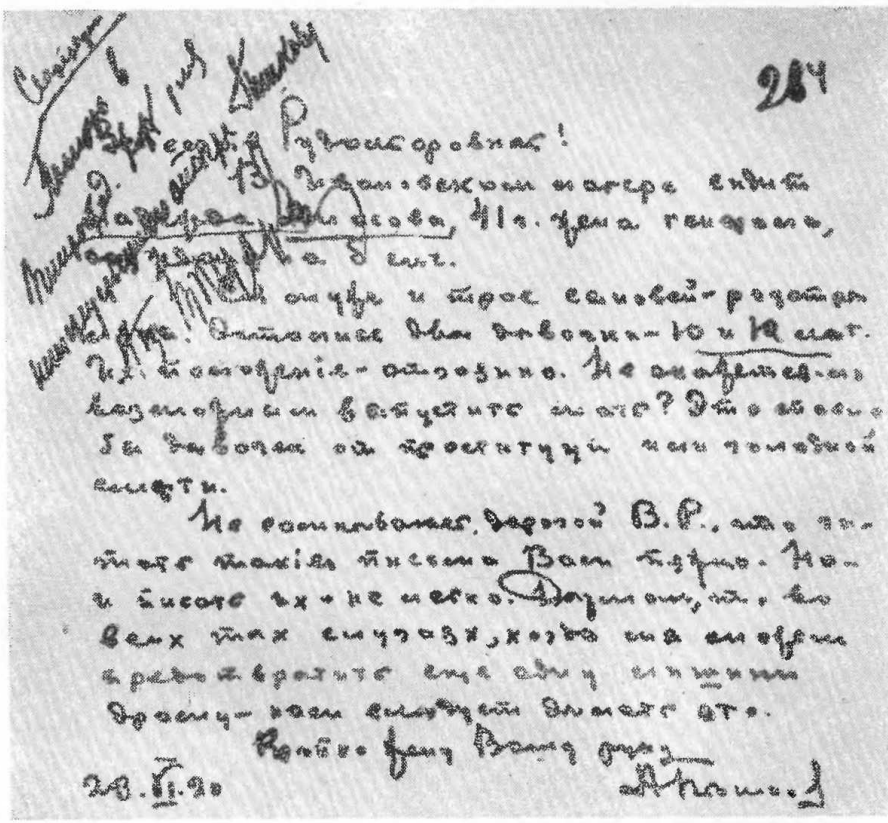


В январе 1918 года ВЧК были получены сигналы о существующей в Петрограде организации по вербовке бывших офицеров и юнкеров на юг страны, в войска генерала Каледина.



Всей работой по расследованию этого дела руководил Ф. Э. Дзержинский. Председателем ВЧК были лично допрошены бывший петроградский градоначальник князь А. Н. Оболенский, бывший варшавский генерал-губернатор С. Н. Корф и другие лица.

Фотокопии протоколов допроса, написанные рукой Ф. Э. Дзержинского, публикуются впервые



В начале 1920 года коллегией Петроградской ЧК была осуждена к высылке в трудовой лагерь Н. И. Аносова — жена одного из организаторов крупного контрреволюционного заговора против Советской власти, бывшего царского генерала Аносова.

Узнав, что после высылки Н. И. Аносовой остались без средств к существованию две ее несовершеннолетние дочери, с письмом к В. Р. Менжинскому обратился М. Горький. Решение о высылке Аносовой было пересмотрено.

Письмо М. Горького публикуется впервые

Scan Kreyder — 08.05.2016 STERLITAMAK